

А13

**Шабданбай
Абдыраманов**

**БЕЛЫЙ
СВЕТ**

М

2010 г. 2014 2017

**Шабданбай
Абдыраманов**

БЕЛЫЙ СВЕТ

1727

РОМАНЫ

Жалал-Абадская
областная библиотека

ИНБ. № 19603

Перевод с киргизского

~~Жалал-Абадская областная библиотека
ИНБ. № 419540~~

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1983

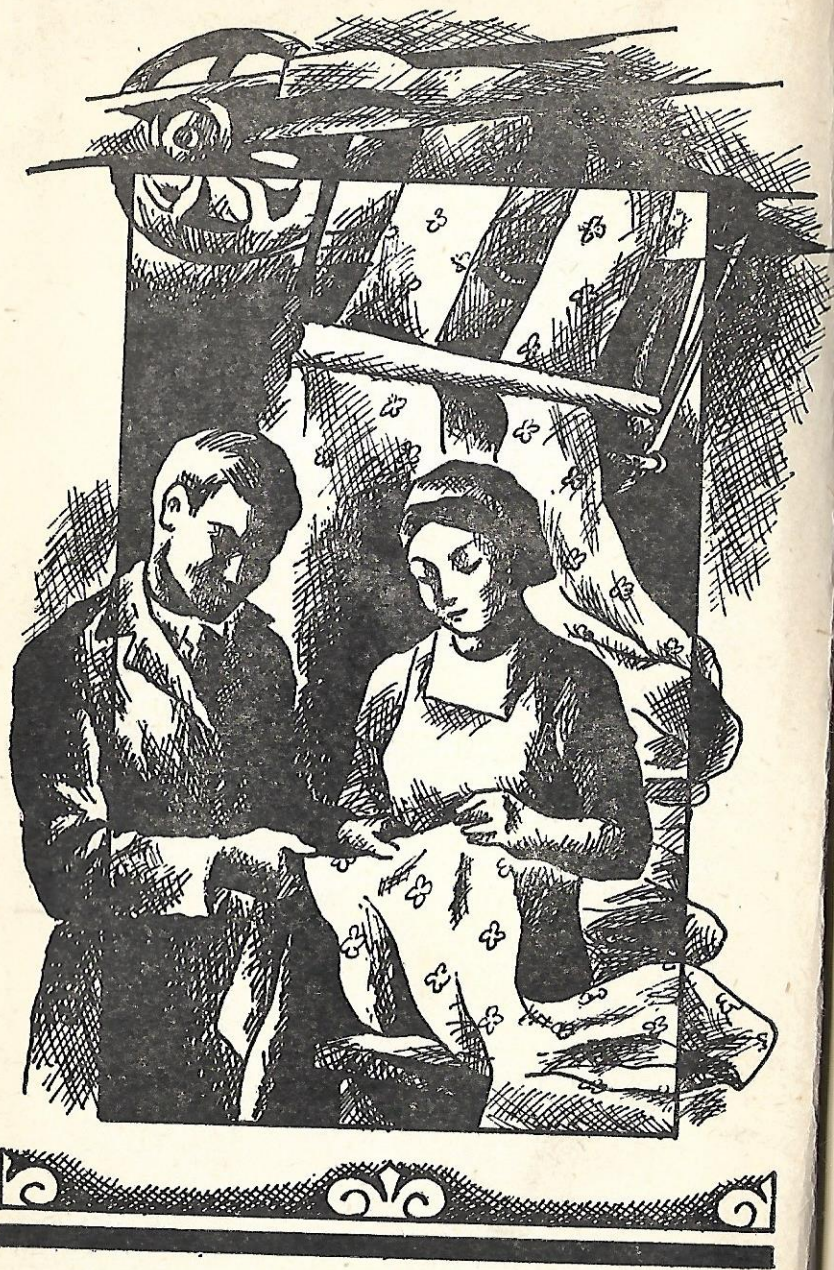


Шабданбай Абдыраманов — киргизский поэт и прозаик, известный всесоюзному читателю по сборнику рассказов и повестей «Мои знакомые», изданному «Советским писателем» в 1964 году.

В настоящую книгу вошли два романа писателя, объединенных одним замыслом — показать жизненные пути и судьбы киргизского народа. Роман «Белый свет» посвящен проблемам формирования национальной интеллигенции, философскому осмыслению нравственных и духовных ценностей народа. В романе «Ткачи» автор изображает молодой киргизский рабочий класс.

Оба произведения проникнуты нафосом утверждения нового, прогрессивного и отрицания старого, отжившего.

ТКАЧИ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДОРОГИ СУДЬБЫ

I

В лицо ударил теплый упругий ветер, пропитанный запахом хлопка. Каипов переступил порог ткацкого цеха, и тут же жесткий, металлический шум тысячи работающих станков вырубил ему слух, как будто взмахом клинка. Маматай Каипов, ничего не слыша, остановился, ему стало трудно дышать. Густые брови, вздрогнув, приподнялись — он удивленно всматривался в конец цеха. Нужно было оглядеться, привыкнуть и к шуму, и ко всему вокруг.

Цех был огромный, весь обрызганный мельчайшими капельками искусственного дождя, чтобы не пересушивать нервно вздрагивающие на станах нити. Ему на мгновение показалось, что он попал в какую-то громадную, сотрясаемую дождем сеть.

В глаза бросились ряды голубых станков и над ними сосредоточенные лица. Тогда уж он обратил внимание, что парней здесь мало, а больше молодых девушек.

Маматай дивился, как вспухали, подобно буклям, ватные хлопья, как деревянные колотушки, почему-то напомнившие ему своими закругленными концами пятки худого человека, ритмично раскачивались и били в середину челноков, четко тянущих уток.

Это было бесконечно. Каждый полет челнока означал движение нити утка, а это — доли миллиметра ситца! И казалось, что не ситец ткется здесь, а ветер нервно и нежно перебирает тонкие и мокрые сети. Новотканое желтоватобурое суровье четко наматывалось на огромную стальную катушку.

Каипов чувствовал, как в него вливается этот будоражающий своей быстротой и вместе с тем усыпляющий необычной плавностью ритм. Так сладко и восторженно бывает только от колыбельной.

«Станов-то больше, чем зыбок на кочевье!» — опять всполошили его эти нехстати пришедшие мысли.

Вдруг кто-то дерзко, по-свойски дернул его за рукав. Это Мусабек. Конечно, он. И хотя они только что познакомились в отделе кадров, Каипову показалось, что ему давно знакома открытая, уступчивая улыбка парня, так не вяжущаяся с решительным вздернутым — на вызов — носом. Маматай обрадовался, когда Мусабеку поручили проводить его к начальнику трепально-сортировочного цеха.

Все еще огулушенный и взволнованный, Маматай последовал за своим провожатым, и вскоре они оказались в прядильном цехе. Маматай даже задохнулся от охватившего его волнения. Боже мой, неужели ему все это не снится? Огромный и светлый цех заполняли сложные, похожие на фантастические аппараты машины с сотнями вращающихся веретен. От этого неутомимого мельтешения у Маматая чуть не закружилась голова. В конце огромного зала находился кабинет начальника трепально-сортировочного цеха. Туда им и нужно было пройти через весь шумящий и гудящий зал.

Конечно, Маматай старался не показать, как его ошеломило все это. «А я смогу так же вот стоять у станка?» — строго подумал он, глядя на работающих у станков людей. От этой тревожной мысли слегка кольнуло сердце.

В кабинете начальника Мусабек деловито сказал женщине, сидящей за крайним столом:

— Вот привел к вам, Насипа Каримовна, принимайте.

Они остались одни в кабинете — Маматай и дородная, внушительная Насипа Каримовна, разглядывающая новичка поверх спущенных на самый кончик носа очков. Она смотрела на него долгим, изучающим взглядом, словно на какую-то диковинку, потом удовлетворенно поправила очки и произнесла тихим, шелестящим голосом:

— Начальника цеха пока нет на месте. Но на первый раз запомните: Кукарев Иван Васильевич. Он человек беспокойный, непоседливый...

Резкий телефонный звонок прервал ее. Тяжело подняв со стула свое большое, грузное тело, она долго и терпеливо разговаривала с кем-то, видать, бестолковым и сбивчивым, потому что то и дело переспрашивала и пыталась докричаться в трубку: «Алло! Алло!»

Заключив наконец разговор, Насипа Каримовна облегченно вздохнула, улыбнулась Маматаю широкой, благодушной улыбкой и, видно, не в силах остановиться после суматошного разговора по телефону, неожиданно для Маматай стала рассказывать о себе — незнакомые люди, как известно, располагают к откровенности.

— Вообще-то, я классификатор, — с гордостью сообщила она. — Не всякий знает, что это такое... Так вот, только я и главный инженер окончательно определяем качество ткани, а для того чтобы оно было высокое, нужно правильно подобрать сорта хлопка, тщательно составить смесь... Здесь и расчет нужен, и опыт. Сам понимаешь, ответственность огромная.

Она мягко и плавно, словно учительница, с видимым удовольствием произносила фразы; слова выкатывались из ее уст какие-то круглые и внушительные.

«С чего это она передо мной разоткровенничалась? — недоверчиво подумал Маматай. — Ну, конечно, хвастает. Куда там женщине делать такое умное и важное дело...»

Рывком открылась дверь, и в нее гортанным ревом горного водопада хлынул гул работающего цеха. У порога стоял высокий худой человек, опираясь на трость с изящно изогнутой ручкой. Маматаю невольно бросились в глаза его длинная жилистая шея, острый подбородок и орлиный нос. Это был начальник цеха Кукарев.

Насипа Каримовна, торопливо порывшись в своей сумке, ушла на обед. А Кукарев стал быстренько задавать дотошные вопросы, на которые Маматай сбивчиво, торопливо и суматошно отвечал.

«Худой, высохший, — все же успевал он рассматривать начальника цеха, — и выглядит старше своего возраста. Такие, говорят, бывают первные да капризные... Вот уж беда, если еще и невзлюбит. Въедливый, сразу видно, и к тому же не голос у него — труба...»

Размеренный густой бас Кукарева тем временем гудел над самым ухом Маматай, не давал успокоиться.

— Говоришь — из кишлака? Хорошо-о (это «о» долго потом еще звучало в ушах Маматай!). Зато-о теперь будешь рабочим. Это хорошо-о.

Маматай сидел, не поднимая глаз от стола. Ему все казалось, что он в чем-то виноват перед этим иступленным человеком, что если сейчас он ответит ему хоть одним словом, то обязательно попадет впросак, и тогда все пропало.

— Ничего, научишься всему, — отдавалось гулко у него

в ушах. — Почти все рабочие здесь из местных. Думаешь что, случайно? Конечно же нет. А ведь сколько трудов и нервов стоило дать им техническое образование...

Он замолчал, несколько раз глубоко затянулся сигаретой, и Маматай заметил, как на мгновение судорога боли исказила его лицо, и тут же Кукарев поспешно отвернулся к окну. А Маматай смущенно проговорил:

— Конечно, трудно осваивать... Машины все-таки...

— Машины? Что машины... Это дело десятое, — тут же перебил его с нетерпеливой быстротой Кукарев. — Научиться можно работать на них за полгода. Сломаются — починим. Слесаря и наладчики для чего? Дело в другом, в самих людях, в их сознательности... Понимаешь, о чем говорю — о рабочей гордости. Вот это главное... — Кукарев заметно оживился, в голосе его проубавилось решительных ноток. — Что греха таить, и ныне поступает к нам народ неграмотный. И это понятно: женщины в здешних условиях, при здешних обычаях... Им-то и труднее всего было учиться.

Теперь Кукарев обращался к Маматаю так, словно знакомы они были много лет и говорили на эту тему не первый раз. Он смотрел на гостя приветливо и пытливо, словно запоминал его навсегда. И, не выдержав этого прямого и требовательного взгляда, Маматай устало опустил голову. Он не хотел, чтобы начальник увидел его растерянность.

— Множество причин повлияло, — упорно продолжал свою мысль Кукарев. — И прежде всего суеверия мусульманства. — Он как-то безнадежно махнул рукой, досказал: — Да и только ли в этом дело?

Маматай представил себе свой забытый богом киплак, захолустье, старых отца и мать. Как они там? Думают, поди, о сыне? Как он там в городе?

— На все это нужно много времени и сил, — все так же поутомимо продолжал хозяин кабинета, не замечая растерянности повичка. — И мы готовы к этому...

Наступила пауза. И Маматаю показалось, что разговор окончился. Но ему хотелось еще поговорить с начальником. И он спросил первое, что пришло на ум:

— Вы давно сюда приехали, Иван Васильевич?

— Давно, — охотно отозвался тот. — Еще когда монтировали первые станки. Я, знаете, москвич, вернее, из Подмоскovie. — Чувствовалось, что Кукареву нравится рассказывать о себе, как человеку словоохотливому и привыкшему к чужому вниманию.

— Сами приехали или прислали, — пытался найти верный тон Маматай.

— А как же, по собственному желанию. И не один я, много нас приехало тогда, — с удовольствием пояснил Кукарев.

Разговор становился все непринужденнее. Маматаю искренне хотелось побольше разузнать об этом необычном человеке, он опять добродушно спросил:

— А вы по-киргизски говорите хорошо. Быстро научилесь?

Иван Васильевич весело рассмеялся, откидываясь на спинку стула. Смех у него оказался совсем не басовитым, а звонким, по-мальчишечьи открытым. Так смеются только сильные и добрые люди.

— Практика у меня большая, Маматай. После войны приехал в Узбекистан, когда пускали новый ткацкий комбинат. Впрочем, много раньше познакомился с этими краями... Ну, будем вместе работать, расскажу как-нибудь.

— Вот оно что...

Морщинистое лицо Кукарева сразу посветлело, морщины распрямились, словно он вспомнил что-то хорошее, давнее, незабываемое. Ласково похлопав Маматаю по плечу, он пригласил его в цех. И Маматай, забыв недавние страхи и растерянность, уверенно зашагал рядом с ним по цеху.

И вновь Маматай оглох от гуда больших, похожих на русские печи, трепальных станков. Водопадом падали рыхлые, густые потоки ваты и туго наматывались на рулоны.

— Вот наша Сапаргюль! — восторженно закричал ему прямо в ухо Кукарев. — Когда пришла в цех, очень стеснялась: только и сказала, что пятеро детей у нее. Теперь же, ого! Денутат горсовета.

Сапаргюль, словно догадавшись, что говорят о ней, приветливо им кивнула и весело тыльной стороной ладони откинула прядь со лба. От всей ее статной фигуры веяло уверенной силой.

Кукарев же между тем подвел Маматаю к толстому, носящему на оба глаза мастеру и, степенно познакомив их, коротко объяснив, что привел ему ученика, тут же ушел, на прощание крепко пожав руку новичку, мол, ничего, держись, все образуется. И у Маматаю осталось радостное ощущение, что они с Кукаревым давным-давно знакомы, что они умеют понимать друг друга. И все это придавало ему смелости и твердости духа среди грохота и пыли его первого рабочего дня на комбинате.

Вот так пришлось Маматаю начинать свою рабочую биографию с самых азов. Он стоял у барабана громкого разрыхлителя, и ему хорошо было видно, как железная прожорливая пасть заглатывает огромные белые комья ваты. Работа незамысловатая будто, но успевай только повертываться, быстро и равномерно сдирать разных сортов вату с тюков, стоящих рядом, под рукой, толстенных, похожих на снежную бабу, да успевать закидывать ее в ненасытное горло машины.

Его напарник Сарык, молоденький парнишка с маленьким и каким-то безвинным детским личиком под грозной, огненно-рыжей шевелюрой (вот уж пойдя поищи у киргизов еще таких вот рыжих!), тоже совсем недавно стал учеником.

— Ну как? Нравится работа? — как-то поинтересовался Маматай.

Посмотрев куда-то мимо Маматая какими-то одинокими глазами, Сарык неохотно выдал:

— Надоело.

Кепчонка с коротким, обрезанным по уличной моде козырьком сползла ему на левый висок. Они стояли в дальнем конце коридора: было ленивое время перекура.

— Что-то давит меня здесь, еле выдерживаю до конца смены, — Сарык дремотным движением руки отшвырнул окурок в сторону пепельницы.

— Но что же за причина? — Маматаю хотелось понять этого чуть-чуть франтоватого, с отрешенными глазами паренька.

— Хм, причина... — растерянно усмехнулся тот. — Целый день грохот и беготня, беготня и грохот. Куда ни глянь, куда ни приткнись — одно и то же! Не могу больше — голова гудит. Трудно.

Маматаю вдруг стало жаль понурого и беззащитного Сарыка.

— У тебя есть родители? — спросил Маматай, пристально вглядываясь в его обиженные глаза.

— Да, отец. Чабан. Если вернусь в колхоз, вот будет радости!

— Тогда что же держит тебя здесь?

— Стыдно. Провалился на экзаменах. Не получилось из меня студента, как же вернусь я опозоренным, а?

— Ничего, — веско произнес Маматай, желая как-нибудь ободрить своего напарника и в какой-то мере себя самого, —

не сразу привыкаешь к новой жизни. Со мной в армии было такое же поначалу. Представь себе, даже во сне плакал, скучал по дому — просто невмочь было...

— Да-а,— протянул несколько облегченно Сарык. Он был благодарен за эту маленькую поддержку.— А вот Гульсун, дочь моего дяди, вместе со мной сюда поступила, так не прошло и недели, раскисла, вернулась домой.

— Напрасно она это сделала. Что же ты не отговорил ее?

— Что ты, разве она послушалась бы! Капризная. Да и отец ее тут дневал и ночевал, пока не уломал бросить работу.— Сарык, воодушевившись, продолжал: — Ее собирались выдать замуж, а она взяла да уехала сюда, в город.

— Своевольница, хоть и молоденькая. Как же можно не слушаться родителей?

— Охота пуще неволи,— Сарык довольно рассмеялся, в глазах у него запрыгали веселые смешинки.

К ним подошел Мусабек, беспечно прищелкнул пальцами.

— Эх, за одну сигаретку я бы отдал сейчас сорок кобыл! — сказал он, ловко при этом доставая из пачки Маматай сигарету, и как ни в чем не бывало продолжил: — Ребята, а я познакомился с одной новенькой...

Маматай уже успел заметить, что этот низенький и верткий паренек со всеми сразу же находил общий язык. Все его знали, у каждой девушки было припасено для него приветливое слово.

— Хочешь, я тебя познакомлю с одной из местных красоток? — весело тараторил Мусабек.

Улыбка сбежала с лица Маматай, он отрицательно покачал головой: ему становилась неприятна эта бойкая бесцеремонность.

— Мусабек,— вдруг громко закричал Сарык,— ты когда окончил школу?

— Ты что, с ума сошел? — даже отпрынул Мусабек и тут же, сумев быстро переключиться с одного разговора на другой, добавил: — Ну, если быть точным, то четыре года назад.

— И что ты делал с тех пор? — не отставал, продолжая гнуть свое, Сарык.

Маматай даже удивился такой настырности Сарыка.

— Лучше и не спрашивайте,— смирился с неприятным разговором Мусабек.— Много чего я переделал, да ладно уж, песня эта длинная-предлинная, сразу и не споешь...

Так ничем окончился их разговор.

Пошел второй месяц, как Маматай начал работать в цехе, а похвастаться, что привык к работе, стал своим, не мог. Он уже с плохо скрываемой скукой выполнял свои несложные обязанности. Лязг, пыль и шум теперь не на шутку раздражали его, так что день ото дня он все больше и больше мрачнел и замыкался в себе.

Он был молод, нетерпелив, и ему хотелось не только поскорее узнать, что при его участии делает эта ненасытная «прожора», как теперь про себя называл он машину, но еще и как она это делает, и что у нее там, внутри. И чувство, которое испытывал Маматай при виде текстильных машин, было сродни чувству ребенка, которому пока ни за что не разобратся, как устроена эта прекрасная железная игрушка.

«Хоть бы перевели меня куда-нибудь поближе к настоящему делу, ну хотя бы в смазчики, а может, в ремонтники, — угрюмо думал совсем упавший духом Маматай. — Самому попроситься, что ли? А что подумают? Должно быть, скажут, не успел переступить порога, а уже носом крутит это ему не то, работа не такая... Нет, вначале надо показать себя. Ну как я покажу себя возле этой «прожоры»? Бери ваты побольше да кидай ей в пасть — вот и все дело!»

Случайная встреча с Алтынбеком Саяковым вывела его из этой бессильной оцепенелости. Луч надежды блеснул ему, словно в конце длинного дождливого дня засияло для него солнце, засияло во всю свою радостную силу...

Как-то раз, еще когда Маматай был новичком, на комбинате мимо него быстро прошагал высокий и красивый джигит, и Маматай чуть было не закричал: «Алтынбек-ака!», но вовремя сдержался...

Они были почти родственниками, хотя ни мать, ни отец Маматай об этом почему-то не любили вспоминать. Но как-никак, а детство они провели в одном кишлаке, и Маматай сам не понимал, что все-таки удерживало его подойти к молодому инженеру и просто сказать: «Здравствуй, Алтынбек-ака, это я, Маматай». Но теперь, когда его нетерпеливая натура стала жаждать немедленных перемен, он решил во что бы то ни стало встретиться с инженером, напомнить о себе и уж конечно рассказать о своем нынешнем состоянии.

«Не может быть, чтобы он мне не помог, ведь мы не чужие... Его дед, старый Мурзакарим, и мне родичем по материнской линии доводится», — утешал себя повеселевший от этих обнадеживающих мыслей Маматай.

Однако, прежде чем подойти к нему, он предусмотрительно расспросил об Алтынбеке Мусабека.

— О-о, им интересуешься, да? — Мусабек изобразил на своем подвижном лице изумление и восхищенно добавил: — Он мой начальник. Все говорят, очень талантливый, — упоенно тараторил он. — Я тебе то же самое скажу. Жутко талантливый... Машины наши видел? Разве их простыми назовешь? А он о них говорит — все равно что орехи щелкает... А уж предложений у него!.. В общем, инженер что надо, скажу тебе, далеко пойдет... А сейчас он старший мастер у нас, а я помастера и посему подчиняюсь непосредственно ему.

Было хорошо заметно, что подобной расстановкой кадров Мусабек явно гордился.

Маматай с нескрываемой завистью вздохнул:

— Везет же тебе, Мусабек, во всем везет.

— Но ведь он же твой земляк. Зашел бы к нему, чего стесняешься? Старшие любят это.

Но Маматай не торопился. «Как-нибудь потом», — упорно думал он и, что его удерживало, сам толком не знал.

Вот он идет, Алтынбек Саяков, старший мастер ткацкого цеха, стремительный, стройный, уверенный в себе и в своих знаниях. Много раз видел издали Маматай, как инженер, быстро-быстро жестикулируя выразительными, как у комузиста, руками, что-то объясняет, показывая на сложные узлы ткацких автоматов, судя по мимике, учит чему-то пожилых людей, прислушивается к их словам и ласково смеется. И Маматаю было хорошо видно, что рабочие охотно улыбаются ему в ответ.

Однажды Маматай все же решился. Он догнал идущего по коридору мастера и с замиранием сердца поздоровался тихим от почтительности голосом.

Алтынбек, резко остановившись, недовольно глядел на Маматая: брови на его красивом, с тонкими чертами лице смурнулись, сдвигались к переносью.

— Алтынбек-ака, — Маматай окончательно ступенялся, — я ведь просто так... Я из Акмойнока... Мы соседи дедушки Мурзакарима...

Напряженное выражение лица Алтынбека внезапно смягчилось, и он, пытливо вглядываясь в глаза собеседника и пытаясь вспомнить, кто же он, дружелюбно произнес:

— Извини, я не сразу узнал тебя, Маматай. Пойдем в контору.

Теперь он уже вспомнил Маматая: конечно, сосед, конечно, родствошик, конечно, товарищ детских лет.

По дороге Алтынбек расспрашивал своего земляка о родном кишлаке. И Маматай впервые за последнее время радостно и оживленно рассказывал обо всем, что интересовало Саякова.

— Что ж, это просто замечательно, что ты попал именно к нам, — словно подытоживая разговор, веско произнес Алтынбек, изучающе взглядываясь в смущенное лицо земляка. — Сколько тебе лет?

— Двадцать один.

Окровенность завоевывается откровенностью. Алтынбеку тоже захотелось рассказать о себе, и он просто и весело произнес:

— А мне двадцать четыре... Правда, это очень много? Да ты и сам, наверно, знаешь, что я учился на текстильщика в Ташкенте. Ну и направили меня сюда сначала сменным мастером в ткацкий, а год прошел — стал старшим... И так вот, видишь, каждый год, как по ступенькам, поднимаюсь по служебной лестнице.

Весь его вид: хорошо пригнанный модный костюм, благожелательный тон довольного собой и уверенно чувствующего себя человека — вызывал неподдельное восхищение Маматая, которое он и не пытался скрыть.

Заметив это, Алтынбек и вовсе расположился к своему внезапно объявившемуся земляку.

— А как поживает мой дедушка, не болеет ли? — опять вернулся к разговору о родных и знакомых Алтынбек. — Ты ведь недавно оттуда?

— Когда я уезжал, он был здоров и, как всегда, бодр.

— Эх, давно же я его не видел, — продолжал Алтынбек уже с ноткой сожаления в голосе. — Работа заматывает, а в отпуск торопишься на курорт. Без отдыха, сам понимаешь, много не наработаешь. — Он сделал паузу, потом задумчиво проговорил: — А ведь дедушка Мурзакарим после того, как отец убился, упав с коня на козлодранье, по сути дела, стал нам отцом. Мать была еще совсем молодая и неопытная. А теперь и навесить его некогда — всякие веские причины всегда находят.

Маматай никак не мог найти такие слова для Алтынбека, чтобы одновременно и утешили его и взбодрили.

— Да не переживай, — наконец просто сказал он, — дедушка Мурзакарим хорошо себя чувствует.

Алтынбек, выбросив потухший окурок в окно, опять неожиданно сменил разговор:

— Ну а ты как, как тебе здесь живется? Привыкаешь?

Главное — не спешить. Нетерпеливые люди больше всего и тоскуют.

Маматай несколько растерялся от такого поворота разговора и неуверенно произнес, глядя в открытое окно:

— Да, постепенно... но...

Тут громко хлопнула дверь и прервала его объяснения. В комнату вошла красивая высокая девушка, не вошла, а внесла себя. Алтынбек стремительно бросился ей навстречу, словно кто-то подтолкнул его.

— Извини, начальник, — кокетливо стрельнув глазами, произнесла она, — я не знала, что у тебя гости.

— Что ты, Бурма, ты несколько нам не помешала. Садись, пожалуйста, Бурмап.

На круглом миловидном лице девушки проступила недовольная, капризная гримаска:

— Я — Бурма. Это мое имя.

— Но мне хочется называть тебя Бурмап, — вкрадчиво проговорил Алтынбек и тут же услужливо пододвинул ей стул.

Только теперь, кажется, вспомнил он о Маматае. А Маматай с любопытством смотрел на девушку, и, перехватив ответный любопытный взгляд Бурмы, Алтынбек изменившимся, сухим тоном произнес, не глядя на Маматая:

— Давай ступай на свое рабочее место.

Маматай вышел из кабинета, сожалея, что не успел сказать о своем желании, огорчаясь, почему с появлением девушки его земляк так переменился. Позже он узнал, что Бурма работает в отделочном производстве инженером-механиком.

— Она, — строго пояснил ему Мусабек, — племянница Черикнаева, того самого Черикнаева, главного инженера комбината.

* * *

На следующий день Маматай проснулся с чувством внутреннего подъема. В это утро грохот и однообразный ритм работы не раздражали уже его. Машины не останавливались ни на минуту, и Маматай не заметил, как наступил обеденный перерыв, и он заторопился в столовую, пока еще там не собралась очередь. Но, проходя через ткацкий цех, Маматай услышал, как его кто-то окликнул. Оглянувшись по сторонам, заметил стоявшего в окружении девушек Алтынбека

Саякова. Тот, не переставая что-то оживленно и весело объяснять им, помахал Маматаю, приглашая подойти.

Маматай среди ткачих узнал нескольких, с которыми он уже успел познакомиться. Вот эта — Халида Хусаинова, чью пышную прическу, едва прикрытую косынкой, Маматай мог сравнить только с гривой льва. Она была знаменитой ткачихой и членом комитета комсомола. Рядом с нею стояла Бабюшай, похожая на подростка, скромная и тихая. А немного позади — тонколицая и смуглая Чинара, дочь Насипы Каримовны.

Алтынбек, ни слова не говоря, взял за локоть Маматая и подвел его к человеку, хлопчущему у остановившегося ткацкого стана.

— Парман-ака, познакомьтесь с земляком.

Большой и грузный Парман степенно обошел стан и подал Маматаю огромную шершавую руку.

— Земляк — это хорошо, — зевнул он во весь рот.

— Ну вот и пригласи в гости, — пошутил Алтынбек.

— Посмотрим! — буркнул сквозь рыжие усы Парман.

— Анара, — не унимался Алтынбек, обращаясь к стоявшей рядом девушке, — отец твой собирается пригласить в гости сородича. Может, сразу организуем свадебный той?

Алтынбек, довольный своей шуткой, громко расхохотался. Анара же, исподлобья взглянув на Маматая, фыркнула и обиженно отвернулась. Краска стыда бросилась Маматаю в лицо, и он, круто повернувшись, направился к двери.

— Чего ты, обиделся, что ли? Я же пошутил! — крикнул ему вслед Алтынбек.

Но Маматай не остановился.

— Смотри, какой вспылчивый! — кинулся за ним девичий насмешливый голосок. — Сразу видно, что деревенщина. Необщительный...

Маматай машинально оглянулся и увидел белолицую, полненькую Бабюшай, насмешливо провожающую его взглядом. Он сразу заметил ее полные икры, подумал со злостью: «На булку похожа, а туда же...» — и с вызовом крепко хлопнул дверь. Однако в его душе остался неприятный осадок, отчего постепенно стало нить сердце: «Зачем она меня оскорбила?»

И тогда мысли его унеслись далеко-далеко, в кишлак, к Даригюль. Какой она была чуткой! Не то что эта, городская, обозвавшая его деревенщиной

Спустя некоторое время Маматай и в самом деле стал гостем дома Пармана-ака. Обычно визиты выглядели так: гость сидел за столом, подпирая кулаками подбородок, и в упор смотрел на хозяина, лежащего на диване с большой пуховой подушкой под боком. Таким образом, со стороны общение хозяина с гостем выглядело довольно странным. Маматай бросит два-три слова, а Парман буркнет в ответ «да» или «нет», а то и вовсе издаст какой-то гортанный звук, и опять в комнате надолго воцарится тишина. И все-таки Маматаю стало казаться, что он может теперь понять характер Пармана-ака.

Батма, жена Пармана, худощавая высокая женщина с голубыми растерянными глазами, готовила ужин на кухне, в то же время успевая и к гостям, чтобы как-то оживить затухающую беседу. Приветливая, быстрая, словоохотливая, Батма заполняла собою весь дом, засыпая мужчин градом вопросов и без конца теребя мужа, мол, встряхнись, не усни.

— Ну что же ты за человек, хотя бы расспросил как следует о своем кишлаке, о родных... Ну что же ты молчишь...

— Спрашивал уже. Тебе-то что от этих новостей, — лениво защищался от натиска Батмы Парман-ака.

— Послушай, неужели тебе все равно, неужели не интересно, как живут земляки? В конце концов, ты ведь тоже жеребенок из того же табуна.

— Ну и что ж? — Пармана было невозможно ничем прогнать.

— Вот наказание божье! — снова подступалась к нему Батма, чтобы расшевелить наконец эту дремотную глыбу. — Вот уж вправду говорят люди: «Горсть земли от сородича равна слитку золота». Сколько раз я тебе говорила и еще раз повторю, если бы не Алтынбек, кому бы ты был нужен!

— И с ним и без него я свою норму выполняю.

— Алтынбек-ака бывает у вас? — удивился Маматай.

На оплывшем жиром лице Пармана появилось подобие улыбки:

— Заходит. Рюмочку другую пропустим, потолкуем о том о сем.

Возвращаясь поздним вечером домой, Маматай шел словно в забытьи. Ночь была тихая. Крупные звезды над городскими фонарями были почти не видны. Редкие прохожие спешили по пустынным улицам, стараясь быть на свету,

да изредка последние автобусы, взвизгивая шинами на повороте, на большой скорости проносились мимо.

Маматай шел и думал о Пармане: «Может быть, так и нужно жить, отступившись от всего, что не касается лично тебя, не вмешиваясь ни во что. Да, но тогда только и останется лежать грудой мяса на диване... Ведь и говорить ему поэтому не о чем — увядшее сердце неразговорчиво. Нет, — усмехнулся Маматай, — нет, такой участи я себе не желаю».

* * *

С каждым днем Маматай все больше и больше втягивался в ритм своей несложной, но требующей терпения и сноровки работы. Он стал выполнять норму, а в удачливые, вдохновенные дни и перевыполнять. А однажды даже поймал себя на мысли, что неплохо бы начать соревноваться с кем-нибудь...

Дни шли за днями, а Маматай шаг за шагом все уверенней чувствовал себя среди таких же, как он, смесовщиков и чистильщиков.

Однажды после выходного дня Маматай пришел за полчаса до смены. В цехе было тихо. И он остановился в недоумении, не сразу поняв, почему не работают станки. Но тут же увидел, что в противоположном конце цеха идет собрание: кто устроился на сдвинутых скамейках, собранных со всего цеха, кто стоял, облокотившись на корпус остановленной машины. Здесь же длинный стол, покрытый старым, лоснящимся куском красного бархата. За столом сидели несколько человек, из которых Маматай узнал Ивана Васильевича Кукарева и пожилого, с косящими глазами старшего мастера Калыка.

Рядом со столом стоял низкорослый, с тщательно прилизанными волосами главный инженер комбината Черикпаев и что-то взволнованно говорил собравшимся.

Маматай тихонько подошел поближе и встал у колонны. Вслушавшись, он понял, что речь идет о трепально-сортировочном цехе. Допущенный цехом брак, оказывается, привел к снижению качества продукции и в других цехах. Черикпаев, совсем разгорячившись, стал обвинять в халатности Кукарева и старшего мастера Калыка.

— А вообще, разберитесь-ка лучше сами, — сердито сказал он и, резко повернувшись, быстро направился к выходу.

Из-за стола медленно поднялся Калык, обычно спокойный и уравновешенный, сейчас он был возбужден до край-

ности. Красный как рак, указывая в сторону Маматая, внезапно закричал на весь цех:

— Вот он, явился наконец один из молодцов бракоделов!

Когда все повернулись к Маматаю, тот настолько растерялся, что, попятившись назад, чуть было не упал.

— А ну, подойди сюда, молодец! — еще громче заорал Калык и, совсем уж разойдясь от распирившего его гнева, командирским тоном приказал молчащим рабочим: — Чего стоите, марш по своим местам!.. А смесовщики бригады Сапаргюль — все в контору!

Надолго останется в памяти Маматая все, что пришлось ему пережить в тот злополучный день. «С чего это он на меня набросился. Маленькие люди все такие», — спешил мысленно объяснить гнев мастера Маматая, подстегнутый горькой обидой на резкость Калыка.

— Калык, — сухо произнес Кукарев, — может быть, хватит крику? Что случилось — то случилось. Сейчас нужно не кричать, а добиться того, чтобы подобного больше не повторялось, понятно?

Калык, сокрушенно покачав головой, уселся за стол, а Кукарев продолжал:

— Давайте разберемся, товарищи, что же произошло? Последние две недели Сапаргюль была на бюллетене, и вы работали одни. Так? Нужно сказать, что новички работали с огоньком... Но правда и то, что вы, товарищи молодые рабочие, отнеслись безответственно к тем вопросам технологии производства, о которых вам в свое время было подробно и, на мой взгляд, предметно рассказано. И вот результат нашей небрежности — пострадала продукция всего комбината... — Кукарев замолчал и внимательно посмотрел в лица стоявших перед ним людей.

Все опустили головы, никто не мог посмотреть прямо в глаза начальнику цеха.

— Вы ведь знаете, — снова заговорил он ровным, спокойным голосом, — что разные сорта хлопка, выращенные в Фергане и в Туркменистане, поступают к нам на комбинат. Для того чтобы изготовить нить под номером шестьдесят пять или сорок, нужно прежде всего правильно распределить хлопок по сортам и строго по сортам и номерам отправить на копвейер. Лишь от качественной нити можно получить качественную ткань: бязь, сатин, ситец... — Кукарев остановился, как бы ожидая вопроса, но в кабинете стояла такая тишина, что можно было услышать жужжание мухи, попавшей в плафон. Кукарев, чуть повысив голос, как бы

подытоживая все сказанное, заключил: — Я не собираюсь читать вам лекции о технологии нашего производства. Поимите, товарищи, что я особо хочу подчеркнуть — каждый из вас выполняет не менее ответственную работу, чем, скажем, я или кто другой на комбинате.

Нет, никогда не забудет Маматай эти слова. Многие разбудили они в его одеревеневшей от непонимания душе, и он сразу же после летучки подошел к Кукареву и прямо сказал ему, что не видит смысла в своей работе, и от этого гнетет его тоска, и хочется ему получить в руки какое-нибудь техническое дело, хочется к машине, к станку.

Кукарев молчал, казалось занятый своими мыслями. Однако, когда Маматай окончил свою несколько сбивчивую речь, без лишних слов предложил ему перейти учеником поммастера. Маматай даже растерялся от этого. А Кукарев кивнул головой и, взяв в руки свою трость, встал, направился в ткацкий цех.

Они шли молча. Внутренне напрягшийся Маматай с каким-то недоверием, неуверенно следовал за прихрамывающим Кукаревым, всем своим видом выражая: «Что-то сейчас будет...»

Увидев Алтынбека Саякова, Кукарев обратился к нему: — Хорошо, что ты здесь. Вот привел Маматая Каипова... Пусть учеником поммастера и начинает. Не возражаешь?

Небольшие острые глазки Алтынбека, казалось, готовы были просверлить насквозь Маматая.

— Что же это ты, Маматай, порхаешь как птица? — жестко сказал он. — То туда, то сюда. Оказывается, ты и из профучилища ушел. А знаешь ли, кем ты был бы сейчас? — И он назидательно поднял палец вверх: — По крайней мере, слесарем или электриком. Поздновато ты спохватился о своей профессии.

Маматай никак не ожидал такого приема и подавленно застыл, не отнимая глаз от пола.

— Вот уж правду говорит киргизская пословица: «Собака, которую тянешь в поле на веревке, не станет гончей», — с еще большей издевкой продолжал Алтынбек. — Маматай, может быть, ты подумаешь да и уйдешь отсюда, пока не поздно, а?

Маматай даже вздрогнул от такой обиды. «Вот и уйду!» — чуть было не вырвалось у него, но Кукарев опередил его:

— Алтынбек, по-моему, ты что-то не то говоришь. Давай по существу дела. Он честно относится к работе — я за ним наблюдал. Ничего плохого в том нет, что парень ищет свое

место в жизни. Давай прикрепим его к какому-нибудь опытному...

До самого конца смены не мог избавиться Маматай от тяжелого чувства, оставшегося после разговора с Алтынбеком. Поговорка о гончей беспрестанно всплывала в его мозгу. Как посмел он так сказать?.. И Маматаю было горько, что поверил в него незнакомый Кукарев, а земляк... Да что там говорить, и так все ясно...

Был поздний вечер. Стрелки больших часов, висевших у проходной, показывали ровно одиннадцать. Идти в столовую ему не хотелось, и Маматай, подняв воротник пиджака и впуснув руки в карманы, направился в общежитие.

Занятый совсем невеселыми думами, он медленно шел по обезлюдевшим улицам и не заметил, как очутился у соседнего девичьего общежития. Он увидел, как двое верзил, выкрикивая угрозы, не пускали в подъезд двух испуганных девушек.

— А ну, пропустите их! — подходя, громко сказал Маматай.

Подвыпившие парни не обратили никакого внимания на его окрик. Тогда Маматай схватил за плечи того, кто держал дверь, и с силой оттолкнул в сторону. Девушки быстро проскользнули в общежитие, и было слышно, как их четкие каблучки застучали по ступеням лестницы.

Все это продолжалось одно мгновение, но Маматай тут же увидел, как второй, лохматый и тяжело дышащий, набывчившись и шаря в карманах, подходил к нему, цедя сквозь зубы: «Ну ты, герой!» И в этот момент Маматай почувствовал, что кто-то ударил его по голове чем-то твердым. Он коротко вскрикнул и, упав навзничь на асфальт, потерял сознание...

* * *

Лишь на третий день после этого случая Маматай смог выйти на работу. Его душила бессильная обида, но он молчал, считая унижительным рассказывать о драке с подонками. Лишь Парману по-свойски рассказал о том, что произошло.

Равнодушно-лениво выслушав его, Парман, не прерывая ремонта станка, вдруг захохотал так, как будто ничего смешнее он в жизни не слышал. Перестав хохотать, Парман привычным для него безразличным тоном доложил:

— Тебя угораздило налететь на Колдоша.

— А кто он такой?

— Ну, он бандит отпетый, — сказал Парман и опять захохотал, но как-то тише и почтительней, — его каждая собака у нас тут знает... Когда-то Колдоша ко мне прикрепили учеником. Зряшный он человечиска, хоть и мыкался здесь долго... То с похмелья зайвится с фонарем под глазом, то совсем не придет, — Парман опять засмеялся, передохнул. — А тут как-то предстал перед начальством и как отрубил: «Ухожу!» А мне что? Я к нему в няньки не нанимался. «Как хочешь», — говорю. Да оно и верно: как кто хочет, так и должен поступать.

«Почему же «как хочешь?» — удивился Маматай, потому что внутренне был убежден, что, если человек на твоих глазах погибает, катится вниз, нельзя быть равнодушным, смотреть на чужую беду со стороны. Но как объяснить все это Парману, который уже отвернулся от него к станку, мыча что-то себе под нос, что, видно, называлось у Пармана пением.

В тот же день Маматая вызвали в комитет комсомола. Секретарь, Чинара Темирбаева, тоненькая, с блестящими, гладкими, обрезанными ниже плеч волосами, встретила его с улыбкой. Ей явно нравилось быть властной.

— Что это с тобой? — И глаза у нее строго, по-учительски округлились, и, не дождавшись ответа, с какой-то обидной издевкой добавила: — Приключений ищешь? Фокусничаешь?

Это было уже слишком. Маматая всего передернуло от таких слов, как от удара камчи¹.

— Я, во-первых, не фокусник и в цирке не работаю, — резко ответил он.

— Хорошо, — перебила его девушка и самолюбиво поджала губы, — хорошо. Но скажи мне, отчего у тебя разбито все лицо?

— Ну и что? Вам кто-нибудь на меня жаловался? — перенял он у секретаря насмешливый тон.

Чинара даже покраснела от досады на этого неподатливого парня.

В этот момент в комнату вошла Бабюшай. Маматаю сразу же вспомнилось ее насмешливое: «Деревенщина!», и он решил про себя: «Ну, сейчас начнет...»

И действительно, Бабюшай тут же вмешалась в разговор:

¹ Камча — хлыст.

— Что за шум-гам? Разве нельзя поспокойнее? Пропе-
сочь его, да покрепче, Чинара!

— Вот когда поступит на меня жалоба, тогда и пропесо-
чивайте! — Терпение Маматая лопнуло, и он, резко хлопнув
дверью, выскочил из кабинета.

Мало того, что его избили, так еще все, словно сговорив-
шись, объединились против него, Маматая, не доверяют,
грозят. Настроение было окончательно испорчено, и Мамат-
тай в тот день еле-еле дотянул до окончания смены.

Но время залечивает и не такие раны, прочно и бережно
стягивает их. Маматай все уверенней чувствовал себя на
новом месте: как-никак помощник слесаря-ремонтника! Все
охотнее он спешил в цех, сознавая себя необходимым, спо-
собным разобраться в том, в чем еще вчера был неучем и
простаком, вот почему его так обрадовали слова наставника:

— Хорошо, очень даже хорошо, Маматай! Мне нравится
твое старание, браток. Кое в чем ты стал разбираться не-
плохо. Если так пойдет и дальше, через полтора-два месяца
будешь иметь разряд.

Как было не возрадоваться после таких слов Маматаю,
ведь еще совсем недавно он, Маматай Каипов, киргизский
паренек из захолустного кишлака, лишь мечтал о том, что-
бы научиться понимать сложный механизм этих чудесных
машин, и не только понимать, но и в любую минуту прийт-
ти к ним на помощь, вернуть их к работе.

Ни минуты покоя не дает себе Маматай: то там, то здесь
можно увидеть его ладную, широкоплечую фигуру, склонен-
ную над остановившимся станком. Что ж, не всегда ему
удается пока пустить машину в ход без помощи мастера. Но
Маматай не отчаивается. Главное, дело ему нравится, и на
комбинат он каждый день идет в охотку.

Однажды вечером, перелистывая страницы местной га-
зеты, Маматай наткнулся на имя Даригюль. У него от волне-
ния перехватило дыхание. Как ни старался он забыть свою
сердечную муку — судьба все время напоминала ему о Да-
ригюль. Он еще раз прочитал репортаж о работе молодых
ткачих из шелкового комбината. Эти несколько строк стоили
ему немало бессонных ночей.

Как-то в выходной день Маматай решил сходить на ба-
зар. Неторопливо размахивая корзиной, шел он по оживлен-
ным улицам. Тяжело оседая, медленно направлялись к
центру города переполненные автобусы, неслись юркие
такси и неловкие «частники».

Свернув на боковую улицу, ведущую к базару, Маматай

лицом к лицу столкнулся с Даригюль. Он так растерялся, что еле смог поздороваться, так и стоял, молча глядя на смущенную неожиданной встречей Даригюль. Первой пришла в себя девушка. Мило улыбаясь, она, как бывало раньше, свободно и беспечно начала:

— Куда же ты пропал, Маматай?

— Здесь работаю, — невнятно и невпопад пробормотал Маматай.

Потом Даригюль долго расспрашивала о киплаке, но он мялся и ничего толком не сумел рассказать, чтобы поддержать разговор.

— Хорошо бы поехать туда, — мечтательно протянула Даригюль. — Теперь и не знаю, когда смогу вырваться в родные места: маленький у меня на руках!

Маматай отвел глаза в сторону, чтобы Даригюль не увидела в них его растерянной беспомощности.

— Вот и хорошо, что ты здесь, — как ни в чем не бывало продолжала она. — Все-таки земляки. Заходи к нам, познакомишься с мужем. Он будет рад...

Она заметно изменилась. Ее статная фигура чуть-чуть расплнела. Полнота придавала движениям Даригюль мягкость и женственность. И Маматай с тоской подумал, что эта красивая, жизнерадостная женщина, ее теплота, ее ласковая улыбка теперь навсегда чужие для него.

— Я ухожу, Маматай! — вернула Даригюль его к действительности, чуть дотронувшись до руки. — Вон идет мой автобус. До свидания...

Она ушла, и Маматай тяжело и устало плюхнулся на скамью. «Боже мой, — продолжало крутиться у него в голове, — неужели люди могут жить бесплодными мгновеньями и надеждами так же, как я все эти годы? Как могла поступить так со мной Даригюль? Хотя, конечно, она ничем не была со мной связана! Да и что, собственно, было между нами?»

А давно ли так хорошо все начиналось? Маматай вспомнил поздний вечер ранней весной. Мягкая прохлада, чуть слышный шелест вонзившегося острой кроной ввысь тополя. Низкая, полная, запутавшаяся в тополиных ветках луна. И плавный лунный луч, упавший на миг на лицо Даригюль... Даже дух захватило у Маматая — такой прекрасной и недоступной сделал лунный свет Даригюль. Какое-то неясное, смутное волнение, как перед прыжком со скалы, охватило Маматая, и он, не удержавшись, обнял Даригюль и поцеловал...

Девушка вскрикнула: «Маматай!» И он тогда будто очнулся от легкого счастливого сна. В лунном свете ее тоненькая фигурка промелькнула и тут же скрылась...

И еще вспомнилось ему, как они вместе поступали в педагогический институт. В вестибюле шумели абитуриенты. В списках принятых Маматай увидел свою фамилию.

— Даригюль, Даригюль, смотри — меня приняли! — обрадованно закричал Маматай на весь вестибюль.

— А моей фамилии нет, — голос Даригюль звучал безучастно, а в глазах закипали слезы, она повернулась и медленно побрела к выходу.

Вестибюль был переполнен. Общий гул голосов прерывался то шумной радостью, то возгласами обиды, то слезами. Даригюль, дойдя почти до дверей, остановилась у окна и что-то напряженно рассматривала в нем, потом решительно направилась к дверям деканата. Маматай бросился за нею.

Декан, пожилой, приветливый с виду человек, участливо усадив посетителей в кресла, вопросительно поглядел на них. Даригюль молчала: спазма сдавила ей горло. Наконец она сказала:

— Почему не приняли меня?

Декан улыбнулся тихой улыбкой врача:

— Дорогая моя девочка, вас было много, конкуре большой и соответственно проходной балл высокий. У тебя какой?

— Проходной... У других был такой же — и поступили.

— Например, я, — вмешался Маматай. — Мы из одной школы и сдавали вместе.

Декан открыл шкаф, нашел их дела и медленно перелистал.

— Ну вот... Конечно, ошибки быть не могло, — облегченно вздохнул он. — Баллы ваши действительно одинаковы. Но у Каипова, оказывается, есть трудовой стаж. Вот справка, вот характеристика...

Даригюль, не дослушав и закрыв рот ладонью, стремительно выбежала из кабинета. Донельзя удивленный всем услышанным, Маматай бросился следом, оставив в полном недоумении декана. Лишь во дворе института ему удалось догнать Даригюль.

— Куда же ты? Я... — взяв ее за руки, Маматай пытался остановить девушку.

Выдернув руки, Даригюль резко остановилась и, глядя прямо в глаза Маматаю непримиримым взглядом, выдохнула:

— Я никогда, никогда не думала, что ты способен на такое... Мог бы поделиться опытом, как это тебе все удалось проделать...

— Даригюль, что ты говоришь? — удивленный Маматай попытался загородить ей дорогу. — Я ничего не знал... Может, это сделал отец?.. Он был здесь...

— Не подходи ко мне! Ненавижу ловкачей! — с презрением сказала она и ушла.

Маматай стоял ошеломленный, не зная, что делать: бежать ли за нею или идти в деканат выяснять столь загадочное появление своего «рабочего стажа»?

Вся жизнь у него из-за этого злосчастного «стажа» пошла кувырком. Маматай, как сейчас, помнил свое возвращение домой. Перед глазами встала мать, уже заметно потрепанная жизнью, но не потерявшая привычной сноровистости в движениях. Ласковая, с мягкими морщинистыми руками... Она сухими губами прижалась к нему, гладила по волосам: «Сыночек...» А рядом радостно блестела черными, как агаты, глазами младшая сестренка Сейдека.

Мать суетливо принялась за дастархан.

Каип прямо с дороги в праздничной лисьей шапке вошел в дом и удивленно посмотрел на Маматая.

— Что случилось? Почему ты здесь?

Маматай твердо сказал, не отводя глаз:

— Учиться не буду, взял документы.

Каип молча повесил шапку и камчу на гвоздь, сел на кошму, выпил чаю, поданного суетливо женой, потребовал:

— Теперь говори, чтобы все понятно было!..

— Я же сказал, что забрал документы.

Отец вздрогнул, как от укола шилом:

— Бред какой!

— Сказал, не буду, и все...

— Плевал я на твои выкрутасы. — Усы Каипа оцетинились. — Да знаешь ли ты, щенок, чего мне стоило, чтобы тебя зачислили?! О деньгах и не говорю!.. Даже перед хрым бухгалтером нашим кланялся за эту самую бумажку... А он и сейчас, как встретит, поллитру требует!

— Вот поэтому и ушел я... Опозорил ты меня, отец! Презирают меня за нечестность! Как глаза покажу?

— Зачем тебе честность, недоумок! Умом нужно жить, а не честностью. Простота, говорят, хуже воровства...

— Выходит, по-разному смотрим на жизнь. Я свое счастье за деньги покупать не хочу.

— А у тебя и денег-то своих нет, — истерически взвизг-

нул отец. — Я тебя вырастил, через трудности, как собака, зубами за шкурку перетащил... А теперь поучаешь меня?..

Каип вскочил с места, сорвал со стены камчу и несколько раз стеганул сидевшего Маматая. Маматай инстинктивно опритал голову. Каип в сердцах отбросил камчу и ударил сына рукой по макушке, подвернул палец и начал кричать: — Проклятый, болван! Ох, мой палец! Ой-ой...

Гюлум, хорошо изучившая вихревой характер мужа, подобрала камчу и хотела выбросить в форточку, но попала в стекло, вылетевшее с жалобным звоном.

Каип набросился с руганью на жену, забыв на время о сыне.

В голос редела испуганная и расстроенная приемом любимого брата шестнадцатилетняя Сайдана.

В доме, чувствовалось, надолго все перевернулось вверх дном. И Маматай решил уехать сразу же, не ожидая примирения и водворения порядка. Но на шее у него повисли мать и сестра, и Маматай остался с тем, что в первый же благоприятный момент уедет отсюда навсегда. В доме двум взрослым мужчинам стало тесно.

А Каип вдруг притих и сразу как-то сдал, почувствовал себя стариком, увидев, что сын у него — взрослый и больше в нем не нуждается.

Утром Маматай, на минуту прижав к груди плачущую мать и поцеловав в щеку сестренку, ушел из дому, не зная пока, куда приведет этот его первый самостоятельный шаг. Проходя мимо военкомата, он вспомнил, что возраст у него призывной, и встал в очередь на регистрацию...

Служить ему было тяжело, одиноко в ссоре со всеми, кто был дорог и близок ему столько лет... Часть Маматая стояла на Дальнем Востоке, и даже письма матери, написанные ученическим почерком Сайданы, приходили редко и нерегулярно (мать писать не умела, а разве Сайдану допрощись!)....

Маматай посылал Даригюль письмо за письмом, мол, так и не начав учиться, ушел из института. Но ответа не дождался. И все же осталась у него надежда, что ждет, что одумается и все у них наладится...

Вернулся Маматай из армии раздавшимся в плечах, с огрубевшим голосом и руками. Он обнял постаревшую еще больше мать, поднял, демонстрируя свою силу, закружил по комнате.

Мать смущенно уговаривала:

— Ну, будет тебе, сынок, отпусти — совсем испугал ста-

руху! — Очутившись снова на земле, восхищенно смотрела снизу вверх: — Женить тебя пора, Маматай! Оставайся дома... У всех твоих ровесников уже свой очаг, дети. И мы не бедные, свадьбу справим хорошую, перед людьми стыдиться не будешь. А кому, как не снохе, лепешки испечь и чай заварить.

— Учиться буду, мама. А встречу девушку, что ж, женьсь...

Мать огорченно вздохнула, но спорить не стала, мол, дети теперь сами по себе живут.

Председателю колхоза ой как хотелось уговорить Маматаю остаться в кишлаке. Торобек специально надел новый костюм с Золотой Звездой Героя Социалистического Труда, чтобы Маматай воочию убедился, каких высот можно достигнуть и в колхозе.

— Послушай, Маматай, все для тебя дороги открыты: хочешь чабаном, хочешь в хлопковую бригаду... Только скажи — завтра же на курсы механизаторов отправим.

Маматай уехал в город, все еще надеясь встретить Даригюль, так как случайно услышал, что по-прежнему работает на шелкоткацком комбинате. Он одиноко бродил по улицам, где они когда-то проходили с Даригюль... И Маматаю казалось, что с тех пор ничего не изменилось, и ему трудно было поверить в разрыв с Даригюль. «Пойти на комбинат, разыскать, объяснить?» Но решиться пока он не мог, не мог рисковать, потому что надежда на любовь Даригюль согревала его одиночество, помогала жить и стремиться к жизни интересной, осмысленной и достойной.

И вот эта встреча... Разве такой рисовалась она ему все эти годы! Что же Даригюль наделала! Теперь ведь ничего не поправить и не вернуть. У прошлого нет надежды. На душе у Маматаю было пусто и тоскливо. На рынок идти расхотелось — лишь бы поскорее забыть, лишь бы не думать ни о Даригюль, ни о своей мечте, которой он жил столько времени...

Увидев неподалеку кафе, Маматай направился туда. Было еще рано, в зале сидели редкие посетители. Маматай подошел к стойке, за которой франтоватый буфетчик с роскошными усами деловито протирал бокалы, выстроившиеся перед ним рядами.

— Можно водки? — угрюмо спросил Маматай.

— Хоп! — буфетчик всем своим видом изобразил вежливость и радушие и приложил правую руку к сердцу. — Милости просим за стол.

Что было потом, смешалось в памяти Маматая. Очнулся он ранним утром от, казалось ему, разламывающего виски стука. Удивленно оглядевшись, он обнаружил, что лежит навзничь на широкой мягкой кровати в незнакомой комнате. Рядом с кроватью на стуле, на уровне его головы, стоял зеленый будильник, булькающий гулкими звуками. Маматай попытался было повернуться, но тотчас боль обручем охватила голову, и в глазах помутнело. И тут он увидел рядом с собой полнотелую женщину, в которой к своему ужасу узнал немолодую сотрудницу отдела кадров Шайыр. «О господи! — пронеслось в мозгу у Маматая. — Да я же с нею эле знаком!»

Шайыр не спала. Прищурив и без того узкие, косо разрезанные, как у японки, глаза, она насмешливо улыбалась уголками рта.

Маматай смущенно приподнялся и глухо, от испуга не в силах овладеть голосом, пробурчал:

— Где я? Как сюда попал?..

— Ха-ха-ха, не видишь, что ли, где находишься? Или меня не узнаешь?

Маматай судорожно пытался что-либо вспомнить, но хмельной туман начисто заслонил от него вчерашнее.

Шайыр продолжала смеяться и в конце концов, снисходительно похлопав его по плечу, рассказала о вчерашнем.

— Захожу в буфет купить конфет, смотрю — ты сидишь, пьяный до невозможности. К кому-то пристал, схватил за грудки, стал требовать водки у буфетчика. Тот сердится, грозит милицию вызвать. Ну я пожалела тебя, подошла, говорю: «Ну-ка пошли!» А ты как заорешь на меня: «Кто ты такая?!» Я не долго думая и сказала тебе: «Жене¹ я твоя, Маматай, жене!» Тут ты чуть-чуть утихомирился, но потребовал, чтобы я выпила с тобой. Пришлось выпить — иначе не удалось бы вытащить тебя оттуда...

Сторая от стыда и обхватив голову руками, чтобы хоть немножко утихомирить невыносимую боль, Маматай извинительно пробормотал:

— Шайыр, спасибо тебе, но понимаешь...

— Ничего... ничего... А уж как умолял меня потом... Рабом до конца дней обещал быть... Сердце мое не каменное, как видишь... — Узкие глазки Шайыр сочно блестели от искривляемого довольства. Нисколько не стесняясь Маматая, она встала, размашисто налила полстакана водки и,

¹ Жене — жена старшего брата или просто старшая по возрасту.

сунув его в руки парня, пожалела: — На, опохмелись, легче станет!

С отвращением выпив водку и кое-как ополоснув лицо холодной водой, Маматай засобирался домой. А Шайыр на прощание по-хозяйски предупредила:

— Маке, меня сегодня вечером не будет дома. Ключ возьмешь вот здесь, под ковриком. Располагайся без меня как дома: поужинай, пей чай... Вот так.

* * *

В общежитии Маматай оказался в одной комнате с Хакимбаем Пулатовым. Он был благодарен инженеру за то, что тот первый подошел к нему и запросто предложил:

— Слушай, поселяйся ко мне. Оба мы холостяки. Будет веселее, согласен?

Хакимбай был простым, открытым и веселым человеком. С ним, как ни с кем другим, Маматаю было легко и интересно. Полки, шкаф и подоконники в их комнате были сплошь завалены книгами, что несказанно обрадовало Маматаю.

По вечерам Хакимбай, как правило, или читал за поем, или старательно чертил, или же, засунув руки в карманы и ссутулившись, часами ходил по комнате из угла в угол. Маматай же старался сидеть тихо и не мешать своему товарищу. А потом и сам стал невольно подражать ему.

Часто к ним, вернее, к Хакимбаю навещался Алтынбек Саяков. Между ним и Маматаем после той сцены в ткацком, что называется, кошка пробежала. Да и о чем им было говорить? Но Маматай как губка впитывал в себя все, что слышал от них. А они часами могли спорить и решать, как улучшить тот или иной узел станка. Иногда они даже ссорились, но как только кто-то из них нападал на новый и оригинальный ход, все, довольные, искренне и заразительно смеялись. Если же вечер проходил в бесплодных спорах, расставались хмуро и подавленно. И у Маматая вошло в привычку радоваться или огорчаться вместе с ними.

Живя в общежитии, Маматай вскоре узнал всех, вместе со всеми спешил на смену, а в свободное от работы время, когда подбиралась компания, шли в кино или всей гурьбой на танцы.

Но его не тянуло в клуб — он стеснялся и своей скромной одеждой, и робкой неуклюжести в обращении с девушками. Потоптавшись для приличия среди таких же, как он,

целовких парней, Маматай обычно без сожаления спешил обратно в общежитие, к книгам, к Хакимбаю.

Но ничто в жизни не проходит даром, и настал момент, когда характер Маматая проявился во всей полноте, что стало для многих неожиданностью.

Отчетно-выборное собрание ткацкого цеха шло обычным порядком. Комсомольский секретарь Чинара Темирбаева, не скупясь на похвалу, перечисляла фамилии передовиков. Все это было давным-давно известно, и все спокойно слушали быструю, несбивчивую речь Чинары. Но, перейдя к вопросу трудовой дисциплины, она в числе прогульщиков и бракоделов назвала и Маматая.

Его словно окатили ведром холодной воды. «Как, опять? Да за что она меня позорит?» — чуть было не закричал прямо с места Маматай.

В комнате стоял равномерный приглушенный гул голосов, как всегда, пока не раскачались, выступать никто не спешил. И вдруг неведомая сила подняла Маматая с места, и он, удивляясь своей отваге, услышал немного хриплый собственный голос:

— Можно мне сказать?

Все разом обернулись к нему, и, хотя для него все лица слились в одно, он успел заметить насмешливо улыбающуюся Бабюшай. От этого к нему вернулась пропавшая было злость и на эту толстую глупую девчонку, и на остальных, спокойно и равнодушно выслушавших, как его, Маматая, ни за что ни про что унизили, и он выпрямился и начал уверенно говорить:

— Мы вот сейчас прослушали обширный доклад о проделанной нами работе. Пусть на меня не обижается Чинара, но, по-моему, это не доклад, а красивая песня о том, какие мы хорошие, кроме отдельных личностей, конечно... Я вот и хочу спросить, будем ли мы и дальше умиляться друг другом или все-таки пора поговорить серьезно и начистоту.

Гудение в зале усилилось, отовсюду посыпались реплики:

— Ишь выискался...

— Перестаньте, парень дело говорит.

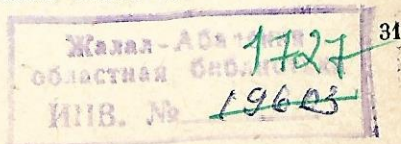
И еще сильнее несколько подбадривающих голосов:

— Давай, Маматай, давай не дрейфь...

Но громче всех, не выдержав, закричала Чинара:

— Так, по-твоему, не надо было говорить о самом важном?

— Нет, и об этом нужно было сказать, но все же дело



администрации — цифры, графики... Есть начальники цехов, старшие мастера фабричных звеньев...

Опять забурили, зашикали, загудели на разные голоса в зале.

— Значит, комсомольцы должны остаться в стороне?

— Комсомольцы не должны быть в стороне, — все убежденнее звучал голос Маматая, — но, товарищ Темирбаева, работа комсомола — это прежде всего работа с молодежью... Вот скажите мне, раз вам все ясно и от этого, видимо, всегда весело, — не удержался он от колкости, обращаясь к Бабюшай, — почему молодежь, пришедшая из деревни, не остается на комбинате?

— Такие, как ты, и убегают, — вдруг взорвалась Чинара, — во все лопатки убегают, соскучившись по атале!¹

— Вот среди таких, как я, — еле сдержал себя, чтобы не повысить голоса, Маматай, — и нужно вести по-настоящему разъяснительную работу, по-комсомольски...

— По-моему, Маматай говорит нужные вещи, — поддержала его председатель собрания Халида Хусаинова.

Чинара не унималась, щеки у нее раздулись от гнева, тонкие брови застыли в изломе.

— Здесь не детский садик: у каждого есть право поступать, как он считает нужным.

— Право, конечно, есть, но... — Маматай запнулся и, обращаясь уже ко всем, продолжал. — Может быть, кто-нибудь скажет мне, где сейчас те молодые ребята, что вместе со мной поступили на комбинат? Ушли куда глаза глядят. А вот у меня в отличие от вас, Чинара, душа за них болит, потому что я знаю, каково быть на перепутье... И еще я хочу спросить лично вас, секретарь, почему вы назвали меня среди прогульщиков?

— Ах вот в чем дело? — с язвительным, все понимающим смешком обвела всех присутствующих взглядом Чинара. — Могу уточнить: за хулиганство.

— Даже в этом, секретарь, вы не сочли нужным разобраться. Так вот я хочу хотя бы сейчас внести ясность: на меня напали, когда я вступился за наших же комбинатских девчат, — голос у Маматая был сухой и серьезный, подчеркивающий всю официальность заявления.

— Правильно!

— Он говорит правду!

¹ А т а л а — похлебка, заправленная мукой и кислым молоком.

В зале начался такой шум, что Чинара чуть не сорвала голос, обращаясь к председателю:

— Регламент! Соблюдайте регламент!

Но удержать в своей власти взбаламученный выступлением Маматая зал Чинаре было уже не под силу. Много наболевшего и пережитого было высказано на этом собрании, это особо подчеркнул в своей речи представитель горкома комсомола. А при голосовании Маматая выбрали в новый состав цехового комитета.

* * *

В тот же памятный день к Маматаю приехал отец, старый Каип. Поглаживая седые вислые усы, он пристально всматривался в осунувшееся лицо сына. С тех пор как они виделись в последний раз, Маматай сильно изменился. И старик, обычно чутко настроенный на любое душевное состояние сына, теперь тщетно пытался угадать причины происшедших с Маматаем перемен. И Каип, обычно заводящий разговор издали, сегодня начал его неудачно, напрямую — явный знак стариковской рассеянности.

— Стало быть, перешел на новую работу? — нервно поглаживая усы, спросил он. — А зарплата как, повысится?

— Не знаю, — уклонился от ответа Маматай.

Но старик не унимался. Он не понимал, как это можно легкомысленно относиться к такому вопросу.

— Как это так, не знаю? Тебя переводят на новую работу, а ты не поинтересовался, какая будет зарплата! Что-то ты мудришь, сын, финтишь что-то.

— Ата¹, сколько заработаю, столько и получу, — уже гораздо мягче сказал обиженному отцу Маматай.

— Так-то оно так, — задумался над какой-то дальней своей мыслью отец, — но как мне тебя понять, сынок?.. Ты живешь за тридевять земель от родного дома, один, бог знает как, и все, что дорого нам, тебе не интересно...

— Я сюда не за деньгами приехал, — насунился Маматай, в душе его закипела обида. — Человек должен найти свое место в жизни, свой стержень...

— Сынок, я не против, но все же... — Отец не умел говорить, не умел и убеждать.

Да, Каипу было трудно понять то новое, что появилось в его сыне, а еще труднее было смириться с мыслью, что он,

¹ А т а — отец.

Каип, напрасно старался, устраивая своего сына в институт. «Неустойчивые эти молодые, не хотят учиться, — удрученно размышлял он над поступком сына. — Был бы всеми уважаемым учителем, а теперь, вот тебе, пожалуйста, ушел в простые рабочие, да еще и не спроси ничего». Но нужно было не ссориться, а убеждать, и посему, почесывая свою давно поседевшую голову, он сказал не без ехидства:

— Но если ты не бедный, может, поможешь нам?

— Конечно, — нахмурил брови Маматай, — маме куплю платье, а тебе ичиги¹.

— Ой-ой, — часто моргая маленькими, прищуренными глазами, протестующе замахал руками старый Каип, — и к чему они нам, эти наряды! Одежки и своей до конца дней хватит. Но вот, если есть у тебя деньги, то дай их лучше мне: я на базаре телят дешевых видел. Куплю одного...

— Еще теленка? — удивился такой хозяйственной дотошности Маматай. — Посмотри, отец, во что вы с матерью одеты! Спите под дырявым тряпьем. И все оттого, что в мыслях только одно, где бы и как прикупить домашней скотины.

Такой запальчивости и отпора старик не ожидал от обычно смиренного Маматая и молчал, не зная, что возразить.

На другой день Каип упросил сына показать ему комбинат. Старик плохо спал ночью, размышлял о прихотливой судьбе своего первенца и уже под утро решил, что следовало бы посмотреть на то, к чему так быстро и крепко привязался сын.

Получив пропуск, Маматай привел отца в ткацкий цех. С улыбкой следил он за вконец ошеломленным отцом. Старый Каип, быстро-быстро что-то шепча себе под нос и с опаской поглядывая на бешено крутящиеся веретена, время от времени обращался к сыну:

— Ух! Если посадить за прялки тысячу бабок, разве бы смогли такую уйму напрясть, сколько одна эта громадина! — И, наклонившись к уху Маматая, хитро: — Ой аллах... Сколько же стоит одна эта штуковина?

Маматай рассмеялся:

— Точно не знаю, отец. Но, думаю, не менее трехсот рублей.

— Охо-хо, — огорченно вздохнул старый Каип, — каждая стоит, как хорошая породистая корова!..

И в его воображении тотчас возникла картина: большое стадо его, Каипа, коров бредет по косогору Ак-Кии.

¹ Ичиги — кожаная, облегающая ногу обувь.

В это время Маматай старался исправить стоящий без движения станок. Старику понравилось, как ловко, без боязни орудует его Маматай со станком. И тут же с невольной гордостью он подумал: «Как же это сын так быстро научился управляться с ним?» Но вскоре его внимание привлек натяжной ремень станка, и Каип переключился на него.

— Вай-вай, смотри, сынок, какая подходящая кожа для стременных ремней... Ты бы дал мне его...

Каип был несказанно удивлен, что Маматай — небывалое дело! — решительно отказал ему, но промолчал. А Маматай еще больше расстроился...

«И почему отец такой, — переживал он, возвращаясь домой, — почему норовит все тащить в дом? Себе, все себе. Жадные люди — несправедливые».

А на другой день ранним, еще настоящим на прохладе утром старик засобиравшись домой. Маматай не удерживал. Каип, тщательно уложив свои покупки, на прощание не утерпел и высказал Маматаю свое отцовское слово:

— Ну хорошо, сынок. Вижу, что даром ты свой хлеб не ешь, и, коль хочется тебе быть здесь, я со всей душой не против. И все же не сердись, но деньги не транжирь, а копи, береги, собирай да храни, как люди хорошие говорят, по душам зубов. Нам с тобой надо копить деньги и разводиться скотину.

— Да зачем же, отец? — удивился Маматай.

— Как это зачем? — Глаза отца вынырнули, как мыши из норок, и тут же спрятались. — Вот ведь ты какой неразумный. Что же ты собираешься всю жизнь бобылем коротать? Так и будешь вечно обнимать свои колени? А жениться на-думаешь — нужны будут деньги или нет? Вот то-то и оно... Говоришь, рано тебе жениться? Нет, женить тебя — мой первый долг перед шариатом. Или ты хочешь, чтобы я нарушил священные обычаи? Чтобы все, что я ем, оказалось макроо?¹ — И, приняв строгое молчание сына за одобрение, решил довести дело до конца. — Послушай, сынок, — понизил он голос почти до шепота, будто боялся, чтобы кто-нибудь не подслушал его тайну, — я нашел тебе невесту из достойной семьи. У соседа нашего Мурзакарима внучка выросла, можешь мне поверить, не девушка, а загляденье. Да и Мурзакарим недавно сам намекал, что не прочь породниться.

— Отец, что ты говоришь? — взвился Маматай. — Зачем это нужно?

¹ Макроо — пища, оскверненная грешником.

— Перестань, перестань, — заботливо зарокотал голос Каипа. — Знаешь ли ты, что эта семья знатная... Сколько себя помню, они всегда считались самыми богатыми и именитыми в нашем кишлаке. Да только время такое, что стали они нам ровней... А то бы и не глядели, хоть мы и кланялись бы до земли...

Терпению Маматая пришел конец, он давно уже отвык от таких разговоров.

— «Мурзакарим сказал так».. «Велел сделать это»... «Считает, что нужно сделать так, а не иначе», — почти кричал Маматай. — Отец, ты уже седой, ну хотя бы на старости лет сможешь жить, не оглядываясь на других?

Отец и сын спорили еще долго, до хрипоты. У каждого была своя жизнь — и по этой жизни правда. Так и расстались, убежденный каждый в своей правоте.

* * *

— Маматай! — услышал он вдруг женский голос, который не сразу узнал. И лишь когда в темноте стали вырисовываться очертания приземистой, расплывшейся фигуры, Маматай понял, что это Шайыр.

Подойдя к нему почти вплотную, Шайыр звонко рассмеялась.

— А я и не знала, что ты прекрасно поешь и играешь на комузе¹, — ласково дотронулась она до руки Маматая, зазывно растягивая слова. — Представь себе, пока я слушала тебя, забыла обо всем-всем...

— Нет, я не певец. Так, найдет иногда, — оправдывался он, но похвала была ему приятна.

— Перестань прибедняться, Маматай. Сегодня никто не пел лучше тебя. Зашел бы, а?.. И комуз с собой прихвати, хотя бы для песен зайди... — добавила она с легким упрямством.

Они остановились под уличным фонарем. Маматай смущенно посмотрел на нее. С того памятного дня они виделись лишь мельком, на бегу, на комбинате. Маматай, поздоровавшись, тут же отводил глаза, а Шайыр тоже не делала никаких попыток напомнить о себе.

Шайыр приоделась и нарядилась. В неоновом свете уличного фонаря она показалась Маматаю даже загадочной и красивой. Ее грудной смех, нежный, зовущий запах каких-

¹ К о м у з — киргизский музыкальный инструмент.

то хороших духов вызывали у Маматая смутное, далекое, но все же приятное чувство.

Шайыр без умолку нарочито покровительственно болтала:

— Сижу в зале, волнуясь, как дурочка, за него, думаю, хотя бы один раз взглянул в мою сторону, а он... А он, конечно, совсем забыл обо мне...

Маматай рассмеялся и мягко сказал:

— Ну как я мог кого-то увидеть со сцены?..

— Да, но ты ведь различал тех девушек, что выступали рядом с тобой,— нарочито ревнивым, капризным голосом проговорила Шайыр.

— Господи, мы же исполняли номер!

— Да, конечно, они после концерта, получив свои цветы, разбежались и бросили тебя... Ах ты мой бедный...

Шайыр, заглядывая Маматаю в глаза, теплой, мягкой ладонью ласково провела по щеке, сильная и властная тяга охватила его, и он, забыв обо всем на свете, сжал ее в объятиях.

Шайыр жила одна в небольшой квартире, состоящей из комнаты и крохотной кухни. Но, к удивлению Маматая, дверь им открыла молоденькая девушка лет пятнадцати-шестнадцати, тоненькая и изящная, с множеством блестящих косичек-змеек на голове. Ее звали Зейне. Шайыр тут же объяснила, что Зейне приехала из деревни, чтобы поступить на комбинат, ну вот она и взяла ее к себе пожить.

Пока Шайыр говорила, Маматай огляделся: у окна накрыт стол, правда, небогато, но явно заранее, и он подумал, что, наверное, Шайыр рассчитывала, что приведет его к себе, а может, ждала и кого-то другого. Впрочем, какое его дело, спсиходительство решил он.

Вошла с кухни Зейне, не глядя на Маматая, поставила горячий чайник на стол.

— Зейне,— обратилась к ней ласково Шайыр,— тебе ведь рано завтра вставать, так ты ложись на кухне.

Девушка тихо кивнула головой и так же тихо вышла.

Маматаю стало не по себе, он неловко, не зная, куда себя деть, топтался на месте.

Шайыр включила проигрыватель: комнату заполнила чарующая, немного грустная мелодия. Откинувшись на спинку стула, хозяйка дома закрыла глаза, покачивая головой в такт музыке, низким, грудным голосом стала подпевать, казалось совсем забыв о госте.

А Маматай все больше и больше сокрушался: «Ну зачем ты здесь, Маматай? И что подумает эта девчонка? Что, мол,

здесь на комбинате все такие, как он и Шайыр...» И тут же сам себя успокоил, мол, что ж тут плохого, зашел выпить чаю.

Шайыр наконец уменьшила звук проигрывателя, погасила верхний свет и включила ночник, медленно стала раздеваться. Увидев, что Маматай застыл, с испугом глядя на нее, Шайыр подошла к нему и ловким, копячим движением прижала его голову к своей груди.

— Что ты, миленький ты мой... теленочек мой, — пылко зашептала она ему в ухо. — Ну кто же ты, если не теленочек? А? Неужели тебе не хочется приласкать твою желанную... Она ведь рядом с тобой... Ждет...

Маматай решительно отвел руки женщины.

— Шайыр, ты что? За дверью ведь девочка!..

— Ну и что же? — недовольно возразила она. — Что же я теперь из-за нее должна в святые записаться?

Подойдя к постели, она вдруг покачнулась и с легким стоном опустилась на кровать.

— Иди ко мне, — нежно выдохнула она.

Маматай готов был провалиться сквозь землю.

— Нет, Шайыр! — твердо сказал он. — Ни к чему все это...

Шайыр медленно поднялась с кровати и, подойдя к нему, со всего размаха ударила его по щеке — раз, еще раз... Опомившись, он сильно стиснул ее руки, и та по-бабьи громко и отчаянно заплакала. Маматай окончательно растерялся: уйти ли, обидевшись, или, несмотря ни на что, успокоить эту несчастную, одинокую женщину.

Шайыр подняла голову и хрипло сказала:

— Ты... ты самая последняя из всех... сволочь!.. Изображаешь из себя, что ты ни при чем... У тебя, видите ли, есть гордость, и у меня она есть, слышишь, теленочек ты мой!..

— Шакин, ради бога, скажи, что с тобой? — как можно мягче спросил Маматай, он впервые обратился к ней уменьшительно-ласково, как к ребенку.

— Ненавижу всех, — может быть, от этого еще сильнее разрыдалась Шайыр. — Еще один, такой же, как ты, ходит по земле, будь он проклят!.. Исковеркал мне жизнь...

Злость погасила все другие чувства, и Шайыр, закурив сигарету, замолчала. Маматай, обрадованный тем, что она чуть-чуть успокоилась, все же решил разобраться, в чем причина ее несчастий. Он обнял ее за плечи и потребовал:

— Или рассказывай все толком, или не отпущу...

В какую-то долю секунды Маматай почувствовал, что он теряет равновесие, так сильно Шайыр толкнула его в грудь. Отлетев к стене, он услышал:

— Убирайся, пока не поздно, убирайся!

Рука ее потянулась к пустой бутылке, и Маматай испуганно попытался к двери и выскочил во двор. Уже во дворе он услышал, как за ним захлопнулась дверь и хриплый голос Шайыр с презрением произнес: «Теленок...»

Что же ему делать? Маматай, никогда не встречавший женщин такого крутого нрава, чувствовал свое бессилие и еще долго стоял у дверей, потом медленно направился в общежитие, убитый, одинокий, чувствуя себя совсем зеленым, ничего не смыслящим мальчишкой.

* * *

В один из майских дней среди молодых рабочих в просторном кабинете директора комбината сидел Маматай. Бегло просмотрев список, директор Темир Беделбаев, пожилой, седой человек, в очках с толстыми линзами, поднял от бумаги плоское костлявое лицо и окинул внимательным взглядом присутствующих, потом густым, тяжелым басом медленно проговорил с назидательной интонацией пожилого и уже уставшего от дум человека:

— Джигиты, мы вместе с нашими комсомольцами тщательно отобрали пятьдесят молодых людей. Вот список, — он чуть-чуть приподнял листок. — В чем цель? Нам нужно пополнить технические кадры. С этим заданием мы и отправим их, то есть вас, друзья, в Ташкент на шестимесячные курсы поммастеров. Потом половина вернется, а остальные останутся на стажировке. Понятно, джигиты? — Директор воспрянул духом. — Вернетесь сюда уже специалистами. Как смотрите на это, согласны ли?

— Согласны! — шумно откликнулись джигиты.

Просторный кабинет директора сразу наполнился возбужденным шумуканьем. А сидящий у самой двери хрупкий подросток робко спросил:

— А почему среди нас нет девушек?

— Джигиты, — опять бодро произнес Беделбаев, сдвигая очки почти на кончик носа, — девушки уже стажировались как прядильщицы. Вы будете работать на тяжелых станках, а это мужское дело.

— Понятно, но жаль, — разочарованно протянул тщедушный паренек, — скучновато будет там.

Директор широко и доброжелательно улыбнулся, да и на маленьком, как у ребенка, личике Черикпаева юркнула быстрая улыбка.

— Не огорчайся. Там есть и наши девушки на стажировке.

Ребята возбужденно зашевелились, заплескался смех.

— У меня есть вопрос,— Маматай поднялся с места.— Я еду на курсы. Это моя мечта. Но мне еще хочется поступить в институт в Ташкенте, заочно. Как вы на это смотрите?

Директор повернулся к главному инженеру, мол, давай отвечай, и тот, не спугнув с лица улыбки, ответил Маматаю:

— Конечно, одобряем. Дадим отпуск. А не сдашь — вернешься на курсы. Понятно?

— Поможем,— поддержал директор,— будет учиться за счет комбината.

* * *

Слова главного инженера окрылили Маматаю, и он все эти дни с радостью готовился к отъезду, но что-то все же не давало покоя, будоражило душу, а связана была его душевная неустроенность со странным поведением Шайыр. За день до отъезда решил он зайти к ней попрощаться.

— Не выгонишь, как в тот раз? — робко переступил порог ее дома Маматай.

Шайыр долго и изучающе смотрела в упор на гостя.

— Теленок...—медленно и задумчиво наконец протянула она.

— Как-никак, а живое слово.— Маматай искренне обрадовался и такому приему.

Они сидели друг против друга за столом, и от выпитого вина лицо у Шайыр разрумянилось и в глазах появилась детская беспомощность.

— Шакин,— тихо сказал Маматай,— я уезжаю на полгода в Ташкент. На курсы. Вот пришел попрощаться.

Шайыр ничего не ответила, только одобрительно кивнула головой.

— Шакин,— опять тихо и робко попросил Маматай,— ей-богу, в тот раз я ничего не понял, о ком это ты говорила и что он тебе такого сделал?

Она почему-то глубоко вздохнула, плечи у нее опустились: ей не хотелось, чтобы прошлое снова возвращалось к ней.

— Мне было тогда семнадцать лет,— тихо, с трудом на-

чала говорить Шайыр, — и я его полюбила, словно на меня нашло затмение. Ничего от него я не скрывала, ни сердца, ни чувства, потому что я верила ему. Но он меня бросил, подло, воровато. А я осталась, что страшнее всего, в положении... Мой отец, очень религиозный, фанатичный человек, сразу вынес свой суровый приговор: «Род наш гордый, мы никогда не склоняли ни перед кем головы. А ты осрамила нас. Как теперь смотреть в глаза людям? Нет, я спасу честь рода. Я готов пожертвовать тобой... Вот так!» Больше трех месяцев держали меня в глухом сарае, как узницу, представляешь? Родила я зимой в нетопленной конюшне, и у меня тут же отобрали ребенка. — Шайыр с всхлипом втянула полной грудью воздух и осторожно выпустила его — это она боялась разбудить свои страшные думы.

Маматай сидел, боясь шелохнуться. Все, что рассказывала Шайыр, было диким, не верилось, что в наши дни может быть такое. А Шайыр, вся во власти прошлого, молчала, расширившимися от страдания зрачками глядя куда-то вдаль.

— Я не умерла, — встряхнув головой, продолжала она свой рассказ, — и не хотела умереть... ночью ушла из дому. Это был последний день войны: голод, трудности... Ох и намыкалась я, но надо было держаться. Помогли добрые люди, и я поступила на швейную фабрику... Прошли годы, постепенно все наладилось у меня, и я даже вышла замуж за инвалида войны, но рожать я уже не могла, а он хотел детей, вот мы по-доброму и развелись... Так и живу соломенной вдовой, вольной птицей, сама по себе. А ты, видать, осуждаешь за это, хочешь причислить меня к плохим, а себя — к хорошим... Не правда ли?

— Нет-нет, Шакин, не так! — торопливо запротестовал Маматай.

— Но, — резко и гневно произнесла Шайыр, — я не позволю унижать себя, пока на плечах вот эта голова, — Шайыр указательным пальцем ткнула себя в висок и, вытянув вперед обе ладони, продолжала: — На работе я на хорошем счету, понимаешь? Не сомневаешься?

— Нет, Шакин, нет, — беспомощно повторял Маматай.

— Правда, я в конторе прозябаю. На стане и я могу работать. Но пока нельзя — на то есть серьезные причины, и покоя нет...

На глазах Шайыр проступили слезы отчаяния и поздней горечи. Сердце Маматай сжала острая, безысходная жалость

от этих гневных воспоминаний женщины. Потом они долго сидели молча, и Маматай решил наконец спросить:

— А где все-таки этот человек, которого ты так и не захотела назвать?

— Где? На земле, — с насмешкой, обращенной к себе, отозвалась Шайыр.

— Это не ответ, Шайыр, — с тихой обидой заметил Маматай.

Шайыр громко и почти весело рассмеялась.

«Что за человек? Да как она может смеяться?» — удивленно подумал Маматай.

— Здесь он, — продолжая еще смеяться, сказала Шайыр. — И живет он, доложу я тебе, лучше тебя и меня.

— Ты его видишь?

— А то как же! Каждый день. Наверно, я его еще люблю, иначе давно бы отомстила. — Шайыр замолчала, видно, воспоминания совсем выбили ее из колеи. Наконец она вздохнула: — Если кого любишь, а он постыдно, как трус, уйдет от тебя, чувствуешь себя бессильной, но готовой на все.

— Брось, Шайыр! — гость резко взмахнул рукой.

— Да я просто так. На это есть причины...

Видимо, какая-то тайна угнетала Шайыр. Но чем мог он ей помочь? Он только беспомощно повторял:

— Ты покажи мне этого человека. Покажи, а?

Еще громче смеялась Шайыр. Казалось, смех переполнил ее всю, и ей во что бы то ни стало нужно освободиться от него.

— Ты с ним видишься чуть ли не каждый день! Да-да!

— Я? Разве? — еще больше растерялся Маматай.

Но Шайыр тут же спохватилась:

— Да ладно. Я шучу... Понимаешь?

Еще долго они сидели друг против друга. Откровенность всегда сближает, но Шайыр больше ничего не сказала.

Утром у главных ворот комбината собралось множество провожающих: Мусабек, Кукарев, Халида, Хакимбай — всех не перечтешь. Глаза Маматая как будто искали кого-то, но он и сам не знал кого — просто было ощущение, что и его кто-то должен прийти проводить. Но с ним все время заговаривал Хакимбай, он на ухо Маматаю успел даже шепнуть какую-то шутку, но Маматай не обратил на нее внимания.

Автобус тронулся, и только тут Маматай заметил стоявшую в стороне от всех Бабюшай. Она через силу улыбалась

и кому-то махала рукой. У Маматая неосознанно возникла мысль, что не хватало ему, может быть, именно этого прощального взгляда и робкого взмаха руки... Но грусть расставания быстро рассеялась, уступив место новым заманчиво-неизведанным впечатлениям.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПЕРЕПУТЬЯ

I

Прошли годы...

Маматай Каилов с волнением оглядел до неузнаваемости изменившиеся окрестности комбината. Внизу, в ложине, раскинулась огромная строительная площадка. Высокие окна почти готовых серых железобетонных корпусов ослепительно блестели под немилосердно жарким южным солнцем. Взметенные в белое летнее небо, кирпичные тумбы ТЭЦ плавно выкуривали кольца дыма. Маматай давно знал, что там, внизу, достраиваются корпуса второй очереди. Отсюда, с холма, хорошо было видно, как деловито снуют человеческие фигурки, медленно и важно передвигаются краны, то тут, то там вспыхивают снопом искры электросварки. Идет работа...

Маматай любил эту неутомонность. Этот ритм работы его нисколько не утомлял, ни вечерняя, ни ночная смена. Наоборот, как казалось ему, привычка к строгому распределению своего времени помогла ему получить диплом инженера-технолога. Легко ли ему было? Маматай усмехнулся. Он вспомнил, сколько сомнений и трудностей пришлось ему преодолеть. С той поры, как он уезжал отсюда на курсы в Ташкент, прошло уже пять лет. Все изменилось.

Изменился и сам Маматай.

Кукарев, его учитель и наставник, вот уже два года, как парторг комбината. Маматай никогда не забудет первые свои шаги, робкие надежды, метания. Кукарев сыграл тогда в его жизни немалую роль.

Маматай смущенно остановился в дверях парткома. Да, Кукарев сдал, очень сдал: под пиджаком еще острее выпирали лопатки, осунулось, как-то посерело лицо.

Иван Васильевич поднялся навстречу желанному гостю с открытой и доброй улыбкой и, чуть прихрамывая и опираясь на трость, уверенно шагнул к Маматаю. Он отечески обнял его, в глазах засветилась радость.

— Молодец, вот ты и стал инженером. Будущее всегда благожелательно к молодым, — ласково похлопал он Мамата по спине и торопливо добавил: — Вот и сын у меня тоже стал инженером.

— По какой специальности? — заинтересовался Маматай.

— У нас в роду все текстильщики — потомственная специальность. Он в Москве учился.

— О-о, хорошо! Сюда распределяют? — торопился с расспросами Маматай.

— Кто знает, — Кукарев пожал худыми, острыми плечами, — Россия велика.

О том, что Алтынбек Саяков стал главным инженером комбината, Маматай узнал от него самого еще в бытность своей ташкентской жизни. Он натолкнулся на него случайно, когда тот, возвращаясь с курорта, проездом, как сказал он, остановился в городе. И был он не один, а с Бурмой Черикпаевой, как всегда, тихой и приветливо улыбающейся. Тогда-то и поведал ему Алтынбек о переводе с повышением Черикпаева, о своем новом назначении, а заодно и о предстоящей их свадьбе с Бурмой. Как сложились их дальнейшие отношения, сейчас Маматай не знает, да не очень-то и интересуется этим.

Только Насипу Каримовну застал Маматай на старом месте, где она продолжала свое любимое дело классификатора. Да и она, как тут же стало известно Маматаю, задумала менять свое место. Прежде чем поделиться с Маматаем своими планами, Насипа Каримовна осторожно поверх очков осмотрелась вокруг — как бы кто не подслушал, а потом понизила голос до шепота:

— Кукарев уговаривает, мол, есть опыт работы в фабкоме... Самой мне не хочется уходить, ведь всю жизнь здесь, да и боязно: придут молодые, неопытные — им-то что?

— Пять лет нас учат, а вы не хотите верить в нас, бедолаг молодых, — пошутил Маматай.

— Ой, аллах, — неожиданно засмеялась Насипа Каримовна, — и тебя я, оказывается, задела.

А о Хакимбае Пулатове Маматаю сказали, что тот вот уже два года, как работает на новой отделочной фабрике начальником механических мастерских. Значит, попал на-

конец Хакимбай в свою стихию. И в самом деле, вся сложная техника отечественных машин и даже самые редкие зарубежные марки были сосредоточены на его участке.

Самого Пулатова Маматай встретил совсем случайно на улице. Хакимбай шагал рядом с пышноволосой Халидой Хусаиновой. Халида приветливо, как давнему другу, улыбнулась Маматаю, на щеках ее ярко горел румянец довольства и веселья.

— Пойдем ко мне! — почти закричал обрадованный Хакимбек, не отпуская Маматаевых рук. — К нам идем. Есть о чем поговорить. И жена тебе, как видишь, рада. Идем. Все новости выложу...

Маматай, конечно, пообещал зайти. Сейчас же он очень торопился к своему другу Мусабeku.

— Он в нашем цеху, — сообщил о Мусабекe Пулатов. — В токари мечтает податься. Вот я и забрал его к себе в механический.

— Дельно поступил, — похвалил Маматай. — А то мог бы удрать обратно в деревню, ведь половина его души всегда была там.

Маматай сегодня впервые переступил порог первого цеха. И с правой, и с левой стороны длинного зала стояли новые, последних марок машины, тянулось длинное суровье с такой быстротой, что движения было совсем не заметно. Пройдя через первую машину, пропитавшись химической жидкостью, отмывалось суровье от клея, и уже в следующей оно прополаскивалось в перекиси водорода, приобретало белый-пребелый цвет. Потом утюжка, окраска, нанесение рисунка — и материал готов, хоть тут же в магазин. От волокна до ткани — полкилометра пути.

Каинов торопливо шагал по длинному пролету, успевая все заметить на ходу. Машины были ему знакомы еще по ташкентской практике. Только люди, стоявшие у станков, были ему незнакомы. Они не обратили никакого внимания на молодого инженера.

В цехе по-прежнему царил мощный гул от работающих моторов и сильной вентиляции.

Чуть ли не в самом конце зала нашел он своего друга Мусабекa, приземистого, с вздернутым носом, загорелого паренька, увлеченно склонившегося над станком. Маматай тихо подошел к нему и остановился. Сквозь неукротимый гул фрезерных станков трудно было расслышать шаги Маматая. Мусабек работал ловко и старательно, не отвлекаясь ни на минуту. Кусок металла в его руках, коснувшись «лезвия»

станка, как мягкая древесина, отбрасывая маленькие спирали стружек, постепенно обретал форму. Натруженные большие руки Мусабек ловко держали деталь, то и дело легко переворачивая ее.

Маматай легко ладонью коснулся плеча друга. Тот сразу оглянулся, остановил станок, как всегда, широко улыбнулся и, смешно наморщив нос, обнял Маматая.

— Ты вот, друг, вернулся инженером. А я тоже не сидел сложа руки, как видишь. Моя цель — освоить в совершенстве фрезерный станок, — Мусабек задумался на мгновение. — Мое дело по душе мне, и, сам знаешь, оно — нужное...

— Ты молодчина, Мусабек.

* * *

Бригада Пармана прославилась на комбинате как одна из передовых, а его портрет давно уже красовался на доске Почета. С ним самим Маматай встретился на второй день своего приезда. Руки у него были в солидоле, и он вместо приветствия подтолкнул Маматая в бок локтем, мол, держись! И как ни в чем не бывало продолжал свою работу.

В цехе все кипело. Тысячи ткацких станков, жестко стуча, работали бесперебойно. Казалось, вот-вот сорвутся они с места и с гулом пронесутся куда-то вдаль, как экспрессы.

Бабюшай, Чинара и Анара, как и прежде, работали в бригаде Пармана. Но теперь они уже были не ученицами, а самостоятельными ткачихами. А Бабюшай — даже одной из первых многостаночниц.

Маматаю бросилось в глаза, что пухловатое, почти детское личико Бабюшай теперь вытянулось, щеки впали, отчего лицо стало благородно удлинненным, придав чертам зрелость и красоту. И фигура лишилась девичьей неопределенности. Стройная и гибкая Бабюшай — вот тебе и булка!

Девушки посматривали удивленно на Маматая, лукаво перемигивались и что-то говорили друг другу, но в шуме машин до Маматая не доносились их слова. И Бабюшай, деловито колдуя над четырехрядными станками, покачала головой, давая понять, что станки нельзя оставить и что обязательно надо поговорить в перерыве или после работы.

Маматай понимающе кивнул и направился дальше, ему передалось хорошее рабочее настроение девушек. А чуть позже он увидел одну из них в столовой.

— Чинара, — слегка волнуясь, позвал Маматай, исподтишка разглядывая сидящую с задумчиво-мечтательным ви-

дом девушку,— мне много раз попадались в газете твои стихи. Они совсем не похожи на те давние выкрики с эстрады. В них думы о жизни, о себе, о друзьях.

Маленькие пристальные глаза Чинары пронизательно смотрели на Маматаю, было видно, что похвала ее застала врасплох и обрадовала.

— Знаешь, Чинара,— Маматай остановился, пытаюсь найти подходящее слово, веское и в то же время искреннее,— в них столько чувства, нежности. Сразу видно сердце женщины.

— Я тебе верю,— сказала тихо Чинара, отводя взгляд к окну, за которым безгранично простиралась зеленая долина.

Вечером он очень долго не мог заснуть. Первые, такие яркие впечатления о комбинате, который все эти годы был в его мечтах, мыслях; задушевные разговоры с друзьями породили новые радостные надежды. И, как всегда, в такие минуты Маматая потянуло к дневнику: в последние годы у него появился этот надежный и терпеливый друг.

«Наконец я опять на своем комбинате,— записал он размашистыми, торопливыми буквами.— Рад ли я? Конечно! Как мчится время! Все неузнаваемо изменилось. Приметы завтрашнего дня здесь во всем. Будущее неумолимо рвется в явь. Какое место в нем уготовано мне?..»

* * *

С того дня, как Маматай был назначен сменным мастером, первое наставление он получил от старшего мастера и парторга цеха Жапара Суранчиева, всегда с выбритыми до блеска головой и щеками. Как-то он остановился возле рабочего места Маматая. «Собирается с мыслями. Ну о чем на сей раз он будет говорить? — с добродушной иронией думал Маматай.— Наверно, изречет, мол, честно трудись, сынок!» Но Жапар начал совсем о другом.

— Конечно, сменный мастер — это ответственно! — Жапар говорил тихо и монотонно, но была в этом особая задушевность. — Но ты не только инженер, а еще и администратор. Понимаешь? Вся забота о цехе — гигиене, технике безопасности — в первую очередь на тебе. Но главное — ты теперь воспитатель людей.

Жапар на миг остановился, передохнул, искоса поглядел на Маматаю. А тот не отрывал внимательных глаз от строгого лица своего парторга.

— Да, да, — решительно подтвердил Жапар, как будто Маматай сомневался в чем-то, — найти каждому дело по сердцу, расставить людей так, чтобы работа шла бесперебойно. Это, конечно, дело трудное. Но душа человека, его настроение передаются и станку. Ты должен уметь создавать хорошее настроение: сознательного отношения к работе без любви к ней не бывает. Особенно это нужно новичкам... Они, как говорится, еще не прокльнулись из скорлупы, и неизвестно, что из них выйдет: петух или курочка! И здесь роль сменного мастера — решающая. Это говорю с тобой не я, а мой опыт сорока лет работы на комбинате.

Так просто и со значением закончился разговор старого и молодого мастера.

* * *

Шло очередное заседание по поводу невыполнения сменной нормы и случаев пьянства на рабочем месте. Сутуловатый, с широкими сильными плечами, Колдош вошел нарочито медленно, вразвалку, ленивыми шагами прошествовал на самое видное место и с неуклюжей небрежностью, мол, нате вам, бросился в кресло, вольготно откинулся на мягкую спинку, забросил ногу на ногу. Он обвел презрительным взглядом присутствующих и хмыкнул. Такое нахальство провинившегося Колдоша подняло в душе Маматая волну раздражения. А Колдоша между тем широким жестом чиркнул спичкой и закурил сигарету.

Чи나라, по-прежнему секретарь цехового комитета, безнадежно смотрела на него и сдержанно, чуть-чуть побледнев от гнева, произнесла:

— Колдош, не видишь, что ли: идет заседание. Не могли ты оставить свое курение? Сделай всем одолжение.

— Ну что тебе? — Колдош усмешливо подмигнул ей. — Мое курение останавливает, что ли, заседание? Или поперхнётся? Не слабогрудые. Лучше прикрой свои колени... Хе-хе-хе...

Колдош рассмеялся своим шуткам звонко и от души, наслаждаясь растерянностью Темирбаевой.

— Но все же должен быть порядок! — жестко сказал Маматай.

— Если все такие нежные, то я махну, пожалуй, отсюда. — Колдош резко подскочил с кресла и невозмутимо направился к двери, не обращая ни на кого внимания. Все понуро молчали.

— Вот так он поступает не первый раз, — с досадой махнула рукой Бабюшай. — Распустился.

— Зачем удерживаем его, зачем умоляем, не знаю, — вспылила Анара. — Сколько раз я предлагала исключить его из комсомола. Миндальничаете с ним — вот вам и результат!..

— Мы сами виноваты, мол, Колдош отчаянный, — возмущенно сказала Чинара, — мол, исключим, потом расхлебывай, не дадут прохода его дружки. Вот и трусим перед ним. Ладно уж мы, девчата...

Колдош вернулся, с треском закрыл дверь и, наследив кирзовыми сапогами по всему кабинету, собрался опять усестся поудобней в облюбованное им кресло у окна.

— Ну-ка погоди, — резко окликнул его Маматай. — Рассматривается твое персональное дело. Отвечать будешь стоя. Таков порядок.

Колдош, совсем не ожидавший натиска, круто повернул в его сторону голову на короткой шее, затем подошел к нему и ехидно спросил:

— А кто ты такой?

— Я один из членов комитета.

— А еще — всего-навсего Ма-ма-тай, да? Тот самый Маматай, который имел дело когда-то со мной, а? Надеюсь, не забыл?..

Колдош презрительно всключил волосы на голове Маматай своей жесткой ладонью. И этот наглый жест и слова «имел дело когда-то со мной» напомнили Маматаю то, что произошло у входа в общежитие пять лет назад. И вот теперь этот наглый тип, уверенный в своей безнаказанности, в открытую, на комсомольском собрании издевается над ним... И Маматай окончательно потерял терпение.

— Да ему на нас на всех плевать! — вскочив с места, Маматай резко, как на тренировке, взмахом руки повалил Колдоша навзничь.

Все от неожиданности разом замолчали, а Маматай стоял оторопелый, словно его окатили холодной водой. Он и сам не ожидал от себя такого. Потом, заметив, что Колдош очухался, приглушенным голосом сказал:

— Ну ладно... я пошел...

Ослепленный гневом и раздосадованный на себя и на этого дебошира Колдоша, он шагал, никого не видя, ничего не слыша. Ему нужно было вот сейчас же, немедленно высказаться, получить совет, чтобы как следует осознать

случившееся. И Маматай нашел в цехе старого мастера Жапара.

— Аксакал, — почтительно сказал Маматай, садясь на стул, — я вас разыскивал... Хорошо, что вы здесь.

Маматай хоть и сбивчиво, но с неумолимой откровенностью рассказал о том, что произошло на заседании комитета.

— Что на заседании — это более чем плохо.

— Я этого не хотел, так вышло, вы верьте мне, аксакал, — твердил растерянно Маматай, не в силах найти нужные слова, и от этой бессильной неловкости размахивал руками, — ведь Калдош ведет себя так, словно он сын бога. Все его боятся. А как относится он к девушкам!..

— Потому ты и решил распустить руки? Ты обязан был держать себя в узде, — сухо заметил Жапар-ака.

— Я Ивану Васильевичу говорил, что не справлюсь с его поручением — мне бы со своим непосредственным делом как следует разобраться, я ведь инженер прежде всего...

— Ах вот оно что!.. Нет, молодой человек! Наука наукой, техника техникой. А работа с людьми — важнее всего. Ведь каждый человек — это целый мир. А коллектив? У него, как у единого живого организма, свой характер, свои традиции.

Маматай понуро молчал.

— Вон сколько мне лет, — с грустью произнес Жапар-ака, — а я не отказался от работы парторга. Мне бы в мои годы прийти домой и прохладиться. Нет, человек, если чувствует главное — ответственность за общество, — находится в гуще жизни.

Жапар подошел к широкому окну и долго смотрел на ночной город, где прошла его долгая жизнь, город, с которым вместе он, Жапар, рос и мужал. Все возрасты его, Жапаровой, жизни были отданы городу, этим местам. «Наверно, он меня долго еще будет помнить», — тихо подумал Жапар и по-стариковски глухо вздохнул.

— У нас, Маматай, в общем-то дела идут неплохо, — сказал он, тяжело опускаясь на диван. — Вроде бы грех жаловаться. Но есть и у нас больное место. Это кадры. Утечка — почти половина поступающих не удерживается. Или вот тебе факт. Иные отпускают своих жен и дочерей в вечернюю смену, а иные и нет. А в чем причина? Предрассудки, цепкие пережитки мусульманства.

— Да, так, — согласился Маматай. Он и сам давно и остро думал об этом.

— Вот видишь, — словно поймал его на слове Жапар-ака, — а сам-то как? Увиливаешь от партийного поручения.

Маматай пристыженно смолчал. А Жапар, уловив, видимо, настроение Маматая, продолжал:

— Я по обмену опытом бывал и в Москве, и в Иванове. Должен сказать — там чувствуется организованность, активность. — Жапар передохнул. Судя по всему, этот разговор давался ему нелегко. — Конечно, и там есть свои пьяницы и лоботрясы. Но нет никаких предрассудков. А они всего страшней. Ведь какой рывок сделали — через несколько веков перепрыгнули. А сознание быстро не перестроишь. Вон какие гиганты встали, а сознание у многих еще патриархальное. Работать надо нам с тобой и работать — осенью прилив молодежи, а весной — отлив. Когда-то мы к киплакам машины посылали: многие девушки не хотели жить в общежитии, а другим родители не разрешали. Дорого нам все это обходилось, а что поделаешь! Кто должен вести эту борьбу за сознательного человека?

— Мы, разумеется... — Маматай смотрел Жапару прямо в глаза.

— Вот-вот, дружок, в том-то и дело, что мы, конкретно — я, ты и весь коллектив комбината, — подытожил разговор старый мастер, добро и твердо встретив взгляд молодого инженера.

* * *

После первой неприятности вскоре случилась и другая: забраковали много метров ткани в его цехе и в его смену. Как найти виновников? Собрание ничего не дало, не прояснило. Все выступающие дружно сваливали вину на другие подготовительные цеха, мол, что дали, из того и дела-ли! Все, мол, зависит от сырья.

После начала смены Маматай проверил все рабочие места и пустовавшие места обеспечил подсменками. А на сердце тяжелым бременем лежала неизвестность: отчего произошел брак? Как его не допустить в будущем?

Неожиданно кто-то хлопнул его по спине. Обернувшись, Маматай увидел веселое знакомое лицо Алтынбека. Сейчас Алтынбек был как нельзя кстати, и Маматай готов был обнять его, но постеснялся окружавших его незнакомых людей, только сказал:

— Вот так встреча!..

— Через час буду у себя. Заходи, обязательно заходи, понял?..

Через час Алтынбек поднялся с кресла навстречу Маматаю. Он слегка обнял его, еще раз нежно похлопал по спине тонкой холеной ладонью, как это делают старые люди с детьми близких сородичей. Маматай, не ожидавший такого сердечного приема, растерялся и обрадовался одновременно.

— А ну говори, родной. Чем ты доволен и чем недоволен?

— Спасибо, Алтынбек-ака, — наконец хриплым от волнения голосом сказал Маматай. — Вот закончил и приехал... работаю...

— Да, как быстро идут годы, — задумчиво произнес Алтынбек, и Маматай вдруг заметил в его взгляде затаенную грусть много передумавшего человека. Такие глаза были у стариков в кишлаке, сидящих на кошмах возле юрт и погруженных в неизменное, какое-то неподвижное древнее молчание. Вдруг он, пуская медленные плавные колечки дыма, обратился к Маматаю с вопросом, и вопрос этот, как показалось Маматаю, был не без какого-то дальнего загада:

— Говорят, что ты учился и одновременно работал в ташкентском текстильном? Так это?

Вопрос как вопрос. И все же не такой человек Алтынбек, чтобы вести зрящие разговоры. У него всегда во всем свой прицел, свои подходы, с ним держи ухо востро. И Маматай вежливо и сухо ватно ответил:

— Да, так и было. Работал помощником мастера. А последние годы — сменным мастером.

— Ну хорошо... ладненько... — Алтынбек продолжал раздумывать, казалось, он со всех сторон взвешивает какую-то мысль, взвешивает и любуется, наклоняя голову то вправо, то влево. — А как, например, смотришь, что здесь ты — только сменный мастер? Не низко вато ли для полета, а?.. — Алтынбек опять загадочно задумался. — Жаль, что меня здесь не было. Получил бы хорошую должность... Ну ничего, еще не поздно и теперь. Посмотрим, посмотрим...

— Все в порядке у меня, Алтынбек, — постарался уклониться от благодеяний главного инженера Маматай, — сначала с маленькой должности лучше осмотреться, освоиться...

— Заметил я утром, что-то ты, мастер, был как будто не в себе, — с другой стороны начал обхаживать его Алтынбек.

— Неприятности, понимаешь, брак...

Маматай подробно рассказал главному инженеру об обстоятельствах вчерашнего происшествия. Алтынбек внимательно слушал и что-то торопливо черкал на листке отрывного календаря.

— Я все силы приложил, — недовольно поморщившись, сказал Маматай, — все делал, чтобы найти виновников брака. А Парман-ака обвиняет меня во всем случившемся, говорит, что, мол, ты из кожи лезешь: брак был, есть и будет... ты, мол, не суетись, не ищи, а работай спокойно. Моя настырность, видите ли, не нравится ему! И что за человек этот Парман-ака? А?

Алтынбек рассмеялся: уголки губ у него весело подпрыгнули кверху.

— Что за человек, говоришь? Человек он тяжелый, но работник отличный, и ты его не должен трогать.

— Как так? Почему не трогать его? — простовато удивился Маматай такому неожиданному для него выводу главного инженера.

— Работать надо иначе! — холодно подвел итог Алтынбек. — Действуй согласно закону и порядку. Кто виноват, того и трогай... А на себя зачем брать? На службе надо быть хладнокровным, чувства здесь только вносят путаницу. Дальше надо смотреть, то есть на главное, на свои обязанности... А всякая мелочь сама по себе отпадет... Почему я тебе все это говорю? А потому, что ты молодой и опыта у тебя маловато, не правда ли? А в общем, если что возникнет, сразу же обращайся ко мне, помогу... Ну как, согласен?

— Согласен, Алтынбек-ака, конечно, согласен, — отозвался Маматай, радуясь такому внимательному отношению к себе. — Я уже давно равняюсь на вас... честно говорю.

— Что ж, спасибо. Мы теперь, сам понимаешь, должны быть опорой друг другу.

Потом они молча курили, каждый по-своему осмысливая происшедший разговор.

* * *

Когда Маматай вошел в отдел кадров, Шайыр сидела одна и, увидев его, как в прежнее время, встрепенулась, сладко улыбнулась, подавшись вперед.

— Начальник у себя? — Маматай кивнул в сторону кабинета.

— Нет и сегодня не будет, — притворилась Шайыр, что занята срочной работой.

— Тогда, Шайыр, — сказал Маматай, обращаясь с почтительностью к ней, — сделай мне, пожалуйста, полную копию с одного личного дела.

Шайыр настороженно подняла голову, упираясь злыми глазами непримиримо и тяжело в лицо Маматай, на губах ее резко обозначилась горькая усмешка и тут же исчезла, не оставив и следа. Шайыр многозначительно кивнула головой.

Маматай положил перед ней тонкую новую папку с несколькими листками бумаги внутри. Прочитав фамилию, написанную на деле, Шайыр вздрогнула, как человек, печально наступивший на ядовитую змею, и сразу резко оттолкнула папку к Маматаю.

— На него не буду!

— Что с тобой? — удивился Маматай.

Шайыр с мгновенно побледневшим лицом суетливо копшилась в бумагах, не подымая головы, но движения ее рук были резкими, порывистыми, чувствовалось, что она не может справиться с собой.

— Я серьезно, Шайыр, дело срочное, не до шуток, и я к тому же тороплюсь, — настойчиво повторил Маматай. Он еще раз пододвинул папку.

И вдруг Шайыр схватила папку и гневно швырнула ее в открытую дверь — папка шлепнулась в коридоре и вокруг нее взметнулись листки дела.

— Это как понимать? — совсем вышел из себя Маматай.

— Оставь меня в покое... И все...

Маматай собрал разлетевшиеся в разные стороны листки, сухо сказал:

— Ладно. Не печатай... Обойдемся, сама знаешь. Но тебе, Шайыр, придется объяснить свое поведение начальству.

И вдруг она, скрестив на столе свои тяжелые, рыхлые руки, скривила губы некрасиво и жалко и заплакала как-то по-детски незащитно, громко и обиженно. Маматай тихо подошел к ней, в растерянности остановился. Но вот Шайыр удалось справиться со своими чувствами. Она подняла голову и выхватила у Маматай из рук дело, положила его в шкаф.

— Хорошо, утром поручу машинистке, — старательно утирая слезы белым платочком, примирительным тоном заявила она и тут же уткнулась в свои бумаги.

Маматай жадно затянулся сигаретным дымом.

— Шайыр, поверь, я хочу тебе добра, — попытался найти

верный тон Маматай. — Должны же быть у тебя близкие, верные люди. Человек не может не делиться своим горем с другом, иначе нельзя.

— Это ты, что ли, мне друг, а? — Шайыр упорным взглядом уставилась в лицо Маматая. — Я когда-то, может, и готова была думать так... Да на сердце у меня теперь живого места не осталось. Какие там нежности.

— Шайыр, пойми меня правильно. Что между нами было, то прошло. Я не жалею ни о чем, но мы теперь с тобой только друзья, близкие люди... Разве этого мало?..

— Понятно. Я и сама тебе сказала бы то же самое... Ты не думай, что я собираюсь благодарить тебя за это. Здесь равенство, и все.

Маматай облегченно вздохнул.

— А тебе по-прежнему не терпится узнать обо мне? Ну и любопытен же ты, Маматай! Хочешь сказочку забавную услышать, а, маленький? — жестко, но с ноткой признательности сказала она.

На этом их разговор и закончился.

Но что-то продолжало угнетать Маматая, беспокоить. Ему обязательно нужно было помочь как-то Шайыр, а для этого нужна вся правда о ней. И вечером того же дня парень отправился к Шайыр домой.

— Пожаловал! — угрюмо встретила его Шайыр и отвела глаза.

— Ну что ты упрямисься? Не могу спокойно жить, когда ты мечешься, страдаешь. А как помогу, если ничего, в сущности, не знаю о твоей беде?

— А что тут рассказывать? — сбавила тон Шайыр. — Я тебе рассказывала, помнишь? Только имя скрыла. Ну а сегодня сама себя выдала. А ты как был теленком, так им и остался... А простота, Маматай, она хуже воровства.

— Что ты? Что ты? — буквально остолбенел от признания Шайыр Маматай. — Не может быть! Парман!..

— Точно, он самый, — совсем спокойно, даже облегченно подтвердила Шайыр. — Это он затоптал меня в грязь... Мне и папку эту в руки взять было... как жабу скользкую...

Маматай долго молчал, не в силах продолжать разговор, а потом только и спросил:

— А тебя он вспомнил, узнал?..

— Не знаю. Ведь он бесчувственный. Когда я встречаюсь с ним — иду прямо, не сворачивая, не отводя глаз... А он ничего, жирный, равнодушный... Имя и фамилия у меня другие, да и времени сколько утекло с тех пор — двадцать

пять лет... Я-то его и через сто лет узнала бы! И его самого и семя его змеиное! Дочь Анару его встречаю каждый день, а ей ни к чему...

— Так как же вы все-таки расстались? — пытался понять их давний разрыв, что-то объяснить, оправдать Маматай.

— И сама не знаю,— горько усмехнулась Шайыр.— Мы с ним встречались каждый день на току под старой горбатой ивой. Казалось, нет силы на свете, что нас могла бы разъединить. Но однажды он не пришел. Шесть месяцев каждый вечер я ходила к иве после этого, а он так больше и не появился...

— Может, была причина? — спросил Маматай, еще больше удивляясь ее прошлому.

— Не думаю. Какая еще может быть здесь причина, разве только смерть? А остальных я не признаю. Знаешь, я ему, Парману, и смерти не желаю, потому что есть третий человек — и он должен узнать правду и рассудить нас... Вот почему порой я даже, как могу, защищаю Пармана.

— А кто он, третий?

Это был вечер вопросов, трогательных в своей наивности. Ведь перед Шайыр сидел, как ей казалось, ребенок, одновременно и добрый и ненамеренно злой, бередящий ее все еще кровоточащую сердечную рану.

— Зачем тебе это, мальчик? — Шайыр закрыла ладонями лицо, стараясь скрыть рыдания.— Совсем ты еще слепой... Ох как трудно с тобой говорить... Третий!.. Конечно, это мой и Пармана сын... А он вырос не таким, каким бы мне хотелось его видеть, любить хотя бы со стороны. Тяжелее всего мне его несчастье, а не мое собственное... его ущемленность...

— А где он сейчас?

— Я, как родила его, пустилась в бегство от отцовской расправы, а он воспитывался у одной старухи, доброй Биби. Она убеждала его с малых лет, что мать его при родах умерла. Но самое страшное не в этом. Он услышал, играя с ребяташками, что появился на свет незаконнорожденным. «Ты — уличный, сураз... Мать тебя в золе, видать, нашла», — слышал он ото всех при малейшей размолвке. И он, как и я, когда пришло время, сбежал из кишлака, от Биби... И где теперь он, не знаю...

Шайыр подавленно смотрела на своего гостя, не в силах поднять головы, и тихо продолжала:

— Если бы я сумела донести до его сердца хоть кру-

ницы правды о нем и обо мне, то, поверь, считала бы себя счастливой, но как?..

Поздно вернувшись домой, Маматай тут же сел за свой дневник и долго писал. Дневник учил его терпению и надежде.

* * *

Сегодня Маматай в кабинете главного инженера самый ранний посетитель, правда, его чуть-чуть опередил тощий Хакимбай.

Алтынбек Саяков выглядел, как всегда, бодрым и элегантным. Маматай ему почти завидовал: любое дело решает сразу — либо «да», либо «нет». Он не станет тянуть, откладывать на завтра. Уж кем-кем, а размазней главного инженера не назовешь.

— Почему ты, товарищ Саипов, не выполнил моего приказа насчет слесарей для Хакимбая? — в голосе Саякова звучало раздражение, Саяков не любил, когда его распоряжения не доводились до дела.

— У нашего цеха свои планы относительно использования слесарей. Вот об этом я и хочу с вами разговаривать, — громко и непреклонно звучало в селекторе.

— Не нужно, — сухо оборвал Саипова Алтынбек и тут же выключил селектор.

Теперь уже на него напал Хакимбай.

— У каждого дела свои особенности... А у нас — первая автоматическая линия монтируется!.. Дело новое, сложные агрегаты... С этим шутить нельзя, — начал он с места в карьер.

Алтынбек тонко улыбнулся:

— Ну, разумеется, Хакимбай, кроме тебя, в технике разобраться на комбинате некому.

А Хакимбай, не стесняясь в выражениях перед начальством, гнул свое:

— Боюсь, что ты о технике думаешь, как о своем ослике: упадет, а дернешь за хвост, он и пойдет дальше своим ходом.

Алтынбек снисходительно оценил шутку коллеги.

— Ты мой однокашник по институту, потому и прощаю тебе подобные вольности с вышестоящим начальством. А другому бы не спустил... — По тону Алтынбека можно было судить по-другому: ясно, что Алтынбек решил затаить обиду — прощать он никому не умел.

От внимания Хакимбая не ускользнул этот узкий, злопамятный прищур Саякова. Да, главный инженер не любит быть на виду. «Вот и студенческую дружбу вспомнил», — усмехнулся про себя Пулатов, а вслух, глядя прямо в расплывчатые зрачки главного инженера, многозначительно спросил:

— Про козу пословицу знаешь? Да-да, ту самую, что, ища своей смерти, чешется о посох пастуха... Так вот, лучше уж я пойду...

Алтынбек кисло улыбнулся, давая понять Маматаю, что, мол, не стоит обращать внимания на этого чудака, и, посерьезнев глазами, сразу же перешел к делу.

— Маматай, решил прибегнуть к твоему опыту... Давай вместе разберемся, как быть с моими подопечными из профтехучилища, ведь сам ты им был, сам начинал с азов на комбинате... Так вот, с осени, как правило, их полный набор, а к весне уже на комбинате и половины не остается... Такая текучка, конечно, не выгодна ни государству, ни комбинату. Я имею в виду не только материальные издержки. Поручили мне шефствовать над ними, вести разъяснительную работу, да разве словами их проймешь!.. Да и что я могу один, если целый педагогический штат училища бессилён... Видно, учат ремеслу. А ведь любое дело еще и любви требует, да и престижность профессии в наше время для молодежи важна, иначе и рабочей гордости не воспитаешь.

Первый раз подметил Маматай растерянность на гладком, спокойном лице Алтынбека. От души сочувствуя ему и гордясь доверием, Маматай поспешил ему на помощь:

— У меня мысль, Алтынбек. Знаете пословицу: «Кусок во рту лучше ласковых слов»? А у нас получается, что мы ребят из училища одними ласковыми словами кормим. А слова, не подкрепленные делом, материальной заинтересованностью, — пустые слова...

— А если ближе к делу, Маматай, — одернул его главный инженер, дав тем самым понять, что в азбучных истинах давно разобрался.

А Маматаю только бы выговориться, раз кто-то нуждается в его, Каипова, помощи, так стоит ли обращать внимания на мелочи.

— Вот я и говорю, Алтынбек: ребята начинают работать, пусть пока учениками, а деньги на руки не получают. Попробуй объясни им, что тридцать три процента их зарплаты отчисляется на учебу, тридцать три — на одежду и

питание... Короче говоря, на руки они получают гроши... А нельзя ли уже с первой же практики оплачивать им труд полностью? Задолженность же их за учение и содержание в рассрочку вычесть потом, уже с рабочего оклада? Для этого, конечно, необходимо определить срок обязательной отработки на нашем комбинате. Ведь институт же идет на такое!..

— Нет, — категорично поджал губы Алтынбек. — Нет, это не годится. Мы не имеем права нарушать общесоюзный порядок.

— Но, Алтынбек, у нас же свои, местные трудности, а не всесоюзные. Сам знаешь, что идут к нам из глухих кишлаков, те, что и техники настоящей сроду в глаза не видели. Они еще, как деревья, корнями с родным полем связаны...

— Ну кто, ты думаешь, на это рискнет? — с сознанием собственного превосходства посмотрел сверху вниз на Маматая главный инженер.

— Комбинат рискнет! Есть у него такие права... А я считаю, и обязанности тоже, и возможности...

— Удалой ты парень, Маматай! Только с такой удалью и споткнуться нетрудно, — весело и легко рассмеялся Алтынбек, давая понять, что об этом хватит. — Друг тебе опытный и надежный нужен при твоей горячности, и скажи спасибо, что таковой имеется, — улыбнулся во весь рот Саяков, показав полный набор безупречно ровных, молочной белизны зубов, и, помедлив для эффекта, добавил: — Поздравляю с новой должностью! — И не давая опомниться Маматаю от только что услышанного: — Решили назначить тебя заместителем начальника ткацкого производства. Как говорится, новость из первых уст.

Увидев недоумение и растерянность в глазах Маматая, главный инженер решил, что сейчас можно выразиться и поопределеннее, так, чтобы парню стало окончательно ясно, кто его друзья...

— Директор поначалу сомневался, мол, работник старательный, а опыта маловато. Правда, удалось мне его убедить, что в твоём возрасте не столько с производством управляют, но и государством руководят, да и опыт немалый, если учесть пять лет работы и учебы в Ташкенте. Кукарев тоже в стороне не остался, поддержал от парткома как инициативного молодого коммуниста. Вот так, дорогой! — Алтынбек поднял вверх руки, как бы показывая этим, что в благодарности не нуждается.

— Почему же у меня не спросили?

Алтынбек нахмурился — вот и делай добро таким простачкам! Нет, чтобы заверить в готовности платить добром за добро. Или он считает, что не комбинат ему, а он комбинату оказывает неоценимую услугу?

— Маматай, ты можешь отказаться, если тебе эта должность не по душе. Дело поправимое. А о такой должности многие молодые специалисты мечтают, так что... дерзай, мой тебе совет.— И Алтынбек взглянул на часы и поднялся с кресла, давая понять, что аудиенция окончена.

* * *

Заседание Совета рационализаторов и изобретателей комбината шло по давно установившемуся регламенту: предложения принимались или отвергались, а иные возвращались на авторскую доработку.

Среди тех вопросов, что привлекли особое внимание специалистов, была рационализация группы инженеров во главе с Алтынбеком Саяковым. Да это и неудивительно: известно всем, какой авторитет на комбинате у главного инженера и как практика и как ученого!

Алтынбек чувствовал себя именинником, ведь он — главный группы, значит, и все почести и внимание ему — заслуженно, по праву. Он с каждой очередной похвалой становился все серьезнее, потому что знал — этого от него ждут и начальники, и подчиненные, а уж кто-кто, а он надежд тех, от кого зависит, обманывать не собирался. И конечно, ввязываться в ненужные споры тоже. Вот почему Алтынбек спокойно помалкивал, видя, как горячатся начальник механической мастерской Хакимбай Пулатов и инженер Саипов.

Высокий, худой, с ястребиным носом, Пулатов, как бойцовский петух, так и налетал на румяного, лоляного Саипова, перед самым его носом ребром ладони разрубая прокуренный воздух.

— Не мерьте всех на свой аршин! Мерка ваша мелкая, куда вам с ней!

— Прошу без личных выпадов, — для порядка вмешался Саяков и еще для того, чтобы все видели, что и он принимал участие в дискуссии.

— Да знаете ли вы, в чем он меня обвинил? Меня? В корысти! Будто я хочу урвать кусок пожирнее, — переключился с Саипова на Алтынбека начальник мастерской.

— Не поверю, чтобы материальный стимул на всех действовал, а на Пулатова нет! — не отступался от своего Саипов. — Закона развития общества не признаешь. — Казалось, Саипову доставляло удовольствие дразнить Хакимбая, буквально захлебывавшегося от возбуждения.

— А я утверждаю: человек, руководствующийся мелкой житейской выгодой, бескрыл!

— Пустой пафос! — обиженно надул толстые щеки Саипов.

Алтынбек примирительно улыбнулся:

— Борьба противоположностей, дорогие.

Всем понравилась находчивость главного инженера, утомившего сразу даже этих заядлых спорщиков.

Маматай ушел с заседания взволнованный, в приподнятом настроении. Особенно его заинтересовало сообщение Хакимбая о технических новинках на комбинате. Маматай хорошо разбирался в теоретической механике, да и машины, о которых говорил начальник ремонтной мастерской, ему были хорошо знакомы. Еще в Ташкенте Каипов попробовал усовершенствовать один из узлов, много времени бился с ним, советовался с институтским светилом. Профессор одобрил его творческий порыв, но почему-то усомнился в экономическом эффекте маматаевского изобретения.

Вернувшись в общежитие, Маматай первым делом энергично выдвинул из-под кровати свой выдавший виды обшарпанный чемодан, достал те институтские чертежи и просидел над ними до поздней ночи.

В общежитии тихо и сонно. А давно ли в этой комнате Хакимбай и его друзья-технари за полночь вели громогласные профессиональные споры. Тогда он, деревенский паренек, только-только отслуживший армию, голоса боялся подать, не только что... А вот настало время — на равных участвовал в совещании Совета рационализаторов!

«Удивительная штука — человеческая судьба, — волновался от своих мыслей Маматай. — Вот отец говорит, будто она — чудо, «подарок бога», будто еще до рождения запечатлевается на челе каждого... Так ли это? Выходит, если верить отцу, никто в своей вине не виноват! Ни Парман, разоривший сердечные надежды Шайыр, сделавший ее таковой, какова она сегодня, — с ее напускной игривостью и черной тоской безверия? Ни они с Даригюль, отдавшие на волю случая свою любовь? Чья тут вина?»

Вопрос следовал за вопросом, они выстраивались в прочную цепочку, у которой, как казалось Маматаю, не было

конца и края... Но все-таки он добрался по ней до одного значного вывода: нет в мире счастья обособленного, зависящего только от одного человека, ведь недаром судьбы Даригюль, Шайыр, Пармана и многих, многих других так болезненно сложно, так причудливо переплелись с его собственной, и сколько еще впереди утрат, встреч и расставаний? И он, Маматай, постарается сделать все от него зависящее, чтобы помочь, поддержать, вовремя прийти на помощь...

* * *

Маматай вошел в цех и по-хозяйски осмотрелся. Первым ему попался на глаза Парман, и Маматай тяжелым взглядом уперся в массивную, равнодушную спину мастера, чинившего умолкший станок.

— Разговор у меня к тебе, Парман-ака.

Тот неожиданно легко распрямился, на толстых губах залоснилась сытая улыбка.

— Пол-литра поставишь? Не любитель я так... — густым тягучим голосом сообщил он Маматаю, всем видом показывая, что сам разговор егонисколько не интересует, и тут же наклонился к станку, и под носом у него завис тяжелым мохнатым шмелем мотивчик избитой песенки.

После смены они сошлись для разговора в комбинатском саду, еще совсем молодом и трепетном, освещенном косым, неверным светом уже коснувшегося вершинного края солнца. Мягкая, стремительная тень сумерек спускалась в долину, обещая ясную, звездную прохладу, покой и тишину уставшим за день земле, деревьям, людям.

Маматаю не хотелось разрушать очарование уходящего за горизонт дня. Он молча сидел на скамье и бесцельно разминал в пальцах машинально сорванный по дороге яблоневый лист, шершавый и душистый. Так бы ему сейчас хотелось увидеть рядом Даригюль, но не сегодняшнюю, а ту, давнюю, открытую и легкую... И Маматай вдруг отчетливо осознал, что живую, реальную Даригюль как-то совсем незаметно в его сердце заменила сначала Даригюль-память, затем Даригюль-мечта, неопределенная и томительная как предчувствие чего-то нового, радостного, неизбежного.

Из этого отрешенного и одновременно тревожного состояния Маматая вывело задышливое сопение Пармана, давно отвыкшего от пеших прогулок. И теперь на скамейке он ны-

тался отдышаться и ругал на чем свет Маматая, приговаривая: «Если бы не пол-литра...»

— Не тяни, земляк, а то магазины закроют,— наконец выдал Парман.— Не любитель я спешки, но приходится... Давай выкладывай, чего тебе от меня нужно.

— Лично мне от тебя, ака, ничего не надо, слава аллаху. Только узнать хочу, была ли у тебя в молодости любовь.— Маматай буквально впился взглядом в сонные глазки Пармана, но увидел в них только лень и разочарование.

— Учение тебе не впрок пошло,— Парман обиженно замолтал крупной, с низко заросшей грубыми волосами головой. Вдруг маленькие, медвежки, прищурочки Пармана маслено блеснули догадкой: — Уж не понадобился ли тебе мой опыт в этих делах, а? Были, конечно, женщины... Все было, да быльем поросло...— И Парман-ака самодовольно расхохотался, отчего все его большое, рыхлое, привыкшее к пуховым подушкам тело стало колыхаться в такт смеха, заходила ходуном скамья, вспорхнула с дерева птица...

Маматай смотрел на Пармана и не мог представить себе его молодым, веселым, вкрадчивым, таким, каким увидела его когда-то Шайыр, полюбила, поверила... Неужели это было возможно: старая ива, под ней влюбленные Шайыр и Парман?..

— Я не про шаши твои спрашиваю,— вдруг рассердился Маматай,— а про любовь, про девушку... которой под ивой верность обещал...

— Ну ты даешь, друг,— тяжело, по-бычьему насупился Парман, выходя из привычного равновесия.— Запомни, я люблю спокойную жизнь. Тащу свою поклажу, и ладно... У меня мнение об обязанностях такое: каждому молитва... какая нравится. Верно? — И он грузно откинулся на спинку скамьи, стер пот со лба тыльной стороной ладони, видно, не легко далось этому тугодуму его красноречие.

— Значит, собственное спокойствие за чужой счет? Так я вас понял, Парман-ака? — незаметно для себя перешел на официальное «вы» Маматай.

«И что кипятится? В чем я ему дорожку перешел? Знал бы, так лучше домой поехал бы...» — недоумевал про себя Парман, польстившийся на даровую выпивку, о которой теперь его собеседник и не поминал. Ну нет, Парман не из тех, кто упускает свое, и парню провести его не удастся.

— Пол-литра я сегодня получу? Ведь уговор дороже денег...

Парман как ни в чем не бывало положил деньги в карман пиджака.

— Жаль, что сам не желаешь составить компанию... Ну да ладно, вышью на твои за твое же драгоценное... В долгу не останусь: в следующий раз бутылка за мной.

Разочарованный в своих надеждах, Маматай шел, погруженный в горькие мысли о том, как трудно понять человеку человека... Кто он, этот Парман, хитрец, обведший его, как мальчишку, вокруг пальца? Или тяжелобольной самой страшной болезнью — равнодушием?

* * *

Только приступив к новой работе, Маматай в полной мере осознал всю ее ответственность и сложность. На первых порах не хватало ни производственного опыта, ни умения работать с людьми, руководить большим рабочим коллективом. Дела поглощали — до минуты, даже секунды — все его рабочее время, а служебные заботы не оставляли Маматая и после смены. Заместитель начальника ткацкого производства даже ночью просыпался вдруг как будто от некоего тревожного сигнала, спохватываясь: а как там без него, все ли благополучно?..

Встав во главе крупного отделения комбината, Каипов пережил все радости и волнения, которые можно разве сравнить с переживаниями молодых родителей, пестующих своего первенца. Здесь были и страх, и восторги, даже отчаяние, и, конечно, гордость. Маматай рассудком понимал, что у каждого комбинатского производства — будь то тренально-сортировочное или прядильное — своя, не менее важная роль в выпуске готовой продукции. И все же именно им, ткачам, доверена главная работа. Именно от их умелых рук, от их окрыленности в первую очередь зависит, насколько будут легкими и носкими все эти радуги ситцев и сатинов и кипенные равнины миткалей и мадаполамов.

А какова роль Маматая в этом кропотливом созидании красоты? Молодой руководитель с первых же дней твердо усвоил, что он обязан организовать отлаженную и бесперебойную работу ткацких станков. Под рукой у него были молодые, горячие, только что окончившие комбинатское профтехучилище ребята, и ему, Маматаю, обязательно нужно довести их до высшей квалификации помощников мастеров и слесарей-наладчиков.

Маматай организовал ученичество своих новобранцев,

привлек к этой работе весь цвет подручных технических специалистов, особое внимание обратил на обязательный техминимум. И все-таки беспокойство не оставляло его ни на минуту: Маматай по себе знал, как важен в работе не только спрос, но и увлеченность, гордость за свою профессию, серьезное и ответственное отношение к порученному делу. А этому вчерашних сельских ребят, пришедших на комбинат со своими извечными традициями и понятиями о жизни, со своими привычками и интересами, научить нельзя... Можно только заинтересовать, воспитать или даже перевоспитать.

Маматай вышел из проходной комбината еще разгоряченный, не остывший от цеховой сменной кутерьмы: в ушах отпечатлелся шум работающих машин, звучали знакомые голоса ткачих, преследовал запах суровья и разогретого машинного масла. И мысли, упорные и привычные, как морской прилив, были о людях, с чьими судьбами связал Маматай все тот же комбинат, властно, и безраздельно, и неотвратно: о Шайыр, о ее сыне, неизвестно где изживающем свое одиночество; о Пармане, в котором он так и не сумел разобраться... И Маматай корил себя за то, что он до сих пор не удосужился узнать, что думают о Пармане члены бригады, хотя бы та же Бабюшай...

Маматай решил, что обязательно поговорит и с ребятами-наладчиками, и с Бабюшай, и тут же усомнился: «А как же это я... Вот так подойду и спрошу?» Он ведь прекрасно понимал, что, даже если осмелится, подойдет к Бабюшай, может услышать от нее опять что-нибудь колючее и обидное, как тогда, когда при всех до него донеслось: «Деревенщина!» С Бабюшай шутки плохи. Она непредсказуема и своевольна. Перед Маматаем, перед его внутренним взором вдруг появилось нежное, по-детски неопределенно очерченное лицо Бабюшай. И глаза были совсем не злыми... И Маматая вдруг осенило: «Обидчивая она, как и я, и еще — незащищенная, вот и выпускает иголки, как еж!»

У парня отлегло от сердца, а губы сами собой растянулись в счастливой улыбке, доверчивой и открытой, как может только улыбаться человек наедине с самим собой.

— Не иначе как со свидания идешь, а, Маматай?

Парень вздрогнул, как будто проснулся от сладостных сновидений наяву.

— Бабюшай, ты сама?..

— Ну конечно, что же тут удивительного? Иду на смеху.

— А ты мне нужна!

— Ох и деловой же ты, Маматай! — пряча веселые смешинки в ресницах, недовольно сказала Бабюшай. — Что ж, видно, придется после смены уделить тебе минутку... на общественных началах...

Уловив настроение девушки, Маматай заулыбался весело, дружески и вдруг сказал:

Не со свидания иду, Бабюшай, а только хочу тебе назначить свидание... Давай сходим в кино, как освободишься, а?..

Из кино шли рядышком и молчали. Бабюшай устала и торопилась домой. А Маматай не мог никак решить, стоит ли девушку посвящать в то, что он узнал о Пармане.

Разговор не клеился. Начал накрапывать дождь, совсем испортив впечатление от их первого свидания.

Бабюшай продолжала упорно молчать и после того, как узнала о судьбе Шайыр. Конечно, она даже и не подозревала, что эта молодящаяся, любящая мужское общество толстуха из отдела кадров, уверенная и умеющая постоять за себя, так несчастна и одинока и нуждается в дружеском участии. Чувствовалось по всему, что девушка никак не могла до конца поверить в вероломство этого безобидного увальня и труженика Пармана, не интересующегося ничем, кроме работы и собственного дома, да еще бутылки...

— Бабюшай?! — вдруг послышался из темноты удивленный голос, и перед ними предстал Алтынбек Саяков в модном плаще и под зонтиком, будто боялся замочить свою неизменную лучезарную улыбку.

Бабюшай почему-то смутилась и нерешительно пожала плечами, будто сама усомнилась вдруг, она это или не она.

— Тебя проводить? — сказав это, Алтынбек понял, насколько нелепо его предложение, и, напустив на себя надменность, он отступил в тень и исчез так же неожиданно, как и появился.

Маматай остановился, закурил, но ничего спрашивать у Бабюшай не стал. А тут и она протянула ему руку.

— До завтра, — и исчезла в своем подъезде, не оглянувшись, не помахав рукой.

...Бабюшай долго не могла уснуть. Впечатления дня наплывали одно за другим, будили мысли и воспоминания... Ей хотелось вспомнить что-нибудь важное и значительное. Но ничего такого, по мнению Бабюшай, в жизни ее не было и не могло быть. После восьмилетки, по совету отца, она закончила профтехучилище при комбинате и стала работать ткачихой. Вот и вся автобиография... Разве что знакомство с Алтынбеком!.. Что тут сказать, Бабюшай льстило внимание молодого и красивого инженера. Кто она такая... простая ткачиха, да к тому же совсем девчонка, и щеки у нее круглые, румяные, детские... А вот выбрал он ее, значит, понравилась... Бабюшай и не заметила, как влюбилась по уши. Испыхивала горным тюльпаном при его появлении в цехе. Она была уверена, что Алтынбек — ее суженый, единственный и неотвратимый, на всю жизнь...

Девушка вспомнила вечер в ресторане, их первый вечер вместе, свое упоение танцами и гордость, потому что — она это отчетливо сознавала — все присутствующие восхищенными глазами следили за Алтынбеком и, конечно, завидовали ей, Бабюшай... И тут девушку обдало жгучим жаром стыда, ведь она полностью вдруг осознала, что, позови ее тогда Алтынбек, ушла бы за ним без оглядки на край света, не заботясь ни о чем и не жалея...

Но Алтынбек не позвал... У него были свои планы, о которых вскоре узнал весь комбинат, а последней — Бабюшай: Саяков встречался с сестрой главного инженера комбината, Бурмой Черикпаевой, инженером отделочного цеха.

«Дерево по себе надо рубить...» — увидев горючие слезы, закипавшие на глазах Бабюшай, то ли ей, то ли просто так сказала мудрая Насипа Каримовна, обняла по-матерински, мол, ничего, переболит, молодая, дождешься своего, единственного, того, что не рядится в павлиньи перья...

Бабюшай удовлетворенно улыбнулась, вспомнив, как Алтынбек после того, как сел на место Черикпаева, и перевода Бурмы в Ташкент, возобновил свои ухаживания, давая понять ей, Бабюшай: дело у него — делом, а любовь — любовью, и здесь он не потерпит никакой путаницы. Этому красавчику, расчетливому и удачливому, в голову не приходило, что кто-то может относиться к любви иначе, чем он.

Все-таки любил он ее, а не Бурму... На душе у Бабюшай полегчало. Девушка снова весенней птахой-певуньей

порхала от станка к станку... Разве что внимательные рассмотрели: глаза у Бабюшай стали большими, с чуть заметной печалинкой...

Вспоминала в ту ночь Бабюшай и неожиданный телефонный звонок Алтынбека из Москвы, где он проходил стажировку на столичном предприятии. Голос его звучал непривычно тоскливо, зазывно: «Бабюшай, только ты одна должна стать моей женой, приезжай, Бабюшай...» Значит, не понял Алтынбек, что к прошлому возврата нет. Особенно обидной показалась девушке уверенность Саякова в ее постоянной готовности броситься к нему по первому зову. А в трубке монотонно и отчаянно звучало: «Букен... Букен... Букен...» Она решительно нажала на рычаг и вышла из переговорной кабины.

И вот теперь Маматай...

Девушка улыбнулась, вспомнив, каким неуклюжим и обидчивым пришел он в цех, терялся и краснел в присутствии старших, даже Алтынбека, уверенного, снисходительного, играющего в демократичность. А как рассердился Маматай, когда она в шутку назвала его деревенщиной: барсуком кинулся к выходу, у самой двери угрюмо оглянулся, хлопнул дверью. «Беги-беги, — подумала она тогда, — барсук, настоящий барсук!» И совсем не заметила Бабюшай его отсутствия в годы учебы в Ташкенте.

Надо же было так измениться парню за какие-нибудь пять-шесть лет! Может быть, в первый раз тогда Бабюшай посмотрела на него с интересом, даже с каким-то затаенным чувством нежности: похудел, черты лица четкие, а глаза задумчивые, детские, добрые...

Возвращение Маматай на комбинат совпало как раз с тем злосчастным звонком Сая ва из Москвы. Бабюшай не жалела об окончательном разрыве с Алтынбеком: теперь все тяжелое позади, она свободна и спокойна... Наблюдая издали за Маматаем, девушка помимо воли думала: «Неужели судьба?..» Нет, наученная горьким опытом, в судьбу она больше не верила. Только почему нет-нет да и вспоминала она этого широкоплечего крепыша с открытым простодушным лицом?.. Почему вдруг согласилась пойти с ним в кино? «Видно, захотелось тебе спокойной жизни, Бабюшай, покладистого мужа! А то, что Каипов — теленок, и ребенку ясно», — ни с того ни с сего рассердилась девушка. Брови у нее хмурились, а на сердце было тепло и радостно. Бабюшай вспомнила уверенное крепкое пожатие рабочей руки и взгляд, не умеющий скрыть восхищение ею, одновременно

горячий и робкий... «Не знаю, как с любовью, но друзьями мы станем наверняка», — твердо решила Бабюшай. Так и уснула она с нежной улыбкой на полуоткрытых губах.

II

Травы в нынешнюю весну взопли спорные, густые. Под частыми дождями отливали они изморосной синевой, дивным изумрудным мхом выстлали взгорья и долины — и вот уже отбелились на солнце, вспыхнули ярым огнем тюльпанов...

Горный ветер принес запахи цветущей земли в город. Весна пьянила. В сердцах горожан ожила, не давала покоя извечная тоска по дальним дорогам... И в первый же выходной день горожане устремились на природу: ехали молодежными компаниями и семьями, туристскими группами и заводскими коллективами, ехали школьники, студенты, пенсионеры — на велосипедах, мотоциклах, в машинах и автобусах, с детскими колясками, рюкзаками и авоськами, нагруженные книгами и журналами, теннисными ракетками и волейбольными мячами.

Когда Маматай вышел из общежития, прихватив сверток с бутербродами, все места в комбинатовском автобусе были заняты. Он остановился в проходе, встреченный забористыми шутками парней, и тут услышал звонкий голосок Бабюшай:

— Иди сюда.

Счастливый и удивленный, парень протиснулся к задним сиденьям. А Бабюшай подняла свою корзиночку с дорожными припасами, не скрывая, что место держала специально для него, глядела в глаза Маматаю спокойно и уверенно.

— Садитесь скорее, дорога не близкая, — сказала и отодвинулась к окну, похлопав маленькой, легкой ладошкой по соседнему сиденью.

Маматай осторожно опустил и все же невольно коснулся упругого, горячего бедра: вдруг перехватило дыхание, ударило в виски, учащенно забилося сердце. «Что это со мной? Любовь? — смятенно пронеслось у Маматая в голове. — Но ведь это совсем не похоже на то, что было у нас с Даригюль!..»

Парень смущенно отвернулся. Ему страшно было встретиться глазами с Бабюшай, увидеть насмешку или просто равнодушие. И Маматай стал делать вид, что любит откровенно, влюбился вдруг горам.

Автобус вырвался из тесноты городских улиц. Под ко-

леса весело убегала лоснящаяся свежим, накатанным глянцем дорога. Она причудливо извивалась, повторяя многочисленные повороты быстрой речки с живописными песчаными островками и раkitами, густыми луговинными зарослями тюльпанов, алых, как щеки деревенских красавиц, знающих тайные травы, от которых румянец рдеет еще гуще, еще зазывней...

Перед глазами Маматая проносились саманные домики и дувалы с легким кружевом цветущих садов над ними. И вот уже автобус, покрыв десятки километров, оставив позади человеческое жилье, свернул на горную дорогу и замедлил ход, как бы предлагая пассажирам выбрать поудобнее приют для купания и отдыха.

Глаза разбегались от встречных красот, то и дело слышались восхищенные возгласы. Когда же автобус обогнул очередную скалу и оказался в узкой долине, зажатой между крутым, заросшим кудрявым кустарником склоном и речной стремниной, у ребят дух захватило от восторга. Прорвав наконец низкие лиловые тучи, готовые каждую минуту разразиться проливным дождем, солнечные лучи коснулись воды — и она начала отливать яркой синевой, скользнули по цветам — и они открылись им навстречу разноцветными, ароматными чашечками. И вот уже вся долина засияла, зазвенела на разные голоса...

Пассажиры, улыбаясь, вылезали из автобусов, разминали уставшие от долгого сидения ноги, подставляли солнцу загорелые, разомлевшие лица. Хорошо. Спокойно. И воздух легкий, пахнущий вершинными снегами. Ублаговременно, томно жужжат пчелы. А над рекой, как микровертолеты, зависли стрекозы.

Первыми устроились на расстеленных плащах признанные комбинатские парочки, тихо обменивались между собой ленивыми замечаниями. Тут же на мелкой травке сбились в круг волейболисты. И только самые отчаянные из приехавших бросились к реке. Среди них, конечно, и Маматай.

Горная вода обжигала, перехватывала дыхание. Разгоряченные ледяным купанием, джигиты с гортанным криком выскакивали на берег и принимались гоняться за девушками, не решающимися войти в речку. Шутки и веселая возня оглашали окрестность, а эхо множило это молодое веселье и возвращало упруго, как будто тоже играло в волейбол...

Маматай, ухватившись руками за прибрежный валун, вдруг увидел Бабушай, замер от волнения. «Неужели Букен, возможно ли?» — не поверил своим глазам, потому что

привык к ее простенькому ситцевому платью, низко, почти до самых бровей, повязанной косынке; в домашних шлепанцах, чтобы не уставали ноги, девушка казалась ему и в цехе уютной и привычной. Отношение у Маматая к ней складывалось ровное, скорее нежное, чем пылкое... Сегодня же он по-новому открывал Бабюшай для себя: черный купальник оттенял белизну тела, туго обхватывал полную грудь, подчеркивал стройность девичьего стана. Бабюшай была красива налитой, цветущей красотой. В ее движениях уже не было незрелой угловатости, они были свободными, плавными, раскованными. Чувствовалось по всему, что Бабюшай вполне сознает свою привлекательность и не стесняется ее. Она спокойно встретила восхищенный взгляд Маматая, и парень отвел глаза, не захотел показать растерянности, унижающей, по его мнению, мужчину.

А девушка как ни в чем не бывало вошла в воду, но купаться не стала... Бабюшай не была бы Бабюшай, если бы вдруг украдкой не набрала полную пригоршню воды, и, звонко смеясь, не облила греющегося на валуне, притихшего Маматая, и не кинулась бежать по берегу, разбрасывая быстрыми ногами серебристый речной песок.

Как тут быть Маматаю, как удержать себя в узде, когда ноги сами подняли его и понесли неудержимо и властно по тому же искристому песку? И вот уже трепетная Бабюшай в его сильных руках. А Маматай совсем теряет голову от этой близости, оттого, что глаза у девушки озорные, жаркие, с загадом, а руки не очень настойчиво упираются в его грудь. И Маматай легко поднимает ее, теплую, податливую, и несет на самую середину потока, вместе с ней погружается в пенистую стремнину. Бабюшай только и успевает крикнуть:

— Сумасшедший!

«Конечно, сумасшедший...» — соглашается про себя Маматай, ощущая приятную теплоту, разлившуюся по всему телу, теплоту общности сердец и какой-то неведомой тайны, связавшей их с Бабюшай тонкой, пока еще непрочной ниточкой. И, боясь за нее, такую слабую и нежную, они, не сговариваясь, решили идти домой пешком... И в этой их первой совместной дороге заботливо сопровождало солнце, огромное огненное колесо. Оно коснулось вершинного горизонта только тогда, когда Маматай с Бабюшай, взявшись за руки, вошли в город.

Маматай смотрел на девушку и думал, что совсем о ней ничего не знает — ни о ней, ни о семье. Репившись наконец

спросить Бабюшай о ее отце, он услышал в ответ залиvis-тый, веселый смех и обиженно замолчал.

— Опять обиделся. Чудак, да ведь ты с моим отцом чуть ли не каждый день встречаешься на комбинате. Только ты, Маматай, наверно, один не знаешь, что мой отец Жапар-ага...

— Жапар-ага? Аксакал? — Маматай так резко остано-вился, что чуть не потерял равновесия. — Мой наставник? Невероятно...

Маматай нисколько не преувеличивал, назвав Жапара-ага своим наставником. Совсем недавно, сразу же после от-ветственного назначения, Маматай пригласил к себе в парт-ком Кукарев для напутственного слова.

— Знаю, что веришь мне, Маматай, — крепко, по-мужски пожимая руку молодому инженеру, приподнялся со стула парторг, — и от доброго совета не отмахнешься...

Кукарев задумался. И Маматай с горечью заметил, как постарел и побледнел Иван Васильевич, как устало ссутули-лись плечи. А Кукарев молчал, видно, собирался с мыслями. Наконец он взглянул на Маматай доверительно и серьезно.

— Начальник производства, у кого ты теперь замести-тель, молодой инженер, опыта тоже кот наплакал... — Ку-карев добродушно похлопал Маматай по плечу. — Так вот, если что, есть у тебя старший мастер Жапар-ага... Опирайся на него... И мы поможем.

— Конечно, старший... — Маматай сделал многозначи-тельную паузу, улыбнулся, — по рангу положено подчи-няться.

— Не ожидал от тебя, парень, — нахмурился Кукарев, от-чего лицо его прочертили глубокие, горькие морщины. — Ко-нечно, ты дипломированный инженер, но не зарывайся... Жапар практик с почти полувековым стажем... технику и технологию производства постиг не только головой, но и ру-ками... Жапар — мудрец, человек с высокими моральными принципами. Он еще на шелковом комбинате получил по-четного «Мастера-воспитателя!» Вот теперь знаешь все, больше тебя не задерживаю...

Маматаю было радостно сознавать, что рядом с ним такие отзывчивые и заботливые люди. И все-таки была и горечь, подспудная, затаенная, горечь осознания того, что его отец — перед его внутренним взором тут же появлялось лицо стари-ка с торчащими, тронутыми сединой усами, до боли родное, на котором каждая морщинка знакома, — с такими ж круп-ными рабочими руками, как у Жапара или у того же Кука-

рева, работал всю жизнь ради денег, ради приобретательства — копил деньги для них, своих детей, но никогда не потратил ни копейки, по его понятиям, на «чепуховые забавы». И у него, Маматая, нет и не будет таких воспоминаний об отце, как у Бабюшай, ездившей с Жамал-ака в Крым... Не было у него со старым Каипом и ночевок в степи, душевных разговоров и чуткого молчания вдвоем, когда слов не надо, когда легко и согласно думается и вспоминается...

* * *

— А вот и наш замначальника производства! Иди сюда, Маматай!

Каипов увидел улыбающегося Алтынбека среди приваряженных и торжественных ткачих. Тут же был безмятежный Парман и еще три-четыре наладчика. Около них крутился юркий фотокорреспондент, усиленно щелкающий фотоаппаратом, который, увидев Маматая, выжидательно остановился.

— Ну скорее же, тебя одного ждем, — опять нетерпеливо позвал Алтынбек.

Но Маматай наотрез отказался:

— Заслужить надо такую честь! — И тут же узнал: — Что, специально приехали снимать нашу бригаду?

— Не-ет, — замылся Алтынбек. — Интересует газету наша автоматическая линия в отделочном... та, что монтируется... Ну да все равно... И у тебя есть, что снять. Руки у твоих девчат золотые! — И Алтынбек лихо подмигнул ткачихам, мол, видите — горой за вас стою.

— Линия еще только монтируется, а звону уже! — сказала Халида, ревниво скосив глаза на застывшего в нерешительности корреспондента.

— Нет, Халида, ты не права, — покровительственно взглянул на нее главный инженер. — Автоматика в отделочном — это практическое свидетельство научно-технической революции на нашем комбинате!

— Несмотря ни на что, введем мы линию раньше срока... Твой муженек, Халида, не допустит, чтобы главный инженер бросал слова на ветер. — На тонких губах Алтынбека сияла неизменная улыбочка, давно уже никого не трогающая и не вдохновляющая. К ней привыкли так же, как и к его безукоризненному костюму, отполированным ногтям и прямой походке.

Главный инженер явно недооценивал темперамента чер-

ноглазой Халиды. Подбоченясь, она стала наступать на Алтынбека, приговаривая:

— Ах вот как! Значит, ты, Алтынбек, в ответе за то, что мой муж забыл о доме — днем и ночью в цехе?

— Несознательная ты, Халида, нет у тебя гражданского долга, — как мог, защищался Саяков, благоразумно отступая за спины ткачих.

— Значит, вы многого ждете от линии? — перешла на серьезный тон ткачиха.

— А как же. Станет легче труд, улучшится качество продукции, — загибал пальцы на руке Алтынбек, — высвободятся рабочие руки...

И тут всех насмешила юная Сейдана. Она всплеснула руками, а потом, прижав их от смущения к раскрасневшимся щекам, воскликнула:

— О аллах! Если всю работу сделают машины, мы-то на что?..

— Не волнуйся, сестренка, и нам дела хватит. Станешь отличной ткачихой, как Бабюшай, — никакие машины не страшны. — И радовался про себя, что Сайдана наперекор старому Каипу приехала к нему на комбинат и упорно овладевает под началом у Бабюшай рабочей сноровкой.

Сайдана же очень быстро забыла свои, только что пережитые огорчения. Она улыбалась, узнав, что фотография будет помещена в республиканской газете и ее, конечно, увидят кишлакские подружки. Сайдане к тому же нет нужды опасаться, что ее не разглядят земляки, если получится неразборчиво — корреспондент обещал подписать снимок: «Красавица Сайдана учится ткать ситцы». И девчонке верится в то, что ее веселые подружки, увидев, какая она счастливая на снимке, обязательно приедут учиться на ткачих, чего ей пока не хватает для полного душевного комфорта.

Бабюшай смотрела на Сайдану, такую доверчивую, по-детски открытую, и улыбалась. Кто знает, чему? Может, своим мыслям, а может быть, вспоминала себя такой же зеленой и смешливой и немножко завидовала тому, что у Маматаевой сестры — все сейчас впервые, все внове, светло и искренно, не охлаждено житейским опытом. И Бабюшай осознавала всю ответственность и за Сайдану, и за всех учениц, пришедших на комбинат, за их счастье. И еще: только почувствовав интерес к работе и уважение к себе, ученики смогут поверить в свое рабочее призвание.

Маматай узнал о предстоящем собрании сразу же, как вернулся в цех после десятидневной командировки. Собрание должно было подвести итог их полугодовой работы, их ткацкого производства и обсудить кандидатуры передовых рабочих, выдвинутых на присвоение звания ударников коммунистического труда. У парня так все внутри и перевернулось от возмущения, когда он в списке увидел и фамилию Пармана. «Паршиев — ударник коммунистического труда, виданное ли дело!.. Да, но об аморальном поступке Пармана на комбинате многие и не подозревают... Как отнесутся люди к моему выступлению против кандидатуры Пармана? Работник он старательный, умелый, а по делам в первую очередь у нас и судят о человеке» — так рассуждал Маматай, направляясь со списком в руках в партком к Кукареву.

Парторг долго сидел, опустив глаза, узнав об истории Пармана и Шайыр и еще о многом, что удалось заметить Маматаю за своим подчиненным. Судя по всему, рассказ парня его расстроил. Наконец он встал из-за стола, тяжело опираясь на палку, прошелся по кабинету. Маматай видел, как дрожали руки у парторга, когда он вернулся на свое место, и стал машинально переключивать папки на столе.

— Знаешь, дружок, — обратился он к Маматаю. — Все это не так просто... Будем разбираться. А пока иди и спокойно работай — несправедливости не допущу, обещаю тебе.

Маматай шел в цех и вспоминал, с кем на комбинате он разговаривал о Пармане: «С Бабюшай... Вот сейчас с Кукаревым... Да, еще пробовал с Алтынбеком!» Но главный инженер даже слушать не захотел, отмахнулся, мол, некогда, дела...

Большую часть собрания заняло выступление главного инженера о выполнении производственных обязательств, о плане работы. Он привел много цифр, сравнил их с предыдущими показателями и, наконец, перечислил передовиков, среди которых был особо отмечен Парман. Речь Алтынбека лилась гладко, без заминок, не раздражала слуха, даже ласкала его. Надо сказать, что и главный инженер старался угодить слушателям изо всех сил и спустился с трибуны, вытирая белоснежным платком вспотевший лоб.

Кукарев говорил спокойно и просто, не повышая голоса, не навязывая своего мнения, а убеждая на примерах из повседневной жизни комбината: о значении коммунистического труда, политическом и социальном, для общества и для каждого человека в отдельности не как рабочей единицы, а личности, сознательной и требовательной к себе и другим...

Сумел-таки парторг задеть присутствующих на собрании за живое. Зал зашумел, как улей, послышались делные замечания и предложения.

Кукарев выжидательно поднял руку:

— Тише, товарищи, не все сразу! Давайте начнем обсуждение предложенных кандидатур передовиков. — Он внимательно осмотрел присутствующих: — Ну, хотя бы с тебя, Маматай, прошу...

Парень поднялся на трибуну, глухо прокашлялся. Видно было, как он волнуется.

— Разрешите мне, — начал он глуховатым севшим голосом, — поздравить наших передовиков, — и вдруг не выдержал, заспешил, скомкал выступление: — Я против, товарищи, чтобы Парману Паршиеву присвоили звание ударника комтруда! Не заслужил он его. Вон он сидит, Парман-ака... Пусть сам признается во всем, что не достоин, потому... потому что лучше если сам он, а не я назову причины...

Алтынбек, хотя и ничего не понял из сказанного Маматаем, начал нервничать. Главный инженер больше всего не любил, когда начинались — по его выражению — незапланированные эксцессы. Вот и сейчас спланированный им, отлаженный механизм собрания начал давать перебои... Алтынбек поспешил на помощь.

— Товарищ замначальника производства, — официально, строго перебил он Маматая, — что это за безответственные разговоры? Кандидатуры обсуждались в бригадах... Я сам за этим проследил! А бригада Пармана-ака стабильно выполняет плановые задания. — Алтынбек укоризненно посмотрел на Кукарева, как бы призывая его помочь навести порядок.

— Разговор идет о коммунистическом труде. Правильно я говорю, товарищ Саяков? О ком-му-нис-ти-чес-ком! Так почему же вы ограничиваетесь производственными показателями? Кроме того...

Алтынбек резко перебил Маматая: сейчас для него главное было не только не дать говорить ему, но и убедить при-

существующих в предвзятости и безосновательности маматаевских суждений.

— Говори конкретно, к чему эти голословные обвинения.

Послышались и из зала выкрики:

— Говори, Маматай.

— Правда, должны же мы знать, в чем дело.

— Характер ему Пармана-ака не нравится!

— Да тише вы все!

Маматай совсем растерялся:

— Не о характере говорю, а об отношении к людям! Равнодушный он, вот что!

По рядам пронеслось волнение: передние оглядывались, а задние ряды тянули шеи, чтобы взглянуть на Пармана-ака новыми глазами. Под Парниевым жалобно и тревожно заскрипело кресло, но сам он был, как всегда, невозмутим.

Тем временем Алтынбек пытался перекрыть возникший шум:

— Партия призывает нас с уважением относиться к людям и в труде и в быту. А что мы сейчас видим? Молодой инженер, без опыта, без заслуг, хочет втоптать в грязь авторитет нашего старейшего, заслуженного мастера!.. Неслыханно!.. И все это происходит в общественном месте, в присутствии, можно сказать, целой фабрики.

Маматай сокрушенно махнул рукой и сошел с трибуны.

По предложению Кукарева обсуждение кандидатуры Парниева было перенесено на заседание парткома. И все разошлись, взбудораженные и усталые, кто на смену, а кто к домашним делам.

В общежитие Маматаю идти не хотелось. Он медленно брел по центральной улице города, хотел заглянуть в кинотеатр, но сеанс уже начался, а до следующего долго. Парень был очень недоволен собой, своим опрометчивым, неподготовленным выступлением. Ну и чего он добился? Дал повод увертливому Алтынбеку у всех на глазах посмеяться над ним? Раз не смог напрямую сказать, так, мол, и так, обманул девушку, бросил с ребенком; если такой принципиальный, то нечего было и на трибуну выходить! Люди, конечно, ничего не поняли, не поверили... Алтынбек не промах, вот ведь как завернул! Растоптал, мол, честь аксакала при всем честном народе!.. Успокаивало лишь то, что Парман все-таки в списке не остался, что все еще можно поправить...

Когда озабоченный Алтынбек появился у Парман-ака, тот спокойно, как всегда обложившись пуховыми подушками, отдыхал после плотного ужина. Саяков, как ни приглядывался, не подметил ни малейшего следа волнения или огорчения на его широком, гладком лице, а если что и промелькнуло на нем, так только то, что его побеспокоили не вовремя не дали вздремнуть.

Первым заговорил Алтынбек:

Ну, кажется, все уладил. Был у начальства. Думаю, удастся замять. Многие выступят за тебя, Парман-ака.— И обиженно добавил: — А вам, я вижу, хоть бы что...

— Разговоры все... не люблю... — как от назойливой мухи, отмахнулся Парман.— Дело признаю...

Алтынбек прикурил сигарету и сильно затянулся.

— И все-таки не понимаю я вас, Парман-ака. Даже зверь борется за добычу, а вы... Стоит только упустить инициативу, тут сразу же возьмут в оборот... Не советую отсиживать-ся: действовать надо, дорогой, действовать...

— Чего ты хочешь от меня,— раздраженно закрутил тяжелой, взлохмаченной головой Парман, и пружинка тоненько и жалобно запела под его рыхлым боком.— Говорил тебе, покой я люблю... Никого не трогаю, и меня не трогай!

— И все-таки настоятельно советую написать заявление в партком, мол, требую разобрать поведение коммуниста Каипова, в личных целях скомпрометировавшего меня на общем собрании, и т. д. Поняли?.. Он-то наверняка на вас уже настроил...

Парман даже привстал на диване, недоверчиво уставился на Алтынбека сонными, неподвижными щелочками. И Саяков обрадовался, что наконец сумел расшевелить лежебоку, задеть за живое. А Парман, приходя в ярость от одной только мысли, что этот плюгавый Маматай, совсем недавно смотревший подобострастно ему в рот и ждавший от него хоть одного благосклонного словечка, теперь настроил на него кучу напраслины, яростно заклокотал:

— Я буду писать!..

На следующий день в парткоме перед Кукаревым лежало пармановское заявление, а сам он стучал огромным, со вздувшимися венами кулаком по столу, так что сыпались на пол карандаши и разлетались бумаги:

— Что это значит, товарищ Паршиев? — холодно приподнялся и оперся ладонью на палку Кукарев. — Успокойтесь и объясните, в чем дело... Грубость — слабый аргумент...

И Парман сник под твердым, холодным взглядом парторга, тяжело осел на стул, вытер тыльной стороной ладони пот со лба. Он никак не ожидал, что этот болезненный, тщедушный человек (Парман признавал в людях только физическую мощь) способен не только выстоять перед его, Пармана, натиском, но и усмирить его одним взглядом обычно таких мягких, уступчивых бледно-голубых глаз.

— Прочитай, парторг, тут все описано... Рабочего человека, омолодившего руки на металле за столько лет... тяжелого труда... в грязь... при всех... Как коммунист заявляю, — опять взъярился Парман, — не потерплю!

— Рабочий стаж, Парман, тебе зачтется... И попрекать тебе им меня, рабочего человека, незачем. А совесть со стажем путать ни к чему. Совесть, ведь она есть или ее нет — независимо от стажа...

Паршиев давно понял, что криком с Кукаревым ничего не добьешься. И кулаком он стучал зря. И все этот Алтынбек, друг называется... Нет, не пармановское дело тарусы на колесах разводить. Лежал бы уж лучше на своем диване, глядишь и обошлось. Да и не набивался он на это звание... Все Алтынбек, все он! Ему нужно, для себя, видать, стараться!..

* * *

Наверно, не найдется на комбинате такого человека, который не знал бы Насипу Каримовну. И старожилы не припомнят, когда появилась она на производстве, где уж молодежи. Но и от пожилых, и от зеленых то и дело слышалось: «Насипа Каримовна, Насипа Каримовна...» И она, поправив солидные, в золотой оправе, очки, сползающие на кончик носа, спешила на зов помочь, объяснить или утешить, добрая общая мама.

Маматай никогда не забывал, как радушно встретила она его в первый день на комбинате и как равная с равным объясняла свою профессию, рассказывала о людях, о Кукареве... И все-таки раздражала его иногда эта вездесущность пожилой женщины, будто заняться нечем: желание вмешиваться во все дела: ходит в драмкружок, хотя в спектаклях не участвует.

Однажды, после нашумевшего на весь комбинат собра-

ния, на котором Маматай обвинил Пармана в равнодушии, подошла она к парню, положила руку на плечо, грустно взглянула в глаза:

— Что там с Парманом-то? Может, помогу?

Маматай поначалу хотел отмолчаться, но слово за слово рассказал об обиженной Парриевым девушке, о горькой ее судьбе и о сыне, сиротствующем неизвестно где.

Насипа Каримовна сняла очки, лицо у нее было расстроенное, в добрых морщинках, такое, как у всех пожилых матерей много работавших, много видевших, много переживших.

— Что с вами, апа? — бережно наклонился к ней Маматай.

Женщина долго молчала и, только немного успокоившись, сказала Маматаю:

— Сердце не на месте у меня, сынок, как услышу о горе материнском... Сама все испытала, могу понять... И все-таки, Маматай, выслушал ты одну только сторону. А как человека огульно осудить? Ведь бежала под чужим именем эта несчастная из своих мест!.. Нет, нет, сынок, не возражай, нельзя так. А я всегда надеюсь на лучшее, на людскую совесть.

После этого разговора с Насипой Каримовной Маматай как-то очень потянулся к строгой, все понимающей с полуслова женщине. И, узнав, что она прихворнула, напросился в компанию девчат, собравшихся ее навестить.

Бабюшай и Сайдана шли молча, а парень футболил перед собой плоский камешек, делая вид, что целиком поглощен этим занятием: Маматаю было очень обидно, что Бабюшай за все это время ни разу не подошла к нему и не заговорила, как сделал бы на ее месте близкий человек; как будто у них не было поездки в горы, не было доверительного, душевного общения.

Квартира Насипы Каримовны оказалась обычной, ничем не примечательной — ни размерами, ни убранством. Разве что сразу же от порога бросались в глаза два увеличенных фотопортрета: солдата и мальчика лет четырех-пяти, большеглазого, с нежной тоненькой шейкой и косо подстриженной челкой над удивленно поднятыми бровями. Солдат был молодой, скуластый, с узкими монгольскими глазами, взгляд которых говорил одновременно и о прямоте и о добродушии.

Хозяйка дома проследила за взглядом Маматая, задержавшимся на фото, и быстро отвернулась, чтобы скрыть боль и страх перед неизбежным вопросом, а следовательно, и

перед неизбежным напоминанием о дорогих утратах. А когда вопрос все же прозвучал, наивный и прямой, Насипа Каримовна в изнеможении откинулась на подушки.

— Мой муж...

Заметив удивление в глазах парня, она горько усмехнулась:

— Постарела я с тех пор, Маматай, а он так и остался для всех молодым... Не пришедшие с войны не старятся...

Гости сидели торжественные и притихшие, с нетерпением заглядывали в самые зрачки Насипы Каримовны. И у нее не хватило духу обмануть их ожидания откровенности, доверительного рассказа о своем, давнем, пережитом, и она сказала:

— Ох и давно же это было!.. Поженились мы перед самой войной. Как мы тогда были счастливы!.. А счастье нам наше трудно досталось,— Насипа Каримовна отстраненно и печально улыбнулась, вспоминая юность, своего Джандарбека, а глаза были полны запоздалых слез. Казалось, что они вот-вот перельются через край, но слезы не переливались, отчего глаза Насипы Каримовны мягко лучились навстречу внимательным ребячьим глазам и своим воспоминаниям.— Увидела я в первый раз Джандарбека и внимания на него не обратила... Случилось это летом сорокового года на курсах по подготовке учителей. Джандарбек уже учительствовал в глухом горном кишлаке, а я была начинающая... Не знаю, как вышло, но вскоре мы стали неразлучными. Видно, не красотой взял, а сердцем...

Как быть дальше? Это теперь все просто у влюбленных, тогда... Отец у меня был правоверным мусульманином, муллой, зажиточным горожанином. И братья мои были под стать отцу, им ничего не стоило взяться за ножи во славу Магомета, а также чтобы защитить припрятанные богатства... На курсы меня отпустили со скандалом... О зяткомсомольце семья, конечно, и слышать не захотела бы. Да еще национальные предрассудки: мои таджикские родители не захотели бы в дом киргиза...— Насипа Каримовна сокрушенно покачала головой, отпила холодного чая из пиалы, нервно провела тонкими пальцами по гладким, стянутым в узел волосам. Лицо у нее было крупное, дебелое, домоседское, с мелкими морщинками у глаз. Как ни приглядывайся, не поверишь, что было оно когда-то тонким, большеглазым, с упрямым смуглым румянцем во всю щеку...

Не мог себе представить молодой Насипу Каримовну и Маматай, что не мешало ему сердцем пережить отчаяние

тогдашнее и боль ее, тоненькой девчонки с косичками, оказавшейся запертой родичами в каморке, когда те узнали о ее встречах с Джандарбеком; ее недоумение: «Где же Джандарбек? Неужели забыл меня?..» Теперь Маматай хорошо понимал интерес и сочувствие пожилой женщины к его рассказу о судьбе Шайыр, обманутой когда-то Парманом...

Но Джандарбек не забыл свою Насипу. Однажды ночью она услышала горячий шепот в дверную щелку: «Ты здесь?..» Так оказались они в далеком, забытом богом и людьми кишлаке и долго еще прислушивались к малейшему шуму, отдаленным голосам и стуку лошадиных копыт, опасаясь преследования и безжалостной расправы.

— Ну а потом? — заторопила Насипу Каримовну Сайдана, воспринимавшая рассказ как волшебную, захватывающую сказку.

И женщина добродушно потренила ее по щеке и скорбно вздохнула:

— Потом? Потом, детка, война, одиночество, тяжелая работа... Джандарбека проводила с первым призывом, взяла на себя и его классы... До обеда — с учениками, потом — в поле. Мне, горожанке-белоручке, труднее всех приходилось: и плуг, и серп видела впервые... Ничего, притерпелась. Не давали унывать письма Джандарбека, его фронтовые треугольнички: «Моя Насипа, моя нозик¹...» — Она закрыла глаза и блаженно покачала головой, а губы, казалось, продолжали шептать: «Нозик, нозик...» — Вся надежда у нас, солдаток, была на победу... Победы дождалась, слава аллаху, а Джандарбека своего не дождалась... «Черную бумагу», как у нас называли похоронки, получила после праздничного салюта: «Старший лейтенант Джандарбек Темирбаев пал смертью храбрых в тяжелых боях при штурме рейхстага...»

Гости подавленно молчали, как будто эта давняя «черная бумага» получена Насипой Каримовной только что, и им вгорячах не найти нужных, утишающих сердечную рану слов... Маматай и Бабюшай сидели с опущенными глазами, а Сайдана — с удивленно приоткрытыми, по-детски пухлыми губами: первый раз в своей жизни она услышала «сказку» с горьким концом...

Наконец Маматай осмелился перевести разговор в другое, более спокойное, как думалось ему, русло, ведь он знал, как любят женщины говорить о детях, и, подняв глаза на портрет мальчугана, сказал:

¹ Н о з и к — нежность.

— Какой прекрасный портрет, Насипа Каримовна! Готов биться об заклад, что ребенок этот никогда не огорчал родителей!

Но что это? Темирбаева вдруг стала блее полотна, губы перво задрожали, а в глазах появилась тоскливая мольба, мол, не надо об этом... И она, делая невероятное усилие над собой, сказала:

— Сын... Наш с Джандарбеком единственный сыночек... В безрадостное время появился он на свет, и назвала я его веселым именем Джайдарбек¹... Счастливый Джандарбек писал с фронта, благодарил, наказывал беречься и беречь сына... А уж я ли над ним не дрожала!.. В теплой паузе, у самого сердца вынырнула... И надо же случиться такому: на минутку выскочила к почтальону, а сыночек играл с автомобильчиком, катал его за нитку, попятился и опрокинул на себя кастрюлю с кипятком!.. Жить я после этого не хотела... Люди спасли, не дали наложить на себя руки... Но с детьми я уже работать не смогла: в каждом детском личике мерещились мне черты моего Джайдарбека... Это было почти помешательство... Бросив все, уехала из тех мест, где каждый камень напоминал о погибших муже и сыне, в город, поступила на комбинат... А на людях и одинокое сердце — не сиротское...

Насипа Каримовна еще долго и пристально всматривалась в дорогие лица на фотографиях, и руки у нее слегка вздрагивали, как птицы, готовые в любую минуту взлететь навстречу не умершей надежде, чуду, никогда не покидающих сердце человеческое, пока оно живет и любит...

— Долго я считала себя несчастной, обижалась на судьбу, — Насипа Каримовна доверчиво и просветленно перевела взгляд на Маматая, Бабюшай и Сайдану, — а теперь думаю иначе... Было и у меня, хоть короткое, но настоящее счастье... большая любовь... материнство... И теперь оно сомной — только спокойное, несебялюбивое... И достоинства своего человеческого никогда не роняла, и от работы не бегала... И эти вот руки, — Насипа Каримовна близоруко, к самым глазам поднесла натруженные ладони (ее золоченые, «учительские» очки давно лежали на тумбочке у кровати), — рабочие, а значит, нужные людям, стране нашей...

В комнате долго молчали, каждый в себе и по-своему переживали услышанное. Первой подала голос Бабюшай. Ей было непонятно, почему Насипа Каримовна ничего

¹ Дж а й д а р ы — веселый.

не рассказала о своей дочке Чинаре... Но Насипа Каримовна сделала вид, что не расслышала вопроса Бабюшай (а может, так оно и было), а переспросить девушка не решилась, только гадала про себя, почему Чинара — Темирбаева, если вдруг у Насипы Каримовны был второй муж?..

Что греха таить! До сегодняшнего дня и Маматаю, и той же Бабюшай, а может, даже этому несмышленишу Сайдане, только-только постигающей житейские азы, Темирбаева казалась суховатой, настырной, вечно в своих щегольских очках, она наставительно, безапелляционно вмешивалась во все комбинатские конфликты, защищала, поучала, призывала к ответственности... Ее и после смены можно было застать в цеху или парткоме. Темирбаева добивалась порядка и усиления воспитательных мер в комбинатском общежитии, спешила в роддом с гостинцами и поздравлениями...

Конечно, не всем была по душе такая активность Насипы Каримовны. Случалось, что и выговаривали ей, напоминали, что место порядочной, уважающей себя женщины — у домашнего очага. Только Темирбаева не из тех, кто прислушивается к подобным вздорным и несправедливым советам, да и сердце у нее — отходчивое, беспокойное... Вот и звучал то в одном, то в другом месте решительный, глуховатый голос Насипы Каримовны: «Почему не соблюдаете гигиенические нормы? Почему на складе нет запасных деталей? Почему используете низкосортные красители?..» И все это требования не по должности, а по общественной линии.

Сердятся нерадивые работники на Насипу Каримовну, но побаиваются, уважают. И только какой-нибудь новичок разве решится отделаться от ее замечания посулом исправиться в надежде, что забудется, спишется, обойдется... А так все знают: не отстанет Темирбаева до тех пор, пока горе-производственник не примется серьезно за дело, со всем старанием и ответственностью. А самое главное — многих она отучила от привычки кивать на смежников, мол, по их вине и наш брак.

И на совещаниях Насипа Каримовна не отсиживается за спинами товарищей — у нее всегда есть дельные предложения. А если нужно выступить с критикой, то критикует, невзирая на лица и служебное положение.

Маматай и сам, бывало, ворчал не раз: «И что за женщина!.. Куда ни придешь, везде она... Даже драмкружок по профсоюзной линии опекает...» Но, окунувшись с головой в жизнь комбината, он начал наконец сознавать, как нужны на производстве такие люди, как Темирбаева. А теперь,

узнав о судьбе пожилой женщины, о ее горьких утратах, Маматай окончательно понял, что ничего тщеславного, вызывающего в ее поступках нет, просто много в них не-растраченной доброты, участия и настоящей гражданской ответственности за общее дело.

II

Заседание парткома, на котором должно было обсуждаться заявление передовика производства, помощника мастера ткацкого цеха Пармана Паршиева, открылось в директорском кабинете.

Здесь всегда былолюдно, шумно. Не проходило и дня без бурных обсуждений перспективных планов развития производства, а также текущих — квартальных и месячных. Нередко вызывались сюда, «на ковер», бракоделы и волокитчики. Решались вопросы научной организации труда, экономической эффективности и научно-технического прогресса... Хозяин кабинета любил быть в гуще комбинатской жизни, не прятался от нее за обитой дерматином дверью и все дела считал первостепенными и безотлагательными. Вот почему ничего экстраординарного не было в том, что партийные дела решили обсудить на сей раз у директора.

И все-таки, наверно, не одному Маматаю закралось в сердце подозрение, что кому-то необходимо подчеркнуть чрезвычайность данного заседания. «Кому же? — хмуро всматривался Маматай в собравшихся. — Кому нужно на весь комбинат раздувать эту историю? С ходу, не разобравшись в личных мотивах и обстоятельствах? Конечно, и он, Маматай, виноват, сам поставил себя под удар... И все же почему все-таки Парман осмелился выступить против него? Никто даже не заметил, как все перевернулось с ног на голову...»

Директор Беделбаев, как всегда, спокойно поглядывал на собравшихся, взглянул и на Маматая, поправив очки на переносе, наклонился к бумагам.

Проходили мимо Каипова, скромно занявшего место у самых дверей кабинета, члены парткома — строгие, официальные, даже Кукарев только кивнул в ответ Маматаю и прошел к директорскому столу, сильнее чем обычно налегая на рукоять трости. Только Алтынбек Саяков издали как ни в чем не бывало улыбнулся Каипову своей лакированной улыбкой и демонстративно сжал кулак — держись, мол, будь мужчиной...

Маматай рассердился. И что он в самом деле! Бой предстоит серьезный, нервный, а он, Маматай, вместо того чтобы сосредоточиться, настроиться на борьбу, правую и бескомпромиссную, занимается дурацким психоанализом подразумеваемых врагов... Да существуют ли они у него вообще? Жизнь его на комбинате с самого начала сложилась благополучно, хотя в начальники он, Маматай, не лез, не пытался никого обскакать по служебной лестнице...

Всматривался исподтишка в собравшихся тем временем и Саяков, прощупывая обстановку и настроения. Начал он с Беделбаева. Директор всегда держался с ним не только на людях, но и дома, куда имел доступ Алтынбек, когда речь заходила о комбинатских делах, подчеркнуто официально, неизменно давая понять, что для него личные отношения никогда не распространяются на дело. К тому же Саякова он считал увертливым, ненадежным. Почувствовав на себе взгляд, директор еще больше нахмурился. Заместителей Беделбаева Алтынбек не принимал всерьез. А вот Кукарев — этот из правдолюбов, себя не пощадит, не только что чужака.

Саяков решил занять выжидательную позицию. Прикрыв глаза ладонью, затаился. Алтынбек, гладкий, обтекаемый, в эту минуту был вылитым дедом Мурзакаримом, когда тот выходил по излюбленной привычке на кишпачный бугор, в тяжелой овечьей шубе с целой шкурой барашка вместо воротника... востроглазым, что-то прикидывающим про себя, что-то затевающим...

Алтынбек, рано потерявший отца, вырос под крылышком у Мурзакарима, деда по матери, старика костлявого, вьедливого и коварного, себе на уме.

В последние годы Мурзакарим заметно одряхлел, но глазки-буравчики сохранили живой блеск житейской сметки. Они поглядывали как настороженные юркие зверьки, готовые в любую минуту спрятаться или вцепиться мертвой хваткой... И характер остался прежний, заносчивый и своенравный. Но теперь, когда он в жизни больше ничего не значил, старик не любил показывать его, разве когда вспылит, начнет размахивать костлявыми, ухватистыми руками, срывающимся, резким фальцетом отчитывать провинившегося.

Алтынбек хорошо помнил деда, важного, насупленного, не умеющего поступаться житейским опытом, собранным по крупицам еще в стародавние времена. Помнил он и то, как, набегавшись досыта с ребятишками, над которыми всегда

верховодил, юркнет под широкую полу мурзакаримовского тулуна, прижмется к его хромоту колену, затихнет, слушая бивальщины и притчи, пропуская мимо ушей скучные поучения. А рассказывать старик умел живо и наглядно. Бывало, Алтынбека никакими посулами не выманить из-под овчинной полы. Любопытный и смысленный не по годам, он засыпал деда каверзными вопросами, на которые тот без улыбки, старательно отвечал, довольный и гордый. Ему нужен был такой собеседник — свой, внимательный, не разучившийся верить и восхищаться. И Мурзакарим вскоре уверовал в то, что наконец у него есть преемник, гнул в разговоре свое, внушал, настаивал:

— ...Представится случай, почему не покомандовать, сынок? Люди — овцы, без вожака пропадут совсем... В жизни так: или ты — наверху, или — внизу. — Старик внимательно следил за выражением глаз Алтынбека, держа костлявыми пальцами за подбородок. — Так вот, настоящие джигиты всегда наверху, и не нашего ума дело жизнь менять. Смотри сам, кем будешь: бараном или джигитом.

На следующий раз Мурзакарим внушал внуку:

— У сильных всегда много врагов... Если сошелся в рукопашной, бей первым, да так, чтобы не встал больше. Иначе — киргизы правду говорят: «У того, кто щадит врага, жена наденет черный траур» — получишь нож в спину... И еще запомни: за деньги сильно не держись — сегодня они есть, завтра нет... Не твоя над ними воля... Главное, деньги должны не лежать, а работать. Дай сам нужному человеку, а при удобном случае урви свой кус у другого...

Алтынбек был тогда слишком мал, чтобы задумываться над дедовыми поучениями, но память пока бесстрастно фиксировала все, чтобы рано или поздно просигнализировать — вспомни, обдумай, воспользуйся... И вот, когда житейская фортуна стала подводить счастливого Алтынбека, в его мозгу нет-нет да и всплывали, как сомы со дна темной, омутной заводи, обрывки мурзакаримовских аксиом, они щекотали своими сомовьими усами самолюбие Алтынбека, выводили из равновесия... Тогда Саякову неудержимо хотелось, как когда-то в детстве, под надежную полу старика. И он начинал собираться в родной кишлак, потом вдруг остывал, распаковывал чемоданы...

«Да, старик мой дальновиден и мудр, — в какой уже раз повторял про себя Саяков, из-под руки косясь на Маматая, — уж мы ли не были его друзьями? А вот подставил земляку подножку... Сегодня — Парману, а завтра, выходит, мне?..»

Маматай, услышав, что слово предоставляется ему, начал говорить смущенно и взволнованно о том, что произошло когда-то с семнадцатилетней девушкой, чистой и трепетной, как весенняя осинка на горном ветерке. Голос его срывался и дрожал... Люди слушали его и постепенно проникались волнением, им все ближе и понятней становилось наивное чувство, нежное, как молозиво, безвинно загубленное, грубо и бездушно...

А Маматай, как заправский оратор, чувствовал душевное состояние присутствующих на заседании, выждал терпеливо паузу и сказал:

— А теперь я хочу спросить, отчего такое могло случиться? Я считаю, равнодушие всему виной! И мы не вправе отмалчиваться, чего-то выждать... Решайте, товарищи.

Маматай опустил на свое место. А вокруг него долго еще висела напряженная тишина. Тишина полного взаимопонимания, потому что никому не нужно было доказывать, что судьба человеческая в нашем обществе не частное дело, не личная прихоть и произвол: рано или поздно придется ответить за все и перед пострадавшими, и перед обществом. Не избежать этого и Парману...

Поднялся Кукарев. Глаза строгие, неподкупные, и только вздрагивающая на палке рука выдавала волнение.

— Конечно, Маматай, мы разберемся во всем, может, удастся помочь... найти сына... Но сейчас не меньше прошлого нас интересует и сегодняшний нравственный облик поммастера Парпиева. Что ты можешь сказать о нем как о члене бригады, как о своем подчиненном?

— Иван Васильевич, — вскочил Каипов, — не сразу я решился... на люди с таким... о земляке...

— Да ты не волнуйся, — Кукарев обвел собравшихся широким жестом, — среди своих ведь, — и каплянул в кулак деликатно, мол, прости, что перебил.

— Вот я и говорю: Парман-ака — человек равнодушный. Глухое сердце. Покой любит. И работает он отлично не из убеждения, а чтобы не приставали липший раз... Но и не перестарается без надобности. Сколько раз в простоте души я приходил к нему за советом как к более опытному производственнику. И что же? Слышал неизменное: «Какое нам дело, земляк, до всего этого? Комбинат велик, за всем не усмотришь, да и государство наше большое — не обеднеет из-за клока хлопка... Живи ты спокойно, Маматай, сопи в свои две дырочки и будь счастлив». Сначала думал я, что поммастера шутит...

— Конкретнее, товарищ Каипов. Нам нужны серьезные факты, а не ваши догадки, — раздался вдруг недовольный голос.

Маматай смешался, заспешил. Опыт выступлений у него невелик. Да и факты, что и говорить, не вопиющие, обычные, которые можно повернуть и так и эдак.

— Равнодушный он. Если я не убедил вас в этом, то время само убедит... — И, совсем ступшевавшись, невпопад добавил: — Не умею я точно выразиться... Вот и оказался вместо Пармана обсуждаемым... Ну да ладно... Разговор-то начался, и это главное....

Алтынбек торжествовал: Маматай с треском провалился. И надо же быть таким недотепой, чтобы во всеуслышание, на заседании парткома признаться в своей неспособности четко мыслить!.. И это партийцы слышали от инженера, руководителя крупного производственного звена. Саяков тонко улыбнулся. Теперь ему нечего осторожничать, теперь самое время нанести завершающий удар, высмеять перед всеми этого простачка. И Алтынбек лениво поднялся:

— Хотел бы уточнить одно обстоятельство... Вот Каипов все ссылается на свою неопытность, но так ли это? Инженер с дипломом без отрыва от производства... Начинал от трепального станка. Как говорится, непосредственно прошел все комбинатские «университеты»... Я это говорю к тому, что мы вправе требовать от Каипова ответственности за слова... Может, правда то, что он здесь только что поведал, но где доказательства?.. Откуда у Каипова такие сведения о прошлом Пармана-ака? Женщина сама рассказала? Допустим. Но почему мы должны верить какой-то женщине, а не самому Парпиеву, который у нас на комбинате с самого его основания, можно сказать, мальчишкой пришел... Прекрасная семья... Взрослая дочь, наша работница... Можно считать теперь Парпиевых — почетной рабочей династией...

Что и говорить, ораторствовать Саяков умел, на трибуне чувствовал себя как рыба в воде, попробуй ухвати... И сейчас он все больше и больше входил во вкус. Но тут его прервал голос рассерженного Маматая, выкрикнувшего с места:

— Как смеешь оскорблять женщину, раз не знаешь ее!..

— Ах, простите, — издевательски раскланялся Алтынбек в сторону Каипова, — откуда нам знать, может, у него есть личные обязательства, может, он защищает...

Тут Кукарев сердито и решительно застучал самопиской по графину с водой, призывая Алтынбека к порядку:

— По-о-про-шу без личных выпадов... Не ожидал от вас, товарищ Саяков...

И тут поднялся Жапар, оборвав Кукарева на полуслове, начал жестко, деловито:

— Труд не только кормит, труд облагораживает человека... Человек — не машина, не выючное животное, мол, навалил и вези, вот почему и труд человеческий — категория нравственная, живая. Так что же говорить о ком-му-нисти-чес-ком труде! Я считаю... Я связываю его прежде всего с высокой сознательностью, с высокой ответственностью творца, да, творца! — Жапар хитро сощурился в улыбку. — Есть, конечно, работнички, не уступающие иному автомату... Восхитишься невольно, увидев, какую кучу добра они способны паработать... Но если нет у них рабочей чести, нет стыда, если они не умеют ни любить, ни дружить, разве достойны носить высокое звание передовиков? Ответь мне, Алтынбек.

— Конечно, Парман-ака — живой человек, на святого не смахивает, — заюлил глазами Саяков, намеренно снижая разговор до простецкой шуточки.

Жапар покровительственно улыбнулся, мол, стар я, Алтынбек, чтобы клевать на такие шуточки.

— Послушай меня, сынок! Мы с Парманом — рядовые рабочие. И должность одна... А жизнь нашу сравни попробуй... Вот то-то и оно!.. Не хвались скажу, что горжусь своей принадлежностью к самому передовому классу эпохи! А у Пармана такая гордость есть? А ответственность за судьбы товарищей? Комбината? Страны? Всей нашей планеты? Вот ты и докажи нам сейчас с этих партийных, гражданских позиций, что Парман-ака достоин звания ударника коммунистического труда!.. Ну что же молчишь, а, Алтынбек? Ну-пу, молчи...

— Нет, почему же... Могу только повторить, — Алтынбек замялся перед аксакалом. — И в вашей речи фактов маловато, уж простите за дерзость.

— Доказательства, факты!.. Ох, Алтынбек! Да всем, кто с Парманом хоть немного общался, ясно: прежде всех к своей лепешке золу гребет... А его отношение к ученикам? Стыд и позор! К станкам он их не подпускает, боится, вдруг поломка, сорвется график работ, полетит план, а с ним и премиальные... Кстати, Колдош тоже в его учениках ходил, а чему научился?..

— По-вашему получается: порть, ломай, не выполняй норму, да? — подчеркнуто недоуменно развел руками Саяков.

Кукарев снова постучал по графину, строго посмотрел на Алтынбека. Тут и директор не выдержал, поморщившись, поднял руку, призывая к вниманию, потом всем корпусом, выжидательно повернулся к каменевшему в первом ряду с начала совещания Парману-ака.

Соседу не один раз пришлось подтолкнуть того в бок, прежде чем Парпиев сообразил, что от него требуется, и грузно направился к директорскому столу. И только когда он обернулся на собравшихся, все заметили, что Парман-ака не в себе.

Парпиев, как известно, красноречием не славился. А теперь и подавно от него ничего добиться не смогли. Парман-ака долго, почти бессмысленно смотрел на Маматая, будто хотел что-то вспомнить, наконец, тряхнув головой, словно сбрасывая с себя навалившуюся тяжесть, спросил:

— А где она?.. Ну эта, как ты сказал, Шааргюль?..

— Шайыр, что ли?

— Не знаю... Звали-то Шааргюль...

— Имя изменить можно, Парман-ака.

Парпиев вдруг озлился:

— Любишь рассусоливать!.. Ну где она сейчас, Шайыр-Шааргюль?

— Здесь на комбинате...

Парман-ака, бормоча что-то себе под нос, тяжелой, шаркающей, ставшей вдруг старческой поступью медленно прошел под взглядами через весь кабинет, и никто не осмелился остановить, вернуть его...

IV

Парман-ака, неподвижный и бесформенный, как речной валун, пролежал полночи без сна. Мысли у него были тоже тяжелые, неподвижные, как он считал, бессмысленные. В самом деле, зачем ему в его-то годы оживлять далекое, почти забытое?.. Жил ведь без него долго и, слава аллаху, спокойно, никому не мешал...

И все-таки, как ни противился Парман, настигли его воспоминания, накрыли веселой блескучей волной... Были они нежные, живые, со всеми звуками, запахами и красками, с простыми словами и доверчивыми взглядами. С ним случилось чудо: мутное, затянутое густой паутиной стекло, столько лет отделявшее его сегодняшнее бесцветное существование от прошлой жизни, Парман нечаянно выдавил — и время потекло вспять, и оказался он среди высоких куку-

рузных стволов, вызолоченных осенью, под высокими звездами, со своей милой Шаки... Сильно трещали цикады, немножко кружилась голова, и руки у Шааргюль были легкие, теплые...

...Медленным верблюжьим караваном тянулся для измученных ожиданием победы четвертый год войны. Кишлаки были тихие, безлюдные, без песен и смеха, без детских голосов... Работать в поле некому — всех мужчин война по-добрала.

Парман был тогда бледным худым парнем, стеснительным и нелюдимым. В чужой Акмойнок, растянувшийся по берегу извилистой речки, стремительно сбежавшей с гор в долину, он приехал с пожилыми колхозниками своего кишлака убирать урожай.

Кишлак был неудобный, голый, без садов, с саманными домиками, глухими и бедными. Все здесь было немилое, непривычное, вызывало унылую скуку.

Парман еще больше замкнулся в своем одиночестве. Все вечера сидел он на хирмане с местным сторожем, маленьким, ласковым, безбородым, больше похожим на старуху, чем на деда. И его сторожевая берданка выглядела комично в слабых трясущихся руках.

— Сынок, принеси огонька... Только не задерживайся, мой сиротинка, — однажды попросил он Пармана.

Парень с готовностью кинулся к крайнему дому под старой разлапистой белесой ивой, но как только оказался у ворот, бросилась на него злобно, как дикая оса, рыжая собачонка, залиvisto предупреждая хозяев о непрошеном посетителе. Парман, как мог, отмахивался от нее шапкой, а собачонка продолжала кружить вокруг него, поровня схватить за голую пятку.

Парман и не заметил, как выскочила откуда-то девушка, примерно его ровесница, в длинном домотканом платье. Только когда она прогнала продолжавшую ворчать собачонку, Парман взглянул на нее, увидел улыбку, округлые очертания молодого тела под широкой грубой тканью.

— Надолго к нам?

— И осень захватим, глядишь, — степенно ответил Парман и опустил глаза.

— А зовут-то как? Парманом? — почему-то переспросила девушка. — А меня Шааргюль. Ну и как тебе наш кишлак?

Шааргюль без стеснения, по-детски рассматривала парня с ног до головы, и на ее подвижном, бесхитростном личике

было выражение полной расположенности. Парень ей явно нравился.

— Плохо мне здесь, — признался Парман.

Шааргюль почему-то не огорчилась, даже рассмеялась, беззаботно, от избытка хорошего настроения и молодого здоровья.

— Вон ты какой! Значит, купаться не любишь — не заметил нашу речку... А я без нее, как красноперка, и часа не проживу...

Парман так и окрестил ее про себя «Рыбкой».

А «Рыбка» тем временем разгребла горячую золу в очаге, завернула уголек в паклю, прихватила заодно зарумянившийся, душистый кукурузный початок, обжигая руки, протянула все Парману:

— Держи!

И парень, благодарно заглянув в смеющиеся глаза Шааргюль, кинулся со всех ног восвояси, опасливо оглядываясь на злобную «осу», рвавшуюся из рук девушки.

Парману было легко и радостно, как случалось с ним только в детстве, до войны, когда не было голода, одиночества, — все это пришло в жизнь Пармана потом... А тогда были живы мать и отец... И мальчишке всегда первому мать отламывала от большой, пахучей лепешки, испеченной в родном очаге.

— Ох ты, сиротка мой, — причитал сторож дребезжащим старушечьим голосом, — выйдет из тебя толк, обязательно выйдет... И удача — в сердечных делах... Видно, понравился девчонке: ишь какой ладный, — дедок маленьким легким кулачком ударил по спине Пармана, радуясь его успеху, как своему собственному.

Так познакомились когда-то Парман и Шааргюль.

Однажды встретил парень свою «рыбку» у реки. Парман ехал верхом, ведя рядом на поводу второго коня на водопой.

— Э-э-гей! — закричала она издалека. — Давай сюда, здесь глубоко.

Парман стал осторожно спускаться по косогору. А Шааргюль тем временем подбежала к ним, взяла из его рук повод, вскочила на свободного коня, ударив его голыми пятками, полетела, не оглядываясь, вперед.

Ну и хороша же она была в этот миг — у Пармана даже дух захватило... Кони, привыкшие друг к другу в упряжке, держались ровно, и ему хорошо были видны смуглый четкий профиль и нежное, розовое ушко с темной родинкой у мочки. От встречного ветра и быстрой скачки открылось

белое круглое колено, а грубый подол легким парусом летел вслед за всадницей.

Парман мчался за Шааргюль, и сердце его почему-то замирало, как над пропастью... Чувство это было сладостное и тревожное, пугающее своей непонятностью и властной силой: только дай волю, сорвешься и полетишь в бездну — на счастье или на погибель?

Парень и не заметил, как оказался на глубине... Конь его был уже далеко, а сам он, не умея плавать, отчаянно барахтался, пытаясь дотянуть до берега. Нахлебавшись воды, парень наконец ухватился за ветку краснотала и на ватных ногах взобрался на косогор, устало откинулся на траву, едва сдерживая дрожь во всем теле.

Испуганная Шааргюль бросилась к нему, не обращая внимания на то, что мокрое платье плотно облепило ее полную грудь, упругие бедра, и, только увидев, что с парнем все в порядке, она смущенно скрылась за камнем, встретившись с его откровенным тоскующим взглядом.

Вышла она из-за камня в отжатом платье, повзрослевшая вдруг и грустная, молча села рядом, задумалась и сказала без видимой связи:

— Отец узнает о нас с тобой — убьет...

И, не дав Парману прийти в себя от сказанного, вскочила на коня. И парню пришлось долго гнаться за ней, пока Шааргюль не прискучила эта забава.

— А ты мне нравишься, Парман!

— Ты мне тоже...

Они беззаботно расхохотались, как будто не было и не могло быть в их жизни ничего злого и жестокого, не было отца-изувера, не было войны и Парманова сиротства.

— Будешь вечером играть с нами в ак-челмок¹ при луне?..

Парман загодя нарезал ивовых веток, снял с них кору, нарезал ак-челмоков. Он ждал вечера, и ему казалось, что вечер никогда не наступит, а солнце будет вечно стоять в зените...

Когда из-за отдаленных хребтов стала набирать высоту и отбеливаться луна и вся долина засветилась матово, спокойно, Парман прокрался под иву у саманки Шааргюль,

¹ Ак-челмок — киргизская игра, вроде русских «палочек». Очищенные от коры ивовые палочки подбрасываются вверх — их должны разыскать и собрать водящие, вовремя принести в круг.

укрылся в ее серебристой тени, сжимая в пальцах отливающие лунью ак-челмоки.

Шааргюль выскользнула из-за угла дома легко и бесшумно, когда парень потерял уже всякую надежду.

— Отец, слава аллаху, не вернулся еще,— сказала и наклонилась к Парману.— Покажи-ка свои ак-челмоки... Белые, как луна!.. Красиво... А луна сегодня особенная.— Она смотрела на голубовато-розовый диск, и Парману хорошо был виден ее острый подбородок, тонкая загорелая шея.— Смотри, как хорошо видно Колдунью над ней...

— Какую колдунью?

— Будто не знаешь? ...Которая считает песок по песчинке... Ночь считает, месяц, год... Как подходит ее счет к концу, прилетает ласточка: крыльями разметет песок, собьет Колдунью со счета, и той снова приходится приниматься считать...

— А зачем? — недоверчиво хмурится Парман.— Смешься все надо мной?

— Да ты и вправду ничего не знаешь, вот чудак! Если Колдунья песок весь пересчитает — спустится на землю и людей всех, как курица просо с доски, склюет.

— И кто тебе такую чушь рассказывает,— рассердился вдруг ни с того ни с сего Парман,— а ты веришь, как маленькая... Злой человек рассказывает, пугает... Ну так будем играть в ак-челмок? Где остальные-то?..

— А где твои ак-челмоки? Нет их,— Шааргюль отвела руку с палочками за спину.

— Спрятала! Ну и хитрая же ты, Шаки!..

— А ты найди,— отступая от Пармана, дразнила Шааргюль.

Парман обхватил ее, пытаясь дотянуться до ак-челмоков, и вдруг замер, почувствовав прикосновение ее груди, да так и остался стоять, не выпуская ее из своих объятий. И Шааргюль перестала вырываться, затихла.

Долго они так простояли, прижавшись друг к другу, боясь пошевелиться, спугнуть что-то неуловимое тонкое, непрочное. Им казалось: только шевельни пальцем или произнеси слово, и мир и они с ним — все исчезнет навсегда, провалится в бездну, и ничего уже нельзя будет изменить или исправить.

Безмолвствовала земля, притихло все живое на ней, казался колдовским и странным несмолкаемый треск цикад... И только луна жила на своей неизменной орбите, неумо-

Лимо росла, набухала тревожной краснотой, клонилась к закатам...

Сколько еще было таких вот ночей у них с Шааргюль!.. И теперь в воспоминаниях они слились для Пармана в одну, короткую, сладостную и торжественную песню их первой безоглядной любви...

Хмурым предзимним утром уезжал Парман домой, оставляя Шааргюль и старого сторожа, которого искренне любил за доброту и необидчивость. На сердце у парня кошки сарблеи, а тут еще Шаки уехала к сестре на какое-то далекое становище... И дед совсем расстроил его своими мрачными догадками.

— Ах ты, мой сиротка, не околдовал ли ты ее?.. Зачем голову девушке вскружил? А теперь как быть...

У Пармана слова застряли в горле, отчего больно было дышать. Он только махнул рукой и ушел, не оглядываясь, по размокшей от поздних дождей стерне.

Через неделю вернулся, не выдержало любящее, истосковавшееся сердце Пармана. А уж Шааргюль была рада, словами и не скажешь.

— Жить без тебя не могу... И отца боюсь... Что делать?

— Я же сирота, Шааргюль, куда тебя возьму?

Девушка плакала беззвучно, безнадежно. И от этой ее покорности у Пармана тоскливо защемило сердце в предчувствии чего-то недоброго, что обязательно должно случиться с ним и с Шааргюль. Но не к лицу ему, мужчине, распускать нюни! Или, может, он ждет, что обо всем должна заботиться Шааргюль? Стыдно, Парман! И он сказал не так решительно, как ему бы хотелось, но все-таки твердым, окрепшим баском:

— Ну-ну, зачем ты так!.. Не торопись, Шаки... Главное — любим, значит, все наладится. Есть у меня кой-какие планы... Вот пшеницу с дядей продадим...

Раз в неделю Парман ловил коня в колхозном табуне и тайком, когда уже начинало темнеть, отправлялся за двадцать километров к своей Шааргюль. Для крепкого молодого парня полтора-два часа лихой скачки — одно удовольствие! Дорога, правда, опасная — с неверными переправами через речную быстрину, глухими ущельями и крутыми перевалами. И нужен верный глаз и твердая рука, чтобы не споткнуться, не сорваться, не испортить коня. Да и ездить по дорогам в те времена было опасно: то и дело передавали, то того ограбили, то другого... Отбирали коней, нехитрый крестьянский товар, предназначенный для продажи на ба-

заре. И все-таки люди ехали и шли: кого голод гнал в горные леса за дичками и орехами, кто искал заблудившуюся овцу... Были тут и с запрещенным товаром — опиумом и нюхательным табаком...

Сердце замирало от страха у Пармана, но сильнее страха было желание повидаться с Шааргюль.

Первым встречал его безбородый дед своим постоянным покашливанием и притворным недовольством:

— Это ты, сиротка мой, не даешь старику покоя. Спал бы лучше на теплой кошме, чем искать своей гибели на почных дорогах...

Парман привык к воркотне деда, улыбался, мол, по глазам вижу, что ждал... Потом шел к домику Шааргюль, и до сих пор не признававшая его «оса» давала знать остервенелым, злобным лаем о его приезде. Шаки, сливаясь с темнотой в своем сером балахоне, ступала ему навстречу, брала за руку, и они шли в кукурузные, пожухлые, без початков, стебли, и Шааргюль зябко жалась к нему. Им, бесприютным и сирым, было горько оттого, что скоро на кукурузном поле поселится зима... Куда тогда деваться?

Но встречи их оборвались задолго до зимы. Пармана мобилизовали на учебу в ФЗО и увезли в город — время военное, строгое, тут уж не до выбора и капризов...

Как птица, спугнутая с родного гнездовья, Парман боялся и думать, как там без него Шааргюль, чем объясняет его исчезновение? Он жил одной надеждой, что три месяца — небольшой срок, а там — свой заработок, там и Шааргюль в город возьмет...

Когда собрался в кишлак, там уже ни деда-сторожа, ни Шааргюль не было. Что с ними произошло, Парман так и не узнал, да и не пытался более. Вернулся он в город с потерянными сердцем, одинокий, всем чужой.

Распределили Пармана на хлопкоочистительный завод. Нашлись вскоре и собутыльники... Однажды под хмельком свели они Пармана к разведенке, у которой был собственный дом и огород. У нее Парман и осел навсегда.

Опытная, уже два раза побывавшая замужем, Батма с первого взгляда оценила характер Пармана и обрадовалась: уж с таким-то увальнем справится, не таких обламывала. А Пармана только и надо, что усыпить, укачать, как ребенка, и забудет все на свете, кроме дома и работы... «Вот будет мне сыночком, — усмехнулась Батма, — главное, побольше ласки и, конечно, покой...» А если ласка и покой не помогали, она покупала пол-литра...

Парман и не заметил, как душевно очерствел, потерял интерес к жизни. Все ему доставалось легко, без усилий. У расторопной, умеющей жить Батмы в доме всегда достаток, покой и уют. Так Парман все больше и больше погружался в трясину бессмысленного, ленивого благополучия... И только теперь, спустя более чем двадцать лет, он увидел, насколько его существование все это время было душное, глухое и бесцветное. «Будто вату жевал», — брезгливо поморщился, сплюнул...

И вдруг он почувствовал себя маленьким, обиженным и одиноким, как в тот первый день в ФЗО, без родного киплака, без Шааргюль. И Парман в отчаянии оттого, что изменить уже ничего нельзя, стиснул голову ладонями и глухо застонал, начал мерить комнату тяжелыми, неприкаянными шагами.

Он не стыдился своих слез. Они были целительны для его иссушенного, бесплодного сердца. Он чувствовал, как с каждой слезой ему легче становится дышать, потому что исподволь, помимо воли, восстанавливались трепетные, живые связи с миром, с людьми.

Батма сразу услышала скрипучие, сбивчивые шаги мужа, они отзывались в ней тревожным холодком, угрозой налаженному уюту. И Батма не выдержала.

— Парман, что с тобой? Да на тебе лица нет!..

Парман как только услышал ласковый голос жены, с рыданием бросился к ней, уткнулся мясистым, красным и мокрым лицом в ее острые, жесткие колени. Батма гладила его по всклокоченным волосам, ждала, когда успокоится.

— Здоров ли ты, дружочек? — попробовала она опять начать разговор, сгорая от любопытства и недоброго предчувствия.

Но Парман еще не мог говорить, только всхлипывал и сдавленно дышал, удивляясь и слезам своим, и отчаянию, так внезапно навалившимся на него. В конце концов он овладел собой, но разговаривать с Батмой о своей жизни не хотелось. Зачем? Ей, все время ловчлившей и выгадывающей, уверенной, что только изворотливостью можно прожить спокойно и сытно, в почете у соседей, знать правду о нем? И Парман, не вдаваясь в подробности, нехотя сказал:

— На собрании пропесочили, Батма.

— Будто раньше не доставалось, и ничего, сон не портился, — а про себя решила: «Не хочет признаться, боится. Что ж, в семейной жизни это не лишнее...» И Батма потянулась к дверце серванта, достала бутылку, налила в ста-

кан.— Пей-пей, это ничего, даже нужно сейчас... Может, уснешь...

Парман взял стакан, но почему-то не выпил, замешкался.

— Да пей же ты... Сегодня выходной: выспишься, другими глазами будешь на все смотреть...

Стакана Парману показалось мало. Он сам взял пол-литра и налил еще. Потом закурил, прислушиваясь, как тягучая истомная волна ударила в ноги, начала тепло, убаюкивающе подниматься к голове, накрыла, покачала, понесла, смешала мысли... Парман начал бормотать себе под нос невесть что.

Батма насторожилась, вытянула жилистую шею.

— Кого это ты ругаешь, муженек?

— А-аа,— пьяно махнул рукой Парман,— дурака и предателя Маматая...

— Маматая? Вот насмешил!..

— Тебе хиханьки да хаханьки, а он мне ножку подставил...— Парман с усилием поднял руку и погрозил пальцем.— Все вы предали меня...

— Аллах покарает его!.. Если все так, как говоришь, Маматай нарушил святой закон гостеприимства. Давно ли вот здесь сидел, смотрел тебе в рот, ждал умного словечка!..

Подогретый словами Батмы, Парман вскочил с дивана и бросился к телефону, толстым, негнущимся пальцем с трюдом набрал номер.

— Алло! Алло! — возбужденно кричал, наливаясь нагужной краснотой.— Алтынбека! Алтынбек? Ты ли? Я... Я этому лопухому ослу покажу...

Батма вырвала у мужа трубку, ловко подтолкнула к дивану, и он рухнул в подушки, все еще клокоча, как разбуженный вулкан, и изрыгая проклятия и угрозы на голову Маматая.

V

Маматай с самого утра обегал весь комбинат в поисках Хакимбая. В механическом ему сказали, что недавно видели того в красильном, из красильного посылали в отделочный, а оттуда опять в механический, откуда Маматай и начал свой обход.

В отделочном цехе ивановские монтажники заканчивали новую автоматическую линию. Ребята спешили, почти отказались от перекуров: линия должна вовремя вступить в строй, да и дома по ним соскучились...

Продолжая работать ключом, рыжий весельчак Сашка

Петров, краем глаза стрельнув на Маматая, попросил огонька. Каипов поднес ему зажженную спичку.

— Кажется, все! На следующей неделе будем дома чай пить. Ох и обрадуется моя Галина... — перехватывая черными от смазки пальцами сигарету, сказал Петров.

Маматай похлопал слесаря по плечу:

— А то оставайся у нас, Саша. В Иваново таких умельцев, как ты, сотни, у нас же ты незаменим.

— Ох, Маматай, твоими бы устами да мед пить. Согласен я... только если в Иваново поедешь вместо меня, а, Маматай?

Дружный зал смеха прокатился по цеху. Ребята и не заметили, как к ним подошли Алтынбек и Хакимбай.

Алтынбек ревниво посмотрел на веселые лица монтажников, перевел сузившиеся глаза на Маматая, поджал губы:

— А ты почему не на рабочем месте?

— Хакимбая искал... по делу.

— Вот как получается: ты — Хакимбая, а мы с Хакимбаем — тебя. Так и будем друг за другом целый день ходить? — Он строго посмотрел на ивановских монтажников, и те перестали обращать на них внимание, всем видом показывая, что у них есть дело и посерьезней. А Саяков продолжал: — Получен приказ о лишении вас премии за допущенный брак. Распишись, что ознакомился.

— Не буду... Считаю, что не мы одни виноваты. Если наказывать, так всех виновных. Я поставил в известность администрацию, только убедился — нашу администрацию интересуется лишь план!

— Ну что ж, брак ради плана! Забавная логика! — пожал плечами Алтынбек.

— Требую справедливого разбора, — начал горячиться Маматай.

Глаза у Алтынбека стали совсем узкими, со злыми зелеными искорками.

— Хорошо, Каипов, будет тебе справедливость, — в голосе Саякова послышалась откровенная угроза.

— Совсем большим начальником стал, — рассмеялся Хакимбай, когда Алтынбек уверенным шагом вышел из цеха. — Еще студентом командовать любил. Кем только не перебивал — и старостой, и комсоргом, и членом всевозможных комитетов. Всего и не перечислишь, — Хакимбай вздохнул. — Может, так и нужно, а?

— Не знаю. Только чувствую, последнее время Алтынбек

вот куда мне сел,— и Маматай, наклонив голову, постучал себя по шее.

— Ладно, там видно будет. Давай лучше говорить о деле,— Хакимбай не любил разговоры, в которых ничего не смыслил.— Времени у меня совсем нет...

Они зашли за перегородку, в так называемый кабинет Хакимбая, больше похожий на заваленный какими-то деталями и рулонами чертежей, забросанный бумажками и грязными концами закуток. Хозяин широким жестом освободил место на столе, и Маматай раскатал перед ним свои чертежи и стал объяснять их суть.

Хакимбай, как опытная, заядлая гончая, сразу схватил суть.

— Молодец! Технический ход, по-моему, верный. Идем к агрегату, проверим наглядно.

Они подошли к ЗВН-2, предназначенному для запаривания суровья. Механизм его работал по принципу маятника: захватывал из камеры жгуты выпаренного суровья, растягивая, сматывал в рулон. Главная деталь ЗВН-2 — нарезной винт с челноком, изготовленные из мягкой бронзы. Они быстро снашивались, к тому же детали то и дело заедало, а чтобы заменить их, требовалось не менее двадцати минут, если мастер опытный, а так и все сорок. В результате простаивала не одна машина, а целый состоящий из десятка механизмов агрегат. Потери получались огромными — в тысячах метров.

Маматай предлагал заменить бронзовые детали простым кривошипно-шатунным механизмом, работающим по принципу рычага. Такой механизм неказист на вид, но в работе прочен и надежен.

— Интересно, интересно,— загорелся идеей молодого инженера Хакимбай.— Пока еще рано говорить об экономическом эффекте... Нужны расчеты, но, думаю, мысль — смелая и дельная,— Хакимбай ударил Маматая по плечу.— Давай теперь считай, да побыстрее. Техническая мысль, сам знаешь, стареет...

— Нет, Хакимбай, технические расчеты сделаешь ты — это моя просьба.

Хакимбай удивленно поднял брови.

— Так вернее, друг, тем более — я из другого цеха.

— Ненужная щепетильность, Маматай,— рассердился Хакимбай.— Когда речь идет об интересах комбината...

Но Маматай настоял на своем.

— Ладно, так уж и быть, помогу тебе на первых порах. Только учти: на очереди сейчас у меня диссертация.

— По рукам,— Маматай крепко пожал руку друга и быстрым шагом вернулся в свой ткацкий.

VI

Колдош уже целый месяц находился в камере предварительного заключения. Следственные органы раскрыли целую воровскую цепочку, по которой с комбината выносились тысячи метров высокосортной продукции. Жулики давно и регулярно обкрадывали предприятие. Это были люди без определенных занятий и местожительства, с ними был и Колдош.

Маматай, узнав о заключении Колдоша, не без внутреннего удовлетворения подумал: «Повадилась лиса в курятник — капкана не миновать!» Но тут же ему стало не по себе: «И что это я чужой беде радуюсь? Да и не чужой нам Колдош, наш, комбинатский, пришедший из профтехучилища желторотым птенцом!.. Где же мы-то все эти годы были? Допустили такое!»

Конечно, у Колдоша характер не сахар. Маматаю самому не раз приходилось убеждаться, до каких срывов у него доходило дело. И все-таки человек он, а значит, и к нему есть подход, есть ключик к сердцу, и его необходимо найти, пока еще не совсем поздно...

Маматай, конечно, не ждал, что Колдош обрадуется ему, когда переступал порог тюремной проходной. Самолюбивый, дерзкий парень вряд ли подпустит его к себе. Но Маматай решил проявить настойчивость и терпение.

Ожидая свидания с Колдошем, Маматай задавал себе тысячу вопросов, пытаясь уяснить внутренние, невидимые для других причины преступления парня. Ложно ли понятие самолюбие, желание показать себя, мол, вот какой я мужчина? Или жажда риска, легких денег? Маматай понимал, что падение Колдоша ужасно, но в нем почему-то жило убеждение, что парень озлоблен на жизнь и людей. Из-за чего? И кто в этом виноват? Почему хочет он казаться сильным, грубым и неуязвимым, не признающим никаких авторитетов?

Вернулся дежурный один и сказал Маматаю:

— Свидание с заключенным не состоится.

Маматай поднялся:

— Могу я узнать причину?

— А, что там! — перешел с официального тона дежурный на доверительный.— И слышать не хочет, даже сплюнул и отвернулся. А ведь вы первый к нему за все это время...

Маматай и не ожидал другого от Колдоша. «Ничего, капля камень долбит... Буду ходить... А Колдош не каменный, выйдет рано или поздно хотя бы из любопытства...»

Маматай зашел в цеховой комитет комсомола, чтобы поговорить там о Колдоше.

— Пусть получает свое... Заслужил! Донянчились. Последнее время и слово-то страшно было ему сказать, того и гляди, встретит в темном переулке,— возмутилась с первых же слов Маматая дочка Пармана Анара, сухощавая в Батму и вспылчивая.

— Конечно, он свое получит. Не об этом я, Анара. Мы же обязаны выяснить, как дошел он до жизни такой? Должны же быть смягчающие обстоятельства... Мы же даже не знаем, есть ли у него родственники... Сидит один, дружки отшатнулись...— Маматай перевел взгляд на комсорга: — Чинара, нас же за это по головке не погладят!

— Ох, Чинара, все мы люди и должны помогать друг другу,— не выдержала Сайдана.— Только не подступиться к нему, нет-нет.

— Не могу, у меня дела,— сухо отрезала Чинара, потому что не признавала филантропии.

Маматай не стал настаивать и взялся за ручку двери, но она неожиданно остановила его:

— Ладно, идем.

Они шли по широкой, залитой дождем и неоновым освещением улице. Она казалась огненной рекой. И закат был огненный. И страшно было ступать по «горящим» лужам. В глазах Чинары тоже отразилась огненность вечера. Прошел троллейбус, как спичкой, чиркнув по проводам и оставив за собой искристый след.

— Чинара, ты понимаешь, какой ценой сейчас расплачивается Колдош за свои глупые похождения? — Маматай широким жестом показал вокруг.— Свободой, тем, что много вот таких прекрасных вечеров будут навсегда вычеркнуты из его жизни...

— Я пишу стихи, а поэт-то, оказывается, ты,— ревниво поджала губы Чинара и добавила: — До чего же я зла на этого Колдоша!

Маматай замолчал, почувствовав, как далека Чинара

от понимания его слов. Но ей не хотелось вот так повернуться и уйти, и она сказала:

— Ты меня не осуждай — я злюсь на глупость Колдоша. Он совершенно не развит, в этом ты еще убедишься. Видно, в детстве упустили...

— Ага, — обрадовался Маматай, — значит, думаешь все-таки о Колдоше!

— Знаешь, сходи-ка ты к Колдошу пока один, потому что в таких делах толпой ничего не добьешься. Да будь хоть раз в жизни похитрее, — она кокетливо взъерошила парню волосы. — Все учить вас надо, тоже мне сильный пол!.. Найди у него уязвимое место и жми...

Маматай сначала даже обиделся: а еще комсорг, учит обманывать. Но очень скоро успокоился, вспомнив, что и без Чинары, без ее лукавых советов, решил во что бы то ни стало разбудить в Колдоше совесть, ведь должна же она быть у него!..

На этот раз Колдош все-таки появился в зале свидания, но усиленно делал вид, как ему скучно и как надоел Маматай своим пристаиванием. Он закурил и кисло спросил:

— Ну, воспитывать пришел, комсомольскую функцию осуществлять? Или напомнить, как я тебе физию разукрасил когда-то? Что ж, валяй. Много я вас слушал и еще послушаю, меня ведь не убудет.

— Воспитывают детей, Колдош, а взрослые несут ответственность за свои поступки... Но я о другом... Хочу спросить у тебя только одно, неужели твое сердце настолько огрубело, что ты не заметил даже прекрасных черных глаз, с любовью и страданием смотрящих тебе вслед?

— Что? — как от тока дернулся Колдош. — Что ты сказал?

— Нет, Колдош, больше я тебе ничего не скажу. Я не посредник, а отношения человеческие — не товар... Ты сам должен наконец понять, какое горе принес любящим тебя людям.

Маматай направился к выходу, слыша за спиной:

— Маматай, подожди! Маматай... Маматай...

VII

С самой той поездки в горы на комитетском автобусе Маматай ни разу серьезно не задумался о своем отношении к Бабюшай. Они каждый день встречались в цехе, сидели рядом на собраниях. И он привык к ее присутствию, как

привыкают к определенному, раз и навсегда заведенному распорядку жизни.

Но вот однажды Маматай пришел на работу и вскоре почувствовал себя не в своей тарелке, не мог понять, в чем же дело, что с ним происходит. И только среди дня парня вдруг осенило, и он стукнул себя по лбу: «Ах да, Бабюшай! Где она?..»

У Маматая окончательно и надолго испортилось настроение, когда узнал от Жапара, что Бабюшай уехала отдыхать по туристической путевке.

«Даже словом не обмолвилась!» — обиделся Маматай, потом сообразил, чего ради она должна была доложиться ему — обычный товарищ по работе... И ему было горько сознавать это, ведь теперь он окончательно понял, как много значила Бабюшай в его жизни.

В этот день Маматай был такой рассеянный и чудной, что над ним подтрунивали: «Влюбился! Что ж, пора!..» А женщины прибавляли: «Жених завидный...»

* * *

Маматая всегда выручала работа. Крутиться ему приходилось по-прежнему одному, так как начальник ткацкого производства все еще был в больнице: попробуй уследи за всем. С него спрашивали план, отвечал он за исправность оборудования, качество продукции, за дисциплину, решал производственные и экономические вопросы, а также жилищно-бытовые, культурно-воспитательные, семейные и личные... Но у ткачей голова надежная, привычная и к станочному шуму, и металлическому грохоту. Ничего, выдюжит, не согнется.

Позволить расслабиться себе Маматай мог только вечером, в общежитии... Тогда он думал о Бабюшай, представлял лицо матери, когда скажет ей о невесте... Только вот согласится ли Бабюшай?

Сомнения мешали Маматаю спокойно спать, и он, как все влюбленные на свете, переворачивался с боку на бок, курил, пробовал читать...

В эти дни сердечной маеты он и не подозревал, что ему готовится рассчитанный, сокрушительный удар.

В кабинет главного инженера были приглашены ответственные работники комбината, в основном из ткацкого производства: сильно располневший, умеющий ладить с

начальством Калык, старший мастер Жапар Суранчиев, сменные мастера и поммастера Парман.

Темир Беделбаев сидел на месте главного инженера, вел собрание. Рядом у стола разместились начальники производств. А хозяин кабинета Алтынбек стоял у окна и не мог, как ни старался, скрыть радости в предвкушении предстоящих событий. Весьма довольным выглядел и Парман.

Алтынбек, получив слово, сделал шаг вперед; прирожденный оратор, он начал пылко, с естественным негодованием. Он клеймил замначальника ткацкого производства Маматай Каипова за злоупотребление властью, за очковтирательство, несоблюдение правил техники безопасности, из-за чего получил ранение поммастера; ссылаясь на сведения, почерпнутые в докладной Пармана Парпиева.

Маматай ничего хорошего для себя от собрания не ждал, но все-таки только сейчас под холодными выпуклыми линзами Беделбаева по-настоящему понял, как плохо, как тяжело здесь без Фукарева, попавшего в больницу... Линзы были направлены в упор:

— Все ли, сказанное главным инженером, считаешь правильным?

Каипов не отвел глаз, сказал:

— Да, было так.

— Были ли это сознательные действия с твоей стороны?

— Да. Я вынужден был так поступить...

— Значит, виноват, — бесстрастно заключил Беделбаев.

— Нет, виновным себя не считаю.

Директор несколько не удивился. Все тем же бесстрастным тоном спросил:

— А кто виноват?

— Все виноваты, вся администрация.

— Да, логика здесь есть: все — значит никто?!

— Видите, валит с больной на здоровую, — взвился Алтынбек. — Безответственное выступление!

А Маматай стоял на своем:

— В свое время все эти вопросы я ставил перед дирекцией комбината. Был, кстати, разговор и здесь, в этом кабинете. Тогда главный инженер сам заговорил о том, как удерживать учеников профтехучилища в цехах... Тогда я и внес предложение изыскать возможность платить им на производственной практике больше.

— Помню я этот разговор, — пренебрежительно помор-

щился Саяков. — И тогда, и сегодня я — против бредовых предложений Каипова.

— Все верно, товарищ главный инженер, тогда можно было и поостеречься... А теперь все — новые чапаны¹ надели, а вы — в старомодном... Нужно и нам от жизни не отставать... Партийные съезды и пленумы и для нашего комбината обязательны. А партия учит, что на производстве надо учитывать местные условия...

— Своевольничать не позволю, — холодно оборвал Маматай директор. — Очковтирательство оправдывать не могу.

— Да почему же очковтирательство? Просто взаимная выручка!.. Станки на капитальном ремонтировали быстрее, сверх плана. А продукцию с этих станков зачисляли ученицам... Все у нас в цехе понимают — тяжело девчатам на первых порах, далеко от дома прожить на неполный оклад! Материально комбинат убытка не понес, только выиграл: все наши ученицы работают, не разбежались, как было с прошлым выпуском... Если кто и «пострадал», так наши слесари и поммастера — работали за те же деньги, но с большей нагрузкой. Но это добровольно, по договоренности... Как вижу, один только Парман Парпиев не только нарушил обещание, но и написал докладную... Ну что ж, пусть это будет на его совести... Но если за нужное для комбината начинание придется нести наказание, то я его беру полностью на себя.

Беделбаев сидел, низко наклонив голову. Было непонятно, слушает он или думает о своем. Зато главный инженер старался всю. Он не ожидал от Каипова такой выдержки, рассчитывал сразу же сбить с толку угрозами и обличительным тоном. Маматай явно спутал ему карты, но все же Саяков не сдавался, боролся до последнего. Главное — начальство не мешает. И Алтынбек ринулся в наступление:

— Факты налицо... Каипов их не отрицает и отрицать не может. Закон есть закон. Он для всех одинаков, потому что защищает интересы общества, интересы государства. Судя по всему, Каипов — человек политически незрелый, безответственный... Ошиблись мы, товарищи, поручив ему должность замначальника производства, переоценили, как говорится... Предлагаю Каипова освободить... Предлагаю как главный инженер...

Алтынбек хорошо знал, что директор — усталый, пожилой человек, последнее время мечтающий только о благо-

¹ Чапаны — киргизская одежда.

получном, без переводов, выговоров и взысканий, выходе на пенсию, — не захочет ввязываться в эти истории с зарплатами учениц, тем более иметь дело с судом из-за нарушений правил техники безопасности... Ему только сейчас выиграть время... И Саяков, повернувшись к Беделбаеву, не без умысла сказал:

— Уважаемый Темир Беделбаевич, как говорят, шила в мешке не утаишь, у такого дела хвост длинный... В общем, я свое мнение обнародовал, теперь решайте сами...

Алтынбек парочно сел в задний ряд, показывая, что ни на кого «давить» не намерен, что устраняется от ответственности.

На следующий день Маматая вызвали к директору, и, как только он переступил порог кабинета, Беделбаев собственноручно вручил ему приказ об освобождении от занимаемой должности.

Маматай, несколько не удивившись, спокойно смотрел в обрюзгшее от многолетнего кабинетного сидения серое лицо Темира Беделбаевича.

— Это что, увольнение с комбината?

Директор отвел водянистые глаза, сильно увеличенные линзами очков, в сторону. Крайние меры Беделбаев не признавал, потому что чреватые бунтом, неприятностями, оглаской. Он знал, куда безопаснее держать такого «деятели» где-нибудь в отделе снабжения: вроде и при деле, и не на глазах — командировками Каипова обеспечат, об этом он позаботится сам...

— Оставляем тебя в аппарате комбината... Ну, скажем, в отделе снабжения... Наберешься опыта, а там, глядишь...

— Темир Беделбаевич, я же инженер-производственник, машины люблю. Прошу вас, оставьте сменным мастером... согласен даже слесарем.

Директор нахмурился:

— Разве не знаешь, рабочим не имею права, а штат сменных мастеров укомплектован.

Беделбаев хотел уже попросить Каипова из кабинета, ссылаясь на важные дела, но, встретившись с отчаянными глазами парня, почему-то не выдержал, потеплел голосом:

— Вот что, успокойся. Молодой — время у тебя немалое, не то что у меня... Дело твое — в парткоме... Окончательного решения нет... Зря не обидим, потерни...

— Да я что, Темир Беделбаевич, я разве должностей прошу.

— Понимаю я тебя, но и ты пойми меня, Каипов.

Расстроенный Маматай вышел из кабинета. А Беделбаев долго еще сердился на себя, на Саякова, которого терпеть не мог, но побаивался, на старость и болезни. И тяжелый осадок от разговора с Каиповым мучил его не один день.

VIII

Маматай никогда не рвался в начальники. Выхлопотал ему должность замначальника Алтынбек, он же и лишил Маматая ее... Но если бы только должности... Саяков лишил его «воздуха», лишил среды, того микроклимата, без которого Маматай буквально задыхался. Ему недоставало запаха хлопковой пряжи, крутящихся веретен, даже привычного, монотонного шума станков, ведь когда они работали, гудели, как шмели, значило, что в цехе благополучно... Нет простоев, и все рабочие руки при деле... Маматай нервничал, худел, срывался по мелочам. Ко всем неприятностям примешивалась тревога, как примет Бабюшай его разжалование в снабженцы...

И тут Маматаю принесли телеграмму... от Бабюшай. Она просила встретить ее в аэропорту. Парень бросился уточнять время прилета самолета, потом ловил такси и всю дорогу смотрел на часы, боясь опоздать.

Бабюшай была какой-то новой, незнакомой, немножко усталой и непривычно взволнованной.

В такси Маматаю вдруг стало страшно, ему представилось, что сегодня же ей доложат о его позоре, и он услышит в телефонной трубке холодный усталый голос: «Мне некогда, Маматай! Я занята!» Все знают на комбинате, какая Бабюшай гордячка — виду не покажет, что разочарована.

Бабюшай, возбужденно рассказывавшая Маматаю о поездке, неправильно поняла его настроение, решив, что ему скучно, тоже замолчала.

— Ну что ж, звони! — сказала холодно девушка, выходя из машины. — А сегодня я устала.

На другой день Маматай едва дождался конца работы и стал звонить Бабюшай из первого же автомата. Трубку взяла она сама.

— Букен!

— Алло! Маматай, — голос у нее отчужденный, вялый. — Извини, сегодня не могу, набираюсь сил с дороги...

— Ну что ж, Букен, отдыхай...

Маматай долго стоял с трубкой в руках, забыв положить

ее на рычаг. Домой он шел медленно, без мыслей, без переживаний. Ему было не хорошо и не плохо, просто Маматай потерял вкус к жизни. Дома он долго ворочался на диване, а на следующий день все валялось из рук... Привел его в чувство только телефонный звонок, который Маматай услышал еще с лестницы, но совсем не спешил снять трубку.

— Маматай, где ты пропадаешь,— услышал он веселый, доверчивый голос Бабюшай,— звонила тебе целый день.

— У меня теперь другой телефон, Букен...

— Я тебе и звонила по новому! Алло! Алло! Что ты замолчал?.. Я думала, нас разъединили,— голос у Бабюшай стал насмешливым.

— Ты все знаешь,— упавшим голосом сказал Маматай.

— Конечно, знаю. Еще в Ленинграде узнала... Домой звонила.

Встретились они вечером у моста, и Бабюшай сразу сказала:

— Давай просто погуляем. У меня было столько впечатлений, что, наверно, еще долго не смогу воспринимать ничего нового. Хочу только воздуха и тишины...

И они, не стовариваясь, плечо к плечу свернули на тропинку, спускающуюся к реке, не спеша отправились в путь. Вскоре тропа начала заметно забирать вверх, и они вышли к скалам с сумеречными размытыми очертаниями.

— Букен, давай руку... Такую обзорную площадку нашел!

Когда Бабюшай оказалась рядом с парнем, он привлек ее к себе, прикоснулся губами к ее почему-то мокрому ресницам. Они были солоноватые... «О чем она?» — подумал Маматай и еще крепче прижал Бабюшай к груди, и она не оттолкнула его. Тогда парень осмелился поцеловать девушку в губы... Они тоже отдавали чем-то солоноватым, полынным, степным. «Моя Бабюшай!» Впервые эти два слова сложились в сознании Маматая и наполнили его таким ликованием, что тесно стало в груди, и ощущение это было не тяжкое, а легкое, стремительное.

Маматай смотрел в глаза девушке — понимает ли она, что с ним происходит?!

А внизу раскинулся сотнями тысяч огней их город. Среди этого разлива есть и свет родного комбината — родного гнезда, взрастившего их и давшего крылья для полета, для любви... И Маматай крепче прижимает к сердцу свою любимую: что ей стоит такой легкой, в струящемся

под его пальцами и ускользающем атласном платье вдруг вспорхнуть и улететь и растаять в ночном мраке.

Долго ждал Маматай этой ночи любви, слияния душ, когда сердце учится разговаривать с сердцем.

— Дорогая, ты даже не знаешь, как будет счастлива моя мать,— голос у Маматай стал вдруг высоким и срывающимся.— Апа уже много лет мечтает о снохе... Ты ее обязательно полюбишь... Она у нас золотая...

— Вдруг не понравлюсь...

— Да она, Букен, полюбит тебя уж за то, что меня выбрала, понимаешь? — горячился Маматай.

Маматай бросил пиджак на камень, усадил девушку, сел рядом. Как все замкнутые люди, не умеющие делиться в разговоре с друзьями, Маматай искал в любимой женщине понимания и открытости. Ему за много лет так нестерпимо захотелось поделиться с Бабушай всем пережитым, наболевшим, что парень не выдержал, начал разговор о себе и о своей, конечно, первой любви — о Даригюль.

Пальчики Бабушай тревожно вздрогнули в широкой ладони Маматай, но он еще крепче сжал их, накрыл другой ладонью.

— Думал, на всю жизнь, а вышло иначе... И были мы тогда почти детьми, сидели под луной и мечтали о сказке. И первого же жизненного испытания не выдержали...

— А ты уверен, что любишь меня, а не Даригюль?

— Уверен? Да я жить без тебя не могу.

И вдруг Маматай рассмеялся весело и по-детски звонко:

— А ты знаешь, Бабушай, как я на тебя рассердился, когда ты меня — помнишь? — назвала деревенщиной!

— Глупая я была тогда! — засмушалась Бабушай.

— Думал ли я в то время, что влюблюсь в тебя!

Маматай подхватил Бабушай за руки и начал кружиться с ней, забыв, что находятся они на узенькой каменистой площадке, не подходящей для вальса.

— Ну, Маматай, отпусти! Совсем мальчишка, — поправляя косу, снова присела на камень Бабушай.— А ты очень сердился на Даригюль, когда она сказала тебе о своем замужестве?

— Конечно, сердился... Временами меня охватывало такое отчаяние и злость, что...

— А сейчас?

— Со временем эта злость прошла. Я даже научился думать о Даригюль с благодарностью и желать ей счастья... И это не великодушие! Нет! Просто не будь Даригюль,

жизнь моя пошла бы совсем иным путем,— Маматай шутливо подмигнул Бабюшай: — Как знать, может, и тебя не встретил бы...

— Ты все шутишь, а я серьезно хочу тебя попросить, чтобы ты больше не пел мне дифирамбы... Я люблю простые слова, потому что девчонка я обыкновенная, рабочая.— И добавила с нажимом: — Одним словом, ткачиха.

Они только сейчас заметили, что на востоке, там, где среди темной громады города затерялся их комбинат, начало понемногу разгораться утро. Новое утро в их отношениях, в их жизни.

IX

Разлуку с цехом Маматай переносил трудно. Спасала только музыка. Теперь после скучной, бумажной работы в аппарате он спешил домой...

У Маматая обнаружился недюжинный музыкальный слух, и он самостоятельно и довольно быстро научился играть на комузе, хотя никто в его роду никогда не брал этого инструмента в руки. Перебирая упругие струны, послушно звучащие под его пальцами, парень вспоминал горы, родные просторы, старенькую свою мать... Для него открывался новый неизведанный мир. Он отдавался на волю звукам, самовластно уносящим куда-то вдаль, в иную жизнь, по-своему счастливую и грустную...

Именно в эту пору Маматай узнал и полюбил классическую музыку, симфонии Чайковского и Бетховена...

Осень, южная, яркая, с ее грустным листопадом, с готовыми к отлету журавлями, с ее тяжелым, пестрым изобилием урожая и лоснящейся под паром и усеянной грузными, отгулявшимися за лето грачами, была созвучна его душевному состоянию. Он хандрил, сам не зная почему, и одновременно ему хотелось простого, конкретного дела, чтобы, как раньше в цехе, ощущать непосредственно плоды трудов, видеть добродушные улыбки ткачих, встречать их шутки.

Маматай много ходил пешком, раздумывая о своем житье-бытье, и радовался тому, что жизнь души его только замерла на время, а теперь снова исподволь давала о себе знать... Маматай строил планы на будущее, потянулся с угольником и карандашом к ватману...

В эту осень комитет комсомола и Совет НОТ проводили свою конференцию по научной организации труда. Были при-

глашены все молодые коммунисты, комсомольцы — специалисты и молодые рабочие комбината. Среди них был и Маматай Каипов.

Конференция проходила непринужденно и деловито. Хотя не было на ней острополемиических выступлений, но отчетливо наметились два направления в отношении к техническому прогрессу. Одни считали, что производство нуждается в постоянном обновлении технического оснащения, в систематическом внедрении текущих изобретений и усовершенствований даже ценой риска. Другие держались более спокойной линии, утверждая, что техника новая, передовая должна сначала себя морально изжить, тогда-то и станет необходима ее полная замена.

Алтынбек Саяков выступил на конференции ярко и смело. Прежде всего он во всеуслышание удивился, как можно дробить на кусочки большое животрепещущее дело нашего времени, и не только дробить, но и противопоставлять их один другому. Прогресс не должен останавливаться ни на минуту: полная периодическая замена технического оборудования несколько не заменяет и не умаляет значения изобретательства и рационализаторства непосредственно на производстве и в научно-исследовательских институтах.

Маматай был полностью на стороне Алтынбека, поражался его умению мыслить широко и смело, его инженерному таланту. Маматай осмотрелся по сторонам и увидел, как согласно кивают головами Хакимбай Пулатов и Калимат Култаев, первый секретарь горкома.

Калимат Култаев выступил еще резче Алтынбека.

— Конечно, продолжать работу по-старому и ждать, когда преподнесут нам новую технику, куда как проще. — Он тяжело, одышливо засопел, сердце давало о себе знать. — А нам, товарищи, ждать стыдно. Мы — люди с рабочими руками, — Култаев поднял и показал всем свои увесистые, с сильными толстыми пальцами ручищи. — Мы привыкли сами думать и работать. Конечно, от помощи не отказываемся... и от дельного совета... Короче говоря, я — за модернизацию оборудования... Есть у нас, что и говорить, собственные, доморощенные бюрократы, формально относящиеся к новаторству... Не умеют они и не хотят думать о нашем будущем, товарищи! И я призываю молодежь, инженерно-технических работников взять под свой контроль техническое будущее нашего комбината!

Маматай очень устал, перенервничал и долго не мог заснуть после конференции, вновь и вновь возвращаясь мыс-

лями к только что пережитому. Каипов принял так горячо к сердцу выступления Култаева и Саякова, потому что это были и его мысли, его каждодневные заботы. «Ну хорошо,— думал Маматай,— мысли мыслями, а что я конкретно сделал сам? Ничего существенного...» Тогда, в ту ночь он решил жить не только одними прекрасными планами, мыслями, но и бороться, жестко, по-солдатски, без скидок на трудности, нездоровье и плохое настроение.

В это трудное для Маматая время — неожиданно для парня — его здорово поддержал старый Жапар. Не раз они вели длинные разговоры за чаем обо всем на свете. Маматай удивлялся, как молодо Жапар интересовался проблемами комбината и мыслями своего молодого друга о жизни, о любви и дружбе, о справедливости и несправедливости. Теперь уже Маматай не завидовал Бабюшай, как когда-то, а радовался общению с доброжелательным и мудрым аксакалом.

А жизнь Жапара научила многому, собственная его жизнь и жизнь его отца Суранчи.

Суранчи работал ткачом у богатого ростовщика, узбека Абдулхака Байбатчи, чье кустарное производство славилось на все страны Востока. Маленький Жапар помнил отца худым, старым и грязным. Смуглая кожа туго обтягивала выступающие скулы, и зрачки были мутные, большие. Жалкий облик отца дополняли редкие, слипшиеся реснички и жиденький пучок бороденки, как у китайца, с извечной хлопковой пылью, набившейся в брови и волосы... После скудного ужина отец буквально валился на кошму, чтобы утром до света уйти к своему деревянному стану...

Дом, в котором Жапар родился и вырос, походил на большое ласточкино гнездо. Он был так же неровно и старательно слеплен из глины, косо и бесформенно прислонялся к соседнему дувалу. Дожди и ветры на славу потрудились над саманными кирпичами, образовав щели, через которые видно было все, что происходило во дворе.

И все же Суранчи гордился своей жизнью и своей рабочей профессией, поднимая указательный палец, не раз повторял Жапару: «Я работаю у Байбатчи! Много лет! А ткани наши покупают — даже в Мисире¹ и Хиндстане! Наша работа имеет большой спрос!..»

Работа начиналась в сумерки и заканчивалась в сумерки, когда уже становилось не видно шелковых нитей, круглый

¹ М и с и р — Египет.

год — и зимой, и летом, без отпусков и выходных... Когда же Суранчи почти ослеп, стал он ткать простую хлопковую бязь, с которой опытный ткач справлялся на ощупь, не глядя. Жапар сам видел, как работал тогда отец. Стоит, бывало, согнувшись, то ногой нажмет, то ударной ручкой: целый день перед глазами — основа и уток переплетаются, тянутся, тянутся без конца, а стан постукивает: «шарк, шарк, шарк...»

Ростовщик Абдулхак был хозяином всего края — сам выращивал хлопок на своих землях и откупал. Хлопок после первой обработки поступал на мануфактуру Абдулхака с ее примитивным оборудованием: ручную чистили, ручную пряли, ручную ткали. Работали у него узбеки, уйгуры и киргизы.

Жапар до сих пор не знал, как попал его отец к Абдулхаку. Одни говорили, что мальчиком-сиротой наняли его купцы помогать следить за отарами овец, купленными после продажи товара; кто еще что... А Суранчи не хотелось, наверно, помнить свое сиротское, рабское детство, и он толковал о каких-то родственниках, живущих недалеко от города, которых никто никогда не видел...

Когда Жапар подрос, его вместе с сыном Абдулхака определили в медресе, с тем, чтобы он прислуживал Гулямджану-мирзе, единственному наследнику ростовщика, родившемуся от самой младшей жены. Жапар помогал ему умываться, готовил чай, таскал хурджун¹ с книгами... Коротче говоря, отработывал плату за свою учебу, внесенную ростовщиком, и жили они с Гулямджаном в одном Худжуре².

Гулямджан-мирза был старше Жапара, красивый и стройный, избалованный богатством и любовью семьи. Но заносчивости в нем не было никакой, Гулямджан дружил с Жапаром, можно сказать, что еще и поэтому Жапару удалось стать моллобачой³.

В это время в их места и пришла весть о революции, совершенно переменившей судьбу Жапара и всех ткацких сыновей абдулхаковской мануфактуры...

Жапар умолкал, перебирая в памяти прошедшее, такое, что вряд ли интересно собеседнику, может, даже непонятно: как первый раз наелся досыта, надел чистую, без заплат, одежду... Молчал и Маматай, не мешал старику вспоминать, боялся спугнуть улыбку с его губ.

¹ Хурджун — мешок.

² Худжур — жилая комната для учеников медресе.

³ Моллобача — ученик медресе.

Когда Маматай впервые пришел в небольшой чистый дворик Жапара, весеннее солнце щедро и ликующе заливало его весь, наполняло до краев, выплескивалось за дувал. Все здесь было ухожено и расставлено с предельным тщанием. Даже яблони стояли аккуратные, правильными рядами.

Домик у Жапара был типовой, крыт шифером. Четыре окна были распахнуты настежь, так что ветер свободно надувал, как паруса, цветные занавески.

Сам хозяин орудовал в кустарнике садовыми пожницами, как-то уж очень нерешительно щелкая ими.

— Да смелее, к середине лета опять стричь придется, — поучал его Кукарев, бледный и худой, только что выпивавшийся из больницы.

Маматай кинулся к своим «старикам», радостно размахивая руками. А Кукарев лукаво, подзадоривающе произнес:

— Слышал-слышал о твоих подвигах. Ничего, волков бояться — в лес не ходить. — И он своей широкой жилистой ладонью похлопал Маматаю по плечу. — Теперь держись, и я за тебя возьмусь. А ты как здесь оказался?

Жаркая краска залила лицо Маматая. «И что это я», — злился он на себя, а вслух пробормотал:

— Просто по делу... к Бабюшай. У нас культпоход...

— Ну и зря, что только по делу, — не отступал Кукарев, довольный, что ловко поддел парня.

Когда Маматай отошел, Кукарев утратил всякую веселость — она ушла из его светлых глаз, и они стали печальными и строгими. А его знаменитая палка машинально вычерчивала замысловатые узоры на песке, что свидетельствовало о внутренней смятенности.

Жапар понимающе отвел глаза, помолчал, пока друг справился со своим настроением, пригласил к чаю. По дороге Кукарев заметил, что Жапар так и не решился спилить несколько яблонь, мешавших расти и набирать крону своим соседкам.

— Два года, Жапар, твержу — жалостью загубишь молодые посадки, — Кукарев, как ружьем, нацелился в лишнюю яблоню палкой. — Она должна вширь расти, а ты ее заставляешь идти ввысь.

— А-а, рука не подымается, — в сердцах бросил ножницы на верстак Жапар-ака.

— Ничего, вечером сам займусь,— пригрозил Иван Васильевич.

Жапар жестом хозяина пригласил Кукарева на застеленный ковром чарпай¹ под густо разросшимся виноградником.

— Нет, друг, только без обиды... сейчас не могу. И зашел-то потому, что до вечера не утерпел бы,— расстроенным голосом сказал Кукарев и повернул к калитке.

А Маматая тем временем окликнула Бабюшай:

— Эй, привет! Зову-зову, а ты даже не смотришь!

Простой домашний халатик, распушенные волосы — милый домашний вид.

— Прости, Бабюшай, но я никак не привыкну к тому, что ты всякий раз какая-то новая, не похожая на прежнюю.

Ему казалось, что Бабюшай ничего еще про себя не решила, что у нее нет пока той сосредоточенной цельности чувства, как у него, однолюба и молчуна, не привыкшего ничего усложнять и запутывать. И Маматай решил, что, верно, никогда не разберется в женской душе. Было ему от этого горько и беспокойно. Но такая неустойчивость в их отношениях, как это ни удивляло Маматаю, совсем не лишила его надежды на ее расположение к нему.

— По глазам вижу, Маматай, что пришел не комплименты мне говорить, а с делом... Угадала? — Бабюшай победно улыбнулась и добавила: — Пейте пока чай с отцом, а я сейчас... только оденусь.

Маматай присел на краешек чарпай под виноградным навесом. И Жапар понимающе подмигнул ему, мол, не робей, а по глазам сразу видно, что старик гордится дочерью, ее спокойной выдержкой и несуетливым гостеприимством.

— Говорили мы с Иваном Васильевичем... о тебе, парень,— аксакал привычным жестом провел ладонью по бритому, отливающему медью загара темени, посерьезнел глазами.— Разбирать будем строго, но учтем и все мотивы... Кукарев думает, что поможем вернуться в цех.

Маматай так и подскочил с чарпай, глаза радостно заблестели, и он приложил руку к сердцу, как бы стараясь утихомирить его биение.

— Да я... да я, Жапар-ака!.. Мне бы хоть к станку, хоть куда...

— Вот и я тоже тебе говорю — на должность прежнюю

¹ Ч а р п а и — деревянный лежак.

не рассчитывай — дров ты все-таки наломал по неопытности.

— Жапар-ака, я же говорил Саякову, что сначала осмотреться хочу, а он как отрезал, мол, назначили, оказали доверие...

— Есть вина и администрации, не скрою, — нахмурился Суранчиев. — Назначить-то назначили, а помочь забыли... Я и Кукареву прямо об этом заявил. А он мне в ответ, мол, предупреждал о трудностях, просил не зарываться, меня, мол, рекомендовал в советчики как ветерана...

Маматай виновато опустил голову, а Жапар ободряюще похлопал его по плечу.

— Ну вот и обиделся. Ох, молодежь, молодежь... Если бы молодость умела, а старость могла!.. Ладно, не горюй! Скажи — поможем... А тебе урок на будущее...

...Они вышли с Бабюшай за калитку. Время было еще не позднее, но солнце уже не пекло. Оно золотило верхушки карагачей вдоль дороги, запутывалось в придорожных травинках. Настроение у Бабюшай, судя по всему, было благодушное, размягченное.

— Что ж, выкладывай, что там у тебя, Маматай? — взглянула она на парня чуть-чуть искоса, изучающе.

Маматай хмуро передал ей содержание разговора, состоявшегося у него с Чинарой о Колдоше.

— Понимаешь, какое равнодушие! Но даже не в этом дело! Спросят в первую очередь с комитета комсомола, с руководства! И это правильно! Просмотрели... Под носом такое творилось... Да и парня жалко... Одинокий он — вот что тебе скажу!..

Бабюшай не спешила вступить в разговор. Характер у нее — основательный, спокойный. Она понимает, что легче всего осудить другого. А что сделали конкретно они с Маматаем и что могут сделать?

— Обсуждали мы его достаточно. С Колдошем осталось попробовать только одно — доброту... если поймет хоть что-нибудь.

— А я что? И я так думаю.

— Напрасно, Маматай, считаешь Чинару зазнайкой. Правильно, строгая, не любит ничего бессмысленного! А Колдош? Что ж, Колдош... Парень отчаянный... Такого и полюбить, и пожалеть трудно: изверившийся, колючий. Ладно уж, сама поговорю с Чинарой...

Маматай благодарно улыбнулся девушке.

— Суд выездной будет. Показательный, прямо на комбинате.

— Откуда узнала?

— Иван Васильевич сегодня отцу сказал.

— А Колдосу известно?

Бабюшай неопределенно пожала плечами.

— Вот я и говорю, Букеи,— равнодушные мы... Решается судьба человека — нашего, рабочего... Представляешь себе, что может получиться? Опять упрется на своем, мол, ничего не боюсь... Мы должны доказать Колдосу, что сила — не он, а мы, организация!

Бабюшай неожиданно для Маматай всплыла, даже голос у нее зазвенел на самой высокой ноте:

— Все сила да сила. Не сила нужна, а душевность. И, что ни говори — ум! С Колдошем ухо остро держать приходится! — И отходчиво добавила: — Чинара, по-моему, очень подойдет.

Вдруг они услышали совсем рядом нарочитое покашливание — это их ивановский монтажник Петров, человек общительный, легкий, что называется, душа коллектива.

— Наш вам низжайший,— скороговоркой начал он, приподнимая двумя пальцами за козырек свою выдавшую виды кепочку. Глаза у Саши — безрадостные, и шутил он, как видно, по привычке, а не от душевной полноты.

— Что-нибудь случилось, друг? — почувствовал его настроение Маматай.

Но Петров мрачно замолчал, что было совершенно на него не похоже. Молчал и Маматай. А Бабюшай сразу же засобиралась уходить, благо калитка ее оказалась совсем рядом.

— Ладно, пошла я. До завтра...

Саша достал сигареты, протянул Маматаю, закурил сам и долго с напряженным лицом — руки в карманах — раскачивался с пятки на носок.

— Все линию сдаем, не сдадим никак... На живую питку лепим! Не пойму я вашего Саякова! Инженер вроде толковый, а в толк взять не хочет, что при такой форсированной сборке — сразу же после пуска поломки замучают! — И еще больше посуровел голосом: — Прямо тебе скажу, Маматай, не привык я так работать и не желаю... Завтра обо всем заявлю в дирекцию!

Маматай стоял растерянный, разминая в пальцах сигарету, наконец, кое-как справившись с нервами, сердясь на свою беспомощность, сказал:

— Все правильно, Саша. Только кому заявлять будешь? Темира Беделбаевича сейчас нет. А заместители, сам знаешь, скажут — ждите директора... Все опять упрется — в главного инженера, то есть в Саякова, — и, отводя глаза в сторону, добавил: — А меня и слушать никто не захочет, не в чести я...

— И пусть... Молчать не буду и Саякова не боюсь, — стоял на своем Петров. Чувствовалось по всему, что мнения не изменит и от своего решения не отступит.

Маматай шел озадаченный, с любопытством и затаенным интересом поглядывая на Петрова: вот тебе и Сашка из Иванова, как любил сам Петров называть себя! Веселый, уживчивый, безобидный балагур, всеобщий любимец! Он и работал, по мнению Маматая, так же, как и жил, — легко, играючи, без очевидного усилия! И никто это Петрову в заслугу не ставил. А вот она, оказывается, в чем его человеческая сердцевинка... И Маматай почувствовал себя вдруг мальчишкой перед этим железным парнем, перед его величием. А еще стало понятным ему настроение отделочников, их хмурое молчание и напряженность в глазах.

— Знаешь, друг, есть еще человек на комбинате, кто со всей ответственностью относится к монтажу линии. Я имею в виду Хакимбая Пулатова, — Маматай остановился и внимательно посмотрел в прямые, светлые глаза Петрова.

Парень сосредоточенно царапал носком ботинка по песку дорожки, молчал, потом с усилием, как бы нехотя, прижался:

— Да из-за Хакимбая и торчу здесь, а так бы с первой партией махнул домой... Большой труженик, с душой... Таким ой трудно жить с Саяковым! Это я тебе говорю — Сашка из Иванова. — И он ожесточенно сплюнул далеко в сторону и снова достал сигареты. — И что это я вдруг расчувствовался? Словами делу не поможешь! — Круто развернувшись, он зашагал прочь.

Маматай долго смотрел Петрову вслед, пока тот не скрылся за поворотом, ни разу не оглянувшись и не замедлив шагов, суровый, недосягаемый и прямой. И у Маматая тоскливо защемило под ложечкой от предчувствия чего-то непоправимого и страшного — если бы знать, чего?

«Нужно обязательно встретиться с Хакимбаем!» Эта мысль весь вечер не давала ему покоя. Пришел он с нею наутро на комбинат и тут узнал, что срочно должен ехать по неотложным делам в командировку.

Чинара никогда бы никому не призналась, что боится Колдоша. Но что толку от самой себя скрывать, притворяться — помучил ее парень достаточно! А Чинара в любом деле привыкла быть первой и главной. «Вот напасть! — думала она по дороге домой после разговора с Маматаем. — Будто мне мало было с этим Колдошем хлопот! И этот недотепа Каипов туда же: «Комсорг, ты должна... Чинара, ты обязана!»

Маматая она не любила за его дотошность и прямолинейность, за стремление мерить все и всех по своей, как ей казалось, узенькой мерке. Не последнюю роль играла тут и обида девушки на то, как Маматай, вернувшись после окончания института на комбинат, свысока, как специалист, при первой же встрече стал высказываться о ее стихах... «Больше чувства, больше опыта!» — передразнивала она потом Каипова про себя. А ведь скажи он ей тогда: «Ох и красивая же ты стала, Чинара, — прямо не узнать!» — и девушка поверила бы в его дружеское расположение, у нее бы тоже нашлись для него простые, шутливые слова.

Никому на комбинате и в голову не приходило, глядя на этого авторитетного, делового комсорга, собранного и строгого, что она такая же девчонка, как все ее ровесницы-ткачихи, ждущие не дожидущиеся своего парня, своей любви... А на Чинару привыкли смотреть только как на молодежного вожака. И она все больше и больше замыкалась в себе, и ее умные, пронизательные глаза глядели на мир все строже и горделивей...

Только одна Насипа Каримовна молча переживала, по своему понимая отчужденность дочери. И винила она во всем себя и свою горькую судьбу: «Вот оно, сиротство, безотцовщина... Думала, как лучше... Да, видно, от одиночества только одиночество и родится!..» Но больше всего бедную женщину убивало, когда видела она, как Чинара становится похожа на нее, немолодую вдову, перенимая бессознательно у Насипы Каримовны ее закоренелые привычки и жесты.

«Придется, чует мое сердце, коротать друг около друга свой век, — приглядывалась к дочери Насипа Каримовна и вздыхала: — И сейчас ей только моих очков и не хватает... А так все, как у меня, старухи... И волосы — кичкой на затылке!»

Чинара туго стягивала косы в узел — большой, тяжелый, иссиня-черный, отливающий матовым блеском, отчего

ее небольшая, аккуратная головка откидывалась горделиво назад, придавая всему облику девушки величавость.

«Ничего, скоро и очки заведет... для солидности, — переживала Насипа Каримовна. — Ох, точно — заведет!»

Насипа Каримовна даже не догадывалась, каким непререкаемым авторитетом была она для Чинары все эти годы. И сейчас девушка еще не оставила мысли стать, как мать, учительницей, чтобы было у нее все, как у молодой Насипы Каримовны когда-то. Чинара, как это ни покажется странным, желала даже трагических обстоятельств судьбы матери, — все, чтобы как у нее, ни больше, ни меньше!..

«Но нет, этого я ей не позволю, — бессильно грозила про себя Насипа Каримовна. — Нет, нет, никаких очков! Так и заявлю, мол, ты что, мать решила передразнивать? Пусть думает, что сержусь...»

В своих невеселых мыслях Насипа Каримовна никак не могла взять в толк, почему у Чинары не складывается личная жизнь. Девушка видная, серьезная. На комбинате ей как уважают, ценят. Чего еще надо? Живи, радуйся, люби, расти детей. «Видно, принца ждет... Ох довыбирается — так всегда бывает! Удивит и мать, и весь честной народ! — И старалась успокоиться: — Нет-нет, видно, любовь ее еще не подстерегла. У таких молчальниц всегда все внезапно, как весенняя гроза».

Ей хотелось изо всех сил верить в то, что Чинара ее не засохнет, не надломится, устоит, и материнским, чутким сердцем принимала без остатка прямоту и справедливость жизни.

Чинара, конечно, догадывалась о настроении матери, когда перехватывала изредка ее скорбные взгляды, и хмурилась. «И почему это матерям — самое главное выдать замуж? Спешат, спешат, а куда, спрашивается? Счастье в любви, в понимании! И мать это прекрасно знает, а вот как все печется — о продолжении рода, о внуках, — упрямо думала она, вполне сознавая свою несправедливость к матери. — Дети, дом, семья — во что бы то ни стало!» Нет, она, Чинара, с этим никогда не согласится, хотя, наверно, не было на свете такой жертвы, на которую она не пошла бы ради нее...

Чинара, замкнутая от природы, обычно избегала прямых разговоров о себе и о своем наболевшем, особенно с матерью, ведь слова, по ее мнению, ничего не решали, ничему не помогали... Да и зачем? Слова расслабляют, откровенность же признает право вмешательства в судьбу, а она, Чинара,

хочет быть хозяйкой своих поступков. А ее стихи? И здесь она не допускала рассусоливания, объяснений, дамских ужимочек... Самые дорогие ей стихи она пока не покажет никому. А Каипов пусть довольствуется ее публицистикой в газетах. Чинара не потерпит никакой дилетантской критики. Да, она не как все... Нечего ее путать с другими... И судьба у нее — иная. Конечно, исключительная, трагическая...

Шаг у Чинары — стремительный, легкий. Она и не заметила, как оказалась дома, рядом с матерью, устроившейся возле телевизора. Чинара еще долго отходила от обидного разговора с Каиповым. Губы у нее презрительно морщились, а щеки горели от возмущения и быстрой ходьбы.

Насипа Каримовна, поглядывая на дочь, недоумевала: «Неужели со свидания? Дай-то аллах... Может, еще и внуков дождусь!..»

А у Чинары были свои заботы. Все же самолюбие ее сильно задел Маматай. Вечно он лезет туда, где его не спрашивали, вечно учит других (до своего-то дела руки и не доходят!), вечно выговаривает, и кому — целому комитету комсомола! Не тем занимаемся! Как пришел на комбинат, так и началось... Хочет всем показать, что она, Чинара, не справляется с работой комсорга!..

Вот так всегда: не узнает, не поинтересуется — бах, не зная броду!.. И теперь решил почему-то, что комсомольцы от Колдоша отступились... Если не побежали сразу в тюрьму, значит, не работаем! А что толку от его суетни? Колдош, Чинара уверена, даже выйти к нему не спизошел. Такие, как Каипов, только мешают. Наивный человек Маматай. И еще шумный, все у него — с пылу, с жару, кое-как. Вот и в начальниках по этой причине не удержался. Нет, Чинаре он — не авторитет. У нее свой стиль, свои методы работы. Она все обдумает, все рассчитает, когда чем заняться. К Колдошу — тут глаза у девушки стали строгими, непримиримыми — она, конечно, пойдет, и пойдет не для «галочки» в отчете, тогда, когда этот «супермен» Колдош насидится как следует в своей одиночке и будет рад не только ей — даже Маматаю... Уж тогда-то она возьмет реванш за все обиды и унижения! Чинара умеет молчать, долго не обнаруживая памятность на обиды, умеет ждать своего часа. Она давно усвоила, главное в жизни — не пороть горячку. Только когда медленно запрягаешь — езда получается быстрая, без дорожных происшествий...

Чинара, еще до прихода в комитет Маматай с упреками и призывами к сознательности, побывала у Темира Бедел-

баевича с разговором о Колдоше. На первых порах директор принял ее официально, скрывая за строгостью свое раздражение и на Колдоша, и на складских ротозеев в охране, и на всю молодежь комбината, от которой только и жди скандалов. И надо же было случиться всему этому, когда ему, Темиру Беделбаевичу, до пенсии всего ничего... Нет-нет, пора уходить! Вот выздоровеет Иван Васильевич, пустит автоматическую линию в отделочном — и с аллахом! Нет уже у него, Беделбаева, и деловой хватки, и энергии... А заместители? Что заместители? Одно слово — иждивенцы беззубые, инертные, им только за директорской спиной отсиживаться. Ничего, вот придет новый директор... Новая метла чисто метет... Ему же, Беделбаеву, только бы без новых осложнений, с почетом на пенсию...

— Ну что у вас ко мне, комсорг? — нехотя, не глядя на посетительницу, выдал из себя директор, опустив голову над квартальным отчетом. — Надеюсь, ничего серьезного? Может, лучше — к Саякову... Он занимается текучкой...

Чинара давно изучила, что с Беделбаевым нужно идти напрямую, без маневров и намеков — не любит шеф дипломатии, вернее, признает это право только за собой. С Беделбаевым можно только напором. И Чинара решительно, одним духом выпалила:

— Как хотите, товарищ директор, а комсомольцы поставили взять Колдоша на поруки. Мы сделаем все, чтобы спасти честь коллектива, нашу рабочую честь... Надеюсь, чувство чести, долг и вам подсказывают такой путь!

Беделбаев удивленно поднял свои толстые, выпуклые, мутноватые, как глаза причудливой глубоководной рыбы, окуляры на комсорга. Даже сквозь толщу стекла Чинара успела уловить явную директорскую заинтересованность в ее идее. На бледноватых сухих губах Темира Беделбаевича даже проступила едва уловимая довольная улыбка. Все свидетельствовало о том, что директор наконец нашел выход из создавшегося положения, вернее, нашла Чинара, а директору нужно его осуществить. Вот что значит молодая мысль! Он-то сам махнул рукой на все, решив, что от сумы и от тюрьмы не зарекаются... Но неудобно человеку солидному так откровенно радоваться... Что подумают подчиненные? Эта девчонка? Беделбаев вдруг нахмурился и, важно прокашлявшись в кулак, сказал:

— Рад, что ж... хоть и с опозданием, — лицо у него построжало, и кустики старческих, неровных бровей сошлись

на переносице, — вспомнили наши комсомольцы о чести и долге.

Директору очень бы хотелось сказать Чинаре, что комбинат уже связался с парсудом, разбирающим дело Колдоша. Но ведь это было не так, а унижать себя неправдой Темир Беделбаевич не хотел и после затянувшейся паузы сказал:

— Комбинат сделает все от него зависящее... Но здесь первое слово за комсомольцами, за общественностью. Вы — главные поручатели. Я уж не говорю об огромной ответственности перед государством, вы дол осознать всю серьезность такого шага. Мы сможем взять Колдоша, — Беделбаев болезненно поморщился, произнося имя провинившегося, — на поруки только в том случае, если он проявит на суде сознательность, расскажет в содеянном... А вы уверены, что парень именно так себя и поведет, а?

Теперь в затруднении оказалась Чинара. Обещать она, конечно, ничего не могла, зная упрямый, заносчивый характер Колдоша. А молчать — значит свести на нет все достигнутое ею в переговорах с директором.

— Темир Беделбаевич, сейчас работаем над перевоспитанием Колдоша не только мы, но и само время... Колдош один... Есть у него возможность трезво поразмыслить, по-вспоминать. Время, и обстановка, и сознание того, что променял свободу за несколько угарных кутежей с сомнительными друзьями, и не такого, как Колдош, проймут. Виду он, конечно, сразу не захочет податъ. Вот здесь-то мы ему неподволь и поможем...

Директор был удивлен и горд, что есть у него на комбинате люди, на кого можно положиться. Вот ведь какая молодежь подросла — мыслящая, перспективная, одним словом, выдвиженцы, рабочий класс. На сердце у Беделбаева отлегло, и он уже забыл про свой пенсионный возраст, про нерадивых заместителей. Теперь он весь был нацелен на самое большое дело своей жизни — предстоящий пуск новой автоматической линии и последующую модернизацию всего технического оснащения комбината. Тогда можно будет и на пенсию, на заслуженный отдых...

Чинара вышла из кабинета Беделбаева с ощущением полной победы и душевной окрыленности. «Все-таки удачливая я. Недаром в цехе девчонки верят в мою легкую руку и слово, — радовалась она своей везучести. — Пусть кто-нибудь скажет, что это не так!»

Сам Колдош очень мало занимал ее думы. Мнение о нем у девушки сложилось прочное и окончательное: невежест-

венный, грубый, заносчивый. Внешность, как все серьезные, степенные люди, она в расчет не брала: ну и что? Пусть видный: девчонки из ткацкого, что таить, засматривались на Колдоша. Есть, конечно, и у него привлекательные черточки, скажем, умеет за себя постоять и в обиду не даст. А таких широких плеч и увесистых кулаков ни у кого на комбинате нет! Разве что у Пармана-ака. Только этого всегда сонного местного богатыря разве сравнишь с Колдошем, взрывным, горячим... Такого не усыпишь, не приголубишь. Такой сам себе хозяин и повелитель. И Чинара по себе знала, что свобода для подобного склада людей дороже жизни.

Вот это-то и пугало, и притягивало Чинару. Так что борьба у нее с Колдошем предстояла отчаянная, захватывающая. А на другую она бы и не согласилась.

Беделбаев тем временем внушал своей секретарше, как важно для него сегодня же поговорить с районным прокурором. Секретарша у директора была пожилая, раздобревшая на сидячей работе, когда-то весьма привлекательная Анна Михайловна, самолюбивая и дотошная, разговаривающая громким, внушительным голосом, не терпящая никаких возражений. Беделбаев немного побаивался ее решительного натиска, перед которым отступали и не такие важные тузы. В его тоне, когда он о чем-либо просил ее, всегда слышалась неуверенность.

— Анна Михайловна, прошу убедительно... Это очень важно для нас... Так я жду...

Секретарша кивнула головой, наводя порядок на столе директора, хотя он каждый раз противился этому.

— Не трогайте, здесь все нужное, — сгребая бумаги к себе, суетился Беделбаев.

В этот день разговор у директора с нарсутом не состоялся. Беделбаев уехал по делам, пометив на перекидном календаре все не осуществленные в этот день планы, чтобы с утра снова заняться ими. По дороге к машине он встретил Саякова.

— Извините, Темир Беделбаевич, что не зашел сразу же по вашему вызову... Кручусь с линией! А вы далеко?

Беделбаев не стал даже останавливаться, махнул только рукой, мол, надобность отпала. А Саяков обиженно поджал тонкие губы, судя по всему, он не мог представить себе, что в нем хотя бы минуту могут не нуждаться, не искать, не ждать.

Алтынбек, конечно, знал, зачем вызвал его директор...

Но у него не было ни малейшего желания заниматься судьбой этого отпетого Колдоша. «Умный человек своим делом занимается. Если с головой ко всему подойти, всегда можно уцелеть, в любой житейской передрыге... А этот силой похваляется!..»

Не то чтобы сам Саяков отличался особой щепетильностью в выборе друзей и знакомств, скорее, наоборот. Алтынбек держал около себя людей со слабинкой, как Парманака: быка одним взмахом пудового кулака опрокинет, а пусть попробует пикнуть против него, Алтынбека, тогда сразу узнает, кто из них сильнее!.. Пармана жизнь уже научила осторожности. Колдош же пока вполне надеется на свою силушку. Таких жизнь вряд ли когда научит — не восприимчивы они к мудрости, особенно к той, которую, как ему казалось, в совершенстве постиг сам Саяков. «Этот броду не меряет, идет напролом, так пусть сам и расхлебывает», — решил про себя Саяков еще до вызова директора, как только узнал об аресте Колдоша.

С Парманом Алтынбеку было спокойно и удобно, вот только подвел он Саякова немного этой заварушкой с «грехами молодости». Ему очень не хотелось признаться себе в том, что Парман сильно разочаровал его, показав невольню, как человек может быть неуправляемым, вернее, подчиненным тому, непонятному и грозному, а это значит, что не все подвластно в этой жизни и его, Алтынбека, воле, намерениям и расчетам. Вот почему он, даже не отдавая себе в том полного отчета, стараясь скрыть эту внутреннюю растерянность, окружал себя атрибутами внешнего благополучия и комфорта.

Главному инженеру Саякову нужно было большое дело, нужны были слава и почет. Он понимал, конечно, что на рацпредложениях, да еще в соавторстве, далеко не уедешь — беспокойное дело и рискованное, никогда не знаешь, как поведет себя соавтор, а потом попробуй докажи свой приоритет. Именно поэтому Алтынбек поставил все на автоматическую линию в отделочном, заботился о прессе, подшивал в специальную папку сообщения о линии, ревновал и старался отеснить не только Хакимбая, но и самого Темира Беделбаевича. Саяков спешил, ведь место директора вот-вот должно освободиться, а если он, Алтынбек, проявит себя на пуске линии, то кому, как не ему, быть руководителем предприятия.

Саякова беспокоила спешка и нервозность на сборке линии, и все же он считал и Хакимбая Пулатова, и Беде-

лбаева перестраховщиками. Мотивы их поведения Алтынбек объяснял по-своему: Беделбаеву только бы до заслуженного отдыха дотянуть, а Хакимбаю, наверно, тоже директорское кресло мерещится... Короче говоря, Саяков нажимал на монтажников, тем более что приближалась дата Октября. Она должна стать двойным праздником для комбината...

* * *

Утро было блеклое и сырое. На улицах города не осталось и следа предвечернего пожара неоновых огней, тысячекратно повторенного в проливных дождевых струях, который вдруг заметил Колдош, выглянув в окно после ухода Мама-тая.

Ему тогда на мгновение показалось, что ничего с ним дурного еще не случилось и никогда не случится; было легко, как в раннем детстве, когда человек безотчетно счастлив, потому что жив, здоров и мир вокруг — огромный, красочный и отзывчивый, склоняющийся над каждым — без выбора и предпочтения...

Что же произошло? Мир вдруг подобрел к нему, Колдошу, или он сам невольно, по неосторожности расслабился и разбередил душу? Почему слезы мучительно закипают в горле, подступают к глазам?

Колдош обхватил голову руками и тяжело рухнул на казенное одеяло. Он не вспоминал и не думал ни о чем — он грезил наяву. Колдошу привиделась почему-то мать, которой он не видел никогда, — без лица и возраста. Она протягивала к нему руки, худые и черные. И глаза — горькие, измученные, слепые...

Им вдруг овладела ярость. «Черные прекрасные глаза!» — выкрикивал в бешенстве Колдош, катаясь по койке. Нет уж, пусть сам Маматай влюбляется, а его, Колдоша, не проведешь, он-то узнал цену этим взглядам... Нежные они, когда завлекают, а как до серьезного дойдет — ищи-свищи! Колдош цинично выругался и сплюнул себе под ноги, вспоминая свои любовные похождения.

И все же слова Маматая о том, что кто-то помнит его, думает, запали так глубоко в сердце Колдоша, так были желанны ему, что отринуть их совсем он уже не мог. Они легли как зерна в благодатную почву и ждали своего срока, чтобы дать всходы, обновить и позвать к жизни, к росту.

Проворочавшись всю ночь с боку на бок, Колдош встал, как только жиденький пасмурный свет забрезжил на низ-

ком небе. Он первый раз за все это время умылся и придирчиво осмотрел себя и свою одежду, потом вспомнил, что спешить ему некуда, что впереди еще много вот таких бесцельных, пустых дней и ночей. И Колдош пожалел о своем утреннем настроении и, взъерошив отросшие волосы, снова лег и закрыл глаза.

С этого дня Колдош сильно переменился. Он спокойно вел себя на допросах, рассказал все, что знал о своих сообщниках. А знал он очень немного — только воровские клички и внешние приметы, так что взять всех пока не удалось.

А время неумолимо двигалось к суду. Колдош уже знал, что судить его будут показательным выездным судом на комбинате, в присутствии всего коллектива, и он морщился, представляя себе очень отчетливо, сколько будет сказано торжественных трескучих слов о чести, о совести и прочей муре, как будет хлопотать Маматай и гордиться своим пониманием долга. Беделбаев, конечно, будет злиться про себя и молчать. Саяков побережет свое красноречие для более достойного случая. А девчата? Да что им до него! И правильно, он-то не очень жаловал их вниманием и любезностями. Колдош по привычке ослабился, но тут же посерьезнел. Откровенно говоря, ему не хотелось никого видеть из комбинатских. Он не мог точно объяснить почему. Надоели? Не то — привыкнуть-то еще не успел. Чужие? Это, конечно... Но кто Колдошу не чужой?.. Да и не нужны ему ни родственнички, ни друзья — жил без них и проживет, как умет, худо ли, хорошо, а проживет.

Мысли прокручивались, как стершаяся шестеренка, вхолостую, бесплодно. Колдош злился на свою беспомощность и не мог понять, в чем же дело? Почему у него не как у всех? «Наверно, потому, что не было родителей», — решил он наконец и почувствовал такую пустоту и отчаяние, каких не знал даже ребенком, даже тогда, когда услышал презрительное: «Подкидыш».

Колдош растерялся от своего неожиданного открытия. Он чувствовал себя инкубаторским цыпленком среди таких, как он, но выросших с клушей, и знал, что это навсегда, что это уже не изменишь, не исправишь...

* * *

Комбинат жил своей обычной, строго регламентированной жизнью. Отлаженно, монотонно работали машины. Все было здесь привычное, каждодневное: и шум, и мелькание рабо-

чих рук, и знакомые лица. Комбинат встречал своих людей почти по-домашнему, тепло и заботливо.

«А как же иначе,— думал про себя Хақимбай, поднимаясь в свои механические мастерские,— так и должно быть! Рабочая семья — не громкие слова, а жизнь... Плохая или хорошая, но — семья».

У Пулатова было первый раз за последнее время спокойно на душе, даже беззаботно: диссертация подготовлена к защите,— это раз! — удалось с Беделбаевым договориться об отсрочке пуска автоматической линии в отделочном — два! Радовался Хақимбай и тому, что подбирается на комбинате интересный, думающий, технически грамотный коллектив. Вот и Маматай дельное рацпредложение внес! Несмотря на неимоверную загруженность последних недель, Хақимбай все же рассчитал его проект, и результаты оказались самыми обнадеживающими.

Пулатов сейчас переживал какую-то особую легкость, даже опустошенность. Конечно, через какое-то время он снова начнет вертеться как белка в колесе, выкраивая минутки для Халиды, сына и дочери. Но сейчас, сейчас он — вольная птица!

Зайдя в свою каморку, заваленную всевозможными — нужными и ненужными предметами, Хақимбай через груды чертежей потянулся к телефону, набрал домашний номер и, услышав голос Халиды, опустил в старое кресло, отчего его острые, худые колени поднялись почти до подборка. Пулатов счастливо улыбался:

— Халида! Ты слышишь меня? Да-да... Конечно, все в порядке. Через час буду в полном твоём распоряжении!

Хақимбай сидел в своём любимом кресле, закинув ногу на ногу, и курил, вспоминая только что состоявшийся разговор в парткоме у Кукарева.

Иван Васильевич, недавно вернувшийся из больницы, пригласил Пулатова, чтобы ознакомиться, как он выразился, с текучкой. Хақимбай очень удивился про себя: почему его, а не Саякова? Или еще кого? Или Саипова? И, только оставшись с Кукаревым наедине, Хақимбай все понял: до парторга стали доходить самые разноречивые слухи о состоянии автоматической линии в отделочном цехе.

Кукарев так сразу и сказал:

— Хақимбай, в чем дело? Что за разговоры по цехам о пуске линии? Давай напрямую...

— Иван Васильевич, руководитель-то Саяков... Ему видней...

— А ты на Саякова не кивай: с ним разговор особый! Меня твое мнение интересует о техническом состоянии линии как специалиста и как человека, подчеркиваю — человека!

Хакимбай задумался, может, в первый раз за последнее время о своей, как выразился Кукарев, «человеческой» позиции в этом большом и ответственном деле в жизни комбината. Он вкалывал без выходных, почти не бывая дома, даже подчас ночами; работал, чтобы уложиться в жесткие сроки, предложенные администрацией комбината. Хакимбай совсем не задумывался, для чего нужны эти оптимальные сроки, эта спешка, этот измот. Он всегда был прилежным исполнителем, не умеющим подводить в работе.

Пулатов никогда не скрывал, что лучше всего разбирается в машинах, в чертежах и совсем — можно сказать совсем! — не интересуется всякими там, как он сам выражался, психологическими материями. Вот почему сейчас Кукарев поставил его в тупик.

— Иван Васильевич, увольте! — Хакимбай просительно приложил руку к сердцу и болезненно поморщился. — Насчет линии скажу, а все остальное...

Хакимбай заметил недовольство парторга.

— Что ж, придется пригласить Саякова и прочих... Да ты сиди-сиди, — придержал он за локоть было собравшегося улизнуть Пулатова и попросил по селектору к себе Алтынбека, Саипова и монтажника Петрова.

Увидев в парткоме Хакимбая, Саяков нахмурился и отвел глаза, заподозрив неладное для себя. У Саипова от напряжения дрожали толстые щеки, видно, торопился и теперь старался сдерживать одышку. Петров, отказавшись от предложенного парторгом стула, прислонился к подоконнику.

— Вынужден был вас оторвать от дела, но, сами знаете, неожиданная отлучка... Короче, введите в курс дела с автоматической линией... Техническое состояние, знаете ли, и все прочее...

У Алтынбека отлегло от сердца, на губах привычно обосновалась улыбочка: «Конечно, этот праведник Хакимбай жаловаться не умеет! Нет, что ни говори, а везет мне на товарищей!» И он поспешил взять слово.

— Товарищ Кукарев, понимаю ваше беспокойство: разговоров много, а дела мало... Но ведь дело-то новое... Все бывает — и срывы, и удачи!.. Люди, конечно, устали, отсюда, главным образом, и разговоры. Но, как хотите,

Иван Васильевич, а республика ждет от нас значимого подарка к годовщине Октября, да и газеты уже сообщили...

Кукарев поднял руку, и Алтынбек умолк, недовольно покусывая губы.

— Товарищ главный инженер, именно потому, что дело новое, недопустима никакая спешка. Буду разговаривать с Беделбаевым о том, чтобы люди с сегодняшнего же дня получили отгулы, отоспались, пришли в себя...

— Но, — неожиданно выдал из себя наконец отдышавшийся Саипов, — работы останавливать недопустимо, знаете ли, республиканский заказ...

— Во всем разберемся, — пообещал спокойно Саипову парторг. — А теперь можете быть свободны.

Хакимбай видел, как недоволен Кукарев, и ему было стыдно за свой эгоизм, за свою радость, что наконец перестанет сердиться на него Халида, забывшая, по ее выражению, есть ли у нее вообще муж. Он, как школьник после звонка на каникулы, вырвался на широкий пролет комбинатской лестницы и через три ступеньки бросился к себе, чтобы обрадовать жену и детей.

Теперь же наступило отрезвление, снова пришли мысли о работе, о линии, о Кукареве... И Хакимбай первый раз в жизни беззаботно отмахнулся: «Потом, потом... А сегодня — дом, Халида, дети...»

Почти так же рассудил в тот день и Саша Петров: «А что? Что мне больше всех надо?» Ему тоже хотелось домой, в родной город, но пока об этом и мечтать не приходилось, он под настроение дал в Иваново телеграмму своей Гале: «Жду непременно целую твой Петров».

XI

Чинара наконец решила встретиться с Колдошем. Она медленно, отстраненно шла по летним, почти пустым улицам города, погруженная в свои мысли и переживания, не замечая ни жары, ни пыльного ветра, вдруг порывами налетавшего на нее, а потом сворачивавшего в соседние улочки. У девушки было какое-то неприятное предчувствие, будто эта, в сущности, малоинтересная для нее встреча должна оказать на дальнейшую ее судьбу какое-то влияние.

Чинара норовисто встряхнула головой, отгоняя навязчивые мысли, рассердилась на себя: «Фу-ты!.. И что это я? Совсем психованная стала... Видно, в отпуск пора, да и жарница вон какая!» Ей вдруг нестерпимо захотелось в горы, к

воде. Она прикрыла глаза ладонью и прислонилась к придорожному пыльному тополю. Силой воображения она представила себя на росной прохладной луговине — босой, легкой и счастливой от этой легкости и прохлады...

И тут ее вернул к действительности голос Бабюшай: мания! Ну-ка побегай по такому солнцепеку! Да никак тебе плохо, а?..

Чинара недовольно открыла глаза, притворно зевнула, похлопав по губам ладошкой.

— Вечно у тебя фантазии, моя милая... Зачем гналась, разве в цехе не видались? Или что срочное?

Бабюшай вдруг стало неловко: в самом деле, что она припустилась за Чинарой? Может, у комсорга свои личные дела, а она, Бабюшай, здесь совсем не к стати?

— Ой, прости, если помешала.

— Да ладно уж. Какие у меня секреты! Это у тебя поклонников навалом: и Саяков, и Каипов... А у меня и на работе и после работы — одни комсомольские поручения. Вот к Колдошу иду. — Чинара обиженно поджала губы, перевязала на голове платок.

— К чему, Чинара, приbedняешься... Будто я не знаю, какими ты глазами смотришь на наших парней, видела не раз... Как зыркнешь, так они, бедные, от раскаяния за свое внимание к тебе готовы сквозь землю провалиться, вот!

— Да ты не подумай, подруга, что завидую тебе, — все ершилась Чинара, недовольная появлением Бабюшай.

— Скажешь тоже, — голос у Бабюшай стал отчужденным. — Ладно, пошла я...

А Чинара вдруг милостиво ее остановила:

— Вот всегда ты так, Бабюшай, будто бы с делом, а оказывается, просто так?

Теперь уж окончательно обиделась Бабюшай:

— Что и говорить, Чинарка, к тебе не сразу сообразишь, с какого боку подойти... Только дело-то у меня к тебе не личное, а общественное... Ладно, на комбинате обсудим. — И она решительно зашагала прочь, давая понять комсоргу, что потакать ее настроениям не намерена.

Чинара только пожала плечами и ускорила шаг. Она даже благодарна была в какой-то мере Бабюшай, помогшей ей отделаться от этого странного, несвойственного ей состояния нерешительности и предчувствий. Теперь она была снова готова мгновенно отреагировать на любой недоброжелательный выпад в ее сторону.

Колдош вышел к ней сразу, видно, ждал кого-то, а может, просто наскучило одиночество; похудевший, хмурый, без напускной лихости, молчал, не поднимая глаз. Только губы по привычке складывались в самодовольную улыбку. Но, как он ни старался показать, что с ним все в порядке, улыбка получалась скорее горькой, чем высокомерной.

Чинара глядела на остриженную голову Колдоша, на показавшуюся вдруг тонкой шею в вытянутом вороте фуфайки, на всего Колдоша, понурого и отчаявшегося, и видела перед собой — для нее это было ново и необъяснимо — не взрослого парня, а ребенка, большого, нескладного и оттого еще более беспомощного и нуждающегося в опеке.

«Вот те раз! Что же мне теперь делать?..» — растерялась Чинара. И ей хотелось погладить Колдоша по голове, успокоить, защитить. Девушка стояла, бессильно опустив тонкие руки, куда девалась ее злость на Колдоша, презрение и отчужденность, совсем недавно терзавшие ее сердце? Ведь только сейчас она из-за Колдоша сорвала свое раздражение на ни в чем не повинной Бабушай! А теперь? Теперь она глубоко несчастна, выбита из колеи не меньше самого Колдоша и не знает, что же ей делать. «Правду говорят, что домашние думы в дорогу не годятся...» Чинара уже готова была согласиться с матерью, что Колдош, может, и неплохой человек, только очень упрямый, потому жизнь и водит его на своем поводе, а ему только кажется, будто сам себе хозяин.

Так и стояли они друг перед другом: Колдош, сосредоточенно разглядывая свои сапоги, словно увидел их впервые; а Чинара с широко распахнутыми, удивленными и страдающими глазами, со смятенной душой.

Как ни крепился Колдош, а не выдержал, поднял глаз и они встретились взглядами, и Колдош отвел свой, а потом, закрыв лицо руками, выбежал из комнаты.

Чинара долго еще стояла обессиленная, опустошенная, как после тяжелой и внезапной утраты. Дежурная подошла к ней, усадила на жесткий диванчик, приговаривая:

— Вот ведь горе-то какое! Вот беда!.. Муж или жених?..

«Муж или жених?» — не вдумываясь в слова, повторяла про себя Чинара. И только когда дежурная стала трясти ее за плечи, она пришла в себя:

— Это, наверно, от жары, простите, что побеспокоила... Мне лучше на воздух...

Дежурная с готовностью взяла Чинару под руку, и

девушке стало стыдно за то, что раскисла, расчувствовалась: «Это мне за самоуверенность! Так и надо!»

Домой ей не хотелось. Она знала, что мать не отступит от нее, пока не узнает подробности разговора с Колдошем. А что она скажет? Ведь ей, Чинаре, и самой непонятно, что же произошло... Что-то придавило? Что-то смяло, перевернуло всю ее душу, а может, и жизнь? Навязался же на ее голову этот злосчастный Колдош! Рок какой-то! Ворожба! И все это на нее, Чинару, не верящую ни в какую мистику, ни во внезапную любовь!.. Да и любовь ли это? Что она впервой видит Колдоша! Слава аллаху, насмотрелась на его художества досыта... Бугай!.. Кутила!.. И тут она вспоминала взгляд Колдоша и боялась поверить себе — столько было в нем боли, нежности и отчаяния! Почему? Так на Чинару никто и никогда не смотрел... Дух захватывало от этого взгляда.

«Нет, так дело не пойдет, — усилием воли останавливала воспоминания Чинара. — Нет-нет, бесхарактерной не была, и никто меня таковой не сделает! Домой пора — мама ждет, беспокоится, должна же она знать, что у меня все в порядке...»

А Колдош был впервые в своей жизни счастлив по-настоящему, и любил, и верил, повторяя про себя: «Не обманул Маматай, а я-то дурак не знал!.. Диво дивное! Я — и Чинара! — И сомневался: — Нет, невозможно! Нет-нет! Все смеяться будут!..» Все-таки Колдошу очень хотелось верить в возможность такого счастья, да и нрав у него был самолюбивый, горячий. Природа, слава аллаху, не обидела его: и рост, и внешность... Колдош с сожалением ощущал остриженную голову, ведь густая грива волос была его гордостью и украшением... И специальность у него не хуже, чем у Чинары, пусть не зазнается... Пить он, конечно, бросит, а если Чинара захочет, то и курить! Так рассуждал Колдош в своей камере, забыв совсем, где он и что ему предстоит испытать, прежде чем он сможет хотя бы еще раз увидеть девушку.

То, что Темир Беделбаевич вернулся из Ташкента, где он был на совещании, и вернулся в хорошем настроении, Саяков узнал от Анны Михайловны, которой он исправно носил букетики и шоколадки, первым. Для Алтынбека было очень важно, опередив других, побывать у директора, ведь что ни говори, а первоначальное впечатление крепче держится, чем все последующие разговоры. А главному инже-

неру есть что доложить директору и о своих делах, и о Кукареве, и прочих.

Как только Беделбаев появился у себя в кабинете, в дверь деликатно поскреблись, не желая беспокоить его стуком.

— Прощу,— веселым голосом откликнулся Темир Беделбаевич.

И сразу же на пороге появился сияющий Саяков.

— С приездом, Темир Беделбаевич. Слава аллаху, вижу-вижу — все у вас в порядке. А у нас здесь все застопорилось... Сами знаете, без головы остались, хе-хе!.. Кукарев, правда, из больницы вышел... и сразу распорядился пока автоматическую линию законсервировать... до вашего возвращения, Темир Беделбаевич.

Беделбаев не любил принимать посетителей стоя: маленький, сухонький, с большой шишковатой головой не по росту, он проигрывал рядом даже с обычными, средними посетителями, да еще крупные, толстые линзы очков подчеркивали субтильное сложение директора. Вот почему он важно прошел к своему столу, поудобней уселся в высокое кресло и тогда только поднял на главного инженера увеличенные стеклами глаза.

— Не спеши, Алтынбек, дай опомниться с дороги,— недовольно поморщился директор и потянулся к телефону.— Прежде всего скажи, как дела с этим... Как его?..

— Колдошем?

— Да-да, учеником слесаря...

— Откровенно говоря, Темир Беделбаевич, мне было не до Колдоша... Не останавливать же цех из-за него? — самодовольно подняв плечи, заявил вдруг Алтынбек, что явно не понравилось Беделбаеву.— Им, кажется, парторганизация занимается... Кажется, Кукарев... Или Жапар-ака?.. Что-то не припомню.

Беделбаев сердито посмотрел на Саякова, что тому доставило особое удовольствие. Алтынбек любил поддеть директора, позлить его, мол, что ты мне сделаешь за дерзость? Да ничего, потому что для нас с вами, Темир Беделбаевич, главное — личный авторитет, не так ли? А Беделбаев горько жалел о допущенных промахах в отношении с подчиненными, и в первую очередь с Саяковым. И он не выдержал наконец, дал понять, что больше не потерпит выходок Алтынбека: снял трубку и вызвал Кукарева и Жапар-ака.

Саяков недоуменно смотрел на директора и ругал себя по-

следними словами за то, что, видимо, перегнул палку. «Как теперь быть? — лихорадочно обдумывал он обстановку. — Кажется, заигрался... Так всегда у меня: строю, строю, а потом раз... и насмарку...»

Беделбаев даже не взглянул на него, до прихода Кукарева и Жапар-ака сосредоточенно просматривал скопившиеся бумаги, а Алтынбеку приходилось помалкивать. Саякову очень хотелось закурить, но он впервые не решился сделать это в присутствии Темира Беделбаевича без разрешения, а спрашивать побоялся. Тогда он встал со словами «Я сейчас...» и, заметив маловыразительный кивок директора, выскользнул в приемную и сразу же закурил.

Анна Михайловна удивленно подняла на Саякова глаза, мол, что случилось? Но Алтынбеку не хотелось показать секретарше свою оплошность: он натужно улыбнулся, опустил руку с сигаретой, чтобы скрыть дрожь в пальцах.

— Кажется, Темир Беделбаевич бросил курить, так я, чтобы не беспокоить...

— Вы душка, Алтынбек, — кокетливо сложила губы трубочкой секретарша, — вы один только с этим и считаетесь. А у директора здоровье, сами знаете... — И она сокрушенно покачала головой и притворно-испуганно добавила: — Ка-та-стро-фи-чес-кое!

Алтынбек понял, что Анна Михайловна села на своего любимого конька — теперь ее не остановишь. Что ж, такой уж невезучий у него сегодня день! Придется выслушивать сначала о болезнях Беделбаева, потом о ее собственных и ее семьи, потом медицинские советы и рекомендации и т. д. Но в это время в приемной показались Кукарев и Жапар-ака, и Алтынбек, погасив сигарету, вернулся в кабинет Темира Беделбаевича.

Чувствовалось по всему, от веселого настроения директора не осталось и следа. Он хмурился и сосредоточенно потирал сухонькой ручкой свой высокий морщинистый лоб, едва кивнув вошедшим на их приветствие.

— Не будем терять время, — как только посетители заняли свои места, сказал Беделбаев. — Прощу.

Кукарев встал, тяжело опираясь на палку:

— Правда, сам я только что вернулся на работу... Но, скажу, Темир Беделбаевич, дела не плохие. А внимание необходимо обратить на два главных момента — это автоматическая линия в отделочном и выездной суд над нашим учеником слесаря. По первому пункту у нас серьезные разногласия. К этому я еще вернусь. А вот с организацией

показательного суда пока, считаю, все нормально. Об этом доложит вам Жапар-ака, он у нас главный попечитель.

Беделбаев опустил глаза в знак того, что ему все ясно.

— Теперь с автоматической линией, Темир Беделбаевич. Мое мнение — спешка здесь недопустима, ведь нам нужен хорошо отлаженный, бесперебойный механизм. Иначе будет страдать план из-за простоев. Чем мы эти простои возместим? Работой по старинке? Но зачем тогда сама линия? Да и справятся ли старые агрегаты с новым планом выпуска продукции? В общем, это азы, простите, что повторяю их...

Директор строго-вопросительно посмотрел на Саякова, контролировавшего сборку линии. И тому ничего не оставалось, как подняться с места.

— У меня другое мнение, товарищ директор. Мы обязаны выполнить сборку к намеченному сроку, а может, чуть-чуть раньше — к годовщине Октября. Подчеркиваю — обя-за-ны. Это наш долг!.. Считаю, что некоторые издержки допустимы, тем более, что серьезных неполадок на новой линии, конечно, не будет. Так, может, небольшие шероховатости, так сказать, заусенцы. Так неужели ради этого подрывать авторитет комбината, доверие руководства?

— Хорошо. Разберемся, — резко оборвал его директор.

Жапар-ака скромно сидел в уголке, твердо уверенный, что пригласили его в директорский кабинет только ради дела с Колдошем. Он усиленно по привычке растирал ладонью бритое загорелое темя и помалкивал, поглядывая на нервничавшего Кукарева, мол, успокойся, все хорошо. Но когда Саяков заговорил о долге и авторитете, не выдержал аксакал:

— Стране нужен наш ситец, Алтынбек, прочный, нарядный. Тот, который можно в руках подержать, полюбоваться, порадоваться искусству прядильщиц, ткачих, отделочников... А на громких словах — «авторитет», «долг» и все такое — далеко не уедешь! Ситца не сделаешь. Ситец руками рабочими делается, а не громкими фразами.

Раскрасневшийся, возбужденный Жапар-ака, заложив руки за спину, быстро-быстро пробежался по кабинету, прежде чем сесть на место и принять степенный вид, какой подбавляет пожилому, заслуженному аксакалу.

— Ну что ж, придется составить комиссию для проверки готовности, вернее, состояния на данный момент автоматической линии, — подвел итог легучки Беделбаев. — Прошу предлагать кандидатуры. Конечно, дело это наше, внутреннее, поэтому — без лишних разговоров, конфиденциально.

А тебя, Алтынбек, прошу оказать должное содействие работе комиссии.

Все облегченно вздохнули и потянулись из кабинета: Жапар-ака, за ним Кукарев и последним Саяков.

Сначала Беделбаев было решил вместе с ними пройти в отделочный, но передумал, вспомнив о неотложной поездке в райком, срочно попросил вызвать машину.

Темир Беделбаевич все больше и больше разочаровывался в Саякове, жалел об ошибочном назначении его главным инженером комбината. Беделбаеву был нужен молодой, энергичный, знающий свое дело помощник, и Черикпаев, уходя с комбината, привел к нему своего протеже.

— Вот тебе, Темир Беделбаевич, достойный продолжатель дел моих, — беззаботно, уже как посторонний шутил Черикпаев, — дерзок, энергичен, отличный инженер. Тебе такая пристяжная в упряжке ой пригодится! Конечно, узду держать крепко надо, не скрою, а? Алтынбек? Правильно говорю.

Директор смотрел на Алтынбека, который совсем, на его взгляд, не соответствовал характеристике главного инженера, казался изнеженным, холемым в своем модном голубовато-сером костюме с иголочки. И улыбка — ускользающая, себе на уме... На комбинате он себя особенно пока никак не проявил, правда, диплом с отличием да ведь и диплом красный можно заслужить не старанием, а пронырливостью... Иное дело Хакимбай Пулатов! С ним все просто — весь на ладони! И технар настоящий, от машин не оторвешь! Жаль, конечно, такого административной работой загружать... Но не в этом даже дело... Какой-то он не как все. О таких в народе говорят — не от мира сего...

Вот тогда, тяжело вздыхая, морщась и хватаясь рукой за сердце, Беделбаев и подписал приказ о назначении Алтынбека Саякова на освободившуюся должность главного инженера. С этого дня, пожалуй, и началась их скрытая постоянная борьба: Алтынбек исподволь строил свою карьеру, не признавая никаких правил и условий; а Беделбаев, воспитанный в старинных понятиях добропорядочности и стыдливости, поначалу только разводил руками, не заметил, как оказался в какой-то унижительной зависимости от Саякова, вызвавшего все его промахи и слабости. Теперь Темир Беделбаевич хорошо понимал, куда гнет его помощничек и тяжело вздыхал. А сегодня директор рассердился на Саякова и решил твердо, что Алтынбеку не видать директорского кресла как своих собственных ушей, и не потому, что Темир

Беделбаевич не любит его, а принципиально, из гражданских убеждений. Слава аллаху, у него нет ни дочери, ни младшей сестры, ни племянницы, как у Черикпаева, очаровывать Саякову некого, чтобы потом играть на родственных чувствах...

Директор сидел на заднем сиденье «Волги» с задернутыми от солнца шторками и опущенными стеклами. Ветер в машину врывался тяжелый, душный. И Темир Беделбаевич огорчился, что много лет не может спокойно, как все люди, пойти летом в отпуск, побыть на природе. «Ничего, последний год! — успокаивал он себя. — На пенсии отдохну!» И от этих мыслей тоскливо щемило сердце, как от чего-то безвозвратного, бесцветного и безнадежного. «Что ж, нужно прямо правде в глаза смотреть: хорошо ли, плохо, а жизнь прожита, и ничего здесь не изменишь, — совсем успокоился Темир Беделбаевич. — Главное теперь — не испортить концовку».

Ему было непривычно новое состояние души, когда ею владеют уже не чувства, а убеждения, какое-то отчетливое осознание правды, отсутствие враждебности и суетности. «Нужно успеть, нужно успеть», — повторял Беделбаев про себя, думая и о своей работе, и о семье, и о близких людях, чьим мнением директор дорожил и с кем считался.

«Теперь, — думал Темир Беделбаевич, — все у меня будет по-другому, по-новому. Главное, чтобы люди видели и понимали свою жизнь так же отчетливо, как понял сегодня я. А у нас такие прекрасные люди...»

Беделбаев начал перебирать всех комбинатских, с кем так или иначе ему пришлось столкнуться, в том числе вспомнил Маматая Каипова и устыдился своего отказа, когда парень чуть ли не со слезами просил оставить его в цехе. «Все это «саяковщина» во мне говорила, дипломатия, мол, пусть прочувствует... А парень верно тогда говорил: не он один, все в ответе за нарушения, на которые он вынужден был пойти...» И директор решил, не откладывая в долгий ящик, сразу же по возвращении на комбинат выяснить по справедливости с Каиповым.

Темир Беделбаевич ехал по притихшим пустынным улицам, и ему не верилось, что за опущенными жалюзи, ставнями и циновками идет обычная, не замирающая ни на секунду жизнь, так ему было одиноко и тоскливо со своими мыслями.

Так он доехал до райкома, где ему предстояло сделать доклад о только что закончившемся ташкентском совещании

руководителей промышленных предприятий области. Беделбаев испытал большое облегчение, оказавшись среди людей, среди знакомых и приветливых лиц, понимающих улыбок и рукопожатий. И все, только что пережитое, отошло на второй план, потускнело — к Беделбаеву вернулось привычное, уверенное ощущение прочности и правоты, какое дает только хорошо освоенное дело, работа.

* * *

В эту ночь разразилась сильная гроза, внезапная, проливная. Город проснулся от неправдоподобных иссиня-желтых сполохов и грохота, обрушившихся на звонкие шиферные крыши. Как свистящие хлысты погонщиков, до земли гнулись белесые в косых струях дождя тополя, а карагачи, смятенно распластав по ветру могучие ветви, казалось, уперлись из последних сил в матушку-землю, — только глухой, протяжный стон выдавал, как им трудно и одиноко в эту смутную ночь.

Шайыр лежала с открытыми глазами, плотно сжав губы, чтобы никто, даже эта проклятая аллахом ночь, не услышал ее рыданий и угроз. В своем одиночестве она винила всех: семью, родичей, Пармана, бывшего мужа-инвалида и даже Маматая, невольно напомнившего ей, что годы ушли и ждать ей от жизни больше нечего. «Щенок, ничтожество, — задыхалась она от бессильной ярости. — Это он мне, Шайыр, предложил дружбу!.. Пожалел!.. Да по прежним временам он и приблизиться ко мне бы не посмел!..»

Память уносила ее в далекое, смутное детство, и Шайыр видела себя маленькой и отца, еще молодого, статного, не страдающего хромотой, с гордо вздернутой вверх острой бородкой, а у ног его — сторбившегося в поклоне Каипа в изодранном чапане, такого тихого и послушного отцовской воле. Детское сердце Шайыр безотчетно наполнялось гордостью за отца и свою принадлежность к знатной семье, умеющей жить, и повелевать, и внушать уважение.

Под влиянием этих гордых воспоминаний Шайыр овладело тяжелое, мстительное чувство. Оно, как черная, омутная вода, затягивало, накрывало с головой, наваливалось всей своей непомерной тяжестью. И Шайыр хотелось любой ценой, даже ценой собственной жизни, разорвать эту смертную муку. В такие минуты ее останавливала лишь смутная, интуитивная догадка, что есть на земле и иная, осмысленная и добрая жизнь, живые души человеческие. Они где-

то рядом, но не совпадают с ее, Шайыр, смятенной душой.

«И за что все это мне? Может, лучше жила бы, как привык наш род, — без сомнений и нервотрепки... Чем виновата? Ведь любила, верила... От своего берега оттолкнулась, а к новому — не пристала, вот и несет меня, и крутит, и ломает... И нет дела никому» — так понимала бедная женщина свое одиночество, и снова, как многие годы до этого, вопросы без ответа одолевали, ничего не меняя и не облегчая в ее беспросветной судьбе. Шайыр недоумевала каждый раз, встречаясь ненароком с сухопарой, долговязой женой Пармана: «Чем она лучше меня? Почему у Пармана перед этой семьей долг, а передо мной — не было? Или главное здесь — уметь подольше поиграть, раззадорить, если что, так и принудить?» Уж кто-кто, а Шайыр в своей ничем не вытесненной обиде, как запойный, горький пьяница, оглушая и травя собственную душу, ох как хорошо постигла характер Бармы, решительный и властный, привлекательный для таких натур, как Парман. Испытав разочарование в любви, Барма на всю жизнь усвоила, что никакой любви нет, да и не нужна она, а только мешает благополучию и душевному комфорту. Отсюда и эта снисходительная усмешливость к человеческим слабостям, ведь благодаря им так неколебимо житейское благоденствие ей подобных, умеющих пустыми посулами завлечь иного простофилю, усыпить его, сыграть на чувствах, исподволь заставить поверить в свои достоинства и умение жить. «У Бармы и черный черствый кусок проглотить, как халву. Разменяешь душу на пятаки и не заметишь, даже поблагодаришь за честь!» Шайыр каждый раз от таких мыслей испытывала поначальную мстительную радость, мол, пусть, пусть этот простушок Парман захлебывается подслащенной дрянью. Но, отдаваясь этому добровольному самоистязанию, Шайыр наперед знала: после злорадства к ней приходили жалость и тоска, совершенно бесполезные и для нее, и для Пармана, вполне довольного своей летаргической судьбой. Далее опять все возвращалось на круги своя: «А что мне жалеть да тосковать? Разве легче станет? Мучаюсь-то я, а он доволен! Как курильщик опиума, что ему до саморазрушения!..»

В насыщенном электричестве и влагой воздухе с теперь уже редкими вспышками грозových разрядов все еще было тяжело дышать. Не было сна, не было душевного облегчения. И Шайыр, чтобы обмануть себя и свою боль, начала думать о давнем, детском, беззаботном времени.

— Она уже не сознавала, во сне ли это или в воображении увидела она девочку, какой, наверно, была и она, Шайыр, когда-то в полузабытые годы. Девочка мала и любознательна. Набегавшись за день, она устраивается под отцовской бараньей полой, прижимается щекой к острому колену и уже не может отделить себя от отцовской овчинной шубы, от травы и деревьев, и таких низких и ярких звезд, они пронизывают ее, и тогда девочка вдруг ощущает, что нет никаких преград, что она может пройти сквозь дерево и стог сена, сложенный на соседском огороде, может подняться и лететь беспрепятственно далеко, не задевая ни крыш, ни верхушек деревьев, и одновременно слышать голос отца, рассказывающего ей о ведьме, считающей песчинки на луне.

— Так вот, дочка, как сосчитает ведьма все, вернется к нам на землю и склюет человека, как курица зерна с доски.— И смотрит ей в глаза: страшно или нет? — Только сосчитать ей пока не удастся... Ласточка прилетает — сбивает со счета...

И Шайыр чувствует себя как бы в кино, когда прокручивается давно и в мельчайших подробностях знакомая, но все же интересная и любимая лента...

Шайыр засыпает, не примиренная ни с собственной жизнью, ни с отцовской виной перед ней и перед людьми, ни с Парманом и всеми теми, кто, по ее разумению, испортил ее судьбу.

Когда мысли у Шайыр бывают спокойнее, а настроение ровнее, она вспоминает и думает о сыне, которого ей не довелось даже взять хотя бы раз на руки, ощутить его нежное, почти невесомое тельце у своей груди. Этих мыслей она боится больше всего... С годами они все горше и неотступней. Все меньше и надежд на семейное счастье, к которому инстинктивно она все еще продолжала стремиться, хотя уже и сознавала всю безнадежность этих стремлений. «Любовь не повторяется,— рассуждала она про себя,— а ловчить, как Барма, противно... Сын, теперь только сын, вся надежда на встречу с ним».

Она пыталась представить его себе, узнать в нем себя и Пармана. «Какой он? — часто задавала себе Шайыр вопрос о сыне.— Покладистый и неуклюжий в Пармана, такой же беспамятный, как он,— и тут сердце ее сжималось обидой на прошлое и ненавистны становились когда-то столь дорогие черты,— или в меня?»

Сознавая свой неуживчивый, вспыльчивый нрав, одно-

временно упрямый и противоречивый, доставивший ей столько горьких раскаяний, она страшилась его проявлений в сыне: «Неужели, как я, бешеный... Ох и хватил же он тогда горя в жизни... Тогда не простит мне ничего...»

От этих мыслей о судьбе сына ее охватывало отчаяние. И тогда хотелось ей опять бросить все, стать былой странницей, безвестно затеряться в жизни, чтобы уже окончательно заживо схоронить от людей и то, что было, и то, что есть у нее...

И в самом деле, чего она добивается? Правды? Правде неуютно в этом мире. Да и зачем ворошить прошлое, и Парман ей больше не нужен... Пусть останется все как есть, как жизнь сама за себя решила. Зачем лезть на рожон! Нет, жизнь не переменишь. Она любит удачливых, как Барма. А Шайыр носить тяжкую ношу до скончания дней своих...

С такими смиренными, несвойственными ей мыслями о жизни встретила Шайыр послегрозовое, серенькое, дождливое утро. Плакали длинными медленными струями оконные стекла. И только у Шайыр не было слез. Она обессиленно лежала на спине и по привычке рассматривала изученные ею за долгие годы трещины на потолке.

«И с чего я так вчера расписывалась? — вспоминала и не могла вспомнить Шайыр, у нее было неотвязное ощущение, что произошло с ней нечто унижительное, даже непристойное.— Что же было-то, дай аллах памяти?»

Вдруг перед ее внутренним взором всплыло гладкое, смазливое и самодовольное до отвращения лицо главного инженера комбината. Всем своим видом Алтынбек Саяков показывал ей, Шайыр, превосходство, она видела в его взгляде откровенное презрение, даже брезгливость к ее не по годам вызывающей одежде, к яркой косметике, к попытке замаскировать приметы возраста...

Шайыр побледнела от досады на себя и ненависти к этому приторному красавчику. Будь не в командировке директор, она, конечно, к Саякову не пошла бы, гордость родовая не позволила бы ей. Но Шайыр после долгих раздумий и последнего разговора с Маматаем решила изменить в корне свою жизнь.

«Полно мне возиться с бумажками да с пыльными папками, как пенсионерке, — решила она наконец, — пойду в цех... Может, среди людей легче будет... А то — на работе одна, дома одна... Совсем психованная стала».

Откладывать свои решения она не умела и не желала.

Не стала Шайыр ждать и возвращения директора, а теперь поняла, что сделала глупость, придя к Саякову...

Алтынбек, подняв длинную, с изломом, бровь, ждал, с чем к нему пожаловала эта пармановская «жертва». Будь на то его воля, он давно бы убрал ее с комбината... А теперь, встретив ее колючий, ненавидящий взгляд, только утвердился в своем намерении. «Ничего, погоди, я тебе дам укорот, перестанешь зыркать... Я тебе не Маматай!.. Да, кстати, вот и выход»... — обрадовался Алтынбек и вслух сказал:

— Что? С Парманом не вышло, так теперь Каипова решила на себе оженить? — и потянулся за пачкой сигарет, чтобы закурить, довольный собственной находчивостью, мол, нас никто не слышит, а ты после такого сама отсюда сбежишь...

Алтынбек несколько не рассчитал. Шайыр, пока он возился с сигаретой, подошла к нему вплотную, вцепила звонкую, тяжелую пощечину и быстро вышла из кабинета, почти столкнувшись с Насипой Каримовной.

— Сестра, да на тебе лица нет!.. Что-нибудь случилось, а? — Насипа Каримовна взяла Шайыр под руку и усадила на стул, пододвинув другой, села рядом, взяла за руку.

У Шайыр не было сил сопротивляться. На душе у нее, как все последнее время, было мутно... А рука у Насипы Каримовны была спокойная, доверчивая. Шайыр молчала, боясь нарушить это минутное облегчение. Только сейчас она осознала, как долго не было в ее жизни такого простого человеческого внимания.

Так она и сидела, замерев, почти не дыша, отвернувшись к окну, пока не услышала теплые, от души слова, в которые поначалу она просто не в состоянии была вслушаться:

— Не сердись на меня, что лезу к тебе со своим простому. Не бойся, скажи, если что... Не обижусь... Ох, Шайыр, если б знала, сколько мне досталось на веку, а вот жива и людей не сторонюсь... Конечно, в своем несчастье не судьбу виню, а себя... Тебе легче... Тебя люди несчастной сделали, а я сама... Было, было время — в голос кричала, волосы на себе рвала... А люди, их тоже понять можно — у всех тогда своего горя хватало. Мне же тогда очень мало нужно было — понимающего взгляда, доброго слова, даже сурового окрика... Мне бы этого на годы хватило... Вот и подумала, может, и с тобой, сестра, такое же происходит? А я, глупая, боюсь помехой быть!.. Да лучше прогони, чем буду потом корить себя за равнодушие...

Шайыр смотрела на Насипу Каримовну и думала: «Вот ведь как в жизни случается! От нее-то я меньше всего ждала сочувствия...» Шайыр недолюбливала ее, потому что считала сухой, настырной, любящей покрасоваться в президиумах и на общественной работе. «Такие правильные всегда осудят, мол, не так живешь, не так одеваешься... А я вот скроена не вдоль, а поперек, и ничего тут не попишешь», — не один раз мысленно обращалась Шайыр к ничему не подозревавшей Насипе Каримовне, сверля ее пронзительным, недобрый взглядом.

Теперь, мало-помалу входя в себя, Шайыр посчитала обидными слова Насипы Каримовны, говорившей, что она так же обойдена жизнью. У Шайыр даже промелькнула злорадная мысль: «Осколки к осколкам прислониться хотят... да вот как ни пыжусь — целого все равно не получится... Вот чудо в решете — увечный дружбой увечного похвалит». В ней все еще хорохорилось тщеславие, которое ей казалось гордостью и непримиримостью со всем недостойным в жизни. «Да чем же я отличаюсь от Саякова, — вдруг как током ударило ее, — чем?»

Шайыр не понимала, что с нею происходит. Неужели то, что ей вдруг посочувствовала Насипа Каримовна, о которой на комбинате сложилось самое противоречивое мнение, так болезненно неприятно? Или еще что? Шайыр не догадывалась, что корень-то всех ее бед был в ней самой, в свойствах ее характера. По природе своей она была деятельной, энергичной. Ей была больше свойственна роль опекуна, а не опекаемой, что ненароком навязывала ей Насипа Каримовна и против чего восставала вся натура Шайыр.

— Поверь, мое горе больше твоего, потому что непоправимо... У тебя еще жизнь наладится, сестра...

Теперь уже Шайыр держала Насипу Каримовну за руку и удивлялась, куда девались ее обида и неловкость в их скоропалительной дружбе. Ей хотелось опекать и беречь Насипу Каримовну, сделать для нее все возможное и невозможное. Хотелось приласкать, ободрить, зацеловать, потому что ей нужна была не поддержка, а деятельность, сознание, что без нее не обойдутся, не сдюжат...

— Ой, не будем считаться синяками да шишками. Давай говорить о хорошем. Вот у тебя дочь на выданье, небось душа замирает, как подумаешь о расставании с ней, а?

У Насипы Каримовны обозначились добродушные морщинки у глаз, а глаза такие молодые, ясные, чуть-чуть выпуклые. Она по привычке поправила очки.

— Нет, душа моя, Чинаре своей помехой не буду. Деваха она у меня, прямо скажу, суровая, да и за себя постоять умеет. И в горе и в счастье — ровная, прямая, настоящая чинара. Что ни говори, а человек, хочет не хочет, — всю жизнь оправдывает свое имя. Поэтому и назвала ее — Чинарой, такой хотела видеть... Пусть теперь выбирает, к кому сердце ляжет, того и я приму в свою душу. А как же иначе? Да, имя человеческое, скажу тебе, ой как много в жизни значит? — вернулась она к своей мысли, видно, не раз она крутила ее и так и эдак, пытаюсь разрешить мучившую ее загадку. — Вот сына своего назвала я веселым, казалось, счастливым именем — Джайдарбек, а вышло все наоборот...

Насипа Каримовна — все о своем, а Шайыр — тоже о наболевшем:

— Счастье твое, Насипа Каримовна, имя сыночку дала... А мой и не знаю где безымянный для меня по земле ходит... Может, и в живых уже нет, как и поминать не знаю... А может, ко злу склонился, если горячка, как я...

Губы у Насипы Каримовны задрожали. Она поднялась со стула, в волнении провела ладонью по и без того гладким волосам, потом бессильно опустила ее опять на стул. Шайыр смотрела на нее со всевозраставшим беспокойством.

— Да что с тобой? Может, сердце? Так я сейчас, — заторопила она к своей рабочей аптечке, — я сейчас!

Насипа Каримовна остановила ее:

— Не сердце это, сестра... Память и вина моя болят, дыхание перехватывают... Сама я это... Значит, сыночка своего не усмотрела... Сама сгубила... Перед ним, горемычным, перед памятью мужа никогда не оправдаюсь... Так вот, Шайыр...

Шайыр смотрела на Насипу Каримовну расширившимися от переживания глазами, и ее была мелкая дрожь, так близко к сердцу приняла она ее материнскую муку.

Насипа Каримовна после такого признания долго приходила в себя, терла глаза платком, потом занялась очками. Шайыр терпеливо ждала, понимая, что любые, даже самые искренние, слова сейчас лишние.

— Поверь, сестра, прошу — не оправдаться хочу... Я с тобой как на духу... Жить тогда не хотела. Осталась в жизни только потому, что однажды осенило меня: не только за свое мы, матери, в ответе! Сколько и маленьких и взрослых нуждаются в нашей доброте, ты, наверно, признайся, и не думала, а?

Шайыр поразила эта простая и такая пронзительная для

нее правда: «Ой, если все вокруг моего мальчика такие, как я? Если, как я, живут только своими заботами». Ей стало страшно и невыносимо от одной только мысли, что с ее сыном могла случиться беда, а все вокруг равнодушно или даже с тайным злорадством смотрели, как он зачутывается в своих ошибках все больше и больше, одинокий, потерянный, никогда не знавший ни дружеской поддержки, ни родственного участия. Расстроенная Шайыр схватила Насипу Каримовну за руку.

— А что толку от твоего мытарства? Кому польза? Всем ты заглохла, я посмотрю, как крапива в канаве... Люди-то вокруг живые, и их любить надо конкретно, бороться за них, хоть и нелегко это бывает. Что с Колдошем-то из ткацкого, небось слышала?

Шайыр утвердительно кивнула головой. Перед ее глазами сразу встал этот самый Колдош со своей постоянной наглой ухмылочкой, казалось, с ней он не расстается даже наедине с самим собой. Сколько раз он игриво подмигивал ей, уставившись хмурыми, припухшими от выпивок глазами, мол, мы-то знаем, что нам от жизни требуется... И Шайыр выходила из себя от этой откровенной наглости сопляка. Что уж скрывать! Она не испытала ни малейшего сочувствия, когда узнала об его аресте. Как сейчас помнит, с приятным облегчением подумала: «Что ж, допрыгался... Рано или поздно, а все равно там бы очутился. А сколько бы еще натворил!..»

— Так вот, душа моя, сирота этот Колдош, без роду без племени, как говорили раньше... А кто скажет, что он не наш? Разве мы можем отказаться от него? Конечно, и без нас с тобой о нем позаботится комбинат, комсомол... Но разве это оправдание? У них, конечно, больше возможностей... Вот говорят, комбинат собирается выйти перед судом с ходатайством, чтобы взять парня на поруки. Сам Жапар-ака вызвался быть поручителем! — Насипа Каримовна в знак уважения к аксакалу перешла на торжественный шепот: — И добьются! На что хочешь поспорю!.. Только, сама знаешь, мужчины, они на правильный путь вывести могут, это так, а вот сердце отогреть можно только материнской добротой...

Шайыр надолго задумалась, подперев полную, еще молодому упругую щеку рукой. Она никак не могла предугадать, как Колдош примет их заботу. Скорее всего посмеется над ними! Мол, со своими не удалось, так с чужими решили в благотворительность сыграть...

— Теперь, Насипа Каримовна, мы уже опоздали с материнскими заботами... Без них он вырос, а теперь они ему не ко времени, прости уж ты мою откровенность... Девушка ему нужна хорошая, чтобы от дурного отучила, а не мы... А тут уж его право выбирать. Так что не будем пока зря суетиться.— И, глядя на Насипу Каримовну, думала: «Какое же большое сердце у нее. А вот, поди ж ты, сразу и не усмотришь... А я жизнь прожила для себя одной, обиды копила, растревляла...»

— И все-таки, Шайыр, помочь мы ему должны, но, конечно, с умом. Что и говорить, парень он балованный... И выпивал, и деньги даровые, и женское внимание. А ума-разума своего еще не накопил, вот и пошел не по той дорожке... Так я понимаю его беду...

Разговор с Насипой Каримовной застал глубоко в душу Шайыр. Будто сняла та пелену с ее глаз, пелену эгоизма, и она вдруг открыла для себя простую истину, что одиноками бывают только те, кто сами, вольно или невольно, хотят для себя этого. «Сколько лет попусту растратила,— мучилась своим бездействием Шайыр,— а ведь могла уже давно жить совсем по-другому, осмысленно и добро».

...Снова и снова она возвращалась к разговору, с которым пришла тогда к Алтынбеку, оставившему в душе ее такую горечь и унижение... «Все равно добьюсь перевода в ткацкий,— решительно сдвинула она свои крутые, непокорные брови.— И что это я, право, раскисла? Найдется управа и на этого счастливирика! И о пощечине несколько не жалею, наверное, впервые получил, что ж, пусть накапливает жизненный опыт, пригодится!» И она от души рассмеялась, наверное, впервые за много-много дней.

За окном было все то же серенькое, безрадостное утро, но дождь перестал; были видны гладкая мокрая стена соседнего дома, вымытый потоками дождя тротуар. Все было темное, в испарине прошедшей грозы. Но Шайыр уже без горечи вспоминала о пережитых ночных страхах...

Свет ровный, тихий, успокаивал все живое, врачевал исподволь, но верно и надежно. И Шайыр поняла, что нет ничего исключительного в ее судьбе, просто — жизнь, такая, как у других людей, просто до сегодняшнего дня о других она не думала... К ней трудно приходило сознание, что беда ее была не в тех испытаниях, выпавших на ее долю, а в ее обидчивом отношении к ним, потому жизнь и швыряла ее, как хотела. «Нет, больше не поддамся, теперь назад дороги у меня нет». И все-таки и в этой упрямой решитель-

ности Шайыр оставалась Шайыр, горячей, неуправляемой в гневе и радости, на что бы они ни были направлены. Вот и сейчас она быстро взметнулась с кровати, подскочила к платяному шкафу, рванула на себя обеими руками дверцы, сгребла в охапку пестрые платья и, схватив большие, ржавые, портняжные ножницы, принялась кромсать свои теперь ненавистные ей туалеты.

Только взглянув на будильник, вспомнила о работе, начала спешно собираться, но потом почему-то раздумала и осталась дома.

XII

Как ни торопит человек, попавший в беду, время, как ни спешит преодолеть тяжкий рубеж своей жизни, освободиться от бремени тревог вряд ли удастся. Чинаре все эти летние трудные месяцы в городе казались нескончаемой мукой. И сейчас, когда уже многое из ее треволений позади, она все еще не может прийти в себя по-настоящему: воспоминания помимо ее воли возвращаются и возвращаются к ней — во сне и наяву...

Второй раз она навестила Колдоша только через месяц, не решаясь снова заглянуть в его глаза. У нее было сложное и противоречивое чувство: рассудком она понимала, что Колдош ей не пара. К тому же, хоть и не хотела она признаться себе в том, ей было не все равно, что подумают и будут говорить о ней подруги и знакомые. «Конечно, осудят, — даже не сомневалась она. — Скажут, мол, испугалась в девках остаться, мол, на безрыбье и рак рыба». То, что ее давно записали в вековухи, в «синие чулки», она знала наверняка. Передавали ей не раз бабьи пересуды, что совсем зачерствела она на своей общественной работе, да и сама слышала притворные вздохи, мол, кому семья, любовь, дети, а кому и служебной карьеры вполне достаточно, тут, мол, дело вкуса... А мужчины, мол, уют любят, внимание, если только какая непутевая головушка подвернется... И всем этим сомнениям пока еще очень слабо пыталось возражать ее затеплившееся чувство к парню. Силы были явно неравные... К тому же сердце ее нет-нет да и сжимала мучительная неуверенность в Колдоше: «Что с ним буду делать, если возьмется за старое? Ничего ведь о нем не знаю! Даже из какой семьи... Может, тоже какие-нибудь гуляки были, и он в них... Сгубила себя! Ой пропала моя головушка».

Но более всего жалела она не себя, не Колдоша, а На-

сину Каримовну, не без основания считая, что та ее позора не переживет. А имеет ли она право расстраивать мать, и так испытывавшую немало горя на своем веку? Нет, Чинара на это не способна.

А как же Колдош? Она знала ставшим вдруг таким чутким сердцем, что он поверил ей, потянулся, может, захотел хорошей, честной жизни, а она...

Так и разрывалось ее сердце между двух людей, за которых чувствовала постоянно ответственность. Эта извечная, неразрешимая дилемма, подсказанная скорее рассудком, чем чувством и истиной, мучила Чинару так же, как многих и многих до нее. Любимый или родители? И мучениям ее не было бы конца, если бы она вдруг не узнала, что Колдош покушался на свою жизнь...

Известие это потрясло весь комбинат, и люди теперь иными глазами посмотрели на судьбу Колдоша, заподозрив, что не только сам Колдош, но и стечение каких-то неизвестных им, потому и непонятных, драматических обстоятельств привело его на скамью подсудимых. Они рассуждали при этом примерно так: не может человек, погрязший в преступной жизни, так мучиться от содеянного... Здесь что-то не так, что-то проглядели... Понятно, что интерес к этому запутанному делу значительно возрос, вызвал волну участия в судьбе Колдоша, разговоры и домыслы...

...Чинара ждала появления Колдоша, присев на краешек запомнившегося ей на всю жизнь жесткого казенного диванчика с промятым дерматином и моля изо всех сил случай, чтобы он помешал их встрече: пусть вызовут на допрос или еще что-нибудь.

Но дверь открылась, и ввели Колдоша. Он был совершенно спокоен и не отвел прямых, как показалось Чинаре, безмятежных глаз. И в ее душе что-то больно отдалось, оставив неясное разочарование: вот, мол, и все, навывдумывала бог знает чего, а оказалась совсем ни при чем, есть у него свои дела поважнее...

Чинара только сейчас по-настоящему осознала, как за последнее время окрепло ее чувство к Колдошу, как сжилась она за эти недели с мыслями о нем и как трудно будет все забыть, со всем смириться. У нее помимо воли повлажнели глаза.

У Колдоша сразу потеплел взгляд:

— Все равно бы без тебя жить не стал, Чинара... Долго же ты ко мне собиралась!.. Обмана, надеюсь, понимаешь,

не прощал никому и тебе не простил бы.. Так и знай — и тебя бы и себя разом порешил...

Чинара обмерла от признания Колдоша, и первый раз в жизни ее хваленая рассудочность показалась ей непротитительно жалкой и ничтожной. Долго же она играла в эту старую детскую игрушку, правда, когда-то очень любимую и нежную, а теперь увидела вдруг, что это всего-навсего простая, крашенная деревяшка, что вся радость была не в самой игрушке, а в ней, Чинаре, в ее отношении к этой забаве...

Теперь девушка знала, была совершенно уверена, что Колдош ни на какие компромиссы ни в настоящем, ни в будущем не пойдет. Вот этот самый максимализм и роднил, и притягивал, и одновременно отпугивал ее, привыкшую любить, что уж тут лукавить, только себя и свое, ведь мать не в счет, она тоже — своя.

А Колдошу стало ее жалко, такую растерянную, смущенную и беспомощную, и он просто, по-доброму произнес:

— Да ты не бойся, Чинара!.. В обиду я тебя никому не дам. И сам не обижу.— Помолчав, добавил: — Слово даю, не обижу... И с прошлым покончил навсегда... Ради тебя. Цени!..

Девушка слабо улыбнулась его неумелой шутке, а Колдош громко, по-детски доверчиво, запрокинув голову, засмеялся так, что слезы выступили на глазах.

Чинара протянула ему принесенный сверток, приготовленный Насиной Каримовной.

— Не положено, гражданочка! — строго поднялся с места дежурный.— Сдайте по инструкции, в окошечко.

— Ну что ж,— засмеялась Чинара, не решаясь вслух произнести непривычные для ее губ ласковые слова, но они все же помимо ее воли вырвались на свободу, смутив ее окончательно.

Уходя, она успела заметить, оглянувшись украдкой, какими уверенными и счастливыми стали глаза парня. И Чинара поняла: «Такого можно было только неправдой сломить. А теперь и неправда бессильна, теперь он лучше с жизнью расстанется, чем вернется к прежнему...»

Суд над Колдошем Чинара помнила сбивчиво. Она сидела тогда в первом ряду, чтобы Колдош все время видел ее, чувствовал, как верит ему и желает добра. И Колдош то и дело поглядывал на нее, не решаясь улыбнуться. Одна Чинара только могла прочесть этот взгляд: не волнуйся, все страшное позади...

Чинаре иногда казалось, что они в этом огромном концертном зале комбинатского клуба, привыкшем к шумной реакции зрителей и заманчивым человеческим историям на сцене, совершенно одни, и им необходимо многое решить и понять для себя, для своей дальнейшей жизни.

А люди? Люди были захвачены сегодня не выдуманной драмой, а подлинной человеческой судьбой, где нельзя было допустить ни малейшего промаха, ни малейшей несправедливости.

Особенно запомнилось Чинаре выступление от имени общественности комбината старого Жапара. Он брал Колдоша в свою бригаду и в семью, да, так он и сказал — в семью. И по залу разнесся добродушный смешок, мол, своего не займел, так решил присвоить готовенького... Пронесся и замер, потому что все прекрасно понимали, где они находятся и для чего. Что и говорить, аксакал умел пронять человеческую душу, заставить сердца многих биться в унисон.

Под аплодисменты Жапар спустился в зал, на свое место, вытирая вспотевшую от возбуждения лысину.

Чинара обернулась вслед Жапару и машинально отметила, что Алтынбек на суд не пришел, нет почему-то и Бабюшай. И вдруг она увидела лицо Шайыр, бледное, неподвижное, с полуприкрытыми веками. Чинара перехватила взгляд матери и показала ей глазами на Шайыр, и Насипа Каримовна, патыкаясь на чужие ноги и извиняясь, стала пробираться к Шайыр, наконец добралась, взяв под руку и шепча ей что-то на ухо, вывела из зала.

«И что это с ней вдруг», — недоумевала девушка. Откровенно говоря, Шайыр она не только не любила, но и не уважала, видя ее откровенные заигрывания с комбинатскими рабочими. Чинара была еще слишком молода, слишком неопытна, чтобы хотя бы чуть-чуть быть к нейнисходительной. Ее никогда не интересовала и не трогала душещипательная, по ее выражению, история Шайыр с Парманом... Теперь она смутно припоминала, что был у Шайыр от той неудавшейся любви ребенок, то ли мальчик, то ли девочка, с которым разлучили ее родители, ревностные мусульмане и десноты... Что-то было еще, но что, Чинара так и не вспомнила, да и не до того ей было тогда...

...Люди выходили из зала в тот день довольные, растроганные, даже размягченные, возбужденно переговариваясь, ведь пережитые вместе и горе, и счастье сближают быстрее и теснее, чем долголетнее существование бок о бок в одном

доме или на общей улице. Радовались за Колдоша, вернувшегося, вернее, возвращенного в комбинатский коллектив.

— Нет, что ни говорите, а Жапар наш — джигит, воин! Рано мы его в аксакалы перевели, — собирая смешилки морщинки вокруг твердых губ и ясных синих глаз, зычным голосом трубил Кукарев своему соседу, старому мастеру на отделочного. — Он у нас еще — у-у-у! — сжимал Иван Васильевич свой крупный рабочий кулак. — Жапар еще всем молодым сто очков вперед даст!

Старый мастер согласно кивал головой, поглаживая седые распушенные усы, мол, и мы не подкачаем, если надо будет.

Увидев Чинару, Иван Васильевич еще больше развеселился.

— Ну что, комсомольский секретарь, отобрал у вас ваш хлебушек Жапар, а?

— Ох, Иван Васильевич, комсомол ему этого не забудет!

Чинаре хотелось обнять и расцеловать и Жапара, и Кукарева, и всех, кто сегодня отстоял ее Колдоша, их счастье, а в него девушка поверила окончательно, да и как же иначе, что она — неверующий Фома, что ли?.. Она любит и любима... Колдош свободен, пусть даже условно, пусть с испытательным сроком... Колдош не подведет... И у них целая жизнь впереди!

Это был первый день ранней, молодой осени. В такую пору даже деревья и травы обманываются иногда и начинают цвести, как будто весной, как будто в самую прекрасную свою пору, без оглядки на морозы и холодные проливные дожди, на ледяные, беспощадные ветры. Так и любовь девушки раскрылась, может, не ко времени? Может, приподнилась к своей весне и своей счастливой песне? Как знать... Но что уж там говорить! Эти осенние цветы заставляют людей помнить всю зиму и надеяться, что не пропадает добро и сердечный отзыв, и не боятся они ни стуж, ни ливней, никаких испытаний.

ХIII

Маматай вернулся из затянувшейся командировки. Поначалу текстильные предприятия старейшего города ткачества Иванова притягивали Каипова как магнитом. Вместо того чтобы сразу же заняться своими снабженческими функциями, он пропадал чуть ли не сутками в ткацких цехах, знакомился с работой станов и всевозможных приспособлений, и,

конечно, автоматическими линиями. Но, утолив свою ненасытность к технике, Маматай вскоре стал рваться назад, домой. И все эти длинные в тех широтах летние дни и месяцы тянулись бесконечно, так что под конец парню стало казаться, что он не попадет в родной город никогда.

Настроение у Маматая ухудшалось еще оттого, что письма почти не шли. Там, наверно, рассчитывали, что он вот-вот вернется, так зачем лишний раз гонять почтальонов?.. Или еще что?.. И новости Маматай узнавал у Сашиной Гали, а потом и она, получив от Петрова телеграмму, срочно уехала к нему.

«Как там дома без меня? Как Бабюшай? Жапар-ака? Иван Васильевич?» — гадал Маматай. Его интересовали комбинатские дела и коллеги, ему недоставало родного воздуха, знакомых с детства запахов своей земли...

И вот теперь он вырвался и спешил по знакомым переулкам от автовокзала, куда их привез аэропортовый автобус. Спешил, выбирая самый короткий путь к дому.

Маматай разгорячился от быстрой ходьбы, он жадно вобрал пряные запахи ранней осени: чуть-чуть подсохших и таинственно перешептывавшихся листьев, пестрых астр и душистого табака, вымахавшего за лето чуть не в человеческий рост, арычной воды и многого другого, чего нет на севере. От них слегка кружилась голова, путались мысли.

В этом дурманно-счастливом состоянии Маматай через две ступеньки поднимался к себе, строя планы на предстоящий день. На комбинат он, конечно, не пойдет и звонить не станет. А вот вечером... И тут он увидел тревожно-белый кончик пакета, высунувшийся из дверной ручки, и понял — телеграмма.

«Свеженькая, — почему-то решил Маматай, вытаскивая бланк. — И откуда она здесь?» Он механически вскрыл ее, зачем-то вслух прочел:

— «Отец больнице срочно приезжай Мама».

Маматай прислонился разгоряченной быстрой ходьбой спиной к остывшей шершавой стене лестничной площадки, медленно ощущая, как ознобная дрожь начинает пробираться его до костей, сводит мышцы лица, ему было очень плохо... К нему только сейчас, как удар молнии, как прозрение, пришло осознание того, что родители его — не вечны, а также, как он сильно, безотчетно любил своего упрямого, вспыльчивого и до обидного, как он считал, несознательного старика. «Отец, как же так?» — повторял и повторял про себя Ма-

матай. Он совсем растерялся от свалившегося на него горя, мысли бежали вразброд, перебивая одна другую.

Сначала он было рванулся на комбинат, к Сайдане, потом сообразил, что она наверняка уже в Акмойноке. После долгих метаний он наконец решил не терять времени даром. «На комбинат позвоню, оформлю отгулы... Бабушай тоже, — лихорадочно соображал Маматай и тер холодными влажными пальцами лоб. — Главное — купить билет... Ах, у меня же телеграмма...» И Маматай снова развернул бланк, просмотрел телеграмму, но она оказалась незаверенной врачом, видно, мать, столкнувшаяся впервые с такими обстоятельствами, не знала, что телеграммы необходимо заверять. «Ладно, не страшно, — доставая из кармана ключ от квартиры, настраивался на предстоящие хлопоты Маматай. — Главное — не терять время». Он взглянул на часы — был еще только шестой час. Оставив чемодан, Маматай заспешил на вокзал.

Всю дорогу в Акмойнок Маматая одолевали самые мрачные предчувствия. Он был почти уверен, что отца уже не застанет в живых. В его болезненно расстроенном воображении мелькали какие-то длинные больничные коридоры, палаты и койки... Ему хотелось увидеть отца, но лицо, мутное и расплывчатое, то появлялось, то вновь исчезало, и было оно совсем не похоже на отцовское. Маматай сильно испугался, вдруг представив, что отец умрет, а он так и не сможет воскресить его в своей памяти живым, бодрым, с топорщившимися щетинистыми усами, в старой, вытертой шапке и чашане, из которого на вытертых местах торчит растрепанная вата... Маматаю временами даже казалось, что он слышит слабый упрекающий голос отца: «Что же ты, сынок, не поспешил, а я только на тебя и надеялся!..»

Маматая замучила запоздалая совесть, что мало отец видел от него добра, даже на слово-то сердечное скупился, как-то стыдно было, не по-мужски нежничать... «Всегда я его огорчал, — с приподнявшимся раскаянием думал Маматай. — А зачем? Все несогласия наши житейские и выеденного яйца не стоили. Взять хотя бы пединститут... Не он же мне его выбирал — сам все решил, а нервы ему потрепал, что и говорить... Отец же все помочь хотел, да только нескладно у него выходило».

Он думал о том, что отца уже не перевоспитаешь, не изменишь... Стар он для новых наук, а у них, молодежи, ни терпения, ни терпимости к пожилым нет, на все со своей колокольни смотрят.

Маматай впервые как бы со стороны посмотрел на свои

отношения с отцом и увидел свою черствость и непонятливость. Ох, если бы не мать, наверно, совсем разошлись бы они тогда с отцом, так упорно цеплявшимся за устаревшие понятия и обычаи... «Осуждать-то осуждал, а хлеб-то отцовский ел, — корил себя парень. — А сколько ошибок наделал, хотя еще и половины отцовской жизни не прожил!»

Мысли были сбивчивые. Вот Маматай вдруг вспомнил, как в детстве поранил ногу и не мог идти. Время шло к вечеру, и он испугался своего одиночества. Маленький, продрогший и несчастный, он чуть не расплакался в голос, не ожидая уж ничего хорошего от своей горькой судьбы. Маматай скорее по привычке, без надежды на отзыв, закричал, приложив рупором ладошки к губам:

— Отец!.. Па-па-а-а!..

Маматай не поверил тогда своим ушам, когда до него донеслось далекое и раскатистое:

— Сы-но-ок! Ма-ма-а-а-тай!

Он было с ужасом подумал, что это шайтан хочет отцовским голосом заманить его в пропасть и сгубить... Но тут же сообразил, что — зови не зови — все равно он идти не может, а сидеть одному и ждать неизвестно чего еще страшнее. Да и голос уж больно свой, родной — ни у одного шайтана так не получится, и Маматай испуганно пискнул в ответ:

— Эй, па-а-па, я здесь!..

— Кричи, зови, сынок!..

И Маматай кричал, пока отец наконец не вышел на него, и они встретились, усталые, но довольные друг другом и тем, что все волнения и страхи позади. Маматай сильно расплакался, прижался щекой к пропахшему овечьим духом, потом и табаком отцовскому чапану. Отец же усадил его к себе за спину, и Маматай крепко обхватил руками жесткую, обветренную шею и молча слизывал стекавшие с щек солоноватые слезы... -

Снова и снова Маматай принимался казнить себя за былую несправедливость к отцу, за свои поспешные суждения о жизни и о людях.

На остановке его никто не встречал, да и кому? Мать с Сайданой, наверно, у отца в больнице... К своему дому он шел с замирающим сердцем и очень удивился и обрадовался, когда увидел, что мать как ни в чем не бывало возится возле очага во дворе. Вот она распрямилась, держась одной рукой за поясицу, а другую козырьком поднесла к глазам и дальнорозорко стала всматриваться в одинокого пешехода, вот

всплеснула руками и, вытирая их на ходу о фартук, тяжело, почти не отрывая ног от земли, заспешила навстречу Маматаю.

— Сыночек, ты ли? — прижалась почти совсем поседевшей головой к Маматаеву плечу. — Что же не писал о приезде? Ой, да что я, старая, совсем не о том...

Маматай гладил мать по белым, растрепавшимся прядям, глядя поверх ее головы на дом и покатые, стертые ступеньки крыльца, облупившуюся голубую краску дверей... И они показались ему совсем маленькими... Почему, ведь он больше не растет? Или город, городские блага отбили у него это чувство родины? Все казалось старым и неказистым, выцветшим и слинявшим, как и его, Маматая, память о своем селе. И он удивлялся, что вот почему-то обращает внимание на какие-то, ничего не значащие мелочи — в его жизни, взрослой, серьезной, с ее многообразными интересами и обязанностями. «И чего это я совсем раскис? Что случилось? Неужели болезнь отца совсем выбила из колеи?» Маматай тряхнул головой, словно хотел разом избавиться и от своего странного настроения, и от тяжелых дум, ослабляющих и смятенных, что совсем уж ни к чему ему, мужчине.

— Ты уж прости меня, старуху, — винулась перед Маматаем Гюлум, — поспешила я с телеграммой, уж больно испугалась за отца... Ох и тяжело ему было, скажу тебе. Я привыкла лечить ему живот по-своему, по-домашнему... А тут ничего не помогло... Говорю, мол, отец, надо в район. Он и слышать не хочет, знай свое твердит: «Аллаху видней!.. Под аллахом ходим...» Сбегала я тайком к нашей фельдшернице, мол, так и так, сестра, старик мой совсем слег, а врача не хочет... Она быстро ему «скорую» организовала. А врач со «скорой» так и сказал: «Не могу вас так, отец, оставить, у вас совсем «острый живот». И что это значит, сынок, объясни, ты же у нас ученый?»

Маматай сочувственно улыбнулся матери, но тут же прикрыл улыбку ладонью, чтобы мать случайно не приняла ее за насмешку. «Думает, что все знаю, конечно, я для них — энциклопедист! Смешные мои, милые старики». Ему не хотелось ударить перед матерью в грязь лицом, и он сказал:

— Это, мама, медицинские слова, ими разговаривают между собой специалисты. Здесь не надо понимать в обычном смысле...

Гюлум с неподдельным уважением смотрела на своего сына, радовалась и никак не могла поверить, что он — ее

когда-то маленький и беспомощный Маматайчик, державшийся за подол ее платья или сидевший у очага в ожидании куска свежей лепешки... И Гюлум старалась запомнить незнакомые, трудные для нее слова сына, чтобы потом как-нибудь невзначай вернуть их в разговоре с соседкой, пусть знает, что она, можно сказать, теперь тоже одним боком прислонилась к городской культуре.

Маматай вернул мать к разговору об отце.

— Вот я и говорю, Маматай, на «скорую» его — и в район... Я, конечно, отбила для верности две телеграммы — тебе и Сайдане... И следом за отцом в больницу. Ночь просидела около него. А утром Каипа прощупал сам главный. Я у него потом спрашивала, мол, что с мужем? Главный назначил полное обследование, а меня успокоил, что ничего опасного для жизни не находит... Да ты знаешь нашего отца! Начал ворчать, мол, что прилетела за мной, хозяйство бросила, скотину. Разве так поступают! Прогнал меня, даже слушать на захотел. Вот ведь как, Маматайчик!..

— А Сайдане?

— А разве ты ее не видал в городе?

— Ой, мама, мне и в голову не пришло ей позвонить! Уверен был, что у отца...

— Была, да уехала, сказала — на комбинат надо, мол, и так еле вырвалась. Какое-то у них там начинание среди ткачих, дело, я так и не поняла, что к чему. — И вдруг всплеснула руками: — Да что это я, сынок, тебя на улице держу! Ой, грех-то какой! Идем-идем в дом. Сейчас и сурпа¹ готова будет, поешь и отцу свезем — заказал он мне, больно ему больничная стряпня надоела. А мне теперь думай, как пронести, вдруг врачи сочтут ее не диетичной, а?

Маматай низко нагнулся под притолокой, шагнул в сени со знакомыми скрипучими половицами и запахами сушеных яблок и урюка. От всего этого приятно щекотало в носу и выступали непрошенные слезы, кружилась голова, и его, как на каких-то причудливых волнах, закачало, прямоком понесло в детство, в память, туда, куда, он твердо знал, вернуться нельзя, и все-таки плыл и плыл...

Мать, как будто почувствовала это его состояние духа, достала детскую его пиалу со щербатыми краями, налила душистой, дымящейся — с пылу с жару — сурпы, крупно, прислоняя каравай к груди, нарезала городской выпечки хлеба.

¹ Сурпа — кушанье, вроде мясной лапши.

Маматай наскоро умылся, взял из материнских рук пилу, присел на черпак, накрытый хотя и вытертым немного, но еще ярким и добротным ковром. Своим внимательным взглядом он даже рассмотрел знакомые с детства особенности рисунка — отсутствие симметрии в нескольких местах. Маматай с аппетитом принялся за сурпу: блаженно отхлебнул, прикрыл глаза, потом еще глоток... Такую сурпу умела готовить только его мать, а после ивановских рабочих столовок домашняя еда казалась особенно вкусной и сытной. У Маматай даже выступили капельки пота над верхней губой, наверно, от старания, с каким он расправлялся с сурпой. А мать смотрела, радуясь его здоровью и огорчаясь, что сын вот тоже не бережет себя, все по командировкам, совсем изголодался, под конец даже решилась высказать свое мнение:

— Как хочешь, Маматай, не нравится мне твоя новая работа. Слышанное ли дело — человеку в поездах жизнь проводить! Была у меня хоть маленькая надежда на твою женитьбу, да, видимо, напрасно... И Сайдану сманил на комбинат, и та в одиночку мается. Совсем ты нас с отцом сиротишь, сынок! — И Гюлум быстро-быстро заморгала веками, удивляясь своей решительности, видно, много и тяжко думала о судьбе своих детей, вот и не уместились ее думы все в сердце, ненароком выплеснулись в разговор.

Что тут ответить Маматаю? Мол, не горюй, мать, молодой я еще для собственной семьи... Да только она прекрасно видит, что все его сверстники завели семью, детей. Да и какой он молодой! Скоро уж можно и в старые холостяки записываться... А что скажешь матери? Правду? Есть у него девушка, да вот что-то застопорилось в их отношениях... И все она, Бабюшай, что-то выжидает, высматривает. Но ведь в будущее не заглянешь, даже украдкой, даже одним глазком... И Маматаю нелегко приходится, у него тоже самолюбие, да и не умеет он добиваться девичьего внимания, он — не Алтынбек, тому все ни о чем — достигает своего не мытьем, так катаньем. В таких девчонки с первого взгляда влюбляются, а потом тихонько слезы льют... Что и говорить, было время, когда и Маматай не то чтобы завидовал Саякову, а хотел бы быть похожим на него, потому что чувствовал себя возле него деревенским тюфяком, недаром ткачихи смеялись над ним в первые его дни на комбинате...

До Маматай, конечно, доходили разговоры о том, что Алтынбек оказывал внимание Бабюшай, только Маматай

сам этого не замечал, разве что тот давний случай, когда он провожал первый раз Бабюшай, а Алтынбек вдруг вышел к ним навстречу... Сам же Маматай видел его только с Бурмой Черикпаевой, вдруг ни с того ни с сего взявшей расчет на комбинате и уехавшей в Ташкент. А ведь о свадьбе уже судачили в открытую, да и сам Алтынбек, помнится, приглашал его...

Говорили, что когда-то Бабюшай отвечала Алтынбеку взаимностью. Правда ли? У самой Бабюшай парень не осмеливался спросить, злясь на свою нерешительность и мягкотелость. Маматаю было обидно, что он рассказал девушке о своей прежней, до встречи с ней, жизни, о семье, даже о Даригюль. А она, скрытница, даже не обмолвилась об Алтынбеке. Конечно, характер у нее серьезный, самостоятельный, для жизни надежный. И Маматай оправдывал Бабюшай: «Зачем лишние разговоры!..» Но больше всего ему хотелось быть уверенным в любви Бабюшай, а исподволь, помимо его воли, в уши лез настырный жужжащий голосок: «А ты подумай как следует, а? Ты прикинь, зачем она тянет время? И тебя не отталкивает, и в то же время не решается изменить свою девичью судьбу!.. Может, снова Алтынбекова внимания ждет, может, думает — вернется к ней, вспомнит первую любовь?»

Маматай часто перехватывал насмешливые, внимательные взгляды ткачих, когда они с Алтынбеком случайно оказывались рядом с Бабюшай, мол, вон как крутятся!.. Кому-то удача будет?.. Конечно, Маматая это здорово задевало, и он делал невероятные усилия, чтобы, как тогда, в первый раз, не разозлиться и не хлопнуть в сердцах дверью...

Мать невольно заставила Маматаю сегодня вспомнить и пережить все его огорчения с Бабюшай. И теперь она недоуменно смотрела на сына и гадала, чем могла вызвать подавленное его молчание... «Ох, сынок, сынок, нелегко тебе жизнь дается, чуёт мое сердце, — жалела Гюлум сына и ругала себя за свою навязчивость и неразумность. — И надо было мне, старой, сунуться со своими разговорами!..»

— Мама, ты все о своем, — наконец вымолвил словечко Маматай, но, встретившись с робким, извиняющимся взглядом матери, примирительно добавил: — Я уже сказал, что по сватовству не женюсь. Мне не только хозяйка в дом нужна, мама...

Гюлум расстроено покачала головой:

— Все это хорошо, сынок. Только чуёт материнское сердце — провыбираешься. А таким привередливым самые злые

жены достаются, самые самовластные, уж поверь, сынок, материнскому слову...

Маматай поднялся из-за стола.

— Спасибо, мама, за угощение. Пора мне к отцу.— Немного замялся и, не глядя матери в глаза, сказал:— А оттуда прямо в город вернусь, я ведь только утром из командировки и сразу сюда, даже не отметил, как полагается, на работе.

— Ну что ж, сынок, раз надо, значит, надо. Только уж ты нас, стариков, не забывай, приезжай и один, и с девушкой, раз есть. Расстараюсь для вас. Ты меня знаешь, сыночек.

Маматай удивленно взглянул на мать, но та как ни в чем не бывало занималась по хозяйству, не поднимая на него глаз.

— Мама, ну не надо так. Я всегда, как только могу, домой еду... А ты себя здесь береги, и отцу надо быть осторожней — не век джигитовать!

Гюлум долго смотрела вслед сыну, время от времени поднося к глазам кончик белого в черный мелкий цветочек старушечьего платка, потом нехотя, тяжело ступая нагруженными за долгую жизнь ногами на скрипучий песок дорожки, было направилась к дому.

Маматай шел не оглядываясь, но чувствовал взгляд матери, ее безрадостное настроение из-за его ухода и переживания последних дней и вдруг услышал ее голос и задышленное дыхание:

— А сурпу-то! Ой, совсем памяти не стало.

— Ну зачем же ты, мама, бежала! Нельзя тебе...

— Да я что... Ведь просил... А ему там в районе тошнехонько. Не привык наш старик разлеживаться на даровых харчах... Вот и думаю, как бы от безделья и дум по-настоящему не разболелся.— Она нерешительно прикоснулась к локтю Маматая: — Все никак не отпущу тебя, все с толку сбиваю.— И вдруг не выдержала, уткнулась лицом в его плечо.

Маматай снова гладил ее по голове, приговаривая:

— Ну что ты, мама, не надо...

Маматай думал с болью про себя, что не зря мать стала такой некрепкой на слезы, видно, чует материнское сердце свой возраст для жизни ненадежный, вот и прощается каждый раз как будто насовсем и сердится: «Вот ведь как изводит себя... Ну хоть не приезжай, одно расстройство!»

На дороге к облегчению Маматая появился местный про-

пыленный автобус с яркой картинкой из «Огонька» на ветровом стекле. Гюлум, выпустив плечо сына, стала махать шоферу:

— Кадырбек! Кадырбек, давай останавливай!..

Автобус проскочил вперед несколько метров и резко затормозил, обдав их горячим запахом бензина и пыли.

Маматай наскоро прижал мать к груди и вошел в салон, уже почти на ходу подхватив снова забытую было передачу для отца из материнских рук. Дверца сразу же с лягом захлопнулась, и автобус прибавил скорости, вырвался на центральную улицу Акмойнока и мимо правления колхоза, Дома культуры и других общественных построек взял напрямиком курс на районный центр.

* * *

Маматай так и не смог повидаться с отцом. Когда он пришел в больницу, был обход, а потом отца взяли на какие-то процедуры. А Маматаю, чтобы не остаться без ночлега, срочно пришлось вернуться на автостанцию. Билеты остались только на последний рейс, так что у него имелось еще достаточно времени, чтобы вернуться в больницу. Но когда Маматай подошел к больничному зданию, там уже и ворота оказались закрытыми.

Он бесцельно бродил по улице, время от времени присаживаясь на пустые скамейки, доставал сигарету, не спеша закуривал. Впервые за последний год было у него совершенно свободное, бросовое время, и он ловил себя на мысли, что тяготится им, чувствует себя каким-то неприкаянным, обойденным жизнью... Будто все сели в поезд и уехали, а его не взяли, и вот он слоняется совсем один... Маматаю даже думать не хотелось, да и не о чем было — и в голове, и в сердце пустота.

И он с тоской думал: «Вот все ждем свободной минутки, все времени не хватает, откладываем сначала до отпуска, потом до пенсии, чтобы на свободе заняться собой, подумать, почитать... Проходят отпуска, суматошные, с постоянными поисками развлечений и всевозможных увеселений... А помыслы так и остаются неосуществленными. Неужели так до самой пенсии?.. А там что? Видно, в конце концов, и на пенсии вот так останешься с самим собой с глазу на глаз и не найдешь сил заняться чем-то стоящим, скучно станет...»

Теперь он по-иному представлял поспешность матери,

с которой она хотела женить его, и ход мыслей изменился. «Не так уж будущее надежно, чтобы попусту, не задумываясь, тратить настоящее... Мать-то с отцом это знают хорошо, а вот я? — думал Маматай. — Что я? Занят делом, и ладно... Обо всем другом и понятия не имею... Только, видно, будущее наше еще больше зависит от нашего настоящего, чем мы сами от родителей своих...»

Маматаю было грустно и беспокойно от сознания того, что до сих пор чаще всего жил по инерции сложившегося рабочего ритма, нисколько не думая о том, что уходят безвозвратно лучшие годы для творчества, для того, чтобы люди, близкие тебе люди, а не абстрактное человечество ощущали постоянно твою заботу и тепло.

Вспомнил он, что точно с таким же настроением вернулся когда-то с первого своего Совета изобретателей и рационализаторов и схватился за студенческие чертежи... Но как быстро и начисто выветрилось с тех пор это боевое настроение, даже воспоминания о нем! Неужели будет так все время? Нет-нет, все зависит от самого человека, насколько он мобилизует всего себя, разовьет волю... «Да, как там, кстати, с моим рацпредложением? Конечно, Хакимбай не терял времени даром — вот кому позавидовать можно, вот кто не доверяет времени! Да Хакимбай уже сейчас сделал больше, чем иной за всю свою жизнь... Хакимбай бесследно из жизни не уйдет. — Маматай вдруг резко оборвал себя: — И что это я? Как будто прощаюсь с ним!»

Вспомнив Хакимбая, Маматай стал вспоминать комбинат, людей, комбинатские дела — привычное, доброе, устойчивое. С этими мыслями ему было уютнее и спокойнее, чем в родном доме, и уж во всяком случае намного интереснее. И Маматай испытал неловкость и вину перед родителями, перед домом за то, что комбинат со всеми своими делами и заботами стал для него сейчас самой притягательной силой на свете. Для него он теперь — больше чем семья, потому что здесь не исчерпывалась взаимная нужда друг в друге, здесь был большой человеческий коллектив, большие цели и большие дела.

«Если бы не этот перевод в отдел снабжения! — сетовал Маматай на свою долю. — Но может, уже все решилось с моим переводом обратно в ткацкий?..»

Маматай безвольно отдавался своим мыслям, скользя с предмета на предмет... И с Бабюшай у него полный разброд. Если правду сказать, то он ни разу не настоял на своем, а ведь должен был показать ей свой мужской харак-

тер. Бабюшай должна почувствовать, что человек он твердый, решительный. Да, в сущности, он всегда и был таким...

Маматай тихо, чтобы не привлекать внимания прохожих, рассмеялся, вспомнив о своей первой встрече с Бабюшай, как он яростно хлопнул дверью, разозлившись на плоскую шутку Алтынбека. Было же время беззаботное, безоглядное, и больше оно для Маматая, как ни жди, не повторится... Тогда он назвал Бабюшай «булкой». И Маматай снова потихоньку смеялся и хлопал ладонью по коленке.

А теперь Бабюшай вертит им, как хочет. Это, наверно, потому, что не любит его, а только хочет быть любимой. От таких мыслей ему стало больно дышать, а жизнь утратила прежнюю привлекательность.

Было далеко за полночь, когда Маматай добрался до дома. Он невольно прислушивался к редким звукам ночи. Вот где-то зашуршал одинокий, сорвавшийся с ветки лист, упала тяжелая капля с водостока. И опять тишина, непривычная, густая, тягучая, как черная патока, как сама ночь над городом, над спящей землей, над ним, Маматаем.

Он поднимался по лестнице, не веря себе, что ранним утром уже побывал здесь, что исколесил за день многие километры, вздохнул облегченно, что все тревоги позади. А утром — комбинат, друзья, неотложные дела и новости. Маматай ждет от наступающего дня многого... Он даже представил себя опять в ткацком, как пойдет он вдоль длинного пролета цеха, вдоль станков, так успокаивающе гудящих, ну совсем как мохнатые тяжелые шмели над клевером... А ткачихи будут кивать ему хорошенькими головками, туго обвязанными платками, но с обязательной кокетливой прядью или как бы пенароком выбившимся завитком. И Маматай тоже будет в ответ кивать и улыбаться...

Представить себя вновь среди «бумажек» отдела снабжения он не хотел. Там ему все окончательно опостылело. «Неужели не ясно, что никакой я не снабженец. Для этого тоже талант нужен, хватка. А у меня их нет, только живое дело гублю. Вон сколько просидел в Иваново, а чего добился? — расстраивался Маматай. — И на пятьдесят процентов не выполнил задание...» Его утешала только одна мысль, что все же не зря убил время в командировке: присмотрелся к организации производства, к технике, к людям. Конечно, все это пригодится и на их комбинате, да вот только руки у него сейчас коротки...

Так постепенно из сознания Маматая повседневные заботы вытесняли только что пережитое и передуманное, об-

новляя его для новой жизни, и новых дел, и, конечно, для новых переживаний, и тревог, и надежд на лучшее... А вслед за отходчивыми, добрыми мыслями и сон пришел крепкий, освежающий, молодой.

XIV

Все эти беспокойные, нуждающиеся в полной сердечной отдаче дни еще сильнее сблизили старого Жапара и Кукарева. Они, привычные друг другу люди, понимали и чувствовали все с полупамятки, с полуслова. А время действительно было напряженное и ответственное. Вот и поделили друзья между собой все трудности. Жапар взял на свое попечение Колдоша. И Кукарев мог быть совершенно спокоен и уверен, что парень теперь в верных руках. А сам Иван Васильевич, по собственному выражению, решил курьировать автоматическую линию в отделочном. Им оставалось только утрясти с администрацией вопрос о переводе Маматай Каипова в ткацкий цех.

Между собой Кукарев и Жапар-ака были совершенно откровенны, говорили и то, что считали не дипломатичным говорить при самом Маматае, чтобы, чего доброго, не зазнался...

— Конечно, с Маматаем мы не разобрались, Жапар-ака, — Кукарев в задумчивости тер указательным пальцем свой внушительный, орлиный нос.

— Да, Алтынбек здесь встрял не вовремя. Ты же знаешь, для него родич, земляк — первые люди! И не потому, что чтит обычай или очень заботливый, нет! Для него родич — круговая порука, я его раскусил сразу. Да, скользкий он, как налим, не ухватишь голыми руками... Саяков так и норовит себя родичами окружить, чтобы понадежней, поспокойней устроиться. А если и падать, то помягче будет... Только Алтынбек сам падать не хочет, вот и сталкивает других. Ты думаешь, почему он встал горой за Шаршиева, пошел даже на риск? Почему отделался от Маматай руками директора? Смекай сам, Иван Васильевич...

— Мы тоже виноваты, дорогой, — не отступался от своего Кукарев. — Ведь до сих пор не разобрались, кто виноват в несчастном случае в цеху. Маматай ли, как начальник? Или сам рабочий, лично пренебрегший техникой безопасности? А это важно не только для отдельного случая, не только ради восстановления справедливости, сколько ради того, чтобы подобное больше не повторилось. — Кукарев даже раскрас-

нелзя, что было для него большой редкостью, так он близко к сердцу принял Маматаевы дела. — Да и приписки Каипова в нарядах учениц — не такая уж крамола! Не из комбинатского же кармана брали, а из своего собственного! Организовали своеобразную взаимовыручку. А все же остановил он текучку с кадрами в цеху. Ученицы не так уж материально выиграли от этих приписок, вернее, отписок от заработка опытных ткачих, сколько почувствовали заботу, дружеское участие. — Кукарев ораторским жестом поднял руку, забыв, что вся аудитория перед ним — Жапар-ака в единственном числе. — Разве мы открыли эту рабочую взаимовыручку? Нет и нет. Почти ежедневно в газетах читаем — то там, то здесь та или иная бригада взяла обязательство работать за погибшего товарища, а заработанные деньги передавать семье погибшего или отчислять их в Фонд мира!.. Ведь так, Жапар-ака?

Жапар согласно кивал бритой, лоснящейся от густого летнего загара головой:

— Так-так, парторг. Маматая нужно направлять, а не тормозить. Разгон не только машине нужен, но и человеку, верно говорю?

Кукарев добродушно улыбался, пряча свои небольшие синие глаза в смешливых морщинках, сутулился и качлял, усиленно налегая ладонью на рукоять своей трости.

Старые друзья не только тешили себя такими проникновенными разговорами. Они действовали. Первым на Беделбаева «вышел» парторг. Обычно он появлялся в кабинете директора без вызова и без предварительного уведомления по селектору, не обращая внимания на требовательные призывы вернуться властной директорской секретарши. Находясь в приподнятом настроении, Кукарев, сияющий и энергичный, широко размахивал свободной рукой. Если же у парторга что-то не ладилось, слышался его низкий, громгласный бас. Кукарев возмущенно рокотал, и глаза его при этом студили стальным отливом, заставляли нервничать, суетиться виновника его гнева. Конечно, умел быть Иван Васильевич и сдержанным, и суровым, но это исключительно с подчиненными, допустившими умышленно ту или иную оплошность.

В тот день он появился у директора мирным и печальным и начал разговор с того, что вот стареем, Темир Беделбаевич, а замена не готова. Где, мол, теперь старикам угнать-ся за молодежью, время о преемниках помыслить.

Беделбаев настороженно поднял на него глаза, и даже

сквозь сильные стекла очков было видно, как они настороженно, выжидательно обращены к парторгу.

— Ой, совсем никуда не годимся, — поддержал дипломатично и Беделбаев парторга. — Будто прочел ты, Иван Васильевич, мои мысли, только что об этом раздумывал.

— Вот и ладненько, когда мысли у руководства совпадают, — лукаво прищурился Кукарев и сразу же перешел в наступление: — Надо решать, директор, с Каиповым. Не на месте пареня. Молодой, перспективный специалист-производственник, да такие теперь на вес золота! Многие ли теперь тянутся к станку, к цеху, так сказать, к горячему делу? Бумажных-то душонок развелось полным-полно! Да и таких, что заканчивают институты и сразу же норовят в научно-исследовательские и проектные организации... А Каипов — наш, комбинатский, дотошный... А мы что? Чуть споткнулся — и воп. Да ладно бы если совсем! А то нелюбимой работой наказываем! Отучаем от творческого труда, отбиваем охотку. А без охотки поиска нет и не будет! Я кончил, товарищ директор. Слово за вами.

Беделбаев вдруг не на шутку обиделся, свел густые, кустистые пучки бровей к переносью:

— Напрасно ты так, Иван Васильевич. Что же теперь нам премию выписать Каипову за его художества?

— Премию не премию, а разобраться должны по справедливости. Пора. На нас ведь, на наше отношение к работе, к людям равняются и наши подчиненные. А как же иначе? Учатся и нашему отношению к делу, и нашей распорядительности.

Беделбаев продолжал хмуриться. Ему было неприятно, что Кукарев своим визитом опередил его. А теперь создалось впечатление, что он, Беделбаев, тормозит, не желает разобраться с Каиповым, а Кукарев — иной, деловой, оперативный.

Уловив настроение директора, Кукарев примирительно улыбнулся, сменил тон:

— Кажется, в открытую дверь ломлюсь, а? Ну что ж, бывает...

Беделбаев с уважением и облегченно взглянул на Кукарева, удивляясь его чуткости и понятливости: «Хорошо такого друга иметь, чтобы вот так, с полунамека, с полунастоя...»

— Прав ты, сто раз прав, парторг, сам я так давно решил, да вот, знаешь, текучка продыху не дает: то этот ученик слесаря, — директор болезненно поморщился, все еще не в

силах примириться со случившимся, — то еще что-нибудь. А тут монтажник Петров — хлоп заявление на стол, мол, уезжаю, хватит, так работать нельзя... Вот и крутись директор. А ведь такие дела не обязательно до директора доводить... Никто мне не помогает, только спрашивают. Ох, прав ты, Иван Васильевич, совсем старый, считаться не хотят...

Теперь уже Кукареву пришлось утешать директора:

— Да я это так. Мы же, Темир Беделбаевич, — стайеры, мы еще свою дистанцию не преодолели. — И опять глаза у Кукарева сделались лукавыми, шустрыми. — Нам еще Маматая подготовить в директора надо.

Улыбнулся и Беделбаев, а такое с ним не часто случилось:

— Согласен, парторг. Смена нам ой как нужна. А ум не только собственным опытом достигается, не зря же мы прожили свою жизнь... А с Каиповым, стыдно признаться, пошли мы на поводу у Саякова. А намного ли он старше сам-то и опытнее Каипова? Наш главный инженер? Нужно нам к его работе присмотреться повнимательнее...

Кукарев почувствовал, что сейчас самое время напомнить директору про автоматическую линию, чтобы его слова не показались Беделбаеву жалобой на главного инженера.

— Помогать молодым надо, Темир Беделбаевич, но и спрашивать тоже.

— Совершенно согласен, Иван Васильевич. Кем же вы предлагаете вернуть Каипова в цех? А-а, понятно, значит, пусть пока в сменных мастерах себя зарекомендует. Ну что ж, пусть будет по-вашему.

— Пригодится ему в дальнейшем. С людьми научится ладить, да и изобретатель из него, думаю, получится... А с вопросами техники безопасности и организации производства нужно решать нам на административном уровне. Раз оказались один раз в прорыве, может случиться и второй, и третий... Значит, назрело. А Каипов, я считаю, только проявил ненужную самостоятельность, вернее, мы сами вынудили его, так как остались глухи к сегодняшним текущим проблемам. Вот, товарищ директор, мое мнение как партийного руководителя.

Кукарев остался вполне доволен своим конфиденциальным, как он сам отметил, разговором с директором. Но для полной уверенности в положительном результате своей миссии не возражал, когда к директору с тем же разговором

отправился и Жапар-ака. Вернулся он недовольный, даже сердитый.

— Что же не сказал, что побывал уже у Беделбаева?

— Да я как, Жапар-ака, решил! Кашу маслом не испортишь, верно?

Жапар, захватив сивый клинышек бороды в кулак, дробно, по-стариковски рассмеялся, выжимая мелкие слезинки-бусинки из покрасневших от напряжения глаз.

— Ох-ох,— хватался он за правый бок,— ох, до колотья рассмешил. Ай да стратег, ай да Иван Васильевич!

Кукарев же довольно широкой ладонью расправлял усы, большой, костистый, сутуловатый, казался Жапару-ака большой, печальной и доброй птицей, готовой всех прикрыть от беды своим надежным крылом.

Что ж, главное всегда доброта и человечность. Если они есть, то выигрывает, конечно, и дело, и сами люди. Так уверенно думали о жизни и Жапар-ака, и Кукарев и знали, что так же понимают жизнь и многие люди на земле.

* * *

Маматай появился на комбинате и сразу же был введен в курс всех новостей и дел. Ему было хорошо и легко среди своих ребят и девчат и шутить и говорить серьезно. Рабочий день прошел, и Маматай даже не заметил, как он промелькнул.

Тут и подошла к нему Бабюшай. Маматай даже покраснел от смущения и неожиданности. Сегодня он никак не ожидал ее увидеть, ведь ему сказали, что у Жапара-ака в гостях его старинный друг, председатель колхоза, Герой Социалистического Труда, с кем он когда-то вместе проводил коллективизацию в селах. Так что и Жапар, и Бабюшай взяли отгулы и принимают знаменитого гостя. А тут вдруг — сама Бабюшай. Маматай так и замер на месте, восхищенно глядя на нее.

— Привет, пронаций,— засияла ровными, белыми, как молочная пена, зубами и ямочками на щеках Бабюшай.— Притих ты там, в своей командировке, и ни гугу...

— Не сердись, Букен, не хотелось надоедать своими посланиями. Думаю, раз молчишь, значит, не хочешь, чтобы писал...

— Ох и догадливый же ты, Маматай. Вот в наказание за это приходи сегодня к нам. Обязательно, понял? — И она в знак того, что не хочет слышать никаких возражений, при-

крыла ему губы тонкими, чуткими пальцами, какие бывают только у музыкантов и ткачих...

Маматай даже не подозревал, что в этот вечер у Жапар-ака столкнется со многими знакомыми лицами, в том числе и с председателем колхоза Акмойнока Торобеком, потому что он-то и был тем столь знаменитым и дорогим гостем Саранчиева.

* * *

— Вах, Каип-то наш расхворался, понимаешь, — с порога объявил Торобек Суранчиеву. — Надо ехать, понимаешь, помогать надо земляку.

— Что с ним, с Каипом? — расстроенным голосом спросил Жапар-ака.

Помявшись немного и посопев от важности, Торобек сообщил:

— Доктор сказал, что с Каипом все в порядке, да мало ли что? — назидательно поднял толстый, негнущийся указательный палец председатель. — Все-таки у меня в районе авторитет, вес!.. Со мной и разговаривать будут по-другому.

— Доктор там решает, а не твой авторитет, Торобек, — оглядывая внушительную фигуру друга, сказал Жапар-ака, — а тебе пока беспокоиться не о чем. — Жапар славился своей рассудительностью и умением владеть собой в самых что ни на есть критических обстоятельствах, и вдруг он вздрогнул, потрясенный громким, безудержным хохотом Торобека, а взглянув на друга, увидел, что от смеха у того налилась кровью, побагровела и сейчас еще дующая шея — Торобек смолоду славился богатырским сложением и неимоверной физической силой. Черные молодые глаза председателя лукаво поглядывали из-под нависших, с проседью бровей.

— А помнишь, Жапар, помнишь ту историю с кабаньей кровью, а? Ха-ха-ха!.. — едва выговорил он от смеха.

Теперь уже к громогласному, басовитому хохоту Торобека присоединился деликатный, дробный смешок Жапар-ака. Вот так с ними всегда, соберутся вместе, и начинается: «А помнишь, Жапар-ака? А помнишь, Торобек?..»

Дружба их завязалась давно. Тогда они были джигиты так джигиты! С огоньком! Гораздые и на выдумку, и на отчаянный поступок! Люди уважали их за ум и за грамотность. Считаю — первая интеллигенция на всю кишлачную округу, одни — из тысячи тысяч дехкан разбирались во всех

сложностях и перипетиях классовой борьбы, разгоревшейся во время коллективизации сельского хозяйства.

Было тяжелое и сложное время для молодого рабоче-крестьянского государства. Партия и правительство распределяли немыслимую до той поры по значимости и объему работу, чтобы направить сельских тружеников на новый путь социалистического хозяйствования на своей земле. Совершались повсюду громадные социальные преобразования. Чтобы помочь крестьянам быстрее наладить новую жизнь, партия послала в сельские районы страны, в народ, своих лучших сынов и дочерей, вошедших в историю как двадцатипяти тысячники. Среди них были и Жапар Суранчиев.

Случилось так, что Жапара направили уполномоченным именно в тот самый Акмойнок, где сверстник его и единомышленник Торобек Баясов возглавлял местную комсомольскую ячейку. Вот и стали комсомольцы да крестьянский комбед первыми помощниками Суранчиева — в маленьком глухом кишлаке тогда не было ни одного коммуниста.

Ничего удивительного в том, что ближе всех сошелся Жапар с Баясовым. Их так и прозвали кишлачники — Пат и Паташон, потому как и без того хрупкий и малорослый Жапар казался еще тщедушней рядом с этим пышущим здоровьем сельским батыром, ну одно слово — тоненькая лозинка и кряжистый, набравший вольной силы дубок! Посмеиваясь над этой парочкой, одпосельчане и не подозревали, как эти молодые джигиты взаимно дополняли друг друга и были друг другу необходимы. Они-то и ставили колхозное хозяйство в Акмойноке. Легко ли им было? Конечно, нелегко... Попробуй собери воедино привыкших копаться на своей грядке дехкан, тянущих каждый в свою сторону и гребущих к своему двору. Еще труднее стало во время обобществления земли и скота. Отчужденные от своих богатств и власти всевозможные баи, муллы, манапы и кулаки обманывали и мучили темных, задавленных нищетой дехкан, не решавшихся расстаться со своей жалкой полоской кукурузы, несколькими овцами да старым, шелудивым ишаком...

Появились первые группы из десяти — двадцати всадников, совершавшие стремительные налеты на колхозы. В первую голову басмачи расправлялись с местной Советской властью, партийными и комсомольскими активистами. Они хорошо были осведомлены о расстановке противостоящих сил в кишлаках и появлялись как снег на голову; совершив

свое кровавое дело, так же внезапно исчезали, надолго оставив в душе мирных дехкан страх перед следующим налетом.

Малочисленные группы ГПУ, закрепленные за огромными гористыми территориями, были просто не в состоянии собственными силами справиться с басмачеством. Тогда на базе и при содействии отделений Главного политического управления организовались отряды из местных добровольцев, так называемые отряды самозащиты, но и они мало что изменили в напряженной, тревожной жизни населения.

Чаще всего случалось так: пока малочисленный отряд самозащиты работал в поле или на джайлоо¹, спрятав винтовки где-нибудь в соседнем кустарнике, местные осведомители-подсобники докладывали, что путь свободен, и басмачи как гибельный, глетворный вихрь налетали на беззащитный кишлак, убивали, грабили, жгли, угоняли лошадей и скот, а иногда и людей.

...В тот день в кишлаке шла обычная мирная жизнь. Ничто не предвещало опасности. Вечером в правлении колхоза собрались сельские активисты, чтобы обсудить текущие дела. И вдруг загремели выстрелы, и в помещение ворвались разгоряченные скачкой и ненавистью головорезы. Связанных активистов с разбитыми в кровь лицами, среди которых были Жапар и Торобек, привезли к обрыву на краю кишлака. Дуло винтовки в упор приставляли к затылку и спускали курок — изуродованное тело жертвы стремительно летело вниз, задевая за выступы, гулко разбивалось о дно пропасти...

Жапар и сейчас с жутью, леденящей его многое выстрадавшее сердце, вспоминает, как раздался над его ухом резкий хлопок выстрела, — тарс! — и он кувырком покатился вниз, страшно долго летел, переворачиваясь в воздухе, и наконец шлепнулся обо что-то мягкое и сырое... Потом он погрузился в какую-то томительную вязкую тьму, а когда пришел в себя, увидел где-то далеко-далеко, как со дна глубокого колодца, кусочек ночного неба и яркую мерцающую звезду. Жапару показалось, что она понимающе подмигивает ему, мол, ничего, раз прошел через такое — жить будешь, держись, джигит, тебе теперь еще долго по земле ходить...

Суранчиев прислушался. Тишина, только где-то рядом журчит вода, наверно в сае²... И тут до него приглушенно

¹ Д ж а й л о о — отгонные высокогорные пастбища.

² С а й — ручей.

донесся истошный лай собак в кишлаке, потом — отчаянные возгласы и шум борьбы, потом снова глубокая тишина.

Все — и звуки, и очертания, приглушенные теменью, и даже самые близкие предметы — представлялось ему, как во сне. Видно, все-таки, падая с обрыва, Жапар стукнулся головой об острый каменный выступ. Он внимательно ощупал голову и обнаружил на лбу глубокую, кровоточащую ссадину, идущую наискосок к виску, но следов пули не нашел. Неужели промазали? Что-то не верится, ведь стреляли в упор... Жапар и сейчас, много лет спустя, не страдал этой загадки, отчего остался жив, кому обязан своим спасением? Видно, и среди басмачей были случайные, не способные убить невинного, люди... А тогда Жапар был просто не в силах думать обо всем этом. Он сделал невероятное усилие над собой, оторвал от рубахи рукав и перевязал голову, чтобы остановить кровотечение. А в сознании у него пульсировала одна-единственная мысль: «Жив!.. на самом деле?.. Неужели я остался жив?» И Жапар опять ощупывал себя, не в состоянии поверить в свое чудесное избавление...

Приостановив кровотечение, Жапар смог получше осмотреться вокруг. Он переползал от одного распластавшегося тела к другому, стараясь уловить хотя бы слабые признаки дыхания, но они уже начали остывать... И тут Жапар явственно услышал стон и пополз на него. На краю ущелья, зацепившись штаниной за куст арчи, буквально в каком-то метре над острыми камнями, скопившимися в изломе обрыва, вниз головой висел Баясов. Он был в забытьи, видно, от большой потери крови, и Жапар понял — надо спешить. Обдирая пальцы, на ощупь Жапар рвал и таскал к изголовью Торобека все, что попадалось под руку — ветки, траву, прелые листья... Проверив, достаточно ли такого слоя, чтобы смягчить удар, Жапар потянул Торобека под мышки: затрещала грубая ткань, и Торобек рухнул на подстилку, предохранившую его от неизбежных ушибов.

«В сорочке мы с ним родились», — радуясь за себя и за друга, решил Жапар. То волоком, то катя перед собой с горюшек, Жапар добрался до кишлака и срочно отправил Торобека на арбе в городскую больницу, а сам собрал и возглавил отряд из десяти кишлачников, потому что не мог ждать прибытия отряда самообороны или чекистов. Басмачей надо брать по свежему следу, иначе ищи ветра в поле...

Жапар напал на след в самом конце ущелья, а он привел

отряд на джайлоо. Налетчики зарезали нескольких колхозных коней, увезли с собой самых красивых девушек и женщин кишлака и пировали в свое удовольствие на свободе, уверенные в полной безнаказанности.

«Что делать? Сейчас они пьяные от кумыса, женских ласк и опиума, так что самое время приняться за них под покровом ночи! А если опомнятся и успеют сесть в седло, поскачут на нас и, конечно, сомнут, стопчут конями» — так лихорадочно, боясь потерять драгоценное время, размышлял Жапар, глядя на раскинувшиеся невдалеке юрты и русские военные палатки басмачей.

— Изготовьсь! Будем атаковать! — наконец решил Жапар, проверяя винтовку.

Но его отряд только щелкнул в ответ на команду предохранителями — остался на месте. Тут же послышались недовольные голоса:

— Ты что, Жапар, опомнись! Они же нас сомнут...

— На верную смерть гонишь?

— Нам жизнь еще пригодится, начальник...

— Отпусти, Жапар, с миром, дети у меня маленькие, именем аллаха прошу...

Жапар поднял руку, призывая к тишине и вниманию: — Пойдут со мной только добровольцы! Кто согласен?

Никто не проронил ни звука.

Тогда Суранчиев решил пойти на хитрость.

— Нам необходимо создать видимость численного превосходства, — объяснил он кишлачникам, — а в этом нам поможет местоположение — эхо здесь звучное, с многократным отражением, будет метаться, запертое в ущелье. Так вот, рассылемся по кругу и устроим пальбу... Главное, побольше шума. Вот увидите — побегут, как миленькие, только пятки засверкают...

— Как же, побегут!.. Их пятьдесят, а нас раз-два, и обчелся, — все еще сомневались односельчане. — Мы и стрелять-то толком не умеем...

— А в цель тебе стрелять и не придется. Пали побыстрее, да успевай перезаряжать, чтобы грохота побольше. Говорю, верное дело.

— Это мы можем... На это согласные...

Выстрелы распорили тугой, как шелковое полотнище, воздух расселины, раскатились, умножились гулким эхом, многократно разлетевшимся:

— Тарс-тарс-тарс...

Басмачи, в чем были, стали выскакивать из юрт, на ходу натягивая на себя одежду, а то и просто так, в чем на свет появились, и кидаться в сай, протекавший по дну расселины, а тот выносил их в безопасное, как им казалось, место.

После позорного бегства врагов отряд Жапара благополучно вернул в колхоз угнанных было коров и коней. Взяли они и военные трофеи: пять винтовок и несколько ящиков патронов к ним.

В кишлаке их встретили как героев. И жители селения впервые за многие месяцы уснули в эту ночь спокойно, почувствовав, что теперь у них есть надежная защита, готовая в любой момент дать отпор налетчикам. Не спали только Жапар и семьи, потерявшие отцов и сыновей...

Жапар, не дожидаясь утра, отправился вдогонку за Торобеком...

Баясов несколько дней был между жизнью и смертью, и врачи не могли дать Жапару никаких гарантий, на все вопросы его отвечали односложно, мол, состояние тяжелое, правда, организм крепкий, может выдюжить.

А тем временем по округе поползла злостная сплетня, добравшаяся вскоре и до Акмойнока. Дехкане под большим секретом передавали друг другу, что легкие Баясова продырявила басмачья пуля и вся кровь вытекла, а Торобеку в жилы налили русские врачи другой, неверной. Правда, совершилось чудо, и Торобек ожил, но стал, помилуй нас аллах, кафиром¹. И чем дольше сплетня ходила из уст в уста, тем больше приобретала злости и неправдоподобия. Теперь уже на каждом углу судачили о том, что ради спасения Торобека закололи здоровенного кабана и перекачали в Баясова кабанью кровь... А злостный Торобек оттого встал с больничных носилок, хрюкая по-кабаньи...

— Вах, — первым во всеуслышание объявил тогда Каип, — теперь к Торобеку и близко не подойти — осквернишься... Вот наказание аллаха всем погрязшим во грехе...

...И сейчас, много лет спустя, вспомнив эту сплетню, доставившую ему когда-то столько неприятностей, так заразительно хохотал Торобек.

¹ К а ф и р — глур, неверный.

Из районной больницы Каипа перевели в областную по настоянию заботливого Баясова, решившего, что для обследования больного на современном медицинском уровне в районе не хватает необходимой аппаратуры. Так что теперь дехканин оказался в одном городе с родичами и земляками, не оставлявшими его без сочувствия и внимания. Маматай почти каждый день навещал отца. Приезжала к нему и Гюлум, решившаяся на старости лет на столь длинное путешествие.

Сухопарый и верткий палатный врач провел Торобека в палату. Каип сидел на постели с обмотанной полотенцем в виде чалмы головой и с аппетитом тянул из пиалы привезенную женой сурпу. Когда он увидел Торобека, почувствовал вдруг себя как старый перепел в клетке, и глаза его стали печальными и влажными.

— Вот ведь как скрутило-то тебя, Каип-ака, ва-вах! — сокрушался Торобек, раскачиваясь из стороны в сторону, как на молитве. Баясов уже знал, что Каипа не сегодня завтра выпишут из больницы, и решил наконец припомнить ему давнюю сплетню о переливании кабаньей крови, якобы по сей день текущей в его, Торобековых, жилах.

— Что? Что ты сказал, Торобек! — встрепенулся, заподозрив неладное, Каип. — Что скрутило?

— Вах, врач говорит, — Торобек притворно вздохнул, — операция необходима... Резать кишки будут и кровь переливать, помнишь, как мне когда-то? Так что, Каип, проси у своего аллаха благополучного исхода, — не унимался Торобек.

В глазах у Каипа, как показалось Торобеку, загорелся коварный, зеленый огонек, будто задумал он что-то тайное, а может, даже преступное... И Торобек решил допытаться во что бы то ни стало.

— Каип, а, Каип, — приступил он к нему, — что-то мне не правится твой взгляд, старина... Может, доктора позвать или лекарства накапать? А? Ты говори, не стесняйся — свои люди...

— Ничего мне не надо! И на нож не пойду, пока ноги носят и хлеб свой ем. — Тут Каип перешел на злое шепот: — Слышишь, Торобек, убегу я отсюда...

— Ради аллаха, не делай такой глупости. Сам знаешь, начнется следствие с предварительным заключением

в одиночку, допросы, суд, а там срок припаяют — от такого и деньгами не откупишься, — голос Торобека посуrowел. — Свобода, видно, надоеда тебе, Каип!

Чем отчаяннее и неправдоподобнее выдумывал житейские осложнения для Каипа Торобек, тем, как ни странно, тот больше верил и приходил в странное возбуждение. У Каипа даже уши оттопырились от усиленного внимания к бредовым фантазиям председателя.

— Кроме того, будешь еще наказан за хищение больничной одежды...

Правда, тут даже сам Торобек не выдержал и, зажимая рот носовым платком, чтобы Каип не расслышал его фырканья, быстро вышел из палаты и на свободе дал волю своему безудержному, раскатистому хохоту.

* * *

Жапар, ничего не подозревавший о последнем разговоре Торобека с Каипом, усиленно готовился к торжественному ужину, устроенному его семьей по случаю выписки Каипа из больницы.

Бабюшай с матерью уже накрыли стол праздничной скатертью и расставили посуду, столовые приборы, а также — холодные блюда и напитки.

А Торобека с Каипом все не было и не было. Задерживался почему-то и Маматай, заранее приглашенный Бабюшай по поручению Жапара, любившего во всем порядок. Но вот, кажется, появился первым Маматай — с улицы донесся низкий, пока еще невнятный голос:

— О, Жапар!..

— Послушай, дочка, кажется, Маматай зовет, — встрепенулся Жапар, — выйди посмотри, кто к нам пожаловал, и веди в дом.

На дворе было тихо и пусто, и Бабюшай тут же вернулась в столовую к своим хлопотам с праздничным столом.

А голос снова произнес:

— О, Жапар!

Теперь уж сам Жапар не выдержал и вышел в сад. Он стоял тихо и прислушивался, поджидая нового зова, недоумевая про себя, что же все-таки происходит?..

— О, Жапар! — послышалось из-за розового куста.

Жапар вздрогнул, хотя, как считал, не был суеверен. И ему очень захотелось вернуться в дом, но так постыдно

Жапар ни от кого не бегал, поэтому и сейчас решил подождать, что будет дальше. А голос не умолкал:

— О, Жапар!..

— Да кто ты, таинственный куст? — спросил осторожный Жапар.

— Не куст я, а Каип, сбежавший от операции!..

Жапар, расхохотавшись, тут же заглянул за розовый куст и едва удержался на ногах, узрев полуголого Каипа. Жапар быстрехонько, беспокойно озираясь по сторонам, схватил Каипа за руку и временно переправил его в кладовку, сам бросился в дом за одеждой.

И надо же было в это самое время Бабюшай отправиться в кладовку по хозяйственным надобностям. Едва переступив порог, она разразилась истошными воплями, хотела бежать, но, задев за порог, растянулась во всю длину, потом, уже не в силах подняться от страха, охая и призывая на помощь, поползла к дому.

Появившийся в это время на тропинке Маматай помог подняться девушке.

— Что случилось, Букен? Ну что с тобой, дорогая?

Тем временем Жапар проскользнул в кладовку и подсунул под мышку Каипа собранную наспех одежду:

— Быстренько одевайся и в сад... Должен прийти, как и полагается аксакалу, через калитку, чтобы все встретили с почетом, — и вернулся в дом с заботливым вопросом: — Что случилось, доченька? Почему кричала?

— О-о-о, — только всхлипывала Бабюшай, выбивая частую дробь своими крупными белыми зубами о край стакана с водой, поднесенный заботливым Маматаем. — О, папа, там... в кладовке...

— Успокойся, мало ли что в темноте привидится!..

— Привидится! — вдруг рассердилась и вскочила с места Бабюшай. — Да я, как сейчас тебя, папа, в упор видела... шайтана, старого, облезлого, покрытого белой шерстью!..

— И с рогами?.. — ехидно выпрашивал ее Жапар.

— Рога не заметила, а вот копыта, кажется, были!.. — в тон Жапару отрезала Бабюшай.

Жапар взял Бабюшай за руку и повел в кладовку.

— Вот видишь, доченька, никого здесь нету! Устала, наверно, вот и почудилось невесть что... От усталости все, поверь мне...

Бабюшай промолчала, но осталась при своем мнении.

А в доме отчаянно заливался телефон, и Жапар трусцой кинулся в дом.

— Алло, алло!.. Торобек? Ха-ха-ха... Давай ко мне!.. Да не бойся, все в порядке.

Их шутливую перебранку Маматай, сидевший недалеко от телефона, расслышал отчетливо, но вот по какому поводу, догадаться не мог... И Жапаров смех показался почему-то обидным, так и резанул его по сердцу. Вскоре он открыл окно и свесился через подоконник в сад, вдохнув всей грудью легкий, слегка подмороженный вечерним предзимником воздух. И тут он невольно услышал разговор Жапара, Торобека и своего отца, постепенно стал улавливать его суть...

Стыд за отца горячий, ослепляющей волной ударил в виски Маматай. Он не мог больше оставаться в этом доме и, сославшись на ночную смену, быстро ушел, чтобы не встретиться с отцом и не наговорить ему лишнего.

«Почему отец хитрит, ловчит... И только одному ему не видно, какой он смешной... Да и Жапар с Торобеким хороши, нечего сказать! Хотя бы со мной посчитались... Ноги моей там больше не будет!» — в конце концов решил Маматай. Ему было непонятно, как могут пожилые, уважаемые люди вести себя, как мальчишки...

XV

Как только до Алтынбека дошли слухи о том, что родители Маматай были на званом ужине у Жапара Суранчиева, сердце его тревожно и самолюбиво сжалось: «Ах, значит, так, официально! Значит, можно считать, помолвка состоялась!..» Ведь ему не были известны истинные мотивы посещения Каином дома своего давнего знакомого. Алтынбек долго прикидывал, как быть, и понял, что разговора с Маматаем ему не избежать, и пригласил его к себе в ближайшее воскресенье, благо жили они в соседних кварталах.

Алтынбек приготовился к визиту Маматай со всем тщанием, на которое был способен. Он поджидал его в своей комнате, обставленной шикарнейшей импортной мебелью. И костюм у Алтынбека такой же изящный, с иголочки... Со стороны могло бы показаться, что ждет он не своего подчиненного, а, по крайней мере, сватов...

Маматай он усадил в низкое мягкое кресло, так что колени Маматай вмиг оказались почти на уровне носа, что при-

вело его в немалое смущение, и предложил заграничные сигареты. Оба с удовольствием закурили.

Потом на низком столике появилась пухатая бутылка с яркой этикеткой и коньячные рюмочки... Чувствовалось по всему, что Алтынбеку доставляет огромное удовольствие эта демонстрация своего благополучия и умения жить в ногу со временем...

Голос у Алтынбека после выпитого коньяка стал вкрадчивым, завораживающим:

— Мы детьми, Маматай, пили воду из одного сая, дышали одним воздухом... Выпьем, пожалуй, за тот воздух и за ту воду...

Маматай выжидательно поглядывал на хозяина дома, держа в руке недопитую рюмку.

— Выпили мы с тобой, Маматай, — Алтынбек сделал многозначительную паузу, — за то, что родичи мы и земляки... Кто тебе первым руку помощи протянул на комбинате, а? Я, Алтынбек!.. Или забыл? Хорошее-то быстро забывается, иначе бы не ответил мне на добро злом...

— Не знаю, Алтынбек, в чем ты меня упрекаешь? Видно, по-разному мы с тобой понимаем жизнь, видно, и так бывает: воздух один, вода одна, а люди вырастают разные...

— Не мудри, земляк!.. Есть древний киргизский обычай слушать старшего... А кто из нас старший?.. Я! — Алтынбек холеной ладонью ударил себя в грудь. — Заметь, и по годам и по положению...

Маматай приподнялся в кресле, видя, какой оборот начинает принимать их разговор, чтобы в любую минуту покинуть дом Алтынбека.

— Ты знаешь отлично, Алтынбек, не признаю ни аксакальства, ни родства, ни землячества! Все это было, да быльем поросло... Я за справедливость, на чьей бы стороне она ни была!

Алтынбек подошел к Маматаю и мягко надавил на его плечо, мол, сиди спокойно, долг гостеприимства не нарушу, прошелся по комнате, заложив руки за спину, налил себе еще коньяку.

— Что ж, Маматай, тем хуже для тебя... В сущности, ты меня освобождаешь от всех этих моральных обязательств по отношению к тебе и твоему роду... И все же предупреждаю, что могу тебя под суд подвести как нарушителя финансового закона госпредприятия! А это весьма тяжкая статья...

— Лучше говори прямо, Алтынбек, зачем вызвал... А все эти дешевые приемчики для простаков!

И тут Алтынбек выкинул свой тайно припасенный козырь:

— А знаешь ли ты, что твой отец — убийца?!..

Маматая как катапульта подкинуло с кресла.

Голос Алтынбека звучал жестко, хлестко:

— Сидеть! Было дело! Комсомольца прикончил, активиста... Такое и за давностью преступления не простят. — Алтынбек наклонился к самым глазам Маматая: — Сомневаешься? Знай, такое на ветер не бросают! За каждое слово готов ответить перед законом. Сам тебя на своей машине свезу к твоему отцу, чтобы из его собственных уст услышал подтверждение.

Маматай окаменел в кресле.

Взглянув на него и определив, что Маматай доведен до необходимой кондиции, Алтынбек решил снять с него напряжение:

— Ладно, можешь не беспокоиться. Я ведь — могила... Только уж и ты мне службу сослужи...

Маматай, как после гипноза, наконец пришел в себя, почувствовав невероятную ломоту во всем теле, обмяк в алтынбековском кресле. Ему хотелось подняться и уйти из этого змеиного логова, но не было сил. Алтынбек же решил, что сломил гостя и теперь он в его беспредельной власти.

— От тебя требуется совсем немного... — Голос Алтынбека опять набирался вкрадчивости и налипал в ушах Маматая, как смола. — Ни убивать, ни воровать тебя не пошлю... Но ты вмешался в мою личную жизнь, в мою любовь... Я женюсь на Бабюшай, а не ты! Понятно? Ты, конечно, не раз слышал о наших отношениях и все же вставил клин между нами...

— Что ж, если Бабюшай согласится, то, как говорится, — мир да любовь... — не дожидаясь ответа, Маматай громко хлопнул дверью.

* * *

Несчастье не уведомляет о своем приходе. Оно внезапно, как гром среди ясного неба. Так, разорвав сиренами «скорых» тишину городских улиц, в город ворвалась леденящая душу весть об аварии на комбинате и гибели молодого инженера Хакимбая Пулатова...

Она в первое мгновение буквально парализовала людей, пригвоздила к своим рабочим местам — ткачих, Жапара, Ивана Васильевича, протянувшего было руку к телефонной трубке, Насипу Каримовну, все же успевшую подхватить потерявшую сознание Халиду...

И только станки, не понимая горя людей, бесстрастно пряли и тянули хлопковые нити, ткали, наматывали свои бесконечные метры на огромные катушки, отбеливали, сушили и красили... Для чего? Для кого? Все это теперь казалось лишним, ненужным...

Маматай, вырубив ток, остановил производство, непривычно гулками, странными и чужими шагами вернулся в цех...

Сейчас горе было общее. Люди инстинктивно жались друг к другу, боясь остаться с ним наедине, боясь своих мыслей и запоздалых раскаяний, а ведь они были, были!.. И у Маматай! И у Кукарева! У Петрова и многих других... И никуда от этого не деться, рано или поздно они все-таки придут к каждому поодиночке и начнут казнить изо дня в день. И что тут противопоставить в этом единоборстве с совестью, с памятью своей?..

Думы Маматай, как искры живого разгоревшегося костра, поднимались высоко и относили его к тем дням, когда он, деревенщина деревенщиной, появился на комбинате, робея и стесняясь не только что чужого слова, но и просто взгляда, брошенного ненароком в его сторону!.. А Хакимбай, конечно, понял его состояние, да только и виду не показал. Будучи уже инженером и всеми признанным изобретателем, он принял Маматай в свое братство, мол, «скучно одному»... Маматай и тогда ему не поверил, ведь к Хакимбаю всегда тянулась вся комбинатская молодежь... Вон даже Саша Петров привязался к нему, как к родному.

В душе Маматай постоянно жила как-то непонятная тревога за Хакимбая, как будто уже с самой первой встречи с ним он предчувствовал неизбежную скорую разлуку... Недаром у Маматай так тоскливо замирало сердце перед отъездом в командировку... А потом как будто оглох и ослеп... «Все это наша постоянная суета! Некогда остановиться, вспомнить о дорогих сердцу людях, — расстраивался Маматай. — Даже об отце вот вспомнил по-настоящему, когда тот попал в больницу...»

Маматай с первых же своих дней на комбинате понял, кто такой Хакимбай Пулатов.

Как-то, помнится, он после окончания смены выскочил на улицу и вприпрыжку помчался к общежитию: на вечер

у них было назначено свидание с девушками, и собирались они не в свой комбинатский клуб, а в центральный кинотеатр в горсаду!

Маматай ворвался в их с Хакимбаем комнату, резко распахнув дверь, и от избытка чувств подбросил кепку к потолку. Пулатов, как всегда, сутуло выставив лопатки и поглядывая в уже начинавшие наливать чернильной синевой вечера окна, мерил комнату длинными нескладными шагами.

— Пошли, да? — еле выговорил сквозь сбивчивое дыхание Маматай.

— Поход отменяется, дружище, — как-то отрешенно сообщил Хакимбай и снова закружил по комнате.

— Почему это? — заранее обиделся Маматай.

— Несчастье у нас, понимаешь?.. С Сарыком... — Хакимбай болезненно сморщился. — Рукой попал в станок...

Маматай съезжился на своей койке, боясь дальнейших подробностей, но Хакимбай больше ничего не сказал. И в комнате — третьим лишним — поселилась гнетущая тишина, только слышались — шарк-шарк — настороженные шаги Хакимбая. И Маматай не выдержал, сорвался с койки и бросился к городской больнице, там он и наскочил на Сашу, понуро прислонившегося к больничному дереву плечом, вопросительно заглянул ему в самые зрачки.

Саша отвел взгляд в сторону и достал мятую пачку сигарет, и они молча закурили.

— Кто что болтает, — выпуская сильную струю дыма, тихо сказал Сапа. — А сам я думаю, у Сарыка дела — швах... Сей момент тут сестричка одна пробегала... — И он выразительно провел ребром ладони чуть ниже локтя...

Воображение Маматая рисовало ему самое отчаянное положение Сарыка, и он морщился почти от реальной боли и отчаяния, сопереживая своему младшему товарищу... Теперь-то воочию убедился, как прав был Кукарев, то и дело напоминая им о правилах техники безопасности, а им, бывало, как об стенку горох!.. «И зачем я Сарыка уговорил остаться на комбинате, — запоздало терзался Маматай, — лучше бы ехал обратно в свой кишлак, руки целы остались бы!..»

Маматай вдруг вспомнил, что в этой самой больнице работает главным хирургом дочь их председателя колхоза, и решительно направился к дежурной сестре:

— Попросите, пожалуйста, Айкюмуш Торобековну.

— На операции, — строго сказала сестра, даже не взгля-

нув на Маматая.— Ждите, только, наверно, придется долго ждать.

Маматай послушно опустился на жесткий, выкрашенный в белый цвет табурет и погрузился в какое-то странное оцепенение, как будто выпал из потока времени и теперь смотрит ему вслед, как в хвост скорого поезда, стремительно уносящегося вдаль, отсвечивая красными тревожными сигналами. «Фу-ты,— тряхнул головой Маматай, вдруг сообразив, что безотрывно вперился взглядом в красную лампочку над рентгеновским кабинетом,— и чего только не нагородится!..»

Вывело его из этого тягостного состояния появление Айкюмуш. Несмотря на позднее время, она показалась Маматаю свежей и энергичной в своем накрахмаленном халате и красивых очках в золотой оправе.

— Кюмуш,— бросился он к ней навстречу.

— Ба, землячок! — Айкюмуш улыбалась открытой нежной улыбкой, отчего лицо ее стало еще моложе и красивее.— Знаю, зачем пожаловал... Так вот, повезло твоему Сарыку, знать не зря золотоголовым в мир пришел. По-настоящему пострадали только пальцы, да и то не главные — безымянный и мизинец. Кожа содрана... Но это, можно считать, пустяки. Мог бы и без руки остаться.

Айкюмуш вышла с Маматаем в молодые посадки прибольничного сада, опустилась на скамью, привычным жестом сняла очки, тщательно протерла их таким же, как халат, белоснежным носовым платком, потом провела им по лицу.

— А вам и вашим начальникам, Маматай, пусть этот случай станет наглядной, трагической наукой, чтобы не забывали никогда, как важно у станка соблюдать правила техники безопасности... Запомни это, прошу тебя. А теперь беги и успокой всех, небось тоже не спят!— Айкюмуш поднялась и медленно, устало вернулась в больницу.

В общежитии Маматая поджидало новое ЧП. Около входа его встретили ребята и сообщили, что незнакомые парни устроили скандал. Даже сюда через закрытые двери был слышен несмолкаемый шум-гам.

Маматай поднялся на свой этаж и столкнулся с Хакимбаем, спускающимся вниз, и сразу же присоединился к нему. Хакимбай остановил встречного испуганного паренька и стал его расспрашивать:

— Кто там буянит? Не знаете? А-а... Тот самый, что вчера разбил нос нашему Сарыку! Отлично.

— Не знаю... Сарык и сам не видел, кто ему по носу в темноте стукнул.

— А больше у нас некому в темноте носы разбивать... Или ты сомневаешься?

Паренек молча сошел носом, боясь мести хулигана.

Тут они и вышли на того парня, прижавшего сразу двоих в коридоре и что-то с угрозами и ругательствами требовавшего от них.

Хакимбай сердито приказал ему оставить ребят в покое.

Парень выпустил из своих лапщ воротники ребят, неуклюже развернулся, как разъяренный бык, направился к Хакимбаю.

— На-чаль-ни-чек! — Парень расставил здоровые ручки, как бы желая заключить Пулатова в объятия. — А вот мы сейчас посмотрим, на что ты годишься...

Дебошир приблизился к Хакимбаю почти вплотную — от него несло кислым запахом вина и табачного перегара.

— Успокойся! Не забывай, что находишься в общественном месте.

— Да я у этих сопляков только и попросил папироску, а они ну чистая зайчатина, сразу дара речи лишились, — и парень запустил руку в карман Хакимбая, разорвав ему при этом брюки.

Хакимбай теперь окончательно понял, что такого уговорами не проймешь. Не привыкший к сопротивлению, он распоясывался все больше и больше, желая немедленно получить курево. Тогда Хакимбай отступил назад и по-боксерски ударил нахала в мощную челюсть, так что тот плашмя растянулся у его ног. Но он очень быстро опомнился и, набычив шею, отчего она стала еще толще и короче, стал, злобно сузив глазки, надвигаться на Хакимбая. А тот только слегка двинул ногой, и парень окончательно оказался на полу, издав странный звук: «шак» — видно, туфля Хакимбая попала ему под подбородок...

И тут от его компании отделился самый вертлявый и наскочил на Хакимбая, но на его пути оказался Маматай.

— Берегись, начальничек, это я тебе говорю, — чиркнул ногтем большого пальца характерным жестом у себя под подбородком, скороговоркой зачастил: — А ну на пару слов. Да ты не бойсь — я вежливый.

Тут они начали пятиться к выходу, видно струсив, что их могут задержать. Хакимбай бросился за ними, но дежурные ему не помогли, даже не сделали попытки остановить хулиганов. Когда Хакимбай с Маматаем выскочили на улицу, их и след простыл.

Вскоре по вызову Пулатова приехала милицейская маши-

на. Протрезвевшему парню, наверно, тоже хотелось смыться, но сил не было встать, так ловко уложил его Хакимбай на обе лопатки.

— Пусть получит по заслугам хотя бы этот, может, остепенится, — сказал Хакимбай, когда они поднимались вверх в свою комнату. — Думаешь, они случайно здесь? В женском общежитии дебош сошел с рук, вот они и сюда безбоязненно явились.

Маматай помалкивал. Ему-то не хуже, чем Хакимбаю, было известно, что из себя представляла эта компания...

— Ну что же ты молчишь? Что узнал о Сарыке? — вывел Маматай из задумчивости Хакимбай.

— Лучше ему, много лучше!

И Маматай подробно пересказал весь свой разговор с Айкюмуш, зная, как близко к сердцу принял Хакимбай несчастье с Сарыком.

— Вот и ладно, — облегченно вздохнул Пулатов и благодарно положил руку на его плечо.

Так они и поднялись к себе, друзья, единомышленники, коллеги...

...Маматай, как сейчас, видит Хакимбая Пулатова перед собой, высокого, молодого, горячего, готового в любую минуту прийти на помощь тому, кто в ней нуждался... Да, от одного сознания, что рядом с тобой был такой человек, жизнь становилась богаче и осмысленней.

И вот теперь его нет... Сознание отказывалось воспринимать то, что с ним произошло. «Нет-нет, не хочу!» — шептал Маматай, что есть силы стиснув руками виски. Он ощутил в себе страшную пустоту и, больше не в силах переносить горе, разрыдался тяжело, скорбно, по-мужски...

* * *

С Хакимбаем Пулатовым печально и торжественно прощались весь город, заполнивший улицы народ. Заплаканные лица. Темные одежды. И тишина, такая, что слышно было, как шурша ложились на тротуары последние, подбитые утренниками листья...

Увеличенный портрет Хакимбая в раме, перевитой черным крепом, несли юноша и девушка. С портрета смотрел улыбающийся Хакимбай, как будто радовался, что видит вокруг так много дружеских лиц...

А за портретом — море цветов, печальных в своей мертващей душу белизне; траурные широкие ленты на венках.

На улицу вступили комбинатские музыканты. Горестная мелодия росла и крешла, набирая такую трагическую высоту звучания, что, казалось, вот-вот оборвутся и не выдержат человеческие нервы. Но мелодия плавно и легко, по какой-то немыслимой спирали опускалась на землю, рокотала на низких нотах, отзванивая медью, потом лилась тихо и плавно, охватывая душу просветленной, трепетной волной. И казалось, эти литавро-барабанные звуки подводили невидимую черту, итоговую, неколебимую, под тем, чем жил человек и что оставил после себя на земле...

Видя, как человеческие сердца бьются в лад, не сбиваясь и не фальшивя, Маматай впервые в жизни воочию убедился, какая это великая и созидательная сила — коллектив, массы... И теперь уже смерть Хакимбай представлялась ему не такой, как только что, бессмысленной и непонятной.

Думал ли Хакимбай о смерти? Чувствовал ли ее за своей спиной? Скорее всего как все, как он, Маматай, до этого отрезвляющего трагического события был уверен, что времени у него впереди невпроворот, что жизнь длинная и терпеливая, умеющая ждать и не торопить... Тогда почему Хакимбай спешил, старался в своих делах забежать вперед себя самого? Так и подхлестывал своего жизненного скакуна... И вот земной предел... Был и нет...

Да как же так? Не может того быть, чтобы от человека ничего не осталось!.. Не умирает доброта и дела его. В этом, конечно, суть жизни... Человеческая жизнь — не только цепочка его рода-семени. Вот и спешил Хакимбай оправдать свою жизнь делами, чтобы передать сыну и дочери не только частицу себя, но и трудовую славу, память и уважение. И еще — заветы чести и осмысленности судьбы человеческой... Ведь у Хакимбая было любимое присловье: «Больше рта не откусишь, больше куска не съешь...» И это к тому, что не ради сверхзаработка трудился, а ради большого интереса, для всего общества, а не только семьи... Комбинатскому люду есть чем вспомнить инженера Пулатова: не ради карьеры и денег производство поднимал, усовершенствовал, хвалил каждый агрегат, берег каждый винтик... Здесь он вырос и как специалист и как коммунист, не кривя душой, можно поставить его имя в ряд с достойнейшими людьми своего времени.

Маматай настолько углубился в свои думы и переживания, что почти полностью утратил ощущение места и времени, из этого состояния его вывел вдруг раздавшийся од-

повременно оглушительно-гулкий и притупленный завершающий удар барабана.

Похоронная процессия, замедлив движение, стала обтекать полукругом место последнего успокоения погибшего. Остановился и Маматай у кромки могилы, вздрогнул от неожиданности и поднял голову, когда услышал голос Жапар-ака, вставшего в головах у гроба Хакимбая.

Люди смотрели на него с напряженными, осунувшимися лицами. Жапар долго мялся, теребя в руках скомканную шапку. Глаза его были красны и сухи и пересохло в горле... От горя, как от суховея, пересохли и родники его слов...

— Братья, сестры... — Голос у Жапара вдруг иссяк, он сильно закашлялся, безнадежно махнул рукой и из последних сил прошептал: — Расстаемся с нашим Хакимбаем... Надо бы мне, старику, а не ему во цвете жизни... Прощай, сынок! Прощай, Хакимбай! Мы тебя не забудем!..

Попросил слова Алтынбек, откашлялся, как привык на трибуне, но потом спохватился, что он не на собрании, достал носовой платок и приложил его к сухим глазам.

— Сегодняшний день для меня — незабываемый день печали, — начал, побледнев, Алтынбек. — Никто из здесь присутствующих не знал Хакимбая так, как знал его я... С первого курса, с первого дня нашей студенческой жизни мы вместе постигали мир науки. Хакимбай был добрым и верным другом и волевым работником. У него было большое будущее талантливого ученого-практика. И у меня сейчас язык не поворачивается сказать — Хакимбая больше нет с нами... О какая безжалостная правда!.. — Алтынбек опустил глаза и замолчал в глубокой, какой-то сдавленной тишине. — Мой дорогой друг, Хакимбай, я перед могилой твоей даю клятву — не забуду имени твоего. И дети твои до возмужания будут в поле зрения моего!.. Это священный дружеский долг! Пусть земля тебе будет пухом, друг.

До того тихо утиравшие слезы женщины разрыдались в голос. Нервная спазма перехватила горло Маматая, мешала выдавить из себя хотя бы одно слово... «Все кончено... все кончено... кончено», — отзывался в его душе стук комьев земли о крышку опущенного в могилу гроба. И Маматай болезненно сжимался от каждого удара, как будто летели они в него и нагромождались над ним, отчего в мире становилось глуше, пустыннее и строже...

Ночью Маматай долго не мог уснуть, переживая снова и снова случившееся. И как наваждение, как тягостный бред — перед глазами то расплывалось, то вновь становилось чет-

ким, почти реальным бледное, тонкогубое, без всегдашней улыбки лицо Алтынбека, звучали его слова, хватающие Маматая за сердце: «...не забуду... священный дружеский долг... пусть земля тебе будет пухом...» Неужели и у могилы можно лгать?.. Или Маматай так и не понял Алтынбека, может, и в самом деле не каменный он и не приспособленец?.. И снова наплывали мысли о Хакимбае, как удар грома, как тоска и непонятное раскаяние и вина, что не проявил заботу, не сказал все нужные слова, а теперь уже поздно...

* * *

Алтынбек Саяков сидел в своем кабинете мрачный и злой, каким его никто никогда не видел. Настроение его не улучшалось со дня Хакимбаевых похорон, и ему казалось, что тот унес с собой в могилу и его, Алтынбекову, удачливость и довольство плотскими радостями жизни.

Алтынбек долго и раздраженно чиркал спичками, ломавшимися и отказывавшимися гореть. Он зло выругался и отшвырнул пустой коробок, заложив руки за спину, прошелся по кабинету. Немножко успокоившись таким образом, вернулся к столу и по селектору вызвал к себе Маматая:

— Каипова немедленно к главному инженеру.

Приказывание звучало отрывисто и грозно, ничего хорошего не предвещало, да Маматай давно уже не рассчитывал на добрые вести из этих уст, жестких и равнодушных, замаскированных холодной, размеренной улыбкой.

— Забыл о нашем разговоре?.. Не советую... — начал было Алтынбек, как только Каипов появился в дверях его кабинета, но, заметив, что Маматай смотрит на него растерянно и недоуменно, решил пояснить, предварительно обратив весь свой слух на дверь: нет ли посторонних ушей?

— Да-да, о преступлении твоего отца...

Маматай взглянул в глаза Саякова открыто и безбоязненно:

— Отец уезжал на джайлоо.

— А теперь вернулся?

— Отец не скрыл от меня, что случилось... Давно это было, товарищ Саяков. И к тому же причины...

— Причины? — быстро перебил Маматая главный инженер. — Ты, значит, полагаешь, что преступление, убийство можно оправдать причинами? А человеколюбие? Как с ним быть в таком случае, а? Это же основа основ нашего социалистического общества! А ты — причины...

— Наш гуманизм, как известно, товарищ Саяков, тоже оплачен немалыми человеческими жертвами, живой кровью тех, кто боролся за него!

— Не-е-ет! Не путай черное с белым, Маматай! Преступление твоего отца подвигом не назовешь, как бы ты сегодня этого ни хотел! Даже за давностью лет не получится! И не надейся... Твой отец зарезал комсомольца, борца за Советскую власть! Вот так-то.

— А я утверждаю — убил врага, — решительно свел брови Маматай.

Алтынбек принужденно рассмеялся:

— Вот я и говорю: герой твой отец, подвиг совершил... Только за такие «подвиги» награда одна — будет смотреть на мир в окошко в чугунную клеточку...

— А ты меня на арапа не бери, Алтынбек. Я ведь не отец, и время сейчас другое... Что удалось твоему деду Мурзакариму с моим отцом, то у тебя со мной не получится. Отец был темный, неграмотный, вот и ошельмовали его тогда... А совесть у него чистая, и спит он спокойно, не то что некоторые...

— Это совесть-то убийцы? — злобно сощурился Алтынбек, так как ему было уже не до улыбочек.

— Ладно, оставим это. Без нас с тобой разберутся. Лучше скажи мне, как, почему и при каких обстоятельствах погиб Хакимбай?

Алтынбек подскочил в кресле — он такого поворота в разговоре не ожидал.

— Станный вопрос, Маматай, я бы даже сказал наивный, — старался выиграть время и сориентироваться Алтынбек. — Несчастный случай... Авария...

— Но виновный-то должен быть — ни с того ни с сего и чирий не вскочит!

— Сам Хакимбай и виноват. Инженер он, понимаешь? Инженер! Техника безопасности — его стихия...

Маматая такое объяснение не устраивало, и он продолжал пристально смотреть на Алтынбека.

— В незнании, конечно, Хакимбая не заподозришь и не обвинишь — был классным специалистом!.. — Маматай отметил про себя, как Алтынбека передернуло от этих слов. И, чтобы окончательно дать понять, что его, Маматая, на мякине не проведешь, добавил: — А зачем его торопил? Зачем гнал, а, главный инженер? Знаний у него, ясно, побольше наших с тобой, а приказывал-то ты!.. Вот я и спрашиваю — так ли уж было необходимо пустить автоматическую

линию на несколько месяцев раньше срока? Зачем было форсировать пуск линии к празднику?

— Он сам этого хотел!

— Врешь, все-то ты врешь, Алтынбек, — в голосе Маматая послышались отчаянные нотки. — Тебе самому чужими руками выдвинуться захотелось...

— Не путай, Маматай, государственные интересы с моими личными, — чуть ли не взвизгнул от бешенства и страха Алтынбек.

— Государственные интересы... Громкие словеса, главный инженер! Ты давно уже их подменил своими личными. Иначе как объяснить такое: работы, в сущности, по пуску линии сорваны, линия законсервирована на неопределенное время...

— С приказами государственными не спорят, а выполняют, Каишов! Очень жаль, что ты этого до сих пор не усвоил.

— Не прикрывайся государством, еще раз говорю — гибель Хакимбая не имеет к нему никакого отношения.

— На все есть закон и суд!.. И не тебе меня совестить! — не сдержался Алтынбек, хотя понимал, что открытый бой для него весьма опасен.

— Концы-то ты умеешь прятать! Да только все это до поры до времени... И не такие ловкачи, как ты, проваливались... Помни хотя бы об этом, Алтынбек, раз совестью природа обошла.

Хлопнув дверью кабинета, Маматай, разгоряченный разговором, бросился вниз по лестнице к себе, решив, что ни за что не оставит без внимания общественности все эти паучьи делишки Саякова и с его отцом, и с гибелью Хакимбая, доведет разоблачение этого ловкача до конца, выведет его на чистую воду, обязательно выведет, даже если ради этого придется ему, Маматаю, потревожить начальство и уважаемых, занятых людей...

А Алтынбек после ухода Маматая долго ходил, вернее, бегал из угла в угол, пытаясь успокоиться, обдумать весь разговор по порядку. «Ох, шайтан, как назло, спички кончились», — вспомнил он, вышел на широкий лестничный пролет и столкнулся с Кукаревым, который, сильно опираясь на свою палку, отдыхал на площадке. Алтынбек было хотел у него прикурить, но, прежде чем вымолвил слово, встретился с иссиня-стальным, жестким взглядом парторга, осуждающим и непреклонным, и не выдержал, потупился, пробежал мимо, наконец поняв, как трудно теперь будет ему на комбинате.

Немало сил и времени пришлось потратить Маматаю, чтобы собрать вместе все заинтересованные и так или иначе причастные к тем давним событиям стороны. В большом обширном кабинете самого директора комбината сидели лицом к лицу краснощекий, могучий председатель колхоза Торобек Баясов и суровый, похожий на подраненного беркута Кукарев, настороженный, с сузившимися от напряжения зрачками Алтынбек Саяков и старый, смущавшийся в непривычной обстановке, взъерошенный Каип. Тут же были и Жапар-ака, и сам Маматай, взволнованный и старающийся держать себя в руках.

Усы у старика Каипа топорщились еще больше чем обычно, и он почти не выпускал их кончики из плохо гнущихся пальцев — то закручивал, то снова разглаживал, как будто тем самым помогая себе находить нужные слова в своих сбивчивых воспоминаниях о прошедших событиях. Казалось, как будто он не рассказывал, а выспрашивал сам себя, мол, так ли все было, Каип, и, вспомнив какую-либо подробность, радовался, как ребенок подарку, радостно подтверждал: «Так, Каип, все так и было...»

...Молодой тогда он был — молодежь Маматай! — и красавец. Брови длинные, как у Маматае теперь, и нос ровный. А уж смелый и решительный — таких в округе поискать, рубил силеча, не считаясь ни с чином, ни со званием... И жмотом Каип никогда не был, земляки подтвердят, ровесники, конечно... Что тут удивляться, если оказался он одним из первых в комсомоле и в активистах кишлака. Вот и Торобек не даст соврать ему! Они с Торобеком и стали сельским ядром и оплотом Советской власти. Их так и звали солдатами Комитета крестьян и сельсовета...

От своих гордых воспоминаний старый Каип даже помолодел, приосанился — грудь колесом и усы воинственные в разные стороны. Только вот слов, чтобы описать давние подвиги и воспламененность собственного духа, Каипу явно не хватало, и он возмещал этот пробел широким жестом и покашливанием в кулак.

— Вах, и повоевали мы с кулачьим отребьем, вроде вот деда этого молодца! — Каип многозначительно махнул рукой в сторону Алтынбека Саякова. — Только хитрец он известный... Такого голыми руками не возьмешь, — вдруг поблек голосом Каип, как бы признаваясь в совершенной своей беспомощности. И все увидели, какой он старый и усохший:

разве что усы по-прежнему придавали ему воинственности и самоуважения.

В то время и примкнул к комсомольцам, стал правой рукой Торобека и Каипа Сарманбек, а был он сыном Атабая, брата Музакарима. Племянник бая, местного мироеда, — комсомолец! Виданное ли дело? Да только попробуй придерись: Сарманбек не только не сказал отцу и братьям, что они включены в списки кулаков, но и сам помогал при их высылке... Преданность делу революции — налицо. Сам уездный уполномоченный партии Жапар Суранчиев выразил тогда благодарность Сарманбеку Атабаеву!..

Жапар-ака сидел в задумчивости, как бы перенесаясь целиком в те давние времена молодости и неоглядного подвига. И стоило только Каипу произнести имя Атабаева, как перед его взором с полной отчетливостью, как будто все происходило не далее чем вчера, возник здоровенный рыжий джигит, беспшабашный и веселый, любящий посмеяться и покутить вволю.

Что было дальше? Уж кто-кто, а Каип лучше всех помнит все до мельчайшей подробности, потому как случилось — с ним самим, а на такие обиды у людей память самая сильная и верная, разве не так?

После конфискации отцовских табунов и отар, земли и других богатств и ареста Атабая сыновья его, все пятеро, убежали в горы к басмачам. А Сарманбек? Недолго Сарманбек радовался своему блестящему значку комсомольца... Не стало отцовских богатств — прекратилось и веселье и выпивки. А на трезвую голову все чаще вспоминал Сарманбек отца таким, каким видел в последний раз, — со скрученными и связанными сзади руками... Вспоминал его слезы, стекавшие по бороде. И это видение мучило его и днем и ночью, кинжалом резало ему сыновье сердце, а еще сильнее того — исчезновение отцовских богатств... Теперь Сарманбек думал только об одном: как бы разыскать братьев в горах, примкнуть к ним во время налета, вернуть себе былую беззаботную, сытую жизнь...

Парень не был глуп, чтобы показывать всем свой внутренний перелом. Он таился изо всех сил, еще больше выслуживаясь перед новой властью в Акмойноке, выжидая своего часа. Как раз подоспел нужный момент. Из ГПУ для добровольного спасательного отряда из местных активистов было доставлено оружие — пятьдесят пять карабинов. Его сложили на складе и выставили часовых, комсомольцев.

Пришла очередь и Каипу с Сарманбеком сменить товари-

щей на посту. С карабинами на изготовку они ходили вокруг склада в смутном, тусклом свете керосинового фонаря, время от времени перебрасываясь словом-другим, чтобы скоротать дежурство.

Каип и сейчас не знает, как Сарманбек подкараулил его из-за угла и навалился всем своим могучим, душным и пропахшим самогоном телом. Сначала ему было показалось, что тот шутит. Но хватка у Сарманбека была мертвая... И вот он ухватил Каипа за горло и стал душить. Уже почти потеряв сознание, Каип каким-то инстинктивным движением выхватил из-за кушака нож и из последних сил ударил Сарманбека куда-то в бок. Он даже не слышал, как душевраздирающе закричал Атабаев: «А-аа!», придавив его своим огромным, осевшим телом...

Очнулся Каип оттого, что в него уперлось холодное дуло винтовки, и еще ощутил он, как на грудь ему стекала еще не успевшая остыть кровь Сарманбека. Тогда Каип, оттолкнув тело Атабаева, вскочил на ноги и, не отдавая отчета в происходящем, бросился бежать.

— Стой!.. Застрелю, как собаку! — услышал Каип знакомый голос и наконец пришел в себя от потрясения. Он остановился и стал вглядываться в темноту: уставив в упор дуло винтовки, к Каипу приближался Мурзакарим.

— Мурзакарим? — вскрикнул Каип от удивления. — Ты?

— Я, конечно, я... — Голос у Мурзакарима был зловрадный, змеиный. — Теперь не открутишься... Наверно, думал втихую, да плохо рассчитал!.. — Мурзакарим вплотную приставил дуло винтовки к его груди: — Ты убил Сарманбека... Убийца... Вон, смотри, твой нож воткнут в его печень!

— Неправда! Я... я... Это он хотел задушить, — сбивчиво пытался защищаться Каип.

— Снимай кушак!

Каип дрожащими, непослушными пальцами пытался развязать кушак, к которому был прикреплен чехол от его ножа, оставшегося в теле Сарманбека.

— А теперь вынь и свой нож, — продолжал приказывать Мурзакарим.

Каип сделал шаг к телу Сарманбека, но ноги не подчинялись ему.

— Быстрее! И рубаху свою давай сюда! Снял? Прекрасно... А теперь заверни в нее нож с кушаком и давай сюда! — Мурзакарим взял окровавленный узел из дрожащих рук Каипа, зажал под мышкой, а потом прикладом винтов-

ки разбил фонарь и крикнул в темноту: — Давай сюда!.. Разбирай оружие, да побыстрей! Труп не трогать!

Пять человек мигом очистили склад с оружием и исчезли так же бесшумно, как и появились.

— Шагай! — подтолкнул Мурзакарим Каина дулом винтовки в спину.

Всю дорогу Каип чувствовал между своих лопаток холодящее, жесткое дуло, мешавшее ему спокойно осмыслить происходящее. Он даже не мог заговорить с Мурзакаримом, чтобы объяснить, как все произошло: язык прилип к гортани... Каип шел, шатаясь, налетая на кусты и углы дувалов, пока не очутился в незнакомой комнате, слабо освещенной огнем очага и еще фонарем, заправленным топленным маслом. Глинобитная, неоштукатуренная стена с бликами неверного света показалась ему пестрой, странной и таящей неизбежную опасность для его жизни. Опасность притаилась в темных углах и будто следила за ним, Каипом, неотрывно и злобно. И ему было трудно, как замороженному, отвести свой взгляд даже тогда, когда услышал голос Мурзакарима.

— Каип, проходи на кошму, на почетное место! У тебя, — здесь Мурзакарим усмехнулся коварно и двусмысленно, — две дороги, и обе на тот свет!..

Каип и не заметил, что Мурзакарим вместе со своим прицеленным в него ружьем уже сидит на курске¹ и глаза у него, как у барса в темноте, горят злорадным зеленым отливом. Каип не мог проронить ни слова.

— Совсем плохие у тебя дела, Каип! — Мурзакарим с удовольствием поцокал языком. — Убил комсомольца! Ак-ти-вис-та! Преданного делу Ленина не на словах, а на деле! Кто кулачил своего отца? У тебя спрашиваю, Каип? Сарманбек. Сам уполномоченный Суранчиев назвал его огненным сердцем! Вот и спросят они, кто убил Сарманбека, а? Понял?

Каип стоял бледный, почти бездыханный, готовый в любой момент потерять сознание.

— Ты, Каип, убил! Вот твоя рубаха, впитавшая его благородную кровь! — Мурзакарим потряс в воздухе узлом. — Здесь и твой ножик с медным колечком. Милиционер сам найдет тебя по следам пальцев твоих на рукояти. Не веришь? В тюрьме поверишь... Так и со мной было, Каип. Нет, не сможешь открутиться! Это я тебе говорю, Мурзакарим, а ты мое слово знаешь... Так и знай, расстреляют пе-

¹ Курска — вид скамеечки.

ред народом или сошлют в Шибер¹. Это, во-первых, — и Мурзакарим загнул свой корявый цепкий палец, — а вторых, родич ты наш слишком далекий, да еще по женской линии, так что — род твой нам чужой, и наше племя отомстит за пролитую тобой кровь Сарманбека. Ты убил сына Атабая! А пятеро — еще живы. Стоит только мне вымолвить словечко, и ты — труп! Ну, что скажешь на это?

Каип по-прежнему каменел перед Мурзакаримом на указанном им месте.

— Молчишь! А ты не молчи, ведь от того, что скажешь сейчас, зависит твоя жизнь и дальнейшая судьба. Жизнь тебе дорога, а? Жить хочешь?

— Айланайыр-ака²... Я еще молод... Я не знал...

Каип понимал, что слезы сейчас ему очень помогли бы, но, как назло, не мог выдавить из глаз ни единой слезинки и только хныкал фальшивым и жалким голоском.

— Я сохраню твою жизнь, — восторжествовал Мурзакарим. — А ты чем со мной рассчитаешься?

— Моя голова — ваша, Мурзакарим-ака! На всю жизнь буду немым рабом... В огонь пойду — только прикажите!..

Мурзакарим медлил с ответом, решив для острастки еще помучить неизвестностью судьбы совсем отчаявшегося Каипа.

Наконец Каип услышал долгожданные слова:

— Нет, в огонь я тебя не пошлю... Еще сгодишься мне здесь, в Акмойноке! Слушай сюда — оставайся советским активистом, как и был, но... жить будешь, как я скажу, по моей указке, понял? Если сочту нужным, с теми, что взяли оружие сейчас, будешь вместе работать! Тайно! Устраивает?

— Ладно, дядя! Конечно, согласен, — Каип склонился в низком поклоне.

— Но, — напомнил ему Мурзакарим, — теперь твоя судьба, Каип, на моих ладонях. Хоть через пять, хоть через двадцать пять лет, даже до конца дней твоих, если не удержишь слова, не я, так мой наследник порешит твою судьбу...

Каип в знак верности, встав на одно колено, обратил лицо на кыбыл³ — как велит Коран.

— Перед аллахом клянусь! Пусть покарает меня, если

¹ Ш и б е р — Сибирь.

² А й л а н а й ы р - а к а — дядя.

³ К ы б ы л — запад, куда обращаются верующие с молитвами.

нарушу... Пусть карает Коран... Пусть совесть сживет со свету...

— Вот и ладно,— подобрел голосом Мурзакарим и усадил Каипа на почетную кошму.— Вах, как в таком виде пойдешь по кишлаку? — Он стукнул себя щепотью в лоб.— Да что я! Так-то для дела лучше! Беги, чтобы видели все, к своему уполномоченному и кричи! Подними тревогу, мол, басмачи напали! Убили Сарманбека! И Мурзакарим, когда, мол, почти задушили, спас, отбив у супостатов! Ну, что рот разинул?.. Беги! Кричи! Действуй!..

Теперь и Жапару, и, конечно, Беделбаеву с Кукаревым было смешно, как представили они Каипа, растерзанного и испуганного, что есть мочи бегущего и кричащего от страха. А самому Каипу было далеко не до смеха, так он близко к сердцу и сейчас принимал события тех далеких дней.

— Вах, как очутился на улице, не заметил — пулей вылетел!.. Все ждал выстрела в спину, но аллах миловал, видно, действительно нужен был Мурзакариму,— Каип первый раз улыбнулся присутствующим.— Уж и сладким показался мне воздух Акмойнока — дышу не надышусь. А в мозгу одна мысль, как теперь самому оставить с носом Мурзакарима... Бегу, кричу, как тот велел, а про себя мозгую, как «послужу» ему!.. И отчаяние брало, конечно, ведь понимал, на что Мурзакарим толкал меня.

Рассказ старого Каипа захватил всех присутствующих, даже невозмутимый Беделбаев не сводил с него своих знаменитых очков в ожидании самых невероятных поворотов судьбы.

— Так вот,— в нерешительности почесал в затылке старик,— каюсь, пришлось участвовать и мне в одном деле с басмачами по указке Мурзакарима... при расстреле колхозно-партийного руководства... Достался мне Жапар-ака тогда...

— Так вот в чем дело, а я-то...— вдруг подскочил на месте Суранчиев.— А я-то до сегодняшнего дня голову ломал, почему остался жив... Грешным делом подозревал басмача в человечности! Вот до чего дошел!

Жапару очень хотелось смягчить горечь воспоминаний Каипа, виновившего себя в том, что, хотя и ненадолго, но все же спасовал перед Мурзакаримом. И еще ему было грустно, что так открыто и уверенно начинавшаяся судьба крестьянина на заре Советской власти, в результате оказалась растоптанной, сломленной злой силой...

Видно, о том же задумался и сам Каип, тоскливо склонив голову на грудь. И усы старика опустились грустно, и руки беспомощно повисли как плети.

Задумался и Торобек. Ему было тоже не по себе перед старым, столько пережившим на своем веку Каипом.

В кабинете стояла такая тишина, что слышно было, как билась о стекло случайная муха да гудел на тумбочке в углу настольный вентилятор.

* * *

Как все деревенские жители, привыкнув вставать и ложиться с петухами, Каип уже тоненько похрапывал, а Маматай посильнее нахлобучил абажур на настольной лампе, мягко ступая по ковру, погрузился в мысли об отце и своей собственной судьбе.

За отца Маматай не беспокоился, понимал, что если люди осудят его, то только за то, что не сумел сориентироваться в обстановке, поддался минутной слабости. А что с него было взять тогда? Темный, забытый, только-только немного поднявший голову от земли! Вот и потерял опять свою человеческую гордость, стремление к свободе, за что и был наказан самой жизнью: вечно оглядывался на то, что скажет и сделает Мурзакарим. Ведь совсем недавно еще готов был породниться по-настоящему, женив на мурзакаримовской внучке его, Маматая... А тому бы только опутать посильнее, видно, боится за свои старые грехи, подстраховывается... Правильно он сразу тогда отрезал отцу, что Мурзакарим пусть ищет другого, более подходящего ему зятя...

Ох как нелегко людям достается свобода. Вся история человечества связана с борьбой за нее. А как же иначе? И себестоимость ее непомерно высокая, обязывающая. Сердце Маматая наполнялось благодарностью за все выстраданное отцами и дедами, чтобы их дети и сыновья стали свободными, чтобы ценили и берегли свободу, были всегда начеку.

Вот ведь что сделал страх с его отцом — корни подточил, согнул, высушил душу, ведь недаром мудрецы говорят, что страх превращает человека в животное... Нелегко ему было со своими мыслями, но Маматай хотел смотреть правде в глаза, хотел быть с теми, кто не испугался ни смерти, ни голода и холода во имя истины, свободы и справедливости. «Прежде чем бороться с мурзакаримами, нужно победить их в самих себе, — рассуждал Маматай. — Ведь они и

рассчитывают в своей борьбе на то, что в ком-то обнаружат самих себя со всей своей фальшью и увертками...»

Маматай с сочувствием посмотрел на спящего отца, радуясь, что теперь ему станет и легче, и радостнее ходить по своей земле.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

РАСПУТЬЕ

I

Прошло уже более года, как Маматая Каипова назначили начальником ткацкого цеха № 2. А у него и сейчас счастливо замирает сердце от оказанного ему тогда доверия руководством комбината. Кому приятно вспоминать свои старые грехи? Конечно, никому, и Маматаю тоже, только и забывать о них нельзя. Здорово поправили и Каипова за самодеятельность на прежнем месте, все вспомнили: и несчастный случай с учеником слесаря, и приписки к зарплате ученицам ткачих... И правильно сделали! Теперь Маматай понимает, как важна трудовая дисциплина и порядок не только для работающих у станков, но и в первую очередь для руководителей.

Маматай тогда дал себе самую строгую клятву, что оправдаёт доверие. И его сердце переполнялось особой гордостью оттого, что назначили его не в передовой, а в отстающий цех — значит, верят в его организаторские способности и рабочую хватку, верят, что поднимет производство, выведет цех из прорыва — в передовой.

Что тут скрывать, Каинов знает, кому в первую очередь обязан своим возвращением в ткацкий цех — партии, парткому своему комбинатскому, ведь Кукарев не зря обещал помочь Маматаю; и конечно, горкому партии, первому секретарю Калмату Култаеву, потому что персональное дело коммуниста Маматая Каипова было взято Калматом Култаевым под его личный контроль.

В городе любили и уважали первого секретаря за то, что считал все дела своими, не чурался и «маленьких», особенно если решалась человеческая судьба. А тут судьба производства огромного комбината, целого рабочего коллектива!

Калмат Култаев, сам инженер, прекрасно понимал не только технику со всеми ее современными проблемами и перспективами, но и хорошо знал работу комбината и рабочий коллектив, так как сам не так давно был здесь секретарем парткома. Он так и считал его — своей колыбелью, помнил и заботу о себе, начинающем инженере, и ответственность за дело, возложенное на него. И теперь нередко можно было встретить его не только в парткоме или в кабинете Беделбаева, но и в цехах с прядильщицами, ткачихами, отделочниками...

Разобравшись в причинах конфликта Каипова с руководством комбината, Култаев вызвал его в кабинет Кукарева и, подперев огромной, как лопата, ладонью подбородок, долго выспрашивал Маматаю о том о сем, время от времени довольно хмыкая в кулак. О чем он в это время думал, исподтишка наблюдая за Каиповым? Трудно ответить с достоверностью. Только в конце концов заявил Кукареву:

— Согласен с тобой, Иван Васильевич! Парень деловой, предан нашему делу. Думаю, не подведет. На ошибках учимся... А главное, человек он — открытый, прямой. С такими и жить и работать одно удовольствие. Есть у Каипова и особо ценное на руководящей работе качество: не любит топтаться на месте, ищет, дерзает, и мы должны поддерживать, помогать, а не бить по рукам... Есть-есть перегибчик у вас в оценке его промахов... И что за формулировки: «очковтирательство», «нарушение дисциплины»!..

Маматай каждый раз с сердечной болью и стыдом вспоминал, что обвинили его в нечестности, и ему хотелось смыть с себя этот незаслуженный позор. Конечно, во всем разобрались, и нет надобности переубеждать Саякова, шедшего сознательно на клевету и подлог. Рабочие? Как они относятся к нему, Маматаю? Может, действительно думают, что он очковтиратель и врач? Ведь в приказе по комбинату так и было написано: «...за допущенные ошибки и недостаточную гражданскую зрелость»!

И только теперь, став начальником цеха, он прочел новое постановление правительства о том, что 50 % (а не прежние 33 %!) от заработка производство обязано выплачивать ученикам профтехучилищ на руки, чего, собственно, добивался Маматай и за что понес обидное административное наказание. Каипову бы ринуться в директорат, в профком и партком, потрясая постановлением, доказывающим его правоту, и требуя публичных извинений!.. Но Маматай — не Алтынбек Саяков! Для него сейчас главное было в том, что

восторжествовала справедливость, а еще важнее то, что и у народа и у партии были одни задачи и одни устремления.

Маматай соскучился по любимой работе, по дружной трудовой атмосфере цеха, которых ему так недоставало в отделе снабжения. И он с утроенной энергией принялся за дело. Маматай, конечно, прекрасно знал, что главное на производстве план, а с планом в его цехе обстояло неважно. Необходимо было мобилизовать все производственные резервы, чтобы уменьшить брак, увеличить производительность труда и таким образом снизить себестоимость выпускаемой цехом продукции. И здесь многое зависело от организаторских и деловых качеств самого Маматая.

У каждого талантливого руководителя производства должен быть свой личный стиль работы, свой производственный почерк. Маматай считал главным для себя такую организацию работы с людьми, такой рабочий ритм, при которых коллектив цеха становился единым живым неразъемным организмом, со своим характером, самолюбием, рабочей гордостью, высоким коммунистическим сознанием. А для этого нужна широкая перспективная политико-экономическая и техническая программы.

* * *

Самым тяжелым для Каипова был понедельник, и не потому, что так принято считать, не потому, что начинал трудовую неделю. В понедельник Маматай знакомился с записями в журнале, где беспристрастными цифрами были отмечены и успехи и недостатки рабочей пятидневки цеха. Дела ткацкого выправлялись медленнее, чем хотелось тою Маматаю, и он нервничал, усиленно скрывая свое настроение от рабочих, чтобы не волновать, не выбивать из рабочей колеи.

Каипов прекрасно понимал, что нужно во всем разобраться, а не паниковать. Но одно дело знать, другое — выполнять. Хотя и было очень трудно на первых порах, но постепенно к Маматаю приходила уверенность и умение работать с людьми, умение владеть своим настроением, показывать пример выдержки и трудовой дисциплины.

Маматай много внимания уделял работе с мастерами, помастеров и технологами, ведь в ткацком деле немаловажно поставить правильный «диагноз» брака, найти технические причины отставания и виновников срывов в работе, вовремя провести профилактические мероприятия.

Итак, в понедельник настроение Маматая целиком и полностью зависело от показателей его цеха, записанных в производственном журнале и от предполагаемых мероприятий на предстоящей неделе.

В тот день Каипов наткнулся на такую запись, где наряду с рабочими итогами значилось, что старший мастер цеха Суранчиев выдвигает на премию за отличную работу своего подопечного Колдоша.

Маматай улыбнулся про себя, вполне понимая, что не так уж и отличился, наверное, Колдош, но Жапар-ака, опытный педагог, правильно рассчитал, что Колдошу, чтобы почувствовать себя нужным коллективу, необходимо поощрение... И Маматай, ни на минуту не усомнившись, удостоверяет свое согласие на премию.

А вот молодой и способный инженер Кадырбаев, уже полгода работавший на комбинате, опять — уж в который раз! — допустил брак на своем участке. И Маматай твердой рукой написал в докладной, чтобы при расчете из премиальных Кадырбаева удержали пятнадцать процентов. И от этого у начальника цеха испортилось настроение: он ведь прекрасно понимал, что Кадырбаев, вместо того чтобы подтянуться с работой, будет ругать Маматая про себя на чем свет стоит за это битые рублем. И Каипов был бы рад в пять раз больше уплатить из своего кармана, лишь бы этот разгильдяй понял наконец, что к работе нужно относиться ответственнее и серьезнее.

День прошел незаметно, в мелких делах и заботах. Когда прозвенел звонок, возвещающий окончание смены, Маматай вспомнил о занятиях по повышению квалификации специалистов и быстро запагал в технический отдел управления комбината. Лекции Маматая обычно собирали много желающих, потому что не только расширяли научно-технический кругозор слушателей, но и вооружали практическими задачами и знаниями, ведь Каипов не довольствовался только своим институтским запасом, а учился и теперь в экономической школе.

Занятия Маматай проводил увлеченно, не спешил отделаться от особо любознательных слушателей стандартными, краткими ответами, старался втянуть в спор, чтобы научить самостоятельно понимать и мыслить. Но в этот день с вопросами к нему никто не подошел, видно, заметили, что он нет-нет да и поглядывает на часы, как будто спешит закончить занятия.

Маматай спешил на аэродром. С сегодняшнего дня Ку-

карев находился в отпуске и должен был лететь в Москву. Жапар-ака договорился с Маматаем, что они обязательно проводят Ивана Васильевича в дорогу.

Как ни спешил Маматай, по на аэродром прибыл тютелька в тютельку: в городе стояла предмайская суета, и свободное такси достать было почти невозможно. Нашел Маматай Кукарева с Жапаром-ака в маленьком садике аэропорта.

Кукарев, поместив между ног свою трость, опирался на нее обеими ладонями и подбородком, а рядом — Жапар-ака, внимательный, спокойный, время от времени растиравший бритую голову привычным жестом.

Маматай с радостным волнением отметил, как обрадовался ему Кукарев, засветился глазами, а губы сами сложились в добрую понятливую улыбку.

— А вот и молодежь пожаловала. — И Кукарев притворно-ворчливо добавил: — Говорил ведь, не надо. Небось своих дел невпроворот, а?..

— Иван Васильевич, — Маматай шутливо согнул руку, чтобы продемонстрировать мускулатуру, — рабочая сила прибыла! Где баулы, чемоданы, авоськи и коробки с южными гостинцами?

— Ну раз так, спасибо, друг! — Иван Васильевич, опираясь обеими руками на палку, встал и благодарно обнял Маматая и похлопал дружески по плечу.

Настроение было у всех весеннее, праздничное. Нежно, трогательно, как будто легкие первомайские флажки, шелестела молодая листва на деревьях. А если присмотреться повнимательнее, можно было заметить мелкие, с детский мизинчик, завязи урюка. А с горной алычи еще не успели облететь белые, ароматные лепестки, трепещущие, как бабочки, на минутку присевшие среди листьев и готовые в любой миг сорваться в дальнейшее путешествие...

Кукарев рассмеялся, проведя рукой по цветущей ветке алычи:

— Кажется, и у них пассажирское, отлетное настроение... Ну что ж, пора!..

И в это время, подтверждая его слова, раздался беспристрастный, металлический голос из репродуктора, объявивший московский рейс.

— А это откуда? — удивился Иван Васильевич, увидев рядом с портфелем увесистую сумку.

— Вах, не ты понесешь, самолет понесет! Чего волнуешься? — всплеснул сухонькими ладонями Жапар-ака. — Нем-

ного гранат для Варвары Петровны...— Суранчиев галантно склонился в поклоне.— Передай, что Жапар-ака целует руки...

Кукарев весело смеялся и махал в ответ с автоприцена, увозившего его к самолету.

Маматай и Жапар-ака вернулись в аэропортовский скверик на ту самую скамейку, на которой совсем недавно сидел Иван Васильевич. Жапар-ака был задумчив и печален, молчал и Маматай, не решаясь заговорить первым.

Наконец Суранчиев вздохнул и сказал:

— Вот как мир тесен, Маматай! Удивительное дело... Разве мог подумать тогда, что будем работать вместе, дружить... Я тебе не рассказывал, скольким я обязан этой семье, самому Кукареву и матери его, Варваре Петровне?

— Варвара Петровна? Жена того командира, про которого говорили?...— встрепенулся Маматай, обрадованный тем, что наконец узнает из первых уст то, что стало легендой, переходя из уст в уста и обрастая самыми фантастическими подробностями.— А старший брат Кукарева? Что с ним? С тем, который приезжал на могилу командира, отца своего?..

Жапар-ака был горд своей причастностью к этой легендарной семье и старался держаться спокойно, с достоинством.

— Василий Васильевич? Ты его имеешь в виду, да? Погиб героически в Отечественную... Посмертно получил Героя Советского Союза. Застава на западной границе названа его именем, а пограничники любовно кличут ее кукаревской... Там Василий Васильевич первым принял бронированный натиск фашистов...

— Сдержал-таки клятву, данную на могиле отца! Настоящий джигит!

Жапар-ака улыбнулся, заметив в глазах Маматай тот азартный огонек, с которым обычно слушают мальчишки рассказы о фронтовых подвигах.

— Не только, Маматай, сдержал клятву, а подвиг совершил и остался навечно в памяти и сердце народном! Незаурядная судьба! — Жапар-ака в волнении провел ладонью по темени.

— А Иван Васильевич? — заспешил с вопросом Маматай, боясь, что Суранчиев замолчит, и тогда Маматаю трудно будет вернуть его в прежнюю душевную расположенность к разговору.

— Встретились, казалось, случайно, здесь на строитель-

стве комбината! Да только теперь уверен, ничего случайного в жизни не происходит... А воевали мы вместе...

— Что? — так и подскочил от нетерпения услышать обо всем Маматай.

— Ничего удивительного, — задумчиво повторил Жапар-ака. — Иван Васильевич начал трудовой путь, как и отец его, ткачом... Традиция у них такая, семейная... Потом призвали его в Красную Армию. Так стал он военным курсантом. А тут и война подоспела. Молоденький лейтенант Кукарев был направлен сюда к нам в распоряжение генерала Панфилова, формировавшего дивизию...

— Вот ведь как бывает, — буквально сгорал от нетерпения Маматай. — Здесь вы и познакомились?

— Ну, конечно, Маматай! — сказал Жапар, радуясь молодому азарту парня. — Вот ведь какой догадливый, — прибавил Жапар-ака с необидной насмешливостью. — Здесь, в Средней Азии, и познакомились, а потом — под Москву... Осенью сорок первого...

Жапар вдруг замолчал. По лицу, суровому и горестному, было видно, как далеко он сейчас сердцем и мыслями. И Маматай не решился окликнуть Жапара, напомнить ему о себе. Так они и сидели рядом, на одной скамье, но так недостижимо далеко в своих думах и переживаниях.

Наконец Жапар-ака заговорил спокойным и даже каким-то отчужденным голосом:

— В середине февраля в одном из сражений наш батальон понес большие потери... Меня тяжело ранило в грудь, осколком разбило колено. Иван Васильевич взвалил меня на спину и пополз... Я ему приказывал оставить меня, так как не было надежды спастись обоим, но он упрямо полз и полз, а я чувствовал, что замерзаю от лютого мороза и сильной потери крови...

Видно, тащил меня Иван Васильевич всю ночь, так как очнулся я уже вблизи санчасти на рассвете. К нам спешили санитарки. Иван Васильевич помог им погрузить меня на машину, которая и доставила меня в один из московских госпиталей, где на мое счастье работала врачом мать Кукарева Варвара Петровна.

— Вот это да! — не удержался Маматай. — Попробуй придумай такое!..

— Если бы не Варвара Петровна, быть бы мне инвалидом... Она спасла мне ногу. А случай был тяжелый: раздроблена коленная чашечка и сильное обморожение... Отнеслась Варвара Петровна ко мне, как к родному сыну, ста-

ралась подкормить меня: то яйцо принесет, то еще что-нибудь... И это в такое-то время!.. Вот какая у Ивана Васильевича мать, Маматай!.. «Кушай, кушай», — а сама смотрит на меня с такой материнской жалостью, что я чуть не плакал от сочувствия и благодарности. Так вот, Маматай... Родные мы теперь на всю жизнь...

...А тем временем удлиненный, серебристый, как рыба, самолет, набрав высоту и описав плавный полукруг, устремился на запад, вслед за вечерним солнцем, заливающим горизонт алым спелым румянцем.

* * *

А вскоре между Маматаем и Жапаром-ака состоялся такой разговор.

— Маматай, хочу, чтобы узнал от меня первым, — сказал Суранчиев. — Заявление написал я в партком с просьбой освободить от обязанностей парторга цеха.

Начальник цеха от неожиданности заморгал ресницами:

— Да как же так, Жапар-ака?..

— Ничего, Маматай, справитесь и без меня. Старый я стал, за всеми, тем более за молодыми, не угонишься... Так вот, имей в виду. А на свое место рекомендую Халиду Хусаинову. Думаю, что в рекомендациях она и не нуждается.

Халида Пулатова действительно в рекомендациях не нуждалась. Вся ее трудовая и партийная биография на виду: отличная ткачиха, спокойная, выдержанная. Посмотришь на нее и не поверишь, что недавно похоронила мужа, одна растит сына с дочерью... Не потеряла себя от горя, разве что стала более замкнутой и неприступной. Сколько раз Бабюшай говорила Маматаю: «Халида у нас — самая душевная и отзывчивая! Это только с виду она гордая». А Маматай все-таки долго не решался заговорить с ней о ее личных, семейных делах на правах друга Хакимбая и руководителя цеха...

Бабюшай помахала Маматаю рукой:

— Иди сюда, знакомься с новым нашим парторгом!

Маматай, смущенно улыбаясь, пожал руку Халиде.

— Видишь, какой начальник у нас робкий? — поддела его по-своейски Бабюшай.

Халида улыбнулась неожиданно просто и открыто. И улыбка у нее была красивая, молодая. Маматай с болью

осознал, как рано овдовела она и как одинока в лучшую пору своей жизни.

Перехватив взгляд Маматая и поняв его настроение, Халида нахмурилась и заговорила о деле:

— Ну что ж, Маматай, давай знакомиться. Вот видишь, столько проработали бок о бок, а как следует друг друга не знаем.

— Авторитет у тебя огромный, Халида, и для меня большая честь работать с тобой...

Бабюшай весело расхохоталась:

— Можно подумать, что ты на собрании толкаешь речь, Маматай. Ладно, пошли обедать, а то так и простоим друг против друга весь перерыв.

Халида обратила на себя внимание Маматая еще тогда, когда после армии неотесанным юнцом появился на комбинате и стал предметом шуток у ткачих. Халида никогда не насмеялась над его неловкостью и стеснительностью. На Маматая она производила впечатление очень чистого и цельного человека, вот почему он несколько не удивился, когда узнал, что Хакимбай выбрал ее себе в жены.

— Халида, как ты живешь? — запоздало поинтересовался Маматай, прося взглядом у нее прощения за свою нерасторопность и застенчивость.

— Здесь у меня старший брат... Служил на границе, женился на местной и остался насовсем. А родом я из Казани, там мать осталась... Приехала брата проведать, да так и осела здесь, сам видишь, — Халида положила свою маленькую ладонь на Маматаеву. — Да ты не беспокойся, Маматай, у нас все есть, живем с ребятами хорошо. — И вдруг резко отвернулась в сторону, чтобы тот не заметил ее слез: — А Хакимбая нам никто не заменит, так что и говорить о моей жизни...

— Халида, потому и не приходил к вам, чтобы не сыпать соль воспоминаний на сердечную рану... Много раз собирался, да так и не решился. Вот Бабюшай подтвердит... У вас, женщин, между собой это лучше получается... А я что скажу, чем успокою?..

Халида быстро взяла себя в руки.

— Ничего, Маматай, теперь мы с тобой в одной рабочей упряжке, так что и встречаться и беседовать будем чаще. Откровенно говоря, и задумываться о своем одиночестве некогда: работа, дети, общественные обязанности. Не забывай, — улыбулась открыто Маматаю, — что перед тобой депутат горсовета. А теперь еще и парторг.

— Может, будет лучше, если мать тоже приедет сюда? Она работает?

— Еще совсем недавно была прядильщицей, а теперь на пенсии. Как видишь, и у меня семейная рабочая династия... И судьбу я, видно, материнскую унаследовала, что поделаешь... Отец на фронте погиб, мать одна нас с братом на ноги поставила... Когда она без отца осталась, ей, как и мне сейчас, было двадцать пять...

* * *

Маматай давно заметил, что Бабюшай всегда стремилась во всем следовать примеру своей старшей подруги, и радовался ее целеустремленности и точности в работе и цельности в отношении к жизни, к товарищам. Хотя ученический срок у Бабюшай давно позади и сама она — наставница, но нет-нет и оглядывается на Халиду, проверяя по ней свою работу и свою жизнь.

Что и говорить, не все поняли и поддержали Халиду, когда она сделала Бабюшай своей сменщицей. Были и такие, кто осуждал ее за то, что будто хочет еще больше выделиться на фоне неопытной ткачихи, ни за что ни про что получить Героя Социалистического Труда... Только эти злые языки быстро примолкли, когда все увидели, какой ловкой и умелой ткачихой стала Бабюшай под руководством Халиды.

Теперь они обе знатные ткачихи комбината, подруги, готовые в любую минуту прийти друг другу на помощь, заменить у станка, поддержать словом и делом.

Конечно, жаль Маматаю расставаться с Жапаром-ака как парторгом цеха, любит он его, уважает, да и привычка тут играет не последнюю роль... Но не может он не признать, что замена у Жапара достойная: перебежи весь цех по именам, лучше не сыщешь...

Жапар-ака остался по-прежнему старшим мастером, увлеченно возится с оборудованием цеха, приводит в порядок, холит, журит перадивых учеников за небрежное отношение к механизмам... Обязанностей у него много, все и не перечислишь: чинить станки, обеспечивать их бесперебойную работу, обеспечивать запчасти, воевать с электриками и работниками вентиляции... А Жапар ой как не любит командовать и приказывать!.. От него не услышишь: «Давай это! Сделай то! Сбегай туда!..» Жапар всегда, как трудолюбивый крот, копошится среди станков, устраняя недоделки молодых неумех. Да Жапар и сам признается, если не подержит в

руках железа, настроение портится на неделю вперед. Не забывает аксакал, копаясь в сложном нутре станка, между делом поговорить о жизни с Колдошем, незаметно натолкнуть на правильные мысли о жизни и работе. А как же иначе? Разве только партийный пост обязывал его? Конечно, нет! Не мог Жапар никогда равнодушно наблюдать за тем, как человек сбивался с правильного пути...

Маматай с гордостью подумал, что с такими, как Жапар-ака, Халида Пулатова, комсорг Чинара и профорг Насипа Каримовна, горы можно сдвинуть...

II

В последние дни на комбинате ни у кого не сходило с уст имя главного инженера Алтынбека Саякова. Повторяли его, как говорится, и стар и млад. То и дело слышалось:

— Алтынбек-то!.. Неужели не знаете? Вот удивили!.. Да-да, награжден медалью Всесоюзного Совета изобретателей и рационализаторов!..

— Головастый, ничего не скажешь!..

— Далеко пойдет этот Саяков! Вон как взял!..

Награду присудили Алтынбеку за рационализаторское предложение, давшее большой экономический эффект. На заседании, связанном с этим событием, собрался весь Совет, руководители комбината, партком, комитет комсомола и профсоюзные представители.

Собравшиеся жали руку главному инженеру, говорили слова восхищения и одобрения. И Алтынбек раскланивался направо и налево, улыбался, отвечал на рукопожатия, краем глаза высматривая поздравителей посOLIDнее и поответственнее...

В своем черном, с иголки костюме Саяков выглядел настоящим именинником, не смешивался с толпой, и Маматай еще от дверей заметил его худощавую, подтянутую фигуру и гордую, отливающую холеным блеском голову с четким пробором.

Алтынбек сам, извиняясь и прося пропустить его, устремился навстречу Маматаю, давая понять улыбкой, что не стоит помнить все обидные недоразумения, возникавшие между ними. Маматай растерялся от такого напора главного инженера и молча принял в свою ладонь протянутую ему Алтынбеком тонкую, с холеными длинными пальцами руку. Взгляды их встретились, и Маматай почувствовал, что

Алтынбек сильно опасается его и считает, наверно, что с Маматаем теперь выгоднее дружить, а не ссориться...

Не дождавшись поздравлений Маматая, Алтынбек сказал:

— Спасибо, земляк! От чистого сердца спасибо...

Сказал эти слова главный инженер нарочито громко, чтобы все не только видели, но и слышали, какие они добрые и искренние друзья и соратники, и быстро отошел в сторону, чтобы Маматай своим неуместным замечанием не испортил ему задуманной игры и настроения. И только когда внимание присутствующих было переключено на появившегося в зале первого секретаря Култаева, Алтынбек снова подошел к Маматаю и предложил сигарету.

Они закурили, отделившись от общей массы собравшихся, так что можно было говорить не остерегаясь. Саяков, глубоко затянувшись табачным дымом, начал первый:

— Маматай, думаю, нам есть о чем с тобой поговорить. Я много думал о наших, так сказать, несложившихся отношениях... Кто в этом виноват?.. Вряд ли это сейчас представляет интерес. Оставим прошлому прошлое... Зачем его ворошить? Погорячились! Сам знаешь, любовь, то да се... А зря горячились, ведь выбирать-то не нам, а самой Бабюшай...

— Я за прямоту, Алтынбек, и рад, что все выяснилось...

— Здесь ты не прав, земляк... Зачем было выносить сор из избы?.. Ну да что теперь! Надеюсь, в дальнейшем будем осмотрительнее, — и Алтынбек привычно, деланно улыбнулся и похлопал Маматая по плечу.

Маматая передернуло и от улыбки Алтынбека и от его фамильярничания. За лоценой внешностью и напускным обаянием Саякова он угадывал хищную мертвую хватку соседа своего Мурзакарима...

Разговор их прервал звонок, призывающий собравшихся занять свои места, и Алтынбек, аккуратно загасив сигарету, легкой походкой, откинув назад гордую голову, направился в президиум.

Заседание шло своим размеренным, организованным ходом. Было сказано много добрых, благодарных слов в адрес виновника торжества — Алтынбека Саякова.

Дошла очередь выступить и до Сайпова. Он начал важно и издали, разъяснил технические принципы, экономический эффект рацпредложений Саякова.

О первых двух предложениях Маматай слышал давно, мельком и теперь внимал каждому слову Сайпова, радуясь красивой изобретательской мысли и точности инженерного решения. Когда же Сайпов перешел к третьему изобретению,

Маматай чуть не вскочил с места от неожиданности и чуть не закричал на весь зал: «Что это? О чем это он?» Маматай не верил своим ушам: Саипов рассказывал о его рацпредложении, которое взялся когда-то рассчитать Хакимбай Пулатов...

Мысли Маматая работали лихорадочно, сбивчиво. Почему-то он вдруг совершенно отчетливо, как наяву, увидел худощавое, вдохновенное лицо Хакимбая, когда тот сообщил ему о результатах расчета... «Не может того быть... не надо торопиться с выводами,— уговаривал себя Маматай.— Разве не бывает так, что изобретения совершаются одновременно?.. Идеи носятся в воздухе, когда назревает необходимость!.. Но ведь на одном комбинате!.. Да и Саяков всегда числился в соавторах у Хакимбая... Значит, не ведая того... Значит, решил, что обокрал мертвого — и концы в воду!.. Откуда Саякову было знать, что оно мое!..»

После собрания Маматай вернулся в цех расстроенным и сбитым с толку. Все валилось у него из рук, и на него даже начали посматривать с недоумением. «Да что это я раскис! Еще подумают, что завидую Саякову! — пробовал Маматай урезонить себя.— Да и какая разница, кто автор, главное, его изобретение доведено до дела...»

Маматай, наверное, так и смирился бы с вероломностью Саякова, если бы не Мусабек. Появился он на следующий день у Маматая с самого утра. О его репительном настроении говорил и вздернутый нос, и лихо заломленный козырек кепки.

— Вот,— не вдаваясь в подробности, Мусабек брякнул о стол Маматая завернутой в бумагу деталью.

— Что это? В чем дело, Мусабек? — поднялся с места Маматай.

— А это мое изделие,— и Мусабек повертел перед носом Каипова своими измазанными мазутом руками, потом полез в карман комбинезона и вынул бумажную трубку.— А это чертежики Хакимбая, собственноручные, с его расчетами! Под-лин-ни-ки! Понимаешь, Маматай?.. А у Саякова — копии... Смекаешь? Этот проныра всегда рылся в его бумагах, я-то знаю...

Маматай нервно закурил сигарету, вытащил промасленными пальцами себе сигарету и Мусабеку.

— Так что делать будем, а?

— А что тут делать, Мусабек? Скандал заводить, да? Одно скажу, мысль доведена до дела, вот и хорошо... В глазах у Мусабека появились злые огоньки.

— Так говоришь, а? Значит, тоже предаешь, да? А Хакимбай...

— Ты думаешь, Хакимбай стал бы драться с Саяковым? Да Хакимбай был выше этого!..

Глаза у Мусабекка сузились, и было непонятно, то ли он смеется над словами Маматая, то ли окончательно вышел из себя от его покладистости за чужой счет.

— Отлично, Маматай! Не знал я за тобой такого! Начальническое кресло сделало тебя таким миролюбивым или что?..

— В чем попрекаешь меня?

— В лучшем случае, в потворничестве... Грабь, убивай, а мое дело сторона, так?..

— О чем ты говоришь, Мусабек? — Маматай все еще пытался уговорить друга.

— А тебе самому не ясно? Быстро мы забыли Хакимбая, его дела и убеждения!.. Вот давай вместе и полюбуемся: на место его сразу же взгромоздилась эта беспринципная глыба мяса Саипов, подпевала Саякова, а сам Саяков под шумок обворовал покойника... Да ты посмотри правде в глаза, протри их, пока не поздно! Или премия, полученная Саяковым за счет Хакимбая, меньше пригодилась бы сейчас его семье? А мы упиваемся красноречием Саякова, давшего клятву помогать семье Хакимбая, а он тем временем исподтишка обворовывает эту семью... Стыдись, Маматай!

Парень не стал даже выслушивать оправдания Маматая, хлопнув дверью, выскочил из кабинета.

III

Чинаре было тоскливо и одиноко. Проснувшись она ранним-рано и, чтобы не будить Насипу Каримовну, безмятежно спящую по случаю воскресенья, вышла на улицу. А ноги вопреки доводам рассудка занесли ее в комбинатский садик, куда выходили окна общежитий и корпуса молодых специалистов. Чинара выбрала себе скамью по вкусу, благо в садике ни души. «Гуляют допоздна, а потом спят до полудня», — решила девушка, оглядывая широко распахнутые окна корпусов. И тут до нее донеслись звуки музыки, тихой и печальной. Чинара повернулась навстречу нежным и хрупким звукам, но они тут же оборвались. А на балконе вдруг появился Маматай Каипов. Вот так всегда он появлялся в ее жизни, неожиданным и совсем-совсем чужим.

— Ба, кажется, помешал, разрушил обаяние одинокой прогулки! — вскрикнул Маматай, сразу же увидев Чинару.

— Да что уж теперь,— Чинара махнула ему рукой.— Спускайся, раз проснулся. А музыку люблю, только приготовилась слушать!

Маматай спустился во двор и уселся рядом с Чинарой.

— Тебе моя музыка нравится, а мне — твои стихи... Вот видишь, мы с тобой как в известной русской басне, помнишь, про петуха и кукушку? Да вот последнее время что-то ты редко стала печататься... Что-нибудь мешает? Или взыскательность возросла? — лукаво улыбнулся Маматай.

— И то и другое,— отводя глаза, сказала Чинара.— Ты же знаешь, поступила в педагогический на заочное...

— Давно хотел спросить у тебя, да все не решался, почему выбрала этот институт?

Чинара только пожала в ответ своими тонкими нежными плечами, казавшимися особенно хрупкими в сравнении с тяжелой кошной волос, небрежно собранных на затылке.

— И сама не знаешь, так надо понимать, а?

— Да хотя бы и так,— вдруг нахмурилась девушка.

Маматай почувствовал, что коснулся запретного, и пошел на попятную.

— Я что? Мое дело маленькое, только вот, чует мое сердце, сбежишь ты от нас, а таких ткачих у меня не так уж много, чтобы ими не дорожить...

— Да никуда я не уйду,— теперь уж Чинара совсем рассердилась, даже брови свела к переносице.— А тебе все растолкуй... Ну что ж, раз такой любознательный, должен понять и меня: интересуюсь гуманитарными науками! И работу свою тоже люблю... А не думаешь ли ты, что наше профтехучилище меня и помирит с обеими профессиями сразу, а? — Чинара, откинув голову, весело расхохоталась, открыв при этом белые, влажные, как на подбор, зубы.

— А как дела с Колдошем? — перевел Маматай разговор, и, как всегда у него с Чинарой, не кстати.

Смех резко оборвался, и щеки Чинары залила густая жаркая краска.

— Что Колдош?

— Ох и характер же у нашего комсорга!.. — примирительно улыбнулся Маматай.

А Чинара уже справилась со своим смущением, пристально вглядывалась в Маматая.

— Не пойму я его... Еще на той неделе радовался, мечтал, шутил и дурачился, как мальчишка,— расстроенным

голосом начала Чинара. Ей необходимо было хоть с кем-то поделиться своим беспокойством за Колдоша, мучившим ее уже несколько дней.— Знаю, Маматай, что сумасброд он непредсказуемый... А разве от этого легче?..

— Да в чем дело-то?

— Мрачный стал, настороженный... Я с ним говорю, а он меня и не слышит, отвечает невпопад... Будто ждет чего-то... Или боится? С работы — сразу в общежитие! Думаешь, просто так я сюда забрела, твою музыку послушать?.. Страх мой за него сюда пригнал...

— Думаешь, старые дружки его опять воду мутят?..

— А я, как ты, Маматай, только могу гадать... А знаю только... Ребята из его комнаты сказали... ночью к нему какие-то люди приходят и стучатся, вызывают...

— Значит, судьба Колдоша опять на волоске! Может, сам не захочет, так страх погонит...

Чувствовалось, что нелегко даются признания Чинаре, а что делать? Молчать? А если что... Девушка даже побледнела, как представила себе, что может случиться с Колдошем.

— Знаешь, Маматай, временами находит на меня такое, что я ему совсем верить перестаю: то вежливый, внимательный — и вдруг злой, циничный...

— Да уж кто у нас Колдоша не знает! — В голосе Маматай послышались презрительные нотки, больно задевшие почему-то самолюбие Чинары, и Маматай в недоумении посмотрел на нее.

— Чужую беду руками разведу, да?..

— Чудная ты сегодня... Чего ершишься? Разве обидел чем?

— Не обращай внимания — все нервы... Думаешь, легко мне дается это шефство! Если бы не Жапар-ака, так уж не знаю и как...

Маматай принужденно рассмеялся:

— А ты думаешь, мне от него не достается? Прежде чем подойти к нему, несколько раз взгляну, в каком он пребывает настроении... Упреков от него выслушал, представить себе не сможешь! Вот и раскуси такого попробуй...

— Ох и трудно мне с ним! — едва сдерживала слезы Чинара, все время слышавшиеся в ее голосе.— Нет-нет, брошу все!..

— Не имеем права бросать!.. Слово дали перед народом, отвечаем за него!

— А-а-а, шайтан с ним, пусть катится на все четыре стороны! — вдруг зло разрыдалась девушка.

Маматай бросился ее утешать, но она отстранила его руки.

— Ничего... Это пройдет, это я так... — повторяла Чинара, вытирая непрошенные слезы.

А парень с сомнением поглядывал на своего «железного» комсорга: «Нервы-то у нее были совсем недавно дай бог всякому... Что-то здесь не так, что-то скрывает Чинара...»

* * *

— Маматай, ты ли?

Маматай удивленно оглянулся на заискивающий, какой-то масляный голос, без сомнения принадлежавший Парману-ака. А удивился Каилов потому, что отношения между ними совершенно разладились после того случая, когда по настоянию Маматая того вычеркнули из списков ударников комтруда.

Парман оказался настолько злопамятным и неуступчивым, что даже не так давно, когда Маматая назначили начальником ткацкого, носил заявление в дирекцию, чтобы перевели его в другой цех. Маматай, конечно, не возражал и не чинил ему препятствий: «Хочет, пусть уходит... Мастер, конечно, знающий, да вот характер подкачал...» А Парман похорохорился, поломался — увидел, что не уговаривают, да и остался на прежнем месте.

И вот Парман первый окликнул Маматая... Зачем? А кто ж его знает... Каилов не был ни злопамятным, ни мстительным, относился к своему подчиненному как положено: за хорошую работу хвалил, за плохую выговаривал... Маматай чувствовал — Парман злится, затаился, ждет от него подвоха, не может понять его отношения... Он взял и послал Пармана в Москву на ВДНХ!

Парман, конечно, в Москву поехал — не совсем еще у него, видно, угас интерес к жизни, как решили однажды окружающие. А сильная встряска ой как была нужна ему!..

Жил Парман в своем городке уютно, тихо, решив раз и навсегда, что и везде так люди живут, да только не хотят в этом признаться. А он, Парман, прямой, и душа у него нараспашку...

Как ведь привык Парман! Утром спустил со своего знаменитого дивана ноги — и в туфлях... Потом завтрак, то да се... На работу он шел потихоньку, без одышки. А куда, собственно, торопиться? Комбинат — вон он, за углом. Пришел со смены — опять на диван.

А в Москве он сразу попал в сущий водоворот: людей и разного транспорта видимо-невидимо. В центре города теснотища: то один плечом заденет, то другой... А чего доброго, и обругают за медлительность!.. Совсем закружился Парман. В гостинице же спрашивают о впечатлениях... Нет уж, впечатления он лучше домой повезет, а здесь разумнее будет помолчать, послушать, что люди говорят...

— Как так, — удивлялся сосед по номеру, — побывать в столице и не купить обнов?

Парпиев отправился в главный магазин страны на Красной площади, а там не магазин, а целый город под стеклянним небом — с фонтаном и прочими чудесами!.. Схватил Парман за локоть набегавшего на него гражданина:

— Вах, дорогой, где шапки продают?

Гражданин не остановился, только немного притормозил и с улыбкой махнул вправо. Парман посмотрел туда и увидел длиннющий хвост очереди. Вытирая обильный пот со лба, встал в конец. Стояли здесь все больше женщины, и Парман хвалил их про себя: «Заботливые, вах, молодцы, вроде моей Батмы...» У прилавка продавщица начала его торопить:

— Быстрее... Сколько вам?

Парман только сейчас сообразил, что стоял с женщинами за губной помадой. Но что делать? Не уходить же с пустыми руками? Купил Парман и от стыда сразу спрятал в карман, оглядываясь по сторонам. «Это для Шааргюль, вот обрадуется», — почему-то вдруг решил он про себя и тут увидел очередь в отдел головных уборов...

В гостинице Парман достал из кармана губную помаду, и ему вдруг стало грустно, и мысли пришли грустные, запоздалые: вот почти всю жизнь свою истратил, а впервые подарок купил... И почему Шааргюль, а не дочке, не жене?.. Разобраться сейчас в своем настроении он не мог, только переживал что-то странное, потаенное. Он опять почему-то вспомнил ту далекую лунную ночь, отливающие ослепительной лунью ак-челмоки, нарезанные им когда-то из лозы; смеющиеся, влажные глаза Шааргюль... Сердце сладостно заняло...

Он сидел, опустив на грудь тяжелую всклокоченную голову, а в руке была зажата помада, как те давние ак-челмоки. Парману вдруг показалось, что тонкие девичьи руки тянутся к нему, и он отвел кулак за спину, воображая, что Шааргюль подойдет совсем близко, и он прижмет ее к себе, и счастливыми глазами будет следить за тем, как она отби-

рает у него помаду и не умеет скрыть восхищения от подарка...

Парпиев больше не мог оставаться в Москве. На следующее утро отметил командировочное удостоверение на ВДНХ и уже в самолете продолжал додумывать свои мысли о Шааргюль, о своей несправедливости к ней. Парману было стыдно вспомнить и то, как он вел себя тогда на собрании, что говорил людям... А главное — Маматай!.. Чем тот провинился перед ним, Парманом? Тем, что правду сказал? Выходит, за свои же грехи на него дулся...

Первым, кого встретил Парман, вернувшись из Москвы, был Маматай, его-то он и окликнул фальшивым, заискивающим от сознания вины голосом.

— С приездом, земляк! — как ни в чем не бывало раскланялся с ним Маматай. — Выглядишь отлично, сразу видно — поездка удалась...

— Маматай, — жалобно сказал Парман и замолчал.

Кайшов забеспокоился:

— Что-нибудь случилось?

— Виноват я перед тобой... Ой виноват! — И, не выдержав взгляда Маматая, Парман свернул в свой переулок.

На следующий день Парпиев взял на комбинате очередной отпуск и уехал в родное село, где не был более двадцати лет, не умея ни самому себе, ни семье объяснить, зачем это делает: «Зачем еду? Ничего там не осталось у меня... Что узнаю? Мой ли ребенок родился тогда?.. Ох, Парман, Парман...»

* * *

Парману плохо и беспокойно спалось на новом, непривычном месте. В комнате было душно, и он распахнул окно и тут же пожалел об этом — началось целое комариное нашествие. Парман махал рубашкой, закурил, чтобы дымом разогнать гнус...

Ночь была темная, тяжкая, как перед грозой. Точно такая же была тогда, когда он собрался в город в ФЗО, испуганный и смятенный... Тогда ему казалось, что уже больше ничего хорошего в его жизни не будет, и нечего бежать куда-то, и все же бежал, не оглядываясь и не жалея о прошлом...

А началось все с того, что, по своему обыкновению, Парман пустился в путь-дорогу, чтобы встретится с Шааргюль. На этот раз он выбрал для поездки иноходца самого бри-

гадира, могучего Торобека, только что вернувшегося с фронта после тяжелого ранения. На нем Торобек целый день посылся от хирмана к хирману и охрипшим голосом напминал колхозникам, что нельзя задерживать зерно для фронта. Под его руководством и присмотром насыпали мешки, считали и грузили на верблюдов и ишаков. Транспорты с хлебом обычно сопровождали казахи и уйгуры.

Вечером, подписав наряды и отправив в путь последние караваны, Торобек, чтобы снять дневное перенапряжение, выпивал бузы и забывался в тяжелом сне, чтобы еще затемно снова скакать от хирмана к хирману...

Ночь пасмурная, темная. Только изредка на горизонте то ли гроза далекая, то ли зарница осветят вдруг овраги и взгорья зеленоватым мертвенным отблеском.

Парман старался держаться в тени, чтобы не высмотрели его злые люди из засады. Сырая от росы трава заглушала стук копыт. Парман опускал вниз лицо, чтобы защититься от мокрых веток, нет-нет да и ударявших его на скаку. И все же подкараулили его тогда...

Черный всадник, выскочивший из кустов, схватил Парманова иноходца за узду — конь взвился на дыбы, и Парман даже не заметил, как очутился на земле. Он быстро вскочил, не чувствуя боли от падения, и было бросился бежать, но всадник догнал его и выстрелил в упор — пуля прошла над самым ухом Пармана. И он, не соображая от страха, что делает, подхватил с земли толстенный сук и ударил им что было силы налетевшего всадника. Раздался сухой звук, — кр-р-ры! — и всадник вниз головой рухнул с седла. А потерявший от страха голову парень кубарем скатился с обрыва в горную речку, и его течением снесло вниз и прибило к знакомому берегу. Парман, хватаясь за кусты краснотала, выбрался кое-как на сушу и бросился, не чуя под собой ног, к знакомому хирману.

— Ох, сиротка ты мой! И что ж это дееется на белом свете?! — всполошенно причитал безбородый старик, увидевший Пармана задохнувшимся от быстрого бега, мокрым и ободранным. — Говорил тебе, доездишься, наткнешься на супостатов.

А Парман рухнул на старикову кошму, совершенно обесиленный пережитым, и уснул. Он не почувствовал даже, как дед раздел его, отжал одежду и развесил у очага, бормоча себе под нос:

— Ох, горе какое, ох и времечко настало!.. Война, одно слово — война...

Парман проснулся оттого, что безбородый старик тряс его за голое плечо:

— Вставай, сиротка, вставай быстрее!.. Беда! Только аллах спас тебя ночью, пожалел сиротку! — Старик приложил ладонь к уху: — Слышишь, что в кишлаке делается?

Парман привстал на локте и прислушался. Стояла такая тишина, что слышно было, как пищат комары на ближней старице. И больше ни звука. И вдруг женский крик, всхлипы... И опять тишина...

— Вставай, вставай же! — опять принялся за Пармана дед. — Говорят, что в дом Мурзакарима забрались воры, угнали корову.

— А кто это кричит в кишлаке? Будто женщина плачет... — перебил его Парман.

— Кто ж теперь разберет... Может, сам Мурзакарим орет! — опять прислушался дед. — Так вот слушай! Бросился Мурзакарим за обидчиками, а они его чем-то тяжелым огрели по колену... А как на землю с коня рухнул, так чуть полчерепа не снес...

Парман смотрел на деда расширенными от ужаса глазами.

— А кто его так?

— Да уж битый час толкую тебе — грабители, фу, какой непонятливый, — рассердился безбородый дед. — Может, помрет теперь Мурзакарим... А ты-то што так хрипишь, аль простудился в воде?..

Старик заботливо приложил свою сухонькую, легкую ладошку к Парманову лбу.

— Сколько тебе триндил: живи спокойно, ходи спокойно! Неслух, право, неслух!..

А Парман буквально обмирал от страха. Он, конечно, догадался теперь, с кем нелегкая столкнула его на дороге... «Что я натворил? А если и вправду помрет? — растревлял себя Парман. — Разве такое утаишь? По глазам моим поймут!..» И он быстро стал дашивать на себя непослушное, сырое белье, чапан, сапоги и пустился по кукурузному полю в обратный путь.

Парман бежал, спотыкаясь на неровностях пахоты, а кукурузные сухие стебли больно хлестали его по рукам и по лицу, он задыхался и все равно не мог остановиться, все бежал и бежал. «Как теперь быть, — стучало молоточком у него в воспаленном мозгу, — отпереться от всего? Или сейчас же все рассказать начистоту? Нет, не поверят! А за корову посадят в тюрьму, хотя я ее и в глаза не видал!.. Найдут

меня, точно найдут... Правду под полой чапана не спрячешь!..»

Повидаться с Шааргюль Парман, конечно, не решился. Что он ей скажет? Как объяснит случившееся? Поверит ли ему? Испытывать судьбу парень больше не решался и ходил как потерянный.

От внимания Торобека не укрылось состояние Пармана. Выбрав подходящий момент, бригадир оставил на него свою камчу:

— Признавайся сразу, что задумал? Глаза у тебя, парень, нехорошие, смурные...

— А что я, Торобек-ака? Я ничего...

— Не темни! Видели тебя на моем инокходце... на той неделе... А нашедся только вчера!.. Благодарил аллаха, что и седло и все остальное на месте, а то бы... — И Торобек, хмурый и недовольный, хлестнул коня камчой, ускакал по своим делам.

«Все, конец, — лихорадочно пронеслось в голове у Пармана. — Надо бежать, пока не поздно». Парман вспомнил о военном в зеленой фуражке, нынче побывавшем у их председателя, и решил, что приезжал он выяснять о нем... А что, если заберет? Засудят, конечно, засудят!.. Нет, Парман лучше сам умрет, лучше в петлю, чем такой позор... Вот почему он воспринял как избавление, как спасительную волю аллаха свою встречу с агентами, набиравшими сельских ребят в ФЗО...

Какой же он был тогда глупый и зеленый, хотя силой и ростом природа его не обошла. Конечно, теперь ему было легко судить о прожитом... А если бы снова все повторилось, как бы он поступил? «И почему не съездил тогда к Шааргюль? — запоздало казнил себя Парман. — Почему не рассказал ей правду? Пусть не поняла бы, но моя совесть была бы чиста и сейчас не чувствовал бы себя таким подлецом...» И тут же Парман корил себя снова и снова: «Ну ладно, молодой, глупый, а потом? Почему все забыл, от всего отрекся?» И ответа не было, а было только горькое, беспросветное отчаяние, боль и стыд.

* * *

Мурзакарим важно разгладил вислые усы, был он сегодня важен и доволен: наконец вспомнили его, вызвали в сельсовет. Конечно, сам он теперь старый и никому не нужный... Но Алтынбек — большой начальник в городе! Торобек знает

это отлично! Наверно, пенсию ему, Мурзакариму, выхлопотал внук большую, вот и вызывают, чтобы обрадовать.

Мурзакарим, важно вздернув облезлую бороденку, захромал в сельсовет. Он зорко своими глазками-буравчиками озирался по сторонам: видят ли соседи, какой почет оказывают ему, Мурзакариму?

В сельсовете он сразу же оказался среди уважаемых людей. Здесь были сам Торобек и смуглая председательша сельсовета... На старого Каипа Мурзакарим, конечно, и не взглянул, лишь на секунду задержал свой взгляд на незнакомом, городском, еле уместившемся на стуле, о котором знал только, что приехал в отпуск отдохнуть...

Мурзакарим опустил на свободный стул, скрестив ладони на пристроенной между ног палке, насторожился, так как по выражению лиц присутствующих не уловил ни особой расположенности к себе, ни радости от встречи. Хитрый старик сам решил начать разговор, чтобы быть хоть сколько-нибудь хозяином положения.

— Вижу-вижу, дочка, хорошие новости у тебя для старика, — обратился он к председателю сельсовета. — Давно пора пенсию мне увеличить! Может, персональную выписали, а?

Не отличавшийся никогда подходом и выдержкой Парман так и подскочил на месте:

— А за что вам вообще-то платят пенсию?

— Вах, что за тон, сынок? Старый я, к тому же инвалид, — Мурзакарим осторожно дотронулся до большой коленки. — К тому же человек я заслуженный перед Советской властью, так что персональную жду... Внук обещал похлопотать...

— Уж не ранены ли в борьбе с басмачами? — ехидно усмехнулся Парман.

Мурзакарим, заподозрив что-то, злыми щелками посмотрел на Пармана:

— Врать аллах не позволит! Травма у меня бытовая... От грабителей в войну пострадал...

— Правдивый вы, Мурзакарим, аллах, конечно, вознаградит за это, — рассмеялся Парман и встал со стула, всей своей грузной фигурой навис над сжавшимся стариком.

Мурзакарим замахал на него цепкими, как беркутиные лапы, руками.

— Ты это что? Ты что?..

— Ох ты бессовестный! — не обращая внимания на жест Мурзакарима, надвигался на него Парман. Он, чтобы ловкий

старик вдруг не вывернулся, схватил его за воротник и даже немпожко приподнял над стулом. — Когда ты в Жети-Жаре разбойничал, и грабил, и убивал, колено твое не болело?

— Сумасшедший, — истощно заорал Мурзакарим и стал вырываться из рук Пармана.

— Не ори, чего не надо, а лучше посмотри повнимательнее и сразу припомнишь, кто тебе колено раздробил! Вспомнил? По глазам вижу, что вспомнил!..

— А вот я тебя за это тоже инвалидом сделаю! — оставив в руках Пармана воротник, Мурзакарим замахнулся своим посохом и ударил по голове Пармана. — Получай, шайтан!..

Парман выхватил у Мурзакарима посох, сломал о коленку и выбросил в окно.

— Ох и подлец же ты, право, старая кобра! Да знаешь ли ты, что сам своими руками разрушил тогда счастье собственной дочери?

Мурзакарим прекрасно понял, о чем напомнил ему Парман, и глаза его сверкнули волчьим диким огоньком.

— Ах это ты, мерзавец, ты опозорил мой род, мою кровь!..

Торобек, увидев, что Мурзакарим сел на своего любимого конька, строго прервал его:

— Где сейчас ребенок Шааргюль?

— Ребенок? Ты имеешь в виду это грязное отродье? А почему мне знать!.. Священная кровь моих предков никогда не смешается с этим овечьим пометом, — уставил свой согнутый, с кривым ногтем палец в Пармана Мурзакарим и, тряся от бешенства головой, выскочил из сельсовета.

Настроение у всех было подавленное, и никто не осмелился преградить путь этому дряхлому старику, таившему в себе зло и ненависть поверженного класса.

IV

В кабинете секретаря парткома Кукарева собралось почти все комбинатское руководство. Беделбаев, как всегда, похозяйски разместился за столом парторга, разложив перед собой какие-то бумаги и документы, наскоро перелистывал, будто готовясь к выступлению перед значительной аудиторией. Здесь же, у торца стола, примостился Жапар-ака, по привычке поглаживая темя.

Сам Кукарев скромненько устроился в углу справа, облокотившись о шаткую тумбочку, на которой от неловкого дви-

жения хозяина кабинета нет-нет да и позванивали стаканы о пустой графин.

Маматай замешкался, оглядываясь по сторонам, где бы присесть. И Кукарев постучал своей широченной ладонью по соседнему сиденью. Маматай с благодарной улыбкой опустил на указанный стул.

Все с нетерпением стали посматривать на дверь.

Появился Алтынбек, небрежно бросив Беделбаеву:

— Извиняюсь, задержала Москва...

Беделбаев только еще больше насунился, не сказав ни слова.

Кукарев поднялся, обводя собравшихся внимательным взглядом, будто проверяя, готовы ли приступить к разговору; видно, убедившись, что все ждут его слова, начал:

— Пригласили мы вас сюда с Темиром Беделбаевичем, чтобы посоветоваться... Как известно, срок консервации автоматической линии истекает на днях, и нужно готовиться к пуску... Повторения всем известных срывов больше не допустим!

Иван Васильевич выразительно посмотрел в сторону Саякова, прислонившегося к подоконнику. Но тот демонстративно смотрел в окно.

Беделбаев назидательно поднял указательный палец:

— Вот-вот придет госкомиссия!

Кукарев опять взглянул на Алтынбека:

— Прежнее руководство не справилось, мягко говоря, с порученным делом... Будем сегодня утверждать нового руководителя.

— А партком кого предлагает? — сказал Жапар-ака.

— Предлагаем Бурму Черикпаеву. На комбинате ее знают, доверяют... Талантливый инженер, с отделочным производством знакома не понаслышке. В последние годы работала на крупном комбинате в Узбекистане. Так что опыта ей не занимать...

Алтынбек резко повернулся к Кукареву, не дал договорить:

— Бурму Черикпаеву? Женщину? На такое ответственное место? Не серьезно!.. К тому же, знаете ли, и репутация, — Алтынбек прищелкнул презрительно пальцами. — Сбежала, а теперь вернулась, поджав хвост... Видно, не очень там ее ценили... А мы ей сразу — ответственный пост!..

— Не убежала, товарищ Саяков, а уехала, временно, по семейным обстоятельствам... Работала она там на совесть! Своими работниками мы интересуемся...

Алтынбек весь напрягся, уловив в словах Ивана Васильевича какой-то намек в свой адрес, но это его нисколько не остановило.

— Дело не в этом... У нас есть и без Черикпаевой достойные кандидатуры, работавшие в свое время на монтаже линии... Я сам как-никак главный инженер и отвечаю за оборудование...

— Плохо отвечаешь, Алтынбек, — поднял очки от бумаг Беделбаев.

— И все-таки я категорически возражаю против кандидатуры Черикпаевой!

— Назови свою, посмотрим, — перевел на деловые рельсы разговор Жапар-ака.

— Вот это другой разговор! Предлагаю инженера Саипова.

В кабинете наступила отчужденная тишина.

— Никогда у тебя воды нет, — наконец прервал молчание Беделбаев, а затем в селектор своей секретарше: — Анна Михайловна, воды в кабинет Кукарева! — И раздраженным тоном Алтынбеку: — Вечно у тебя это землячество! Надоело! Саипов слабый инженер, наверно, будем снимать, не оправдал повышения... А ты его вой куда метишь. Не выйдет!

— Не только плохой инженер, но и грубиян, — возмутился Жапар-ака. — С людьми работать не любит и не умеет.

— Вах, техника от ругани Саипова не страдает! — хотел перевести в шутку реплику Жапара-ака Саяков. — К тому же я сам буду осуществлять непосредственное руководство.

Беделбаев пожал плечами:

— Зачем повторяться, Саяков. Мы уже сказали, что нам нужен ру-ко-во-ди-тель! Понимаешь? Чтобы было с кого спросить! А ты ответил за прежние срывы, за аварию?..

— Руководить без ответственности за дело любой возьмется, — подал голос и Маматай.

— Работаю я, работаю! Кто против этого может возразить? — гордо поднял Саяков свою красивую голову. — Да никто из здесь присутствующих не сделал столько для комбината, сколько я!

Беделбаев, услышав эти слова, подался вперед, уставив на Саякова свои толстые, как увеличительное стекло, линзы, в которых сфокусировался свет сильной настольной лампы. И всем на мгновение показалось, что от Саякова сейчас пойдет дым... Но взгляд директора утратил грозность, стал удивленным и растерянным. Впервые Беделбаев пожалел: не слишком ли ретиво выдвигали Саякова? Не переоценили

ли его образованность и деловые качества? И Темир Беделбаевич с горечью в голосе воскликнул:

— Эх, Алтынбек, не ради аплодисментов работаем... И сладкое едим, и горькое глотаем... Что поделаешь?..

— Темир Беделбаевич, к чему эти разговоры? Мы же не в детском садике...

— Ах вот как? Тем лучше, товарищ Саяков, будем говорить без обиняков, — стукнул кулаком по тумбочке рассерженный высокомерием главного инженера Кукарев, и стаканы ответили ему жалобным звоном. — Значит, решительно против кандидатуры Черикпаевой?

— Своих слов назад не беру, — пожал плечами Саяков.

— При этом ты руководствуешься только интересами комбината, или есть еще какие причины? Может, все дело в ваших личных, не сложившихся отношениях?.. Помнится, ты ведь уже было и на свадьбу приглашал...

— У нас нет больше никаких отношений — ни личных, ни деловых.

— А как же... сын?

— Сын? Бурмы Черикпаевой? Да мало ли женщин с внебрачными детьми! Я думаю, что партком — не место для сплетен и досужих разговоров... Где юридические доказательства? Нет их, и не может быть! И оскорблений я не потерплю.

Жапар-ака так и подскочил на своем стуле:

— Совесть-то должна быть!

— Не нуждаюсь в ваших эмоциях.

— Переходим к голосованию кандидатуры Бурмы Черикпаевой. Кто «за»? — первым поднял руку Кукарев. — Так и запишем: один против. Принята большинством голосов... Будем утверждать в горкоме партии. А о тебе, Алтынбек, повторю, поговорим на общем собрании...

Вернувшись в свой кабинет, Алтынбек повернул ключ в двери и рысьей походкой прошелся взад-вперед, обдумывая только что состоявшийся разговор. Он был недоволен собой. Но, что поделаешь, защищаться и оправдываться Алтынбек не любил, считал, что лучшая защита — нападение. И сколько раз его такая тактика спасала, казалось бы, в самых безнадежных ситуациях.

«Ничего, мы еще повоюем, — опасность только подхлестывала его волю. — До общего собрания не допущу... Если что, связи у меня есть, и какие связи! В крайнем случае, уйду на повышение!..»

Так что на следующий день Саяков появился на комбина-

те, как всегда, свежий, подтянутый. И Маматай отметил про себя: «Как с гуся вода...» Но он верил, что придет вермя, и Саяков ответит за все...

* * *

Весна еще на дворе, а солнце уже знойко припекает лопатки. И так приятно смежить ресницы и сквозь них лениво смотреть, как проносятся мимо низины и взгорья, покрытые ласковой, шелковистой зеленью.

Все живое разомлело от полуденного жара: и цветы у медленно протяжно журчащих арыков вдоль дороги, и отары овец, сбившихся в кучки и жующих свою извечную жвачку, и кони положили морды на спины соседей, дремлют, изредка помахивая хвостами.

Кажется, горы тоже нежатся под солнцем, вытянулись на спине, как рыжие львы, подняв к небу свои когтистые лапы и клыки...

Маматаю хорошо. Откинулся назад и наслаждается покоем и движением, любитесь открывающейся панорамой, не забывает поглядывать и на Бабюшай, твердо держащую руль «Москвича»...

Конечно, он теперь горожанин, технарь, а здесь посторошней, наездом. Но почему так радостно и тревожно замечать ему сильные, ухоженные всходы хлопчатника?.. Почему так сжимается сердце при виде одинокого всадника с кетменем у седла? Вот и Каип, его отец, когда-то был колхозным мирабом... И мысли Маматая переносятся в родной дом, и он вспоминает недавнее письмо матери, где она осторожно, намеком сообщает о душевном состоянии отца после возвращения из города: «Сын мой, отец твой теперь не тот, интереса не стало, и дом наш сиротским стал... Молчит все Каип. Заметила я: приходит и ложится лицом к земле на почетном месте, вздыхает... Приезжай, Маматай, ради отца, да благословит тебя, сынок, аллах...» Конечно, жизнь родительская заметно пошла на убыль, и тут ничего не исправить Маматаю... А то, что старый Каип переживает, хорошо. Пусть отболит, отпадет плохое!.. Останутся добрые мысли и дела человеческие. Как ни переживает отец, а знает, конечно, что детей они вырастили, до ума довели, значит, жизнь свою оправдали...

— Вот ты и забыл наш уговор, Маматай, ни о работе, ни о чем другом не думать. Что даст нам аллах сегодня, тем и жить будем, — Бабюшай кокетливо скосила глаза в его сто-

рону.— Никаких комбинатов, никакого железа... Воздух, горы и наша любовь!

— Тогда, Букен, спую тебе о любви, согласна?

— Да я только этого и жду, дорогой.

Маматай, прищелкивая пальцами, как будто подыгрывая себе, запел старый, каждому киргизу дорогой мотив, на который он в ранней молодости написал свои накипевшие на сердце слова:

Ищу давно судьбу свою,
Ищу я ту, кого люблю.
Где ты, любимая, ответь?
Стою у бездны на краю...
Закинула ты в сердце сеть,
Где ты, любимая, ответь?

Не красотой взяла меня,
А тем, что, верность мне храни,
Ты у меня одна навек.
Как звать? Спрошу у горных рек,
Скажу: — Айжан, отрада дня!
Скажу: — Кайрек — не Айчурек!

Щеки Бабюшай раскраснелись от радостного смущения. Сияя улыбкой и ямочками, она задорно спросила Маматая:

— Неужели уж так нехороша я? Неужели дурнушку любил?..

— Ну что ты, Букен. В том-то и беда, что ты у меня самая красивая! Ты — айчурек! — И Маматай потянулся к ней губами.

Бабюшай строго взглянула на парня:

— Не забывай, ведь за рулем я!..

А Маматай, несколько не обидевшись, продолжал без слов напевать тягучий страстный мотив.

Солнце еще не успело склониться с зенита, как они миновали горный отрог и углубились в прохладную ореховую рощу, а вскоре между могучими орешинами заиграла яркими блестками быстрая речка.

Бабюшай остановила машину.

Пахло влажной землей и травой, по которой были разбросаны редкие, самые отчаянные, сумевшие пробиться сквозь тяжелые кроны, солнечные золотые монеты. А вот и поляна. Здесь трава Бабюшай с Маматаем по пояс, густая, темная, то и дело вспыхивающая алыми прохладными маками.

Маматай машет девушке рукой:

— Иди скорей сюда!

Бабюшай перешитительно заглядывает туда, где, опершись в расщелину ногой, стоит Маматай — перед ней маленькое чудо: по ущелью вниз, с камня на камень, как серебряные денежки, перезванивают чистейшие капли горного родничка; капли шлепаются плоско об огромные камни, становятся веселой струйкой, которая, кувыркаясь на ходу, бежит вниз, закиная белой, как айран¹, пеной.

Маматай взял девушку за руку, и они стали подниматься на перевал. Ореховый лес становился все гуще и тише.

В долине сады давно отцвели, а здесь и алыча, и яблони еще крепко зажали в кулачки свои нежные белые лепестки. И орех тоже не сбрасывал свои сережки.

Бабюшай казалась робкой и маленькой и, как будто боясь чего-то, тихо прошептала:

— Какое чудо!.. Тихо, чисто...

— Чего испугалась, Букен! — громко спросил парень, не разобравшись в ее настроении.

— Да тише ты, — махнула рукой девушка. — Все испортил своим криком!..

— Лес... Киргизский лес! Наша земля, Букен! — И гордо добавил: — Киргизский Арстабаи...

— Отец показал мне много славных мест... А теперь понимаю, что ничего до сегодняшнего дня не видела...

Отдыхали они у голубых камней, где потаенно пробирался веселый извилистый родник. Маматай и Бабюшай подставляли ладони, ловили губами ледяные брызги, и им казалось, что пьянят они их, как пенный кумыс. Потом они уселись на плоских камнях, как будто специально приготовленных для них, и наблюдали, как издалека прилетали сюда осы и пчелы, чтобы испить целебной и освежающей водицы. И тут не обходилось без приключений... Пчела-работяга с увесистыми «бурдюками» цветочной пыльцы по бокам старалась выпить воды, но промочила крылья и не могла взлететь — билась-билась, не получается, тогда она вскарабкалась на камень, общупала, обсушила себя мохнатыми ладошками, протерла луноглазые глаза, поднатужилась и, забыв от радости, что взлетела, обо всем на свете, жужжа влипла в паучьи сети, умело расставленные в золотарнике... Паук тут как тут — и за дело. Обкрутил серый душегуб бедную пчелку, обмазал своей липучкой...

¹ Айран — кефир.

— Смотри, Маматай, у него все ухватки нашего Алтынбека, — показала Бабюшай соломинкой на бегавшего паука. — И фронт такой же: видишь, как расписан — золотом и блестящими. Только напрасны твои уловки, — это она уже пауку, — пчелку в обиду не дадим!..

— Что ж ты так своего коллегу, — пошутил Маматай.

— Коллегу?

— Разве не знаешь легенду? Был паук когда-то ткачом, уважаемым человеком, да возгордился безмерно своим мастерством, мол, нет ему равных на земле... Проклял его аллах за гордыню, вот и стал он таким, как теперь. А я что? Люди так говорят.

Оба весело рассмеялись. И Бабюшай вызволила пчелку из беды.

— А я люблю, Маматай, свою профессию. Идет женщина в красивом платье, а у меня на душе радостно, ведь ткань-то на ней моими руками сделана...

— Тоже мне романтика, — подначивал ее Маматай.

И они стали брызгать друг на друга родниковой водой и весело гоняться по поляне. Потом Маматай кинулся вверх, нарвал целую охапку горных маков, подкрался к Бабюшай, смеясь, опустился перед ней на колени, бросил к ногам цветы...

V

«Москвич» остановился во дворе, и Гюлум, стряпавшая ужин, причитая и хлопая себя испачканными в муке руками по бокам, появилась на пороге.

— Ой боже ж мой! Отец! — обернулась она в широко распахнутую дверь. — Выходи, отец!.. Маматай приехал... Бабюшай...

По своей появившейся в последнее время привычке старый Каип лежал, облокотившись на подушки, а как услышал исполошные призывы Гюлум, выскочил во двор с наскоро накинутым на плечи чапаном.

— Всемиловитый аллах! — воздел он руки на запад.

— Всемиловитый аллах, — вторила ему Гюлум, — исполнил ты мое желание... Вкусит сегодня Бабюшай нашей пицци в доме нашем! Отец, режь скорей барана! Теплыми легкими побью ее, только тогда позволю переступить свой порог...

Маматай покатился со смеху, так что долго не мог выговорить ни слова.

— О, апа¹! Ха-ха-ха... Не торопись, апа. Мы в гости приехали. До сватовства у нас еще не дошло... Придется подождать еще немного.

Совсем расстроилась Гюлум, даже кончик передника поднесла к глазам, будто ее счастье неожиданно-негаданно унесла горная река.

— Ох-ох, чего тянете?.. Ждем, ждем, уж все ждалки прождали... А молодость не ждет! Да и наши с отцом годы немалые, а мы, старые дурни, еще надеемся внуков на руках подержать...

Каип, хоть не произнес ни одного слова, но согласно кивал своей седой головой, чтобы скрыть волнение, неприличное мужчине, то и дело откашливался и поправлял полы чанана.

— Да ты не суетись, апа! Скоро-скоро на свадьбу пригласим!

— Что? — Усы у Каипа встали торчком, и он, оставив в покое полу чанана, стал усиленно теревить их пальцами.

А у Гюлум чуть не разорвалось ее старое сердце от такой новости! Гюлум и в мыслях не допускала, что Маматай осмелится жениться не в ее доме... Занавес при появлении жениха и невесты должен подняться только здесь, и нигде больше! Той² — здесь, и больше нигде! И бараны должны пролить кровь в ее дворе!..

— Дождались! — всхлипнула Гюлум. — Уважил, сынок, что тут скажешь...

— Да не расстраивайтесь... Говорю, будете во главе свадьбы.

На это Каип выставил свои усы:

— Чужих свадеб мы с матерью, слава аллаху, насмотрелись на своем веку, — и обиженно отвернулся в сторону.

— И здесь той устроим, как же иначе, — поспешил смягчить горе родителей Маматай.

У Гюлум отлегло от сердца:

— Вах, Маматай, совсем ты закружил мои мысли! А Сайдана-то, а Сайдана как?

— Да все хорошо, апа! Просто чудесно. Сейдека наша лучшей ткачихой становится. Мастер не нахвалится.

— Значит, не зря за нее аллаха прошу. — И извиняющимся тоном к Бабюшай: — Младшенькая она у меня, вот сердце материнское и беспокойно...

¹ А п а — мать.

² Т о й — свадебный пир.

— Не переживайте, Сейдека все время со мной,— успокоила ее Бабюшай.

— Вот и спасибо тебе, милая... Как только увидела тебя, сердцем почувяла — добрая... Ой какое же счастье моему сыночку?..

Узнав о приезде Маматая, на огонек прибыл и Торобек. Одышка совсем замучила здоровяка... Вот только немного прошелся быстрым шагом и задохнулся... Врачи советуют освободиться от лишних килограммов, да где там: раньше на коне, а теперь в «Волге» целый день Торобек путешествует.

Семья и гости, по чину разместившиеся на черпаи, не спеша тянули зеленый чай из ярко расписанных, береженных для гостей пиал. И разговор тянулся медленный, уважительный, о том, о сем, о работе Маматая, и о видах на урожай в колхозе, о табунах, и отарах, уже откочевавших на джайлоо.

Торобек сидел важно, всем телом налегая на подушку, и, на этот раз не подначивал старого Каипа.

Маматай сразу же почувствовал натянутость в их отношениях, уловил, что Торобек за что-то сердится на его старика, да только виду не хочет подать, и гадал, в чем же дело, что за кошка между ними пробежала?

Конечно, отношения Торобека и Каипа безмятежными никогда нельзя было назвать. В послевоенные годы в колхозе жилось туго. Люди день-деньской копошились в полях и на пастбищах, а на трудодни осенью, считай, получать было нечего. Не хватало техники, людей... И из колхозов бежали, кто в город, кто еще куда, чтобы найти верный кусок хлеба. Тогда и отец Маматая дрогнул, определился в соседний лесхоз сторожем.

— Вах, Каип, мы же дехкане... Нельзя оставлять землю, она без нас сирота, а мы без нее — еще больше сироты, — уговаривал Торобек, мертвой хваткой вцепившись в рукав чапана Каипа. — Здесь наше счастье, друг!..

— Не уговаривай, — вырвал из его рук свой рукав Каип и хлестнул что есть силы камчой своего скакуна...

Торобек долго не мигая смотрел ему вслед, потом выругался и пошел домой, низко опустив свою горемычную голову. Своей земле он не изменил, не изменил и кетменю, из года в год поднимая в колхозе земледелие. И земля не осталась в долгу у своего верного сына. Несколько лет подряд бригада Торобека снимала рекордные по тем временам урожаи хлопка. Тогда и слышали земляки по радио правительствен-

ный указ о награждении Торобека Баясова орденом Ленина и Звездой Героя Социалистического Труда, а вскоре его избрали и председателем родного колхоза.

Конечно, не случайно однажды встретил Торобек земляка Каипа и стал звать обратно в Акмойнок, но Каип был упрям и от своего не отступался, тогда Торобек в сердцах, чтобы поугагать, и высказал ему:

— Твой дом, Каип, на колхозной земле стоит... Через суд возьму с тебя налог и штраф за пользование колхозной землей!..

Так, силой, вернул Торобек Каипа обратно, а отвыкший за время работы в лесхозе от тяжелой крестьянской работы Каип стал просить председателя, чтобы определил его на работы полегче, чтобы можно было верхом, с камчой в руке...

— Ну что ж, — согласился легко с ним Торобек, — бери, Каип, табун и отправляйтесь с Гюлум на джайлоо... Дело для нас с тобой привычное, что называется, выросли бок о бок с лошадьми да овцами...

— Вах, Торобек, старый я зимой, весной мерзнуть на джайлоо!..

— А на земле, сам знаешь, легких работ нет...

— Возьми, Торобек, хотя бы мирабом, — взмолился Каип.

Торобек отвел глаза в сторону:

— Нет у меня сейчас такой свободной должности...

Тогда рассерженный Каип сильно вспылил, наотрез отказавшись быть табунщиком... А зря! Не прошло и пяти лет, как за успех в развитии коневодства всех — от заведующего до простых табунщиков — наградили высокими правительственными наградами и крупными денежными премиями.

— Эй, Каип, — встретил Торобек упряма. — Ты мне напоминаешь благородное животное, то, что с длинными ушами... Только его да тебя приходится тянуть на свежую густую травку у арыка, уговаривать да подбадривать камчой...

Каип только обиженно фыркнул в ответ, конечно, догадавшись, с кем сравнил его председатель колхоза.

Маматай знал прекрасно, что, если отца его уговорить подчас было просто невозможно, то обмануть очень и очень легко. Однажды рано утром, когда Торобек спешил в правление, зашел к нему домой Каип. В это время появилась из кухни жена Торобека с разогретым пловом, оставшимся от ужина. А Торобек, то ли решил, что плова мало на двоих,

то ли надумал просто подшутить над Каипом, только оттолкнул кесе¹ и наорал на жену:

— Вах, жена, одурела, что ли? Иль не знаешь, что не ем подогретые остатки? Прочь объедки, на двор скоту...

Каип, конечно, тут же клюнул на такую явную приманку и весь день судачил с кипшачниками:

— Слыхали, Торобек-то наш совсем заважничал: подогретый плов, баранье мясо не стал есть и ногой пнул..

«Пнул ногой». Каип безусловно, прибавил для красного словца, чтобы соседи скорее поверили в зазнайство председателя.

А сам Торобек долго смеялся, вспоминая, как обманул простачка Каипа.

Но не всегда победа в таких поединках и подначках оказывалась на стороне Торобека. Случалось «побеждать» и Каипу.

В засушливое лето колхозу особенно большое внимание приходилось уделять ночному поливу. Торобек тогда почти не спал, кочуя из бригады в бригаду.

— Вах, вода на глазах убывает, — сокрушались поливальщики.

— А что Каип смотрит — его участок первый от канала! — сердился уставший Торобек.

— Вах, Каипа не знаешь? Да он, видать, дома своих овец обихаживает, — ехидно выставил прокуренные зубы старый мираб.

Взревел мотор, и Торобек, поднимая клубы удушливой пыли, помчался к каналу. И в самом деле — вода почти не поступала, а Каипа и след простыл. Ругавшийся на чем свет стоит Торобек медленно ехал вдоль канала, озираясь по сторонам, чтобы в темноте на кого-нибудь не наскочить. Рассвет чуть брезжил. И тут в предрассветных сумерках он рассмотрел Каипа, растянувшегося под старой дуплистой ивой. Как ни приглядывался Торобек, не мог понять, спит Каип или отдал аллаху душу: изо рта у него проступало что-то красное.. У председателя сердце ушло в пятки: «Неужели давеча переехал?..» Торобек, несмотря на свой немалый вес, пулей вылетел из машины — и к Каипу! Приговаривая «Бедный мой друг!», приподнял его голову.

Каип заорал от страха и открыл глаза, а Торобек, сбитый с толку его криками, выпустил голову Каипа, и тот стукнулся о сухую землю, окончательно придя в себя. Зло-

¹ Кесе — деревянная миска.

счастный мираб вытащил изо рта красный мешочек и улыбнулся как ни в чем не бывало Торобеку.

— О шайтан! О проклятье! — так и взвился рассвирепевший Торобек. — Надело! Чуть сердце не разорвалось из-за твоих фокусов!

Оказывается, у Каипа ночью кончился насбай¹. А как ночью без насбая?.. У одного поливальщика спросил — нет, у другого тоже. Тогда Каип вышел из положения: набрал «орешков» горного козла, растер их и смешал с измельченным корнем кислячки — и в мешочек из-под насбая, лишь бы что пожевать. И такой «насбай» так крепко сморил Каипа, что он проспал всю ночь, забыв обо всем на свете...

Вспоминая прежние шутки Торобека и отца, Маматай грустно посматривал на стариков, чопорно восседающих друг против друга за чаем, будто не было у них общей молодости, работы и дружбы былой, будто встретились только сегодня за официальным угощением. Не поднял настроения и до румяной корочки поджаренный праздничный индюк, поданный Гюлум дорогим гостям.

Раскланявшись, поблагодарив за хлеб-соль хозяев, Торобек пригласил всех к себе на завтрак и чинно удалился. Ушла отдыхать и уставшая с дороги Бабюшай, так что сын с отцом остались одни у дастархана.

Маматай сидел напротив родителя, отмечая про себя, как похудел и постарел отец. «Даже усы обвисли, — расстроился Маматай. — Ох, отец, чем помочь тебе?»

Гюлум будто прочла мысли сына, громко сказала с кухни:

— Совсем раскис наш отец. Из дому не выходит, как медведь в берлоге...

И тут Каип не сдержался, видно, накопело на сердце — через край пошло.

— Вот, сынок, на старости лет узнал, что убийца я. — Каип всхлипнул и отвернулся. — Почему он меня тогда не придумил!..

— Отец, да я вижу, ты и сейчас ничего не понимаешь! Разве дело в том, что ты вынужден был защищаться? Конечно нет. Дело твое правое было, с какой стороны на него ни погляди! А вот за правду свою ты постоять не сумел, у Мурзакарима на поводу пошел...

Каип молчал, опустив голову.

— Без правды как жить людям? — продолжал Маматай

¹ Н а с б а й — жевательная, бодрящая смесь.

и прибавил, обращаясь к более понятному для отца доводу.— Шариат чему учит? Если с раскаянием и в вере придешь к аллаху, то прощаются грехи молодости... Так и здесь, рано или поздно надо понять свои ошибки, отречься от них, тогда и простятся они...

И все-таки в эту ночь Маматай оставил родителей с тяжелым, неловким чувством, ведь не всегда одна и та же правда бывает целительной для человеческой души. Наверно, и его правда была не для сыновних уст и не ко времени...

VI

Маматай проснулся от увесистых ударов в дверь и сразу не понял, что происходит. Лег он поздно и долго не мог уснуть, взбудораженный событиями прочитанной книги. И вот только-только сладко смежились его веки, как этот неожиданный грохот в дверь!..

— Кто? Что случилось? — подхватился с постели Маматай.

Вмиг он оказался у двери и повернул ключ: на пороге стоял — Парман-ака, растерянный, с трясущимися щеками, и вообще вся его грубоватая, мясистая физиономия с рыжеватой суточной щетиной выражала отчаяние и недоумение. Маматаю очень хотелось снова захлопнуть дверь перед Парманом, так он рассердился на него за столь поздний и неуместный визит. Но одно дело — желание, другое дело — приличия, и он предложил Парману пройти в комнату.

Парпиев, вздыхая и охая, бросился на диван, с которого только что поднялся хозяин. А Маматаю пришлось сесть на стул.

— Ну что, Парман-ака? Чем ты так взволнован, что добрым людям спать не даешь? — улыбнулся Маматай.

— Вах, земляк, совсем плохо!

— Да что случилось-то?

— Шааргюль, вах, Шааргюль... — мямлил Парман дрожащим голосом.

— Да что Шайыр? Говори толком, — и Маматай вышел на кухню за водой.

Парман-ака принял стакан и повертел его в здоровенной ладони.

— Нет, Маматай, вода здесь не поможет!.. К другим я утешительным средствам привык... Барма приучила, вах...

— Выпей воды и говори толком! — строго остановил его Маматай.

Парман послушался и выпил залпом весь стакан, поморщился. Теперь голос у него стал ровнее, а разговор внятнее.

— От Шааргюль, то есть от Шайыр пришел, Маматай, — умоляюще поднял он глаза на парня, — молю тебя, сходи к ней...

— Что, старую дружбу решил обновить? — догадался Маматай. — А Шайыр не захотела, да?

— Да вот пошел...

— Ни к чему это, Парман-ака, — не выдержал Маматай.

Парман снова заохал, наклонил вперед свою стриженную под ежик голову.

— Смотри, Маматай, что это ведьма со мной сделала!.. Ай-яй-яй, ох-ох, конец мне... Видишь, голову ковшом разбила?..

— Так ни с того ни с сего ихватила ковшом по голове?

— Нет, Маматай, она сперва упала без сознания. Я кинулся ее поднимать, брызгал в лицо водой...

— Отчего же она упала в обморок?

— Вах, эти женщины! Кто их поймет?.. Только сказал хорошую весть, что сын жив... Маматай, мол, видел...

Тут уж рассердился на бестолковость Пармана и Маматай. Действительно, он узнал, что сын Шааргюль и Пармана вырос здоровым и крепким парнем, а потом исчез из села искать своего счастья в жизни, благо некому было удерживать и уговаривать; что зовут его Чирмаш... А раз имя известно, ничего не стоит и разыскать. Этим Маматай и хотел заняться сам, чтобы зря не волновать и так много пострадавшую женщину.

— Ох, Парман-ака, я же просил не говорить пока ничего... Сорвется с места, отправится на поиски... А ведь искать можно и через справочное бюро.

— Знаю, что виноват... Только как тут утерпишь. Как узнал, бросился к ней, обнял ее колени... а онахватила меня по голове ковшом...

— Значит, не простила, — прикрывая рот ладонью, чтобы не обижать Пармана, улыбнулся Маматай.

— Где там!... Избегает она меня, а мне каково видеть ее горе! Хоть и проспал я полжизни, но теперь очнулся... Не тот я киргиз, понимаешь, который позволит ударить женщину.

— Подвели, Парман-ака, старые понятия. Раньше ведь как у нас рассуждали: «Умрет жена, постель можно обновить...» Считали, мол, женщина — на дороге, а ребенок — на спине...

— Вах, прав ты, тыщу раз прав... С этим наставлением в жизнь приходили. Так, все так, Маматай.

— А я говорю, Парман-ака, и думаю, что прав, — пословицы служат своему времени. И нужно их сто раз проверить, прежде чем применять к своей судьбе...

Маматай не успел договорить, как слова его заглушил еще более сильный стук, казалось, дверь слетит с петель.

— Да что это происходит сегодня! — опять бросился к двери Маматай.

Теперь уже ему пришлось открывать самой Шайыр. Она буквально задыхалась от быстрого бега и обильных слез. Шайыр сразу же вцепилась в Маматая:

— Правда? Говори! Правда ли это?

В глазах у нее были мольба, и страх, и надежда, и отчаяние. Она готова была в любую минуту еще сильнее разрыдаться или начать безудержно хохотать от радости.

— Правда, Маматай? — Голос ее совсем упал, почти перешел в шепот, а глаза вдруг стали робкие, осторожные, будто она боялась спугнуть птицу своего счастья, которая неожиданно села к ней на плечо.

Маматай прекрасно понимал, что происходит в душе Шайыр, знал, что сейчас любое сообщение может вызвать бурную реакцию. Он осторожно обнял женщину за плечи, усадил в кресло, принес воды:

— Да ты пей, Шайыр, тебе нужно успокоится, иначе я тебе ничего не скажу. Успокойся, все обойдется, все будет хорошо.

— Правда, Маматай, и что это я... — оглядываясь по сторонам и как бы начиная воспринимать действительность, сказала Шайыр и тут увидела Пармана и снова впала в ярость. — Ах, ты и сюда успел? А ну прочь! Сказала тебе, что теперь сами управимся... Теперь не нужен!

— Шайыр, Шайыр! Это называется — пришла поблагодарить меня, да? А сама шум-гам такой подняла, что завтра соседям от стыда на глаза не покажешься!.. Ночь же на дворе.

Шайыр виновато опустила глаза.

— Ну что ж, тогда слушай...

* * *

Маматай проводил Шайыр, совсем потерявшую силы от нервного потрясения. Она тяжело опиралась на руку Маматая, пытаясь изо всех сил сдержать лихорадочную

дрожа, охватившую ее, как только они вышли на улицу.

— Как придешь, Шайыр, обязательно выпей чего-нибудь согревающего и успокаивающего, лучше всего чаю с медом и ложись, а утром вызови врача. Это необходимо, понимаешь, теперь тебе есть для кого беречь себя... Еще внуков дождешься!..

Шайыр только согласно кивала головой.

Когда Маматай вернулся домой, часы показывали два часа с четвертью. Он разделся и лег, снова пытаюсь заснуть, но из головы не шла вся эта история с Шайыр, с Парманом и их сыном. «Чего доброго, и в самом деле уедет, она такая... — думал Маматай, вспомнив ее слова, когда та услышала, что сын ее живым ходит неизвестно где по земле. — Куда поедет? Где найдет? Ее это не интересует! Для нее сейчас главное — не сидеть на месте сложа руки...»

Шайыр так и сказала Маматаю, мол, пока ноги ходят, пока смерть не пришла за ней, будет день и ночь ходить по дорогам и спрашивать у встречных, кричать во всю силу души: «Помогите, люди, верните сына!..»

Маматай долго уговаривал Шайыр оставить эту бесполезную затею. «Тебе как человеку сказал, и ты понимай по-человечески... Ну и характерец у тебя, женщина...» И Маматай снова и снова втолковывал во взбалмошную голову Шайыр, что живет она в конце двадцатого века, что по дорогам сейчас мчатся машины, а не бредут путники с посохами... Объяснял Маматай ей, что человек — не иголка: раз рождение зарегистрировано, найдется ее Чирмаш, что одной ей поднять весь этот розыск не под силу, да и долго очень, что надо подключать общественность, администрацию, комбината.

— Ох, Маматай, не пойдет администрация на это... Что ей до меня?.. Правда, не всегда я на тихой работе пряталась... Прядильщицей работала... Имею благодарность...

— Что работник ты хороший, все знают, но в последнее время... Вот и говорю — возьми себя в руки, — вразумлял ее тогда Маматай.

— Давно я, Маматай, мечтала вернуться в цех!.. Думала, не сегодня завтра... — и Шайыр снова горько разрыдалась.

Мысли неслись, сменяя одна другую. Маматай думал о материнском сердце, о его неизбывной, безмерной любви, о той невидимой связи матери с детьми своими, перед которой, наверное, бессильна сама смерть. Он вспомнил о своей старой матери, о ее недавних словах: «Милый мой, у твоих

ровесников-односельчан по два сына! Почему ходишь один? Почему не хочешь обрадовать нас?» Слезы матери больше всего убедили Маматай, что они действительно что-то не так чоступают с Бабюшай, живут, будто дети малые, бездумно и безответственно, не заботясь о доме, о семье... И Маматай решил, что вместе возьмут отпуск и отправятся в свадебное путешествие... И тут прозвонил будильник, напоминая, что пора собираться на работу.

* * *

Маматай еще с трапа самолета увидел на автостоянке красивый «Москвич» Бабюшай. Благо багажа с ним не было, и он налегке поспешил к ней навстречу, подхватил, закружил, поцеловал.

— Несчастье случилось у нас на днях с Колдошем! Подкараулили его старые «дружки» — проломили череп железякой, да еще пустили в ход нож! — сообщила Бабюшай в машине.

— Ох, что же мы наделали! — схватился за голову Маматай. — Это я, я, Бабюшай, во всем виноват... Предупреждала меня Чинара, а я ушами прохлопал... Никогда себе этого не прощу!.. А теперь Колдоша нет... О сколько потерь за последнее время!..

— Не убили они его, слава аллаху... Правда, состояние у него крайне тяжелое... Айкюмуш Торобековна спасла его... Сам понимаешь, кроме тяжелых ножевых ранений еще внутричерепная операция!.. Три дня и три ночи от него не отходила, самолично дежурила...

— Бабюшай, дорогая, ты сама не знаешь, какую тяжесть с души сняла... Айкюмуш в ноги поклонюсь! Как хочешь, а правильные люди выросли у нас в Акмойноке!..

— Ну-ну, хвастунишка! — засмеялась Бабюшай, радуясь вместе с Маматаем, что с Колдошем все обошлось. — Да ты слушай меня... Самое интересное-то впереди! Так вот, настоящее имя Колдоша-то нашего, оказывается, не Колдош... Имя он свое изменил, взял чужое, как связался с преступниками... Они ему и документы достали, как сейчас выяснилось, убитого ими...

— Откуда ты все это узнала?

— Вах, Маматай, разве это существенно? Мог бы сам догадаться. Колдош рассказал, как только пришел в себя... Видно, не надеялся, что в живых останется, а остальное распутали органы, задержав преступников...

— Да, удивила ты меня, Бабюшай, — протянул Маматай. — Я думал, что только в книгах бывает такое...

— А кто может заглянуть в чужую душу? — сказала Бабюшай в ответ на вопрос Маматая. — Только самый близкий человек! И такой рядом с Колдошем, слава аллаху, есть. Он и доверился этому человеку впервые в своей неприкаемой жизни.

— Кто же он? — не хватило терпения Маматаю.

— Конечно, где тебе догадаться!.. Помучила бы тебя, да уж ладно, скажу... Наша Чинара, вот кто!

— Ну уж скажешь!

— Не наблюдательный ты, Маматай...

И тут Маматай вспомнил свой последний разговор с Чинарой о Колдоше, о том, как странно и непонятно вела она себя, как злилась и переживала, даже слезы на глазах выступили. Теперь-то он понял, что так может болеть за чужую судьбу только очень заинтересованный человек.

— Во-о-он оно что?.. — протянул Маматай.

— Да если бы умер Колдош, осталась бы у нас на комбинате еще одна вдова!..

— Неужели так, Бабюшай! — Маматай, чувствовалось по всему, совсем был сбит с толку. — А я-то все на свой аршин мерю...

Бабюшай снисходительно улыбнулась, она-то знала, какой Маматай, в сущности, еще ребенок, видно, придется ей всю жизнь его опекать...

— Давай поедем прямо в больницу к Колдошу!

— Ох, Маматай, так ты мне и не дал рассказать самого главного, ведь Колдош и есть сын Шайыр — Чирмаш.

— Ну, Бабюшай, видно, новостям сегодня не будет конца! Что же он, так сам и сказал, что он — сын Шайыр?

— Ишь ты, какой резвый, — рассмеялась Бабюшай. — Вах, как все просто и романтично: первые слова выздоравливающего парня — о любимой и о старой матери!.. Да ведь сам Колдош ничего такого и не подозревал, он же вырос на руках у старухи Биби, а о настоящих родителях и не слышал! Не надеюсь выжить, Колдош и позвал ее к себе... О ком ему было еще заботиться, чью любовь вспоминать...

Биби бросилась к нему в слезах: «Сыночек, слава аллаху, нашелся! А я-то, старая, все глаза выплакала...» Увидела она, что Колдош едва жив (называла-то она его, конечно, Чирмашем!), говорит: «Скажу тебе правду, сынок... Свидимся ли еще, аллах ведает, стара я, а тайну твоего рождения,

сын, на тот свет с собой брать не хочу...» И рассказала Колдошу о матери его — Шааргюль...

А наши-то все уже знали, что Шайыр и есть Шааргюль. Та бросилась к Биби, и она ей все слово в слово повторила, и родителей назвала, и год рождения, так что тут уж не усомнишься, как метрику выдала...

В машине наступило продолжительное молчание, видно, у Маматая иссякли все вопросы.

* * *

Когда Маматай в накинутом на плечи больничном халате вошел в палату, то сразу же столкнулся со страдальческими, окруженными черными тенями глазами Шайыр, застывшей у постели сына. Она уже выплакала, видно, все свои слезы и теперь терпеливо ожидала, когда у него снова наступит просветление: вот уже три дня Колдош опять находился в забвении.

Медсестра сразу же предупредила Маматая:

— Как видите, пока вам здесь делать нечего. Только из уважения к Айкюмуш выдала вам халат.— И обращаясь к Шайыр: — Советую и вам отдохнуть. Если что, тут же позову.

Но Шайыр отрицательно покачала головой.

Медсестра вывела Маматая в больничный коридор и тихонько прикрыла за собой дверь.

— Сестра, есть хоть маленькая надежда? — тихо спросил Маматай.

— Сама Айкюмуш Торобековна оперировала! Понимать надо! Обязательно должен жить! А потом, если бы вы знали, какие у вас на комбинате люди сердечные!.. Колдош много крови потерял — нужно было срочное переливание, знаете, сколько желающих отозвалось: и ребята, и даже Насипа Каримовна, и этот, как его, русский, такой рыжий и веселый?..

...В следующий раз Маматай пришел к Колдошу, когда ему разрешили понемногу, не утомляясь, разговаривать. Садясь у него в ногах, Маматай заметил на его глазах слезы.

— Что ты? Теперь, сам знаешь, все плохое позади... Теперь будешь сил набираться...

Колдош молчал, глотая слезы и благодарно глядя на Маматая, потом крепко пожал ему руку своей огромной, по-прежнему крепкой рукой.

Колдош нервничал, переживал, опасаясь, что бывшие ко-реша оклеветают его на допросе, свалив на него убийство того парня, чье имя и документы получил он от них когда-то. Ему бы выговориться, облегчить душу, а он молча кусал губы, отказываясь от еды, так что Шайыр совершенно измучилась с ним.

* * *

И снова показательный судебный процесс, связанный с делом Колдоша, в большом зале комбинатского клуба. Процесс затянулся на несколько дней. И не было такого человека на комбинате, кто бы не интересовался судьбой своего рабочего парня... Всем хотелось самолично заглянуть в глаза преступников, искалечивших только-только начинающуюся жизнь Колдоша, им хотелось увидеть глаза, забывшие о человечности и долге, о живой своей душе, чтобы всегда уметь отличить их в людской толпе, помочь близким избежать их жестокости...

А перед судом предстали действительно опасные, утратившие все человеческие качества преступники. Ради легкой наживы, кутежей они с легкостью калечили и убивали, кочуя для собственной безопасности из одного города в другой. Колдоша они поймали на малости, воспользовавшись его беспризорностью и растерянностью перед незнакомой, городской жизнью...

Колдош появился на процессе в качестве свидетеля только в конце заседания и ненадолго, так как врачи опасались за его здоровье. Он спокойно и основательно отвечал на все вопросы.

Среди вопросов, заданных Колдошу, был и такой: что помогло ему вернуться на комбинат, отказаться от прежней жизни? И Колдош, не задумываясь — видно, ответ давно созрел в его душе, — ответил:

— Да, началось с булочки, а кончилось краденой с комбината тканью... Страшно подумать сейчас, в каком пьяном угаре был тогда...

Все слушали Колдоша с сочувствием, потому что было видно, что это не просто слова, не просто желание расположить к себе публику, чтобы извлечь для себя пользу из человеческой жалости.

— Думаете, сразу очнулся? Сразу все понял? О-о-о, нет! Злился тогда, винил всех, только не себя... И злоба моя была не против врагов, а против истинных друзей. Тогда я все

надеялся, что подадут мне весточку кореша, откупят, ведь куш я для них сорвал знатный, — в волнении Колдош и не заметил, как перешел на блатной жаргон. — Да только зря поверил их обещаниям, мол, не бойсь, если что — вызволим хоть откуда, вернем на свободу...

Пришли ко мне с комбината те, кого я обидел, кого не любил! А я даже выйти к ним не захотел... И только с трудом, с болью стало до меня доходить, кто друзья, а кто враги... Кто в болото тянет, а кто — на гору, откуда видна вся правда людская...

А больше всех обязан я девушке, не побрезговавшей мной, полюбившей меня, как говорится, «черненьким»... Это — моя Чинара...

Из зала, смеясь, заверили Колдоша, что свадебный той устроят ему с Чинарой на славу.

— И еще прошу оставить мне — мой псевдоним, — Колдош еле выговорил это слово, очень гордый за свою осведомленность. — Парень тот, что носил это имя, был, видно, человеком! Оказал сопротивление этой мрази... Так вот, теперь и навсегда хочу быть — Колдошем... Прошу суд мою просьбу уважить.

Хотя Колдош и бодрился, не показывал вида, боясь переутомления, вызвали машину и увезли его в больницу.

С преступниками же обошлись по всей строгости и справедливости закона, и зал благодарил суд, не только разобравшийся в этом сложном и запутанном деле, но и проявивший терпение и гуманность к Колдошу, помогший ему вернуться к людям, к работе, в коллектив.

VII

— Здравствуй, дочка, — с приветливой улыбкой сказал Жапар.

Перед ним стояла Бурма Черикпаева, недавно назначенная начальником отделочного цеха и ответственной за ввод в эксплуатацию автоматической линии.

— Рад, рад тебе, — пожимал ей руку аксакал. — Еще раз поздравляю с назначением, желаю удач на новом, ответственном поприще.

— Спасибо, Жапар-ака, спасибо за оказанное доверие, за то, что не забыли...

— Тебя ведь семейные обстоятельства заставили уйти, дочка?

— Ох и вспоминать, Жапар-ака, не хочется. Что было, то было...

Жапар не стал углубляться в подробности, почувствовал, что Бурме этот разговор в тягость, и спросил о деле:

— Что госкомиссия говорит о линии?

— Комиссия установила, Жапар-ака, что строительство и монтаж линии велись без необходимых подготовительных работ. Из-за этого и авария случилась...

— Известное дело,— поддакнул аксакал.

— Но есть и новости... притом неприятные для нас... Госкомиссия пришла к выводу, что автоматическая линия нам не нужна: во-первых, комбинат далеко от центра, во-вторых, нет у нас в достаточном количестве квалифицированных кадров... Так что линию могут опять законсервировать на энное время.

Жапар не выдержал, прошелся взад-вперед, заложив одну руку за спину, а другой поглаживая по привычке темя.

— Вот к чему приводит легкомыслие,— обернулся он к Бурме.— Конечно, в первую голову виноваты мы сами, недосмотрели, но Саяков нас подвел здорово, и сейчас его вареву никак не расхлебаем...

Высказавшись напрямую об Алтынбеке, Жапар-ака немного успокоился и начал пространно рассуждать на более отвлеченные темы:

— Конечно, трудности у нас немалые. Многие упирается в психологию, в извечные традиции, а тут скоро не поспеешь... Сама знаешь, Бурма, давно ли наш народ познакомился с такими понятиями, как «завод», «фабрика», «станок», «электричество»... Сейчас у многих свои машины, а отношение к жизни подчас старое, со времен путешествий на верблюдах и осликах. И развлечение у наших предков было знаменательное — козлодранье... Каждому хотелось приз получить... Так вот эта психология, это стремление к «призу» во что бы то ни стало и сейчас нет-нет да о себе заявит, разве не так, дочка?

Бурме ничего не оставалось, как согласно кивнуть старику, больше из уважения, чем из согласия.

* * *

До свадебного тоя оставалось всего три дня. И на комбинате, и в семье Чинары уже отчетливо ощущалось предпраздничное, приятное возбуждение. Больше всего, конечно, суетились Бабюшай по поручению комбинатской молодежи,

жена Саши Петрова Галя по собственной инициативе и Насипа Каримовна как мать и профсоюзный уполномоченный...

— Иди домой, подружка, отпустили ведь, — уже в который раз выговаривала Чинаре Бабюшай.

Упрямая Чинара решила настоять на своем. Поправив платок, она направилась к своим станкам.

И тут уж не выдержал сам Жапар-ака, надевший новый голубой комбинезон не по росту, полученный недавно со склада — на комбинате по распоряжению только-только появившихся дизайперов была введена новая рабочая форма, отвечающая, как разъяснили на собраниях, эстетическим нормам! Жапар-ака прямо сказал упиравшейся Чинаре:

— Ты, дочка, фокусы оставь. Комбинат заботится о своих работницах — три дня на свадьбу выделил. И тоже должна уважать людей... До тебя гуляли и после тебя будут гулять наши молодоженки по три дня, так что не нарушай...

Чинара в ответ только спрятала улыбочку в ладони.

— Папа, раз Чинара такая упрямая, не хочет оставить станки свои без пригляда, можно я и их пока себе возьму? — подлетела к Жапару Бабюшай.

— Со своими управься, коза, — ласково потрепал Жапар дочку по румяной щеке.

— Да я справлюсь, — рассердилась Бабюшай. — Раз говорю, значит, справлюсь. Все вы меня за маленькую считаете.

— Нет, дочка, давай пока без экспериментов. Вот отгуляем свадьбу у Чинары, тогда вместе и соревнуйтесь, многостаночницы. — Жапар, явно любуясь, посмотрел на Бабюшай, словно только сейчас заметил, какая она у него видная и деловая.

В это время прозвенел звонок, возвещающий конец обеденного перерыва, так что спорить было уже некогда, и Жапар махнул рукой:

— Ну, разве уж очень в себе уверена...

Бабюшай благодарно поцеловала отца в шершавую, обветренную щеку.

Еще мгновение — и непривычная тишина в цехе взорвалась многоголосым, разнотонным гулом станков — это тот, кто не работал никогда в цехе, считает, что все станки гудят одинаково. А вот спросите у ткачих, и они вам объяснят, что узнают сразу, как собственных детей, свои станки по голосам. Девушки разом, дернув на себя ручки, как будто стартовавших на большой приз аргамаков, запустили в работу станки...

Бабюшай до самого конца смены прыгала у своих и Чинариных станков, как резвая белочка. Самолюбие мешало ей признаться даже себе, как она устала, ведь только на одних ее станках даже средняя по квалификации ткачиха не управилась бы, а ведь еще прибавились станки Чинары, передовой ткачихи и многостаночницы!.. И все-таки она успевала везде, и ей было радостно сознавать свое торжество над машинами, а ради этого, право же, стоило и покрутиться, тем более что вскоре у нее объявился помощник, сам Парманак, при малейшей заминке устремлявшийся к ней на помощь.

Девушка все эти дни летала как на крыльях. Все ей удавалось, все были добры к ней. А сама Бабюшай не только ставила рекорды у себя в ткацком, но и в подготовке к свадьбе Чинары была первым, неистощимым на выдумки организатором. Даже Насипа Каримовна запротестовала однажды, когда они, набегавшись, вместе сидели за чаем.

— Милая Бабюшай, мне просто неловко перед тобой!..

— Почему, эджеке¹?

Насипа Каримовна виновато улыбнулась девушке:

— Да ведь не семижилная же ты, дочка...

Так они и беседовали потихоньку, наслаждаясь после дневной колготни покоем и душистым чаем. Разговор был обычный, о том, о сем... И вдруг Насипа Каримовна, внимательно посмотрев в глаза Бабюшай, сказала:

— Помнишь, детка, как-то вы навещали меня больную... Тогда еще и Маматай, и Сайдана были?.. Спросила ты меня о Чинаре?.. Не хотелось мне тогда при дочке об этом речь заводить... Ну а теперь слушай...

Помнишь, я говорила, что получила на Джандарбека похоронку, когда уже трещали от натиска наших войск ворота Берлина... Знаешь, что сына похоронила и уехала в город одиночество свое сиротское мыкать... Как в сказке, выронила я по неосторожности зеркальце своего счастья — оно вдребезги и разбилось об острые камни... Поступила я в городе на хлопкоочистительный завод.

С людьми на комбинате сразу поладила, были у меня уже и опыт и образование. Только в работе душу и отводила, а домой приду — четыре безответных, равнодушных стены: с одной молча Джандарбек смотрит, с другой — сынок и как будто упрекают, что не уберегла... Веришь ли, Бабюшай, чуть ума я не решила... Вдруг удумала, что выход со своим

¹ Эджеке — уважительное обращение к пожилой женщине.

горестным прошлым покончить только один — выйти снова замуж, родить детей... А только что-то останавливало меня все время, наверно, воспоминания былого счастья с Джандарбеком — чувствовало сердце, что такой любви больше не будет у меня...

В то время, видно, приглянулась я нашему электромонтеру: подойдет к моему станку, пошутит, мол, чего в гости не зовешь — молодые, холостые, может, что и сладится у нас... И характер как будто тихий у него, уважительный...

Видно, шайтан попутал меня, и сейчас стыдно вспомнить, да и рассказываю тебе, Бабюшай, наверно, зря... Пригласила я как-то этого электромонтера к себе, уступила его просьбам да шуточкам... Весь день ходила не в себе, а под вечер постучался он ко мне... Как полагается, пили чай, разговаривали. Не спешил он с ласками, видно, боялся спугнуть — немало времени прошло, прежде чем он накрыл мою руку своей здоровенной ручищей. А я как окаменела, ни гу-гу... И гость осмелел — поцеловал, прижал к груди...

Надо же такому случиться! Тут мой взгляд, не знаю случайно или нет, думаю все-таки, что судьба, встретился с глазами Джандарбека на портрете... Ох, Бабюшай, хочешь верь, хочешь нет: добрая его, даже чуть-чуть робкая улыбка стала вдруг жесткой, язвительной, даже скорбные складки у рта появились... Думала сначала — показалось!.. Но нет, вправду смотрел он на меня презрительно, осуждающе... И я, не соображая, что делаю, изо всех сил толкнула своего гостя в грудь, закричала, чтобы уходил прочь... А тот, ничего не понимая, постоял секунду-другую и обиженно, схватив свою шапку с тумбочки, выскочил на улицу...

Ох и ревела же я в тот вечер, закрыв дверь на крючок. Опомнилась только за полночь, твердо решив взять ребенка из детского дома, а еще лучше прямо из роддома, чтобы не узнал ребенок никогда, что не родной, что не подкидыш...

Бабюшай сидела тихая и ловила каждое слово Насипы Каримовны, погруженной в свои давние переживания.

— Свое решение не стала я, Бабюшай, откладывать на потом. Ведь это только мы сами тешим себя мыслью, что все впереди, что не за чем торопиться... И принесла я в теплом одеяльце домой недельного младенца, легонького и такого доверчивого. Девочка всю дорогу ловила воздух губами, искала материнскую грудь... Хорошо, мне в роддоме сразу же дали донорское молоко — накормила, перепеленала, замирая от радости и от страха перед своей ответственностью за чужую жизнь. И началась возня: то пеленки, то мытье, то корм-

ление — за молоком в консультацию бегала, давали в первую очередь. Дни считала, когда кашкой можно будет подкармливать. Бывало, ложась в постель, спрячу на груди бутылочку с молоком, чтобы не остыла. Как закричит, перепеленаю и соску в рот... И кажется, что улыбается она мне, деточка моя...

Раньше как бывало: проснусь утром и лежу, как недобитая, не шелохнусь — не к кому спешить-то. А теперь с утра юлой верчусь. Делаю дела, а сама поглядываю на портрет Джандарбека, доволен ли, улыбается ли мне... Радуюсь горю: «Смотри, дочка у нас какая! Подрстет, будет мне помощницей...»

А однажды пришла мне в голову дурацкая мысль — никогда себе этого не прощу! Как кто толкнул меня в бок, мол, что ж ты сыну изменила, не мальчика взяла... Вернулся бы в нем к тебе твой Джайдербек!.. И имя бы ему дала сыновье...

Сгоряча схватила я дочку — в одеяло и в роддом. Хорошо врача не оказалось на месте, а то бы и дочку отобрали и сына не дали... Это, конечно, я уже дома сообразила, а тогда мне было не до рассуждений...

Сижу, жду врача. Откинула угол одеяльца, вижу девочка ловит ротиком соску. Достала я соску из чистого платка, дала. И тут она как будто узнала меня: глазки стали осмысленными и губки будто в улыбке растянула... Я специально наклонила голову в сторону, гляжу — и она глаза за мной ведет — не ошиблась я!.. Прижала я теплый комочек к себе, и сердце зашло от счастья. Разве могла отдать обратно! Признали мы друг друга, породнились...

Имя я ей не сама давала... Было это так: вынес мне ее главврач и сказал: «Нет у нее пока ни имени, ни отчества, ни фамилии! Совсем чистый листочек — пиши, что душе угодно... Думаю, что фамилию и отчество сами дадите, а имя мы сейчас с вами ей самое красивое придумаем!» Он на минутку задумался, глядя в окно, и ударил себя по лбу: «Назовем Чинарой, пусть будет такая же стройная красавица, как вот эта чинара у нас под окном, согласны? Ну вот и хорошо, ну вот и отлично!» — сказал, передавая мне в руки ревуший краснолицый сверток...

Все, конечно, было: и трудности, и заботы, и переживания, болела ведь, как все дети... И незаметно тянулась вверх моя Чинара...

Теперь ты все знаешь, Бабюшай... Ты одна... Чинаре я, конечно, никогда ничего не скажу: не для того я ее тог-

да из роддома взяла, чтобы теперь одним словом осиротить!

Бабюшай согласно кивала головой, проникнувшись особой нежностью к Насипе Каримовне. Теперь она понимала, почему Чинара так гордилась своей матерью.

* * *

Алтынбек Саяков не умел прощать — не такого он рода-племени, чтобы терпеть обиды. А обида на последнем заседании парткома, как он сам считал, была нанесена ему страшная. И не только обида, можно считать, оскорбление, можно считать, затронута честь Алтынбека: ни Кукарев, ни Жапар-ака, ни даже сам Беделбаев не скрывали насмешки и презрения... А чего стоят одни угрозы! Ведь грозили же и обсуждением на общем собрании — это чтобы опозорить сильнее, это чтобы не среди равных по положению, а чтобы все — от подсобников до учениц ПТУ — потом показывали ему, главному инженеру, пальцем вслед и хихикали!.. Это было уже сверх всяких мер!

Ежедневно, как только выпадала незанятая минутка, Алтынбек отравлял себя мстительными, нетерпеливыми мыслями о том, как он накажет обидчиков: он уйдет, ему есть куда уйти — в управление и в научно-исследовательский институт давно зовут его не дозовутся. Вот тогда Алтынбек и посмотрит, как они обойдутся без него!.. Посмотрит, как комбинат даст план во главе с Бурмой Черикпаевой!..

При одном упоминании этого имени Алтынбека начинала трясти мелкая дрожь. И чего ей мало было в Ташкенте? Ну и время пришло, раньше бы ее в приличное общество и не приняли бы! А теперь, нате вам, вернулась как ни в чем не бывало!

Алтынбек никогда не был увлечен Бурмой, и теперь он был доволен, что все обошлось, что ему не пришлось за свою должность главного инженера расплачиваться женитьбой по расчету... А ребенок Бурмы? Откуда Алтынбек знает, чей это ребенок? Может, его, а может, и нет? Раз девушка так легко пошла на близость с мужчиной, какая уверенность в ее верности? И теперь он винил Бурму во всех своих житейских неурядицах, и прежде всего в том, что потерял расположение Бабюшай и, конечно, что приехала мозолить ему глаза со своим незаконным отпрыском. Алтынбек, естественно, постарался как можно скорее забыть все свои до-

могательства, букеты, простаивания часами под окнами, клятвы в любви и верности и публичные заверения о скором свадебном тое... Зачем помнить неприятное? Разве для этого живем? Алтынбек считал, что жизнь нужно прожить с комфортом, на виду, чтобы было о чем вспомнить!.. Он топил себя, вернее, даже утешал мечтами, что в старости будет сидеть, как старик Мурзакарим, на почетном месте, а к его ноге прижмется, как сам Алтынбек когда-то к своему деду, маленький внучек и будет самозабвенно слушать о том, каких служебных и житейских высот достиг его удачливый, могучий предок — дедушка Алтынбек!.. Уж он-то тогда не хуже самого Мурзакарима сможет приподнести своему внуку житейскую мудрость...

Алтынбек и виду не показывал, что его комбинатский авторитет дал трещину. Он был, как всегда, красив, улыбочив, в отличном импортном костюме, подчеркивавшем стройность его фигуры. И в работе Саяков был такой же — энергичный, всем интересующийся, требовательный. Он появлялся во всех цехах, на планерках и заседаниях и, конечно, у Лины Михайловны с неиссякающими шоколадками, букетиками и улыбками, чтобы та постоянно держала его в курсе беделбаевских дел...

А главный инженер очень нужен был в данный момент комбинату: вот-вот должна была вступить в действие вторая очередь — с сотнями сложных машин и механизмов. Отрегулировать, установить и внедрить — дело не только ответственное, но и требующее каждодневного, неусыпного внимания, руководства... После тщательной проверки приходилось переконструировать многие детали, а также ремонтировать и приспособлять к новым условиям и задачам морально устаревшее оборудование некоторых цехов. И самое сложное здесь, конечно, было в комплектации технического персонала, рабочих кадров. Комбинату нужны были не просто рабочие руки, а творчески мыслящие работники, можно сказать, потенциальные инженеры — опытные слесари, токари, фрезеровщики, сварщики и наладчики. Нужны, просто необходимы были комбинату свои монтажники, так как сейчас здесь работали командированные с текстильных предприятий Иваново.

От всех этих переживаний и постоянной эмоциональной и умственной нагрузки Алтынбек стал нервным, взвинченным, плохо спал, срывался по пустякам. А тут, как назло, все будто сговорились против главного инженера.

На днях зашел Саяков по каким-то неотложным делам

в кабинет начальника ткацкого цеха. У Маматая были Халида и Чинара. Халида плакала, а Чинара гладила ее по голове, успокаивала. Алтынбек хотел уже прикрыть дверь, но его увидел Маматай, так что пришлось войти.

— Ох, Халида, если б знал, заслонил бы тогда Хакимбаю! А что я теперь могу? Знаю, словами здесь не поможешь, Хакимбаю не вернешь!.. — не обращая внимания на главного инженера, говорил Халиде Маматай.

Алтынбеку бы помолчать, что он и сделал бы раньше, а теперь нервы не те — влез к чему-то в разговор.

— Что мы можем теперь, Халида! — вкрадчивым голосом начал Саяков. — Хакимбаю не поднимешь слезами... Не падай духом, крепись! Вырасти детей своих...

— О детях Хакимбаю и разговор-то! — отчужденно, так что на Алтынбека повеяло холодом, сказала ему, даже не взглянув, Чинара. — Попробуй теперь без отца двоих подними, доведи до дела!.. Помнится, на могиле у Хакимбаю кое-кто не скупился на обещания, да очень скоро забыл о них... Да, у товарища Саякова и вправду память совсем плохая, неподходящая для ответственного работника... Где уж о детях лучшего друга помнить, — Чинара ловко спародировала голос и интонации Алтынбека, произнесла «лучшего друга», — своих-то не надобно...

В кабинете повисла гнетущая тишина.

А Чинара не унималась:

— Видите?.. Очень хорошо! Смотрите преспокойненько, как бедной вдове приходится одной расплачиваться за чужие грехи — в ночную смену ходит, надрывается... И все ради них, ради деток!..

— Хакимбаю торопился внедрить автоматическую линию...

— Вах, остановись, Алтынбек, — не выдержал Маматай. — Выпустить один метр ткани на месяц раньше, так уж необходимо государству, чтобы расплачиваться за этот метр человеческой жизнью!.. Ты нам-то хоть голову не морочь.

Опять воцарилась тяжелая, давящая тишина. Ткачихи встали и потихоньку вышли из кабинета Маматая. И Алтынбек, оставшись без свидетелей, так и набросился на Маматая.

— Какое имеешь право обвинять в смерти Хакимбаю? Почему позоришь при подчиненных? Я уже тебе говорил, что Пулатов — инженер и технику безопасности обязан был выполнять... Если допустил аварию — сам виноват... Сам, сам, сам...

— Себя уговариваешь, Алтынбек!

— Подай в суд, если можешь доказать...

— Заладил: «суд, суд»... Не все судом решается! Во все времена наши дела и поступки прежде всего судит наша совесть!

— Не будем во время работы отвлекаться на досужие разговоры, — оборвал Маматая Алтынбек. — Пришел я по делу...

Быстро закончив деловой разговор, Алтынбек вышел из кабинета, показывая всем видом, что его ждут еще более срочные дела.

Только дома, вечером, сидя, поджав под себя ноги, на широкой, застеленной ковром тахте, Алтынбек позволил себе вспомнить о разговоре в кабинете Маматая. И им овладела растерянность, близкая к панике. «Нет-нет, так нельзя! Что со мной, с моей головой? — схватился руками за виски и застонал Алтынбек. — Так я совсем все испорчу! — И строго приказал самому себе: — Молчи, Алтынбек! Молчание — золото...»

Алтынбек понял, что нужно начинать новую жизнь на новом месте. «Разом разрублю все узлы. Главное же, легче будет бороться за Бабюшай! Сейчас, как в кишлаке, вся жизнь на виду! И силетен хватает. А если уйду с комбината, то что захочу, то и будут знать», — радовался выходу из положения Алтынбек.

Вскоре он узнал ошеломляющую весть, лишившую его всяких надежд стать директором комбината, ради чего и терпел все передрыги последнего времени, ради чего рисковал тогда с досрочным пуском автоматической линии... Вместо Беделбаева, уходившего на долгожданную пенсию, должен был прийти новый директор и кто бы подумал! — сын Жапар-ака — Осмон Суранчиев...

Нет, положительно удача отвернулась от счастливица Алтынбека. Он, как Сизиф, не считаясь ни с чем, толкал в гору свой камень... И вот, наверно, рано поверил в удачливость, и судьба наказала его: камень вот-вот выскользнет из его ослабших рук, покатится вниз, может, раздавит и самого Алтынбека!.. Так что главное сейчас — вовремя отскочить в сторону, пусть прокатится мимо... Жаль трудов, но что поделаешь, нужно убавить самонадеянности. И убавил бы Алтынбек, если бы смог, если бы эта самонадеянность не стала сутью его характера, его души.

Алтынбек понимал, что от прихода Осмона Суранчиева на комбинат ничего хорошего для себя он ждать не может. Вот какой он, Алтынбек, оказался недалёковидный (Саяков на-

деялся, что такой оплошности в дальнейшем не повторит), ведь были они с Осмоном вместе на курсах усовершенствования главных инженеров текстильных предприятий в Москве. Он, Алтынбек, представлял свой крупный перспективный хлопчатобумажный комбинат, а Осмон — какую-то безвестную заштатную фабричку. Вот и поглядывал Саяков свысока на этого самого Осмона, всячески подчеркивая свое превосходство.

* * *

Комсомольский свадебный той Чинары и Колдоша праздновали в комбинатском клубе. Молодежи собралось больше, чем даже ожидали: оказался тесным для танцев самый большой зал-гостиная клуба, так что парочки кружились даже в фойе.

Наверно, только одна Бабюшай чувствовала себя здесь одинокой без Маматая: надо же, перед самым тоем ему пришлось уехать в срочную командировку!.. Девушка два раза протанцевала с Сашей Петровым, и то только по настоянию Гали, заявившей, что обидится на Бабюшай кровно, если та не захочет хоть немного развлечься. На все другие приглашения отвечала категоричным отказом и даже отсела в сторону, чтобы все видели — она не танцует. Тут, воспользовавшись ее уединением, к Бабюшай и подсел Алтынбек.

— Букеш, почему не веселишься?

— То же самое могу и у тебя спросить...

— Вах, Букеш, наверно, старый стал для танцев.

Бабюшай только улыбнулась в ответ. Тогда Алтынбек поинтересовался как бы между прочим, просто чтобы завязать необязательный, как сам он выражался, «салонный разговор»:

— Осмон скоро приезжает?

Девушка внимательно посмотрела в глаза Алтынбека, но прочла в них только восхищение и покорность.

— Нам он ничего не писал. Разве сюрпризом или еще как!..

— Вах, разве ты не в курсе?

Губы Бабюшай приоткрылись от удивления, сделав ее еще миловидней и нежней, так что Алтынбек потихоньку придвинулся поближе, ощущая локтем и бедром теплую упругость ее тела. Бабюшай от любопытства не заметила этого движения Алтынбека и смотрела на него с явным интересом.

— Не думал, Бабюшай, что первым узнаю о назначении нашего Осмона на место Беделбаева! Даже раньше семьи!.. — Алтынбек, став вдруг печальным, сказал выжидательно: — А я решил уехать отсюда, Букеш... подал заявление...

Бабюшай вопросительно подняла брови.

Пожав плечами, Саяков задумчиво сказал:

— Время уходит на какую-то колготу... Носушь целый день по комбинату, бьюсь как рыба об лед, а благодарность сама знаешь какая... Займусь диссертацией... Пора! Предложили мне поработать в академии...

Бабюшай по-прежнему молчала. И Алтынбеку непонятно было, одобряет она его или нет. Так что разговор поддерживать пришлось опять самому.

— Вот видишь, Осмон защитился — и результат налицо! И ответственность и почет! А мне что мешает?..

Алтынбек попробовал заглянуть в глаза Бабюшай, но взгляд ее был отсутствующим. Она машинально следила за танцующими, улыбалась, если в поле зрения попадала знакомая пара, даже махала рукой... Но Саяков решил гнуть свое.

— Жаль, конечно, что не придется поработать с Осмоном: вместе мы бы горы свернули... Он, конечно, понял бы и оценил меня... Мы с ним ученые одного плана... Оба творческой закваски...

Почему-то Бабюшай вдруг утратила всякий интерес к разговору, поднялась и, уже стоя, как бы между прочим сказала:

— Раз все так, как говоришь, зачем уезжать? — И, не ожидая ответа, направилась к появившемуся в зале Жапару-ака.

— Букеш, куда ты? Поговорить надо... Можно проводить?

— С отцом домой пойду.

— А завтра встретимся?

— Нет, Алтынбек, завтра я занята.

Алтынбек с готовностью, чтобы не спугнуть девушку, развел руками:

— Ну что ж поделаешь... нет так нет...

— Что-нибудь срочное у тебя ко мне? — на всякий случай спросила Бабюшай.

— Подожду, Букеш. Я терпеливый и навязываться не люблю...

— Согласна встретиться, если услышу опять новость, подобную той, что об Осмоне, — отшутилась Бабюшай, беря под руку Жапару-ака.

Обнадеженный Алтынбек шел за ними, соблюдая приличествующую дистанцию. Слух у него был тонкий, так что вскоре Саяков услышал, как Бабушай сказала повстречавшейся девушке, что в это воскресенье поедет по делам в соседний город...

* * *

Впервые Алтынбеку не хотелось идти домой... А ведь давно ли он с наслаждением опускался в мягкое кресло перед цветным телевизором, — единственным пока во всем городе! — разместив на столике под рукой сигареты и коньяк. Сознание того, что он и здесь, в области, живет со столичным размахом, не только утешало его, но и делало значительнее в собственных глазах.

И вот теперь он сидит на жесткой, облезлой скамье в прокопченном выхлопными газами скверике на дорожном перекрестке. Настроение хуже некуда, и болит голова, и нервы совсем расстроились.

Плохи дела у Алтынбека. Сильно затянулась полоса его невезения. Или так уж будет всегда до конца его дней? В это поверить Саяков не хотел, уверяя себя в том, что судьба ни при чем, что виноват во всем он сам, нервы. Уж сколько раз говорил себе, мол, будь осторожен с Кукаревым, Жапаром-ака, и осторожничал, как мог. А тут Беделбаев вдруг вышел из повиновения! Давно ли он только поддакивал Саякову, смотрел ему в рот, ждал решающего слова. Теперь же перекинулся на сторону Кукарева и еще с ним!.. В результате опять столкновение в кабинете парторга.

Началось все с того, что Бурма Черикпаева с молодым инженером из ее цеха нашли и осуществили техническую новинку. Раньше ведь как было? В цехе работали несколько фарсовальных машин. Фарсовальщик по нескольку раз прогонял через свою машину, доводя до необходимой кондиции, ткань. Бурма с коллегой соединили все станки в один агрегат, так что ткань непрерывной лентой проходила из машины в машину. Осуществлялась та же операция, только без потерь на перезарядку. К тому же высвобождались рабочие руки: агрегат могли обслуживать один-два фарсовальщика.

Алтынбека страшно задело то, что внедрили в производство они это изобретение через голову главного инженера, то есть его, Саякова. И он решил ни за что не уступать, наказать подобный произвол. Но за Черикпаеву и молодого инженера вступились директор, Кукарев и Жапар-ака. На

сей раз обошлось без Маматай, и только потому, что уехал в командировку. Так что у Алтынбека опять полный провал... И особенно обидно — верх над ним взяла Бурма!

Саяков вспоминал благословенные времена, когда Беделбаев неизменно соглашался с ним и прочил в преемники, называл «сыном»... Где оно теперь? Разве вернешь?.. Утешало только одно: все равно Бурма Черикпаева в его подчинении, но утешение было слабое, ведь лучше бы ее здесь не было вообще...

Расстроенный вконец, Алтынбек еще долго бродил по давно уснувшему городу, несколько раз подходил к окнам Бабюшай и даже видел ее тень на задернутых занавесках. Он бы зашел — пусть выгнала бы, пусть накричала, но встретиться с Жапаром-ака?.. Ни за что на свете! И он снова ушел, а потом возвращался. Вот и весь дом погрузился во тьму...

Никому не было до него, Алтынбека, дела. За окнами города шла своя, отдельная от него, жизнь, никогда не интересовавшая Алтынбека, потому что все удавалось ему, все было впереди... А теперь?.. Неужели в его тридцать два года жизнь окончательно отвернулась от Алтынбека? И вдруг на него накатила холодная, неукротимая ярость. «Это все Маматай! Стоило ему появиться на комбинате!.. Ничего-ничего, его-то я укорочу! Главное, понял, где зло против меня затаилось...»

* * *

Алтынбек встал рано, и первой его мыслью было, что сегодня он обязательно должен встретиться с Бабюшай — когда еще выпадет такой удобный случай поговорить с ней в непринужденной располагающей обстановке!..

Он выключил хрустальный ночник, так как не переносил ночью оставаться в темноте, и зажег верхний свет, потом выбрал подходящий к случаю костюм серо-голубого отлива, прекрасно оттеняющий его смуглую чистую кожу.

Рассматривая себя во весь рост в трехстворчатом зеркале сразу в нескольких ракурсах, Алтынбек явно остался доволен собой.

Утро начиналось неплохо. Сейчас он только на минутку заскочит на комбинат, а потом сразу же — на автостанцию.

Саяков, привычным движением включил зажигание собственной «Волги» и, плавно выехав из ворот, свернул к комбинату.

...На автостанции он сразу отыскал глазами Бабюшай, стоявшую у самого окошечка в билетную кассу. Когда она направилась к остановке, пряча билет в сумочку, он как бы невзначай вышел ей навстречу.

— Букеш? — как можно естественнее спросил, удивляясь встрече. — Ты ли?

— Конечно, Алтынбек, в нашем городке такая встреча совершенно невероятна? — лукаво рассмеялась Бабюшай. У нее тоже, видно, было хорошее настроение.

— Ты, кажется, куда-то собралась? — вежливо осведомился Алтынбек. — Если так, могу подвезти!..

Бабюшай заметила, что им, возможно, не по пути. Алтынбек назвал городок, в который, по словам ткачих, собиралась Бабюшай, и прибавил, что ждал товарища, но тот его подвел, проспал, конечно... Сказал и внимательно посмотрел в глаза девушки: поверила ли? Кажется, поверила... Тогда все в порядке и можно действовать дальше.

— Прошу в машину...

— На автобусе доеду, спасибо... автобус сейчас отправляется, — она достала билет, отыскивая глазами номер автобуса.

Алтынбек взял у нее из рук билет.

— Да твой автобус придет только через пять минут, так что... — Алтынбек вдруг разорвал билет на мелкие клочки, взял недовольную Бабюшай под руку. — Доставлю мигом по холодку, а если захочешь, вернешься на автобусе.

Бабюшай и не заметила, как очутилась в «Волге» Алтынбека, рядом с ним, и он с места набрал скорость, чтобы та не передумала.

С того свадебного тоя Бабюшай несколько изменила свое отношение к Алтынбеку, ее сбила с толку показная радость Алтынбека за ее брата Осмона. Тогда она еще не знала о его назначении, а Жапар пояснил, что предложить-то Осмону место Беделбаева предложили, но Осмон еще ничего не решил, и не им гадать, как он поступит...

Бабюшай спокойно смотрела перед собой, на бегущую навстречу и исчезающую под машиной серую ленту шоссе. Ею овладело странное оцепенение, и она лениво отвечала на дотошные расспросы Алтынбека, зачем она едет в городок, что ей нужно купить, куда зайти, когда она рассчитывает вернуться назад, казалось, задаваемые им только из вежливости и желания занять медленное дорожное время.

Глядя на доверчиво расположившуюся Бабюшай, Алтынбек решил, что решительный разговор нужно отложить на

обратную дорогу — теперь он был уверен, что уговорит ее вернуться вместе, — а сейчас — поменьше личной заинтересованности, мол, просто товарищи, попутчики...

Вскоре он замолчал и включил приемник, создавая еще более интимную обстановку, нашел нежную, плавную мелодию, стал мурлыкать ее себе под нос, потом, приглушив музыку, усмешливо сказал:

— Вах, сентиментальным становлюсь, Букеш, как только слышу музыку, вспоминаю молодость, прежнюю жизнь... И жалею, конечно...

Бабюшай упорно отказывалась принять участие в разговоре.

— Кажется, институт окончил только вчера... А если подумать, вон сколько годков убежало! И ты тогда была выпускницей профтеха... — сказал и замолчал. Ему нужно было только направить мысли Бабюшай в нужном направлении.

...Бабюшай вспомнила свой выпускной вечер, где впервые увидела Алтынбека. Она выросла в городской семье, умела держать себя на людях свободно: без ложного смущения и желания обратить на себя внимание. Алтынбек выделил ее из толпы выпускниц.

А выпускницы наперебой щебетали, нет-нет да и поглядывали в сторону Алтынбека, с затаенной надеждой и страхом — вдруг не обратит внимания! — ждали приглашения на танец. Да и сама Бабюшай сочла за великое счастье то, что он однажды покружился с ней в вальсе, крепко держа за талию и нежно пожимая ее полную доверчивую ладошку. Подруги провожали их завистливыми взглядами.

Алтынбек вежливо отвел Бабюшай на место, опустился на соседний стул, наклоня блестящий прибор в ее сторону, рассказал девушке о себе и, что смог, выспросил у нее — о семье, о планах на будущее, о подругах и товарищах... Потом пригласил ее в кино «как-нибудь на недельке...». Бабюшай, конечно, с готовностью согласилась: Алтынбек поразил ее не только своей внешностью, но и образованностью, и любезным обращением.

Чинара и другие девчонки сразу же одобрили ее выбор и то, что она согласилась пойти с Алтынбеком в кино. А одна из девчонок горько вздохнула:

— Красивые, они обидчивые, чуть что — нос кверху и прощай! Да и ты, Букеш, девушка видная, так что, может, сладится у вас...

— Ох, стыдно мне, девчонки, со взрослым в кино ид-

ти!.. — прижала Бабюшай ладошки к раскрасневшимся щекам.

— Тоже мне, героиня романа!.. — фыркала Чинара. — Ты что, маленькая?..

И Бабюшай пошла с Алтынбеком в кино, а потом — в залитый лунным светом садик, где ее кумир целовал ее, пробуждая мечты о бесконечной любви...

Алтынбек не мешал ей вспоминать свое прошлое с ним: может, та ниточка не оборвалась, может, она еще протянута от ее сердца к сердцу Алтынбека?.. И он осторожно оставил машину около нужного Бабюшай магазина.

— Вах, приехали, Букеш, — выходя из машины и открывая ей дверцу, с радостной надеждой в голосе сказал Алтынбек. — А я тоже по своим делам... Если не возражаешь, потом встретимся — и домой...

Бабюшай неопределенно кивнула головой. Но Алтынбеку больше пока и не нужно было, лишь бы зацепиться, а там жизненный опыт возьмет свое.

* * *

У Алтынбека не было никакого дела в этом пыльном заштатном городишке, и время в ожидании Бабюшай тянулось медленно и тоскливо. Казалось, дню не будет конца, что он так и будет вечно сидеть в машине и рассматривать пыльные акации на центральной площади перед местной облупленной гостиницей. Не выдержав, поехал на окраину, в облюбованную по дороге сюда чайхану.

Зеленый чай здесь подавали отличный, и Алтынбек за пиалой душистого густого напитка вдруг обрел утраченный им в последнее время, казалось навсегда, душевный комфорт. Алтынбек сидел и думал, как, в сущности, человеку мало надо для счастья: глоток хорошо заваренного чая и маленькую надежду на любовь!..

Бабюшай, поставив перед собой с верхом набитую хозяйственную сумку, ждала его у края тротуара.

— Думала, что уехал, не дождался...

Он с удовольствием отметил послышавшийся ему упрек в голосе Бабюшай.

— Садись скорее, — открыл дверцу и улыбнулся одними глазами, — а то вдруг возьму и укачу!..

Бабюшай понравилась шутка Алтынбека. Оказывается, он простой и несколько не зазнайка, только самолюбивый очень... Ей почему-то хотелось оправдать Алтынбека, поче-

му-то хотелось верить, что теперь они станут просто товарищами и Алтынбек бросит преследовать ее своими страшными, внушающими ей страх, намеками.

Алтынбек прервал ее мысли, воскликнув весело:

— А не закусить ли нам в дорожку, а? Как ты находишь, Букеш?

— Нет, не будем терять времени! — запротестовала Бабюшай. — Я только что вышла кофе, да и ты, конечно, перекусил..

На время планы Алтынбека рушились. «Ничего, — перестраивался он про себя, — будет еще ресторан по дороге... Только бы согласилась... А там музыка, шампанское, то да се...»

Алтынбек с готовностью взялся за руль. Ехали быстро по хорошей дороге, и такая езда доставляла им явно удовольствие. Алтынбек вел машину смело, потому что рука у него была твердая и реакция отличная. Бабюшай сама не первый год водит машину, поэтому вполне могла оценить его мастерство.

Опускающееся прямо на глазах к перевалу солнце уже не грело землю. В воздухе чувствовалась осенняя свежесть и умиротворенность, обволакивающая в эту пору все: и деревья, и убранные поля, и притихшие арыки...

Алтынбек остановил машину около колхозного сада, протянувшегося вдоль дороги, — захотелось размять затекшие от долгого сидения ноги, набрать в легкие настоящего па запахах осенней земли воздуха.

— Ах, как хорошо!..

Бабюшай любовалась огненными красками, опалившими враз яблони и урючины. И на яркой, неправдоподобной зелени травы уже лежали вороха этой огненности, напоминая бездымные костры... И на ощупь они были прохладными и влажными от упавшей росы... Пусто, тревожно...

Алтынбек неожиданно разрушил это очарование какой-то нездешней тишины. Закричав и захлопав в ладони, он показал Бабюшай одно-единственное яблоко, случайно уцелевшее на самой макушке...

— Разве я не счастливый джигит, а?.. Это мое яблоко, Букеш, смотри, какое оно красное и большое, как улыбается мне!

Алтынбек стал озираться по сторонам, ища, чем бы сбить свой трофей, и, подняв палку, ударил ею по яблоку, и оно медленно хлюпнулось в опавшие листья. Подняв его и держа

в нетерпеливых ладонях, Алтынбек с горечью увидел, что вся сердцевина у него была выклевана...

Девушка, понимая разочарование Алтынбека, отвела глаза в сторону, делая вид, что ничего не заметила. Но ей тут же пришлось обернуться от крика Саякова, проклинавшего злосчастное яблоко и свою неудачу. Бабюшай взяла его за руку:

— Ну стоит ли так расстраиваться из-за пустыков!

Тут Алтынбек решил, что самое время начать решительный разговор, ради которого он и потратил целый день. Они так и подошли к машине рука в руке. Алтынбек сел на заднее сиденье, предварительно достав из багажника сверток, развернул его. Там оказались колбаса, помидоры и шоколад.

— Сейчас перекусим и поедем.

— Да я же сказала, что не голодна!

— Ну посиди хоть для компании со мной, — хлопал Алтынбек ладонью по пушистой обивке сиденья. А когда та села, протянул ей шоколад. — От этого-то ты, надеюсь, не откажешься?

Бабюшай надкусила плитку своими ровными красивыми зубами, поблагодарив Алтынбека улыбкой. И тут он вдруг откуда-то извлек бутылку коньяка, наверно, достал, когда включал приемник. У девушки округлились от страха глаза.

— Алтынбек, ты с ума сошел! Ты же за рулем!

— А мы с тобой только по глоточку, Букеш! Только для настроения...

Бабюшай хмуро и стчужденно посмотрела на него. И он, оттого что все надежды его рухнули вмиг, что протаскался он целый день за Бабюшай как дурак, как персональный шофер маматаевской невесты, хватил прямо из горлышка. Коньяк обжег пустой желудок, горячими ручейками стал растекаться по всему телу. И на душе сразу отлегло.

— Букеш... милая Букеш... Я сегодня от тебя жду решительного слова... Ты должна меня осчастливить... Не хочу больше играть в прятки, а в твое чувство к этому тунице Маматаю просто не верю.

— Что это значит? — высокомерно вздернула подбородок Бабюшай. — Кто позволил такие слова!

— Нет, ты любишь меня, — упрямо повторил Алтынбек, уверенный, что Бабюшай набивает себе цену.

— Любила... — вдруг стала грустной и какой-то тихой девушка.

— Прости, прости, Букеш,— бросился к ней Алтынбек, обнимая ей колени и всхлипывая от жалости к себе.— Прости, Букеш... Всю жизнь на руках буду носить... Не захочешь здесь остаться, увезу на край света, только скажи, не томи... Передо мной блестяще будущее...

— Не надо, Алтынбек!

Саяков удивленно и зло посмотрел на нее. Да помани он пальчиком — любая побежит, а про Бурму и говорить почему! Кому она теперь нужна?

Алтынбек прибег к крайнему средству, решив припугнуть, коснуться, как он считал, самого болезненного уголка девичьего сердца.

— Что, старой девой решила остаться? Или считаешь, что все еще молодая? Да в прежние времена на тебя уже никто бы и не позарился...

— А ты не переживай за меня! У меня на то отец-мать есть, и брат есть.

— Значит, на Маматая надеешься, ха-ха! А он на Шайыр глаз положил! Конечно, тебе-то он не рассказал, как хаживал к ней... А теперь с Бурмой крутит... С такими прощ — с ними в загс идти не надо...

— Ну и грязный же у тебя язык, Саяков... Грязный и скользкий,— брезгливо поморщилась Бабюшай.— Нет у тебя ничего святого! Нет в твоей черной душе слова «азамат»! А ты еще себя джигитом величал! Зачем про Шайыр, Бурму рассказал? Побольнее задеть? А говоришь о любви... Не любишь ты никого и никогда не полюбишь, потому что главное в твоей жизни — успех, нажива, показуха...

— Да я не от злобы, а от жалости раскрыл тебе глаза на Маматая, чтобы знала, на кого обратила свой взор...

— А ты между нами клин не вбивай! Мы сами разберемся, если что не так... Хватит, поговорили,— и Бабюшай хотела сесть за руль, помня о выпитом Алтынбеком коньяке. Но Алтынбек, сильно схватив ее за плечи, снова усадил рядом.

— Загубила ты жизнь мою, Бабюшай!

— Не я, а твоя самонадеянность погубила тебя, так и знай! — снова сделала попытку вырваться девушка, но Алтынбек с силой захлопнул дверцу, а Бабюшай с ужасом снова увидела бутылку с коньяком в его руках.

— За рулем своей машины буду сидеть только сам! — Алтынбек быстро перескочил на шоферское место и рванул вперед, чтобы Бабюшай не успела выпрыгнуть из машины.

Алтынбек сам не понимал, что с ним происходило. Всегда такой осторожный и предусмотрительный, теперь он утратил всякую власть над собой. Конечно, это Бабюшай своим отказом выбила его из жизненной колеи! Что ему теперь осталось? Тоска, позор, пренебрежение? Нет, с этим он никогда не примирится! Ничего-ничего, он сильный, он еще крепко держит в узде скакуна своей судьбы, может еще и прищипнуть как следует! Или он не джигит, чтобы прокатиться с ветерком!

Ему нужна была разрядка, физическая усталость! Нужны были еще более сильные эмоциональные ощущения, чтобы перебить впечатление от только что состоявшегося разговора, заглушить, а если получится, и вытравить совсем из сознания. И Алтынбек включил предельную скорость...

«Волга», как тяжелый трудолюбивый шмель, казалось ему, не касаясь колесами шоссе, равномерно жужжа, летела вперед, и Алтынбеком овладело восторженное ощущение легкости и полета, когда все удается, все доступно и подвластно мыслям и рукам человеческим. И он несказанно обрадовался, что стал снова прежним Алтынбеком — любимчиком и баловнем судьбы.

Алтынбек забыл о Бабюшай, о том, что она, сжавшись от предчувствия беды в комочек, как замороженная застыла на заднем сиденье справа от него и расширенными зрачками следила за судорожно метавшейся стрелкой на шкале спидометра. «О аллах, что же делать? Как остановить этого безумца?» — повторяла и повторяла она про себя, понимая совершенно отчетливо, что сейчас Алтынбек не услышит ни ее просьб, ни угроз...

Дорога была ровная и сухая, так что пока Саяков справлялся с рулем и даже начал что-то пьяно, заплетающимся языком напевать себе под нос... А если камень, рывтина или встречный транспорт? Как тогда?

И в это время на шоссе появилась арба, груженная желтыми, матовыми дынями. Бабюшай увидела их так отчетливо, как будто подержала в собственных руках!.. Ее удивило, что она уже не волнуется и не боится... Она смотрела и на происходящее и на себя саму как бы со стороны! Не удивило ее и то, что при такой бешеной гонке воспринимает все как при замедленной съемке: вот возница в длинном чапане и лохматой шапке испуганно обхватил шею взбрыкнувшего ослика, а тот рванулся на середину шоссе... Вот арбача в отчаянье взмахнул длинными рукавами...

Последнее, что услышала Бабюшай, это ругань на чем свет стоит Алтынбека... Потом — сильный удар... И свет померк в ее расширенных зрачках...

* * *

Алтынбек очнулся на больничной койке и, ничего не понимая, ощущал непослушными пальцами голову, напомнимшую ему элечек¹, так она была укутана бинтами... Он приподнял бинты, спускавшиеся на глаза, и увидел медсестру, сидящую возле него на табурете.

Где он? Что с ним? С трудом Алтынбек припомнил сильный удар и последовавший звук «карс!» — и снова темнота, вязкая, гнетущая, без звуков и ощущения.

Окончательно Алтынбек пришел в себя только на третьей сутки после аварии, когда он, вильнув вправо от встречной арбы, врезался в ствол дерева на обочине шоссе.

В глазах Алтынбека стояли слезы, и губы дрожали, и он едва выговорил:

— Не хотел я!.. Не хотел!..

Сестра низко склонилась над ним, вытерла слезы. И Алтынбек увидел, что она уже не молода, с добрыми морщинами у глаз, усталых и внимательных.

— Все будет хорошо, — обнадежила она Алтынбека, — выдоравливай поскорее. Все будет хорошо...

— Я не хочу умирать! Не хочу...

Женщина улыбнулась ему, как ребенку, и погладила по тыльной стороне ладони.

— Вот чудак! Раз не умер, теперь будешь жить!.. И здоровым будешь... А вот твоей спутнице меньше повезло...

* * *

Маматай только что вышел из здания аэропорта и нетерпеливо осматривался по сторонам, искал Бабюшай, но ее нигде не было, и Маматай решил, что девушка или не получила телеграммы, или не смогла отпроситься встретить его. Он остановил такси, чтобы добраться до города.

У парня было отличное настроение. Он сам не понимал, чему так радуется: возвращению домой? встрече с любимой? Конечно, но было в его настроении еще что-то восторжен-

¹ Элечек — женский головной убор.

ное, что-то необъяснимое, от чего захватывает дух, как перед прыжком с парашютом, и становится чуть-чуть страшно перед неизвестностью приземления.

«Больше не хочу откладывать! Сегодня же скажу Бабюшай: пойдём в загс, и точка! — положив рядом на сиденье букет роз для невесты, лихорадочно думал Маматай. — Возьмем Суранчиевых — и в Акмойнок!.. Жапар-ака давно собирается навестить места своей молодости, вот одним разом все и устроим!..»

О несчастье с Бабюшай он узнал сразу! Некому было его подготовить, пощадить... На белом бесчувственном бланке телеграммы, посланной Маматаю в город его командировки и вернувшейся следом за ним, четким крупным шрифтом значилось: «Бабюшай тяжелом состоянии больницы тчк Жапар-ака»...

Маматай не помнил, как добрался до больницы, как получил белый, неприятно шуршащий от крахмала халат... Очнулся он только, налетев с разгона на Айкюмуш в больничном длинном коридоре. Айкюмуш поймала Маматая за руку, сильно сжала.

— Крепись, парень! Не имеешь права раскисать! Мы нужны ей здоровые и сильные, а слез и вздохов ей своих хватит, понял?

Маматай молчал, стараясь взять себя в руки, «сглотнуть» незаметно от Айкюмуш болезненный жесткий комок слез, застрявший в горле...

— К ней тебя сейчас не пущу... Без сознания она... Готовим к повторной операции... — Увидев отчаяние в глазах парня, сочувственно добавила: — Пройди ко мне в кабинет. Там сейчас Жапар-ака...

Жапар за три дня, что прошли с момента аварии, составил неузнаваемо, но держался твердо, внешне даже спокойно, пожал Маматаю руку и нахмурился, выслушивая слова сочувствия.

— Все будет хорошо, Маматай! Врачи у нас прекрасные... А если что, теперь и Москва не далеко... Айкюмуш уже связалась и получила положительный ответ, но пока решили не беспокоить, сделать все возможное здесь, на месте...

У Маматая отлегло на душе.

VIII

— Букен!.. Бабюшай!.. — сказал Маматай севшим от волнения голосом.

Перед ним было бледное, восковое, осунувшееся личико

Бабюшай. На слова Маматая не дрогнули даже казавшиеся теперь особенно черными и длинными ресницы.

— Это я, Маматай!.. Посмотри на меня, Букеш!..— И ему вдруг показалось, что ресницы чуть-чуть приподнялись...

На самом деле состояние Бабюшай было весьма и весьма тяжелое. Она была без сознания, и отправка ее в Москву становилась неизбежной, и Айкюмуш позволила Маматаю зайти к ней в бокс...

В этот день Маматай узнал от Айкюмуш правду о состоянии Бабюшай.

— Ты не ребенок, Маматай, будь мужественным!.. Ташкентский профессор смотрел... Состояние тяжелое... Будет жива или нет, пока никто сказать не может...— Айкюмуш пристально посмотрела в глаза Маматая.— Мое мнение, дорогой, жизнь ей современная медицина сохранит, а вот как будет со здоровьем?.. Вернется ли способность мыслить? На эти вопросы тебе сейчас никто не ответит...

IX

Маматай переживал, наверное, самые тяжелые дни в своей жизни. Бабюшай увезли в Москву, он, как неприкаянный, не находил себе нигде покоя. На комбинате, особенно в их ткацком, Маматаю все даже самое незначительное напоминало о девушке: спецовка на ткачихе, похожий платок, станки, быстрые движения рук... Как же он будет жить, если вдруг не станет Бабюшай?.. Вот ведь и недели не может без нее... «Пойду куда глаза глядят... Воля в своих руках»,— решил парень размыкать по свету свою горькую судьбину.

И тут же Маматай рассердился на свои мысли: «Фу, дурь какая в голову лезет!..» Разве он только для себя одного по земле ходит?

Он распахнул широко окно, и прохладный, терпкий осенний воздух освежил его разгоряченную голову. Маматай смотрел на высившиеся невдалеке стройные, монументальные корпуса родного комбината, залитые щедро электрическим сиянием окон, и тоска отступала от его измученного сердца: здесь он не одинок, здесь его родные и близкие люди!

Маматай присел на подоконник и закурил, выпуская дым от сигареты на улицу, и он стремительно уносился прочь, как и его отчаянное настроение. В эту ночь он впервые вспомнил о своем дневнике и улыбнулся.

Листая дневник, парень наткнулся на свою давнюю записку о Бабюшай: «Сегодня опять неприятность!.. И опять

из-за этих щебетушек-ткачих! (Здесь стояла сердитая неосторожная клякса, видно, Маматай в сердцах сильно тряхнул самопиской!) Одной-то уж я точно не по вкусу. Видать, очень дотошная и о себе много понимает! Повела своим носом, сказала: «Выбыл из комсомола, Каишов! Подольше тянул бы с учетом! Да-да, некого винить — твоя собственная оплошность!» А я что? Я — из армии вернулся. И документы мои отстали по дороге!..

А эта белолицая «булка» Бабюшай, та самая, что назвала меня при Алтынбеке и девчатах деревенщиной, усмехается!..»

Маматай впервые за последний месяц весело рассмеялся и тут же опомнился и отложил дневник, но потом взял его опять с мыслью о том, что нечего стесняться себя прежнего, что люди не рождаются на свет с бородой и мудростью аксакалов...

В эту ночь в его тетради появилась новая запись: «Зря ты меня считала, Бабюшай, деревенщиной, просто я влюбился в тебя с первого взгляда!» И тут написанные им строчки окрасились вдруг празднично и ало — это восходящее солнце бросило на них свой самый первый, сулящий удачу свет! И это было добрым предзнаменованием...

* * *

Алтынбек пролежал в больнице более двух месяцев, и за это время никто из сослуживцев его так и не навестил. Главный инженер предпочитал об этом не думать, зато обо всем другом поразмыслить времени у него оказалось предостаточно.

Прежде всего Алтынбек решил «помириться» с Бурмой — на всякий случай... Неприятностей и без нее у него намечалось не мало. Одно то, что сел за руль в нетрезвом состоянии, уже тяжелая улика против него... А еще ранение, может, увечье, на всю жизнь Бабюшай...

— Здравствуй, Бурма, — он, сильно опираясь на палку, переступил порог ее кабинета. — Вот я и выписался — сразу к тебе...

Бурма молча ждала, для чего Алтынбеку необходимо такое вступление.

— Хочешь не хочешь, Бурма, а работать нам теперь вместе... а для этого необходимо взаимопонимание...

— Не беспокойтесь, товарищ Саяков, рабочие отношения с личными не путаю, — холодно ответила она.

Алтынбек сморщился и, взявшись за больное колено, присел на ближний стул, положил палку рядом и закурил, всем видом показывая, как он расстроен ее отношением к нему.

— Бурма, зачем так официально?.. Зачем прошлое ворошить?.. Главное, ты вернулась...

Бурма сильно побледнела, но не повысила голоса.

— Вернулась... и отчитываться за свои поступки ни перед кем не обязана.

— Отчитываться? О аллах! Конечно нет... А ты все такая же гордячка, характер у тебя ох какой крутой, Бурма!

Алтынбек долго молча курил, потом сказал вкрадчиво ласковым голосом:

— Все-то я понимаю, Бурма!.. Конечно, переезд, то да се... На это деньги нужны... Так я...

Саяков достал из внутреннего кармана пиджака пачку денег и положил на письменный стол.

— Так, значит... — медленно приподнимаясь из-за стола, начала Бурма, — значит, судьба сына тебя не волнует, значит откупиться от нас пришел? Ах да, совсем забыла!.. Ты ведь уверен, что за деньги можно купить все — совесть, честь тоже!.. Но ни моя, ни сына честь не продается! — Она схватила со стола деньги и швырнула их в лицо Алтынбеку. — Вот, возьми их обратно! Бери-бери! От этого больше тебя презирать не буду, больше — невозможно!

...Деньги долго еще кружились, опускаясь на стриженую голову, плечи и колени Саякова.

* * *

...Для Бурмы это была долгая и мучительная ночь без сна. Жалела ли она о чем? Мечтала ли о счастье? Ведь она была еще молода и недурна собой. Копила ли терпеливые мысли о мести?..

Любовь у нее была к Алтынбеку неожиданная и какая-то смятенная, неловкая... Странно, но она на первых порах боялась его глаз, рук и особенно голоса, вкрадчивого, обволакивающего, беззастенчивого. Бурма первое время находила в себе мужество избегать его, сопротивляться его властной, самоуверенной красоте! Но это кончилось очень скоро и не спасло ее от несчастья...

Доводил до ума Бурму родной дядя Токон Черикпаев, так как ее родители умерли рано, а ближе его родственников не было!.. Как радовались в его семье, когда Бурма закончи-

ла институт легкой промышленности и пришла на комбинат под его начало. И она оправдала его доверие, взялась за работу горячо, вкладывая все свои знания и охоту...

Да, до ума, до специальности хорошей Токоп Черикпаевич ее довел, а вот жизни не научил, потому что сам был доверчивым и добрым, так думал и обо всех людях, в том числе и об Алтынбеке, сумевшем завоевать его доверие. Дядя даже прочил его на свое место главного инженера комбината, так как уже тогда ему предлагали повышение и переезд в Ташкент.

А Алтынбек старался вовсю:

— Токоп Черикпаевич, я как начальник цеха думаю проводить такую-то работу... Рождается очень перспективная рационализаторская мысль! Пришел рассказать вам... Вы для меня не только главный инженер, но и крупный специалист... Хочу учиться у вас...

Вот и доверился по житейской неопытности Алтынбеку, оставил его на своем месте, когда собрался на новую работу в столице республики.

Алтынбек тогда от Черикпаевых не вылезал, что называется, и дневал, и ночевал... А уж Бурме оказывал внимание, каким мало кто может похвастаться. И она под гипнозом его сладких речей возблагодарила аллаха: «О, видно, не только имя золотое¹ у него, и сердце — золото...»

Вскоре, как только вопрос встал о том, кого назначить главным инженером, Алтынбек объявил во всеуслышанье, что женится на Бурме, сразу же как вернутся они с курорта.

Токоп Черикпаев прощался с Бурмой радостный, спокойный за ее дальнейшую судьбу, с полным сознанием выполненного перед памятью ее родителей долга.

А когда молодые вернулись с курорта, Алтынбек больше ни о ЗАГСе, ни о праздничном тое с ней не заговаривал, а вскоре стал избегать встреч с ней... Так что пришлось Бурме самой идти к Алтынбеку в бывший дядин кабинет.

— Ребенок? Какой еще ребенок? — равнодушно, как о чем-то постороннем, спросил Алтынбек. — И при чем здесь я? Если все женщины, с которыми у меня когда-то что-то случилось, соберутся сейчас здесь и начнут предъявлять свои претензии, то уж лучше совсем не жить на свете... Женщина сама должна думать, на что идет, и отвечать за свои шаги...

¹ Алтын — золотой.

— Значит, я для тебя, как все?

— А чем ты отличаешься? Или я силой тебя удерживал... обещал?.. А теперь раздумал... Мне нужна жена, умеющая беречь честь свою!

Алтынбек стал смотреть в окно, давая понять, что разговор окончен. А когда Бурма ушла, дверь в кабинет защелкнулась на замок...

После этого свидания у нее в памяти осталось только, как Алтынбек после ее пощечины закрыл лицо руками, а сквозь тонкие длинные пальцы медленными каплями из разбитого носа капала кровь на бумаги, на светлый эlegantный костюм...

Характер у Бурмы с детства был покладистый, уступчивый. Ребята во дворе даже драться с ней не любили — не интересно, не только сдачи не даст, но даже не заорет... Вот почему и Алтынбеку в свое время сдачи на обиду не сдала, только что пощечину влепила... Да что ему ее пощечина, как с гуся вода... И убежала от стыда... Что, мол, люди скажут, когда узнают?.. Как исстари повелось — отвечать за все пришлось ей одной и стыдиться тоже...

А за что стыдиться? Обманула она? Покинула возлюбленного? Или от сына отказалась? Он же ходит героем, а она должна была прятаться, бросить насиженное место, работу...

В Бурме исподволь накапливалась обида, даже протест. Почему так? Революция дала одинаково всем политическую, социальную и духовную свободу... Нарушение первых двух карается законом. А третья? Третья, видно, в нас самих... в нашей сознательности, в нашем уровне развития... Политические и социальные права попробуй нарушь! А за духовную свободу ой какую борьбу приходится вести... Разве она не была в путах старых предрассудков, когда убежала от «позора» своего в Ташкент?.. Что тогда сама себе сказала? «Если дядя, старший брат узнают, будут опозорены навек...» Так чего же ей, Бурме, ждать от других, тем более менее образованных и развитых?.. Вон люди-то какие разные на одном их комбинате: одни с гор, другие — только от кетменья... А один калым чего стоит! И сейчас ведь еще случается в ходу... Да что про темных людей говорить! Бывают и в ученой среде такие «индивидуумы», что хуже всякого разжалованного шамана мозги заудрят! Так что ей, Бурме, предстоит борьба, открытая и трудная, с потерями и победами, борьба не на один день и не на один год.

Первый секретарь горкома партии Калмат Култаев разговаривал в собственном кабинете с Маматаем, заинтересованно и доброжелательно поглядывая из-под лохматых бровей.

С Первым Маматай встречался несколько раз на совещаниях и в этом кабинете и не только уважал, не успел искренне полюбить. Чувствовал он себя здесь свободно и непринужденно, откровенно делился своими мыслями о жизни, о работе и товарищах, даже спёрить иногда приходилось... А как же? Любое дело требует всестороннего охвата, столкновения мнений, вот почему Первый всегда внимателен к своим оппонентам: выслушивает не перебивая, а потом только согласится или возразит по-деловому, обоснованно, без желания навязать свое мнение.

И сейчас Калмат Култаев внимательно слушает и исподтишка, чтобы не насторожился, присматривается к парню, время от времени задает наводящие вопросы. Зашла речь и об Алтынбеке Саякове, и Первый спросил как бы случайно:

— Саяков уже уволился? И что это его потянуло на столичную жизнь?

Маматай замолчал, не решаясь на откровенный разговор, темнить он не умел. Калмат Култаев внимательно смотрел на Каипова, ожидая ответа.

— Да ты не стесняйся, говори, как думаешь, пойму правильно! — подбодрил он Маматая.

— А я что?.. Мне скрывать нечего... Не один Саяков пока такой... Как ведь у нас подчас? Руки до звезд дотянулись, а пятки в болоте старых предрассудков увязли... И о Саякове скажу: специалист знающий, да живет только для своей выгоды...

— Правильно говоришь, Маматай! По-партийному понимаешь наши сегодняшние идеологические трудности.

Калмат Култаевич откинулся всем своим мощным торсом на спинку кресла, закурил, сначала предложив сигареты гостю, и, выпуская голубоватый прямой дым, сказал:

— Тебя, Каипов, ждет сейчас на беседу секретарь обкома товарищ Жайнаков. Иди к нему — он у себя, а вернешься, закончим наш разговор. — Он поднялся и проводил Маматая до двери.

Худощавый, высокий Жайнаков вышел из-за стола на встречу Маматаю и, крепко пожав руку, пригласил сесть. Волосы у Жайнакова были жесткие и седые, коротко остри-

женные, и, разговаривая, он все время, видно, по привычке ощупывал свой ежик, приглаживал и снова ерошил.

Маматай о Жайнакове слышал много, хотя бы то, что он ветеран Великой Отечественной, а по специальности — горный инженер с большим производственным стажем, вот уже десять, а то и все пятнадцать лет на партийной работе. Но встречаться ему вот так, с глазу на глаз, с секретарем обкома не приходилось.

Жайнаков начал разговор с главного.

— Товарищ Каипов, партком ткацкого комбината и горком партии предложили вашу кандидатуру на должность главного инженера. Поручители у вас авторитетные, — улыбнулся Жайнаков, — так что обком решил поддержать их ходатайство.

Маматай от неожиданности не знал, огорчаться ему или радоваться, просто новость застала его врасплох...

— Человек вы молодой и работать, судя по всему, умеете... Но все-таки дам вам маленькое напутствие как старший... Воспользуюсь своим правом... Сейчас, товарищ Каипов, очень возросла роль управления в производстве... И в этих условиях важно держаться руководителю на высоте, не подменять творческого руководства волюнтаризмом. Руководителю сейчас много дано, много доверено, вот почему и личная ответственность — огромная!.. Научно-техническая революция дала производству высококвалифицированных специалистов, изменила характер труда, осложнились производственно-психологические связи. В таких условиях неимоверно возросли и требования к культурному росту трудового народа... Сознание рабочего сейчас решает многое, сознание бригады, сознание коллектива складывается из этих единиц...

Маматай сдержанно поблагодарил Жайнакова на добром слове и ждал его дальнейших распоряжений, а тот вдруг простецким, неофициальным тоном спросил у него:

— Осмона Суранчиева знаешь, а?

— Конечно, товарищ секретарь, — заторопился с ответом Маматай и с уважением добавил: — Ученый известный... Отец его Жапар, аксакал... работает у нас в цехе...

— Вах, кто у нас не знает Жапара-ака, нашего рабочего ветерана, почитай, он у нас в городе самая древняя рабочая династия... А о Суранчиеве я заговорил с вами не случайно: обком предполагает его поставить во главе вашего комбината. Надо-надо Беделбаева отпустить на заслуженный отдых! Обещаем ему каждый год, да кандидатуры не было подходя-

щей, чтобы был директор свой, местный, не временный... Так что придется с ним налаживать трудовой контакт. Как думаете, получится? — И похлопал Маматая по плечу: — Верю-верю, что все будет в полном порядке.

А Маматай погрузился глазами, вспомнив белолицего, похожего с Бабюшай Осмона — ах, Бабюшай, не идет она из его сердца и дум!

Жайнаков же, наверное, решил, что парень жалеет своего заслуженного директора, и продолжали разговор.

— А что делать? Вы, молодые, приходите к нам на смену — такова жизнь... Главное, чтобы смена была только достойная, но и превосходила и по квалификации, и по широте взглядов, и по масштабам мышления своих предшественников! Беделбаев отдал себя целиком производству, поставил комбинат, вот почему ему доверена высокая честь сдать в эксплуатацию вторую очередь... И на отдых мы его проводим с заслуженным почетом. Но сегодня комбинату уже нужен руководитель, отвечающий всем современным требованиям возросшего и усложнившегося производства. И суть здесь не в больших и малых делах, а чтобы каждый занимал соответствующее место...

...Только в коридоре Маматай ощутил на плечах всю тяжесть оказанного доверия, всю ответственность предстоящей работы. Теперь он в ответе не только за дела цеха, за работу ткачих, но и за трудовую честь комбината, республики, всей страны на международном рынке. Киргизская ткань должна быть отличной, признанной по всем статьям мировых стандартов! И Маматай приложит все свои силы и знания, чтобы добиться этого!

На улице его встретил проливной дождь, не по-осеннему теплый и стремительный. О, как школьник-шалун, прыгал по лужам, звонко выбивал дробь по карнизам и зонтам прохожих. Маматай не замечал дождя, не замечал луж... Мокрый, улыбчивый, он шел напролом, но никто не сердился на него, видно, понимали его настроение.

И хорошо, что шел дождь, и люди видели только улыбку Маматая и не замечали его слез, горячих, горько-радостных, слез обо всем сразу, об утратах и надеждах, о жизни, не умеющей быть одинаковой и неизменной, несущей только одно горе или только радость. И ее необходимо было принять Маматаю такой, как есть, и суметь сказать свое слово, стать вопреки всему мужественным и, конечно, счастливым. А своего счастья без людей, без Бабюшай он не мыслил...

Как-то так получилось, что никто в городе не заметил скоропалительного отъезда Алтынбека Саякова в Ташкент. Собрался он по-скорому, хотя растрезвонил, что едет на курорт поправлять пошатнувшееся здоровье. И вдруг — заявление Беделбаеву «по собственному желанию»...

Алтынбек настаивал, чтобы его отпустили немедленно. А ему объясняли, что с такой должности, как у него, сразу не освобождают — нужна замена, утвержденная обкомом. В это время и вмешалось в дело одно из ташкентских министерств. Некто Атабаев разъяснил комбинатскому руководству, что уход с комбината не личная прихоть Саякова, что министерство отзывает его на новую работу...

На самом деле, все обстояло гораздо проще: Алтынбек боялся ответственности за тяжелое ранение Бабюнай. Он отдавал себе полный отчет в том, что семья Суранчиевых так все это не оставит, подаст на него в суд.

«Что ж, все равно отношения на комбинате на сложились! — мыслил про себя Алтынбек. — Так и жалеть не о чем... И от Суранчиевых, и от Бурмы подальше!.. К тому же за меня теперь и министерство постоит», — утешал себя Алтынбек, как мог.

Но по-настоящему почувствовал он себя хотя бы на время в безопасности, когда с трудовой книжкой в кармане покинул наконец опостылевший городишко. Теперь он свободен, теперь у него начнется новая, спокойная жизнь... Он еще достаточно молод, чтобы начать все сначала, с нуля...

Правда, радовался Алтынбек своей свободе недолго. Уже через какую-нибудь неделю бывшая хандра вернулась к нему, и он решил развеять ее поездкой на Кавказ. Алтынбек отсынался и отвыкал от станочного шума цехов, навязшего у него в ушах, так что даже спросонья он принимал шум моря за металлический лязг работающих машин...

Старое из его жизни уходило, а новое не торопилось старому на смену. Беспокойные, безрадостные мысли и не думали покидать свое насиженное гнездо в сердце и думах Алтынбека. Ничто не веселило его душу. Алтынбека мучила бессонница, которой раньше он никогда не знал. Стоило ему только опустить голову на подушку, душные, застойные мысли начинали медленно копошиться в его измученном мозгу. В сущности, их даже мыслями невозможно было назвать, скорее, какое-то полубессознательное пульсирование недоумения, страха, тоски... То Алтынбеку казалось, что все у

него от вынужденного безделья — начнет работать и выздоровеет... А потом он приходил ненадолго к выводу, что у него ностальгия, что может крепко стоять только на родной киргизской почве... В существование такой категории, как совесть человеческая, Алтынбек не верил: выдумали умные люди для дураков, чтобы знали свое место в жизни, вот и все... И он, Алтынбек, дураком не был и не будет. У него все есть, деньги, почетная работа, дом... Захотел на курорт — и вот он здесь, у моря... И женщин он выбирает сам... Бабушай? Была бы и она его, если бы не этот случай... В общем, выходило, что Алтынбек не может не быть счастливым! Так почему же он несчастлив? Снова унирался Алтынбек в тушик. И так до утра...

Алтынбек уходил на море и долго присматривался к толпе, бездумно подставляющей себя солнцу, жадно устремляющейся за всеми местными увеселениями и радостями; и безутешно вздыхал: ему бы так...

На одиннадцатый день Алтынбек не выдержал и взял билет на обратный рейс, рассудив, что, не обжив новое свое рабочее место, не сможет оставаться в праздности. Но в Ташкенте без него все застопорилось: вакантного места пока не было, просили подождать.

Алтынбек считал дни, даже часы. Но уходило время и не приносило ему новых надежд и упований, а старые плавились как топленое масло, испарялись на глазах... А гостиничное житье-бытье тоже не улучшало его самочувствия.

Место он в конце концов получил — место заведующего отделом в управлении фабрики, в сущности, конторскую работу с бумажками, утомительную и неблагоприятную, на которой не очень-то покажешь себя! Действительно, приходилось начинать с нуля. И бумажки валялись из рук, а к горлу подкатывал жесткий обидный комок. Алтынбек сейчас мог сравнить себя с оципанной птицей, выпущенной на волю: перед глазами простор, а не взлететь...

Теперь и товарищи не искали, как прежде, с ним встреч, но он был даже рад: не хотел, чтобы увидели его унижения и пожалели, так просто, потому что положено сочувствовать в подобных случаях. Теперь он был шаманом, утратившим власть, и спесь в его положении выглядела бы смешной... И Алтынбек лишился главного своего козыря — самоуверенности... Жизнь оказалась — сильным партнером! Алтынбек переоценил свои силы и — проиграл.

Алтынбек как-то вдруг вылинял, обесцветился. Теперь его уже трудно было назвать красавчиком и баловнем женщин

и судьбы. Вялый и разочарованный, в ставшем свободным костюме, с потухшим взором проходил он на свое постылое служебное место и не вставал до конца рабочего дня, чтобы не видеть никого, не разговаривать.

У него со временем появилось странное развлечение. Бывало, придет с работы, запретя в своей комнатенке и начинает набирать номера знакомых телефонов, послушает голос бывшего сослуживца и молча повесит трубку...

Однажды он набрал телефон Халиды Пулатовой и с замирающим сердцем услышал детский голосок:

— Але... алё-алё...

Алтынбек неожиданно для самого себя откликнулся:

— Кто это? — он не знал имен детей Хакимбая.

— Халиджан.

— Халиджан, — вздохнул почему-то Алтынбек, — ты уже стал большим джигитом?

— Нет, дядя, мама говорит, что я еще маленький.

— Но ты же хочешь стать взрослым джигитом!

Шестилетний Халиджан весело рассмеялся в трубку, поняв шутку незнакомого дяди, удостоившего его своей беседы.

— Мама дома? Где? На смене... Понятно. А кто еще бывает у вас, Халиджан?

— Дядя Мусабек, и еще дядя Маматай, и еще... — задумался мальчишка, а потом зачастил: — А дядя Маматай мне автомат купил! Сейчас тебе покажу. — Трубка с грохотом опустилась на стол, видно, Халиджан бросился за автоматом. — Вот видишь! Стреляет! Ты-ты-ты-та-та-та! И лампочка зажигается!

Алтынбек мягко рассмеялся. Ему казалось странным, что его забавляет детский наивный лепет чужого мальчика, на которого он прежде и внимания не обратил бы: странные с ним, Алтынбеком, происходили метаморфозы, весьма странные...

— А дядя Мусабек сделал мне тачанку, настоящую, она в коридоре у меня, — слышалось в трубке.

И он решился наконец спросить у Халиджана, помнит ли он его, и услышал, чуть не выронив трубку:

— Разве это не папа мой звонит? — Голосок его звучал почти сквозь слезы, так Халиджан был разочарован.

— Твой папа? — невольно вырвалось у Алтынбека.

— А что? Он у нас в командировке, разве не знаешь? — нерешительно спросил Халиджан и с обидой прибавил: —

А в садике Осмончик говорит, что мой папа умер, что его машина проглотила... — и сильно расплакался...

Алтынбек в ужасе бросил трубку на рычаг, будто она вдруг в руках у него превратилась в гремучую змею, готовую в любую минуту броситься на него...

Теперь каждую ночь во сне к Алтынбеку являлся Хакимбай, худой, черный, с упреком в глазах, и молчал... Алтынбек покрывался ознобными мурашками и цепенел от ужаса до утра, не в силах проснуться и таким образом избавиться от преследовавшего его кошмара.

Днем же он вспоминал свой давний разговор с Хакимбаем об автоматической линии в отделочном...

Тогда он резко сказал Хакимбаю у себя в кабинете:

— Чтобы сегодня агрегат работал... К празднику должны дать первые метры продукции с автоматической линии — это наш достойный подарок Октябрю!

— Но, Алтынбек, — пытался возразить Хакимбай.

— И слушать не буду... Приказываю, понятно? В лепешку разбейся, а чтобы линия сегодня же действовала!

И Хакимбай, опутив голову, ушел в цех.

Именно это страшное воспоминание довершило переворот, уже давно и необратимо наметившийся в душе Алтынбека. Его лестница оказалась высокой, да непрочной... Ох и катиться бы ему с нее, все кости переломал бы!.. Слава аллаху, теперь он понял, что в жизни можно избавиться от наказания, от тюрьмы и от сумы, от страха, от грозного врага, но не от собственной совести...

Теперь Алтынбек, как выздоравливающий после тяжелой изнурительной болезни, радовался самым простеньким радостям, которых раньше в своей гордыне не замечал. Постепенно свыкся и перестал противиться самому сильному своему желанию — поехать в родной городишко, в свой броненный дом... Он уговаривал себя, что едет только для того, чтобы покончить с делами, мол, приедет и уедет... Снова спохватывался, мол, что люди подумают... И первый раз в жизни по-настоящему рассердился на себя: «Да что я — все люди да люди! Да что они — из другого теста сделаны! И они не всю жизнь один мед едят...»

* * *

Алтынбек так неожиданно и стремительно появился в кабинете Беделбаева, что тот вздрогнул и чуть не выронил очки, которые он в это время протирал носовым платком.

Темир Беделбаевич, не узнавая Саякова, обиженно нахмурился и водрузил на нос знаменитые линзы — теперь директор смог рассмотреть своего «вероломного» посетителя как следует.

— Вах, Алтынбек! Какими судьбами?..

А тот улыбался широкой благодарной улыбкой, уловив в голосе директора добрые покровительственные нотки.

— Как же слышал-слыхал!.. Значит, в управлении трудишься?.. У нас, конечно, должность твоя была выше... Но, что ни говори, столица!.. Сейчас это престижно! Модно! Да и что вам, молодым, за одно место держаться! Надо, надо силы свои испытать, мир посмотреть, а осесть еще успеете, да и семеро по лавкам у тебя не сидят, — вдруг почему-то потупил взгляд Темир Беделбаевич. — Ну что ж, хвались успехами...

— Да нечем хвалиться, — просто сказал Алтынбек, чем весьма удивил директора, привыкшего к его изворотливости в речах и делах.

— Что ж так? Хотя, конечно, работа — везде работа, где ни устройся... Везде хорошо, где нас нет, — сразу переменял мнение Темир Беделбаевич.

Алтынбек горько усмехнулся, мол, узнаю директора: не любитель Беделбаев возражать, умеет и нашим и вашим поддакнуть, всем вкусом угодить...

А Беделбаеву действительно не хотелось огорчать Алтынбека. Что им теперь делить? Только еще на одного обиженного станет больше на земле.

— Конечно, Алтынбек, поспешил ты с увольнением... Зачем горячку порол? План выполнял, проценты давал хорошие... А недочеты, у кого их не бывает... Верно, ох как верно — только кто ничего не делает, не ошибается! Ты мне-то хоть, старику, скажи, почему сбежал?

— Не догадываетесь, Темир Беделбаевич? — вдруг стал прежним, заносчивым Саяков.

«Фу-ты, лучше бы промолчал, — рассердился на свое недомыслие Беделбаев, — очень надо мне знать его секреты! А теперь, кажется, выпустил из бутылка джинна...» А вслух удивился:

— Загадками говоришь, сынок!

— Никаких загадок, Темир Беделбаевич! Ушел, потому что совесть замучила...

Совесть у Саякова — это что-то новенькое! Если из-за Бурмы и сына, то зачем сюда примчался. О, Темир Беделбаевич, что их сводил и разводил?.. А если совесть заела

оттого, что чуть Бабюшай не угробил, так пусть идет к Жапару или Кукареву!..

— Не буду вас томить неизвестностью, Темир Беделбаевич, имею в виду смерть начальника производственными мастерскими Хакимбая Пулатова...

— Понятно... — вздохнул директор, — значит, живешь по принципу: вдвоем тонуть веселее. А я-то, старый дурак, доверял тебе, при случае оставлял своим заместителем!..

— Так, да? А я думал, что и мучаетесь тем же... Значит, ошибся!..

— Алтынбек, это не великодушно! — взмолился вдруг Беделбаев. — Я старый человек... Не вашего поколения! И все эти штучки мне непонятны. Правда, видно, засиделся я, пережил свое время... За это и расплачиваюсь, — совсем поник седой головой директор.

— Хотите, чтобы пожалел? А вы меня пожалели, когда с готовностью мое заявление подмахнули? Ваш стиль руководства я, слава аллаху, усвоил — с больной головы на здоровую...

— Алтынбек, одумайся! Что ты говоришь? — замахал на него руками Беделбаев.

— Ничего, я вам напомню все по порядку, все как было... Действительно, вас тогда не было — повезло же вам! Но я же звонил и в Москву, и в Сочи, спрашивал «добро»! А вы: «А как ты сам, Алтынбек, считаешь? Какая готовность линии? Выдержит?.. Вах-вах, хорошо бы к празднику!.. Наверху будут довольны, отметят нашу работу...» Правильно говорю?

Беделбаев едва сидел, опершись обеими руками о стол, и каким-то неподвижным взглядом, как будто одними очками, смотрел на Саякова.

— Конечно, теперь вы в стороне! А тогда вам очень мое предложение понравилось! Сознаюсь откровенно, знал я, чем вам угодить!.. Да что это вы так испугались, не одного же вас обвиняю?

— Зачем ранишь старое сердце? Одна моя вина, Алтынбек, что доверился тебе... Страшный ты человек, Саяков, страшный!

— Простите, не знал, что вы так близко к сердцу примете мой разговор, Темир Беделбаевич, — сказал вдруг ровным голосом Алтынбек и примирительно добавил: — Не все от нас одних зависит... Извините, если что... Право, не хотел!

Беделбаев даже не кивнул ему на прощание головой. Он сидел, боясь пошевелинуться... Все его сознание было

направлено на откуда ни возмись появившуюся в груди ниточку, которая болезненно натянулась и звенела тоненько-тоненько, грозя каждое мгновение оборваться... «Оборвется — и конец, — почему-то совершенно спокойно подумал Темир Беделбаевич. — Да, о чем у нас был разговор с Алтынбеком? Зачем он приходил?..»

Когда ниточка перестала натягиваться, отпустила и боль. Беделбаев осторожно вздохнул, достал таблетку, запил водой. Вскоре боль утихла, но сильно разболелась голова, и он снова принял таблетку.

«Пора, пора мне... Засиделся здесь. Одна зола в сердце осталась! Выходит, тормоз я для комбината, а не руководитель! Да, не сумел вовремя уйти, вот теперь и приходится выслушивать... — сжимая виски, упрекал себя Темир Беделбаевич. — Новые условия, новый стиль руководства, новые люди... А я — развалина, старый мухомор! Так мне и надо...»

* * *

А в Алтынбека будто шайтан вселился! И имя этому шайтану была безысходная тоска. Он, не находя себе места, метался по городу, звонил из автоматов то Халиде, то Мусабeku и даже Маматаю, но в трубке слышались длинные, навязывающие еще большую тоску, заунывные гудки, и Алтынбек вешал трубку, шел дальше.

В своих душевных метаниях он ни разу не вспомнил своего главного жизненного наставника — деда Мурзакари-ма, как будто он совершенно выпал из его памяти, не оставив никаких — ни родственных, ни духовных — уз. А ему сейчас больше всего нужна была родственная, понятливая душа, которая умела бы не только судить, но и жалеть.

Извилист и сложен путь человеческой мысли... Попробуй уследи даже за своей собственной, откуда она взялась и куда приведет? Не знал и Алтынбек, почему вдруг почувствовал острую необходимость сию же минуту поговорить с Кукаревым, которого раньше он просто не переносил. Одна его манера к месту и не к месту вставлять в свою речь: «...если взять, с одной стороны... то с другой...» — надолго выводила Алтынбека из себя. А теперь его вдруг потянуло к Кукареву...

Алтынбек заскочил в очередной «телефон-автомат» и набрал номер Ивана Васильевича, тот оказался дома с головной болью и в постели.

— Давайте завтра встретимся в парткоме, раз есть разговор, — после сухого приветствия раздалось в трубке. — Ле-

чусь от простуды домашними средствами, — в голосе парторга дрогнула смешинка.

— Прошу вас, Иван Васильевич, войти в мое положение, — просительно сказал Алтынбек.

— Ну что ж, если настаиваете...

И только вышел из автомата — лицом к лицу с Бурмой.

— Здравствуй, — оторопело выговорил Саяков.

Бурма, присматриваясь, старалась различить Алтынбека в сгущавшихся сумерках. Рассмотрел ее и Саяков. Она показалась ему постаревшей. В манере держаться появилась решительность и уверенность человека, обязанного всем в жизни только себе одному. Высокая, раздавшаяся в плечах и бедрах, она шла крупным, деловым шагом и только чуть-чуть задержалась, услышав его «здравствуй».

— Вот приехал...

Настроение у Бурмы было приподнятое. Работа на комбинате ладилась и приносила большое удовлетворение. А сегодня ее работу по автоматизации наматывания ткани отметили руководством комбината. Так что Бурма совершенно спокойно отнеслась к появлению Алтынбека в городе: неопределенно кивнув головой, она прошла мимо Саякова, хотя тот, видно, ждал, что остановится.

— Бурма, — робко сказал он. — Давай поговорим...

— За сыном в садик спешу!

Алтынбек не решился настаивать, не посмел идти вслед и, дождавшись, когда она свернет за угол, пошел своей дорогой — к Кукареву.

Иван Васильевич пригласил Алтынбека за стол, достал бутылку коньяка, вазу с фруктами.

— Да ты проходи, Алтынбек. У нас без чинов, по-простому. Как говорится, чем богаты, тем и рады, — и опять за свое излюбленное, отчего у Алтынбека свело скулу, — если взять, с одной стороны...

Саяков с трудом отхлебнул из своего стакана, куда ему Кукарев щедрой рукой набухал граммов сто.

— Иван Васильевич, что думает обо мне коллектив комбината? — невпопад приступил к разговору гость.

Кукарев, быстро расправившись с коньяком и кхекнув от удовольствия, воскликнул:

— Коллектив думает правильно, Алтынбек! А от себя скажу, что коллектив без любого своего члена обойдется! Хотя... если взять, с одной стороны... — И он назидательно поднял палец: — Короче говоря, противопоставлять себя коллективу дело безнадежное! Мы сейчас индивидуумы —

общественные, без коллектива не обойдемся. И все потому, что это основная сила нашего коммунистического общества — все в интересах коллектива... Каждый член силен тем, что он в коллективе, будь ты простой рабочий или руководящее лицо!..

Разговор с Кукаревым не облегчил мятущуюся душу Алтынбека. Не нашел он облегчения для своей тоски и в собственном доме, уюту и благосостоянию которого было отдано столько времени и сил. Он лежал ничком на диване, без сна, без сил, без движения...

* * *

Алтынбек вышел во двор и завел свою вернувшуюся из ремонта «Волгу». Теперь он побаивался ее, и, чтобы избавиться раз и навсегда от этого унижительного чувства, Алтынбек набрал скорость и вскоре был уже за городом — маленькой точкой в огромной пустыне ночи.

Он не знал, куда едет, да и зачем ему это? А ситуация у Алтынбека была, как у всем известного бел-камня на перепутье: налево — к Мурзакариму, направо — к матери, а прямо — в Ташкент. А ему хотелось вернуться назад, но туда все пути для него были отрезаны...

XII

Маматай, который все это время был только врио главного инженера комбината, на днях был окончательно утвержден на новой должности. Проснулся он рано, чтобы собраться с мыслями и настроением и быть в форме.

Сегодня он особенно тщательно плескался в ванной, брился. И костюм у Маматай новый, за которым он специально ездил в Ташкент. Как говорится, положение обязывает. Завязывая галстук, Маматай подошел к распахнутому настежь окну.

Воздух был по-весеннему прозрачный и легкий, и казалось, приближал дальние предметы, протяни руку и достанешь до комбинатских ворот, выполненных в стиле рават¹. В стекавшемся к ним многолюдье можно было совершенно отчетливо различить все лица, такие знакомые и необходимые, ведь без своего рабочего коллектива, без своих ткачей Маматай не прожил бы, наверно, и года...

¹ Р а в а т — ворота, выполненные в восточном колорите.

«Большие труженики,— думал Маматай.— А кто много работает, у того и душа чистая, и ум светлый». И он вспомнил притчу, рассказанную как-то Жапаром-ака на торжественном собрании в клубе по поводу юбилея комбината.

«Жил в стародавние времена почтенный человек, хорошо жил. И скот был и деньги водились, так что мог бы и не утруждать себя работой, а холить свою почтенность на мягких подушках. А он еще славился среди добрых людей как отменный кузнец и непревзойденный плотник. И было у него два сына — Алимбай и Салимбай, оба ладные, красивые, отца любили и волю его в любую минуту исполнить были готовы.

В день кончины своей почтенный отец позвал сыновей и, прежде чем навеки закрыть глаза свои, сказал им:

— Нет у меня, дети мои, больше времени, чтобы по справедливости поделить между вами имущество... Воля моя такова: пригласите мудрых, чтобы по советам наследовали вы мне. А еще прошу, Алимбай и Салимбай, помолиться о душе моей на Кааба-Таш...

После смерти отца, оплакав свою тяжелую утрату, сыновья с помощью мудрых исполнили завещание отца: поделили при свидетелях по своему желанию наследство. Младший Салимбай взял отцовское тесло и топорик. Старший Алимбай, дивясь нерасчетливости брата, — все остальное.

Годы идут — богатеет Алимбай: ломаются настбища от скота, а кошелек раздувается от золота! А Салимбай — то топориком ладит, то молотом в кузне машет, а бедняки не хвалятся его сноровке да доброте.

Приехал однажды к Салимбаю старший брат и говорит:

— Помнишь, брат, завет отца?

— Помню, брат, — отвечает Алимбаю Салимбай.

— Тогда готовься в дорогу.

Алимбай вернулся к себе и стал продавать скот, копить золото в дальний путь. Когда наготовили священной пищи и снарядили караван, отправились в дорогу. Здесь и опытный караванщик, и джигиты-азаматы в полном боевом вооружении, слуги и домочадцы.

А Салимбай, сложив в турба¹ тесло и топорик, с одним верным учеником налегке тоже трогается в путь.

— Вах, а где твоя еда? Где юрта? Конь? Как с пустыми

¹ Турба — мешочек.

руками доберешься до Кааба-Таш? — в недоумении хлопнул себя по толстым бокам Алимбай.

— Мои припасы, Алимбай, в сердце моем и голове!

Алимбай недоверчиво почмокал губами.

Так и отправились к Кааба-Таш родные братья разными дорогами: Алимбай со всем своим караваном, позванивая бубенцами и сбруей, через горы и пустыни; и Салимбай — переходя из селения в селение. Где пройдет, люди долго помнить будут — починит, новое справит, а за делом и свою душу за добрым разговором отведет и чужую подлечит.

У Алимбая же в дороге одна беда за другой: на сель наткнулись у горного сая — полкаравана смяло, унесло; а в пустыне разбойники подстерегли — остального Алимбай лишился. Так и сгинул старший брат — без вести и без чести.

А Салимбай достиг Кааба-Таш, и благополучно домой вернулся, и жил долго, а род его и по сей день жив...» — досказал притчу Жапар и провел ладонью по своему смуглоглянцевому темени с довольной, вприщурочку, улыбкой, мол, смекаете, куда народная мудрость клонит? И все-таки не выдержал, прибавил от себя:

— Здесь нас много, и все мы — люди разного рода-племени: киргизы, русские, узбеки — всех и не перечислишь... А мы — вместе, как пальцы на руке, — Жапар-ака поднял кверху растопыренную ладонь и на виду у всех сжал пальцы в сухой, но твердый кулак. — Почему? Потому что много общего у нас, а самое главное, мы — рабочие люди, рабочий класс! Нет и не будет нам износу!.. Мы, старики, уйдем, дети наши, внуки и правнуки на наше место к машинам встанут. И ткань, наша ткань так и идет беспрерывно. И люди говорят ткачам свое спасибо. Мы же и сами не заметили, как переплелись — основа с утком, — теперь мы не просто рабочий класс, а рабочий коллектив, огромная семья. Это же, товарищи, что ни говори, огромная сила!.. — И Жапар-ака с гордостью потряс в воздухе своим старческим, изработанным кулаком, сходя под аплодисменты с трибуны.

Маматай только сейчас, глядя сверху из окна, воочию убедился, какой мощный коллектив ткачей трудится на их комбинате! Люди шли мощным, неиссякающим потоком, переглядывались, улыбались, заговаривая друг с другом...

«Да такому коллективу любое дело по плечу, — решил

Маматай, торопливо сбегая по лестнице. — Теперь мы горы свернем!»

По дороге Маматай чуть не налетел на Пармана-ака, тоскливо и тайком поглядывавшего на идущих на смену ткачей.

— Вах, Парман-ака! Что за засада? Или Шайыр высматриваете? — заговорщицки подмигнул Маматай.

Парман помялся на месте, опустив голову и переступая с ноги на ногу, как школьник, которого застали за шалостью, потом со вздохом признался:

— Проститься пришел... Не смог так уехать...

— В чем дело, Парман-ака? О чем говоришь?

— Уволился я... со вчерашнего дня не работаю. Вот уезжаю... — И больше Паршиев не прибавил ни слова, как ни пытал его Маматай.

Маматаю оставалось только догадываться, что так и не сложились у него отношения ни с Колдошем, ни с Шайыр, да, видно, и дотошная Батма не захотела рисковать. Она-то уж почувствовала, что угроза нависла над ее семейным благополучием. Маматаю было грустно, пусть не самое главное, но что-то ушло с Парманом из его жизни и сердца... А сколько еще потерь ждет его в жизни... Но Маматаю не хотелось быть в этот праздничный для него, чистый, весенний день печальным, — не имеет права! — и он бодрым шагом подошел к воротам, обернувшись, крикнул, помахав рукой:

— Счастливого пути, Парман-ака! Помните, здесь ваш дом, Парман-ака!..

Совсем другое настроение нашел Маматай у Шайыр, когда среди дня зашел в прядильный цех. Подтянутая, оживленная, она встретила его как старого друга улыбкой и ясным сиянием черных глаз. А такого заразительного веселого смеха, как сегодня у Шайыр, Маматай в своей жизни еще не слышал.

— Где ты пропадала, Шайыр, — как бы между прочим, не желая портить ей настроение, спросил Маматай.

— Нужно было мне, Маматай, одной побыть, вот и шаталась по горам и долам, как заблудившаяся овца... Да и искать меня было некому, — в голосе ее пробились отчаянные нотки, а глаза снова сделались диковатыми, хмурыми, но только на какую-то долю секунды. — А груз свой сердечный я все-таки оставила там... — Она неопределенно махнула рукой в сторону видневшихся через окно дальних гор.

— Значит, начинаем новую жизнь? Отлично, Шайыр!

— А что мне? За сына теперь душа не болит, слава аллаху, все у него теперь как у людей! Насипа Каримовна шеннула мне по секрету, что учиться мой Колдош собирается!.. А еще,— она потянулась губами к уху Маматай,— внука ждем! Не сглазить бы!..— Шайыр снова собрала возле себя своих быстроглазых учениц.— Ну, щебетушки, работать! Смотрите вы у меня! Я тетя строгая!

И вслед уходящему Маматаю снова слышался веселый смех.

Маматай знал, что Шайыр не подведет: уже сейчас опережает многих прядильщиц и по количеству, и по качеству продукции, так что нужно выдвигать на премию. Главный инженер остановился и сделал очередную пометку в своем рабочем блокноте.

И только Маматай вышел на лестницу, как его чуть с ног не сбила юная парочка, скатившаяся, взявшись за руки, сверху.

— Ба, Сайдана! — воскликнул весело Маматай.— Какая встреча!

Смущенные ребята выпустили руки и бросились в разные стороны. Правда, Маматай успел рассмотреть новенького электрика из отделочного.

Маматай подождал, пока Сайдана опомнится от смущения, притянул к себе, улыбнулся:

— Да ты, я вижу, совсем большая стала, сестренка! А выбор твой хвалю... Видно, обскачешь ты меня со свадебным тоем, а?

Сайдана, вся красная, вырвалась из объятий брата и убежала, погрозив ему с верхней ступени кулаком. Но Маматай-то видел, какая она счастливая и гордая, а что ему нужно было: только знать, что идет сестра правильной счастливой дорогой...

Глядя Сайдане вслед, Маматай вспомнил дом и мать с отцом, свой последний приезд в Акмойнок с Бабюшай... Нет, что ни говори, а сердце материнское самое чуткое... Как ведь уговаривала, чтобы они со свадьбой не тянули!.. Если б послушались тогда, и с Бабюшай ничего не случилось бы.

У Маматай сами собой сжались кулаки, когда вспомнил о том, что в городе снова появился Алтынбек Саяков. Маматай желал встречи с ним, хотя знал, что добром она ни для

того, ни для другого не кончится, потому что сойдутся для решительного, последнего разговора...

И тут послышалось радостное, звонкое:

— Поздравь, Маматай! Поздравь нас всех!

Перед ним стояла сияющая Бурма Черикпаева, а чуть дальше, тоже улыбающаяся, Халида. Маматай вопросительно переводил взгляд с одной на другую.

— Поздно мы вчера с Темиром Беделбаевичем вернулись с коллеги министерства, а то бы позвонила... Комиссия, проверявшая готовность нашей автоматической линии, доложила... Что бы ты думал, Маматай?.. Почти готова! Слышишь? Почти готова! В ближайшее время пустим!

— Ясное дело — пустим! Разве я сомневался когда-нибудь в этом! Деловой ты у нас парень, Бурма! — хлопнул Маматай Черикпаеву по плечу. — С твоим размахом и хваткой ой какими надо делами ворочать!

— Постараюсь оправдать авансы! — Видно по всему, Бурме пришлась по вкусу похвала Маматая.

— Теперь начинается новая эра для нашего детища! На глазах наш комбинат превращается в гигант!.. А люди какие у нас, Бурма!..

Тут Маматай заметил, что Халида незаметно, отвернувшись, вытирает слезы. Конечно, без слов было ясно, что с ней.

Бурма обняла Халиду, прижала к груди, а Халида легонько, необходимо отстранила ее, гордо распрямилась и сказала:

— Как ждал этого дня Хакимбай, знаю только я одна! И вот все-таки он настал... Рада, что и его руки были приложены к этому большому делу!

— Ты же знаешь, Халида... Линия наша так и называется — Хакимбаевская! Люди, рабочие, так называли, а мы поддержали, — Маматай был расстроен слезами Халиды. — Партком уже утвердил предложение установить мемориальную доску с именем Хакимбая в отделочном цеху...

* * *

В приемной главного инженера скопилось много посетителей: сменные мастера, начальники цехов... Они ждали нарядов и распоряжений на смену от нового главного ин-

женера, приглядчивые, дотошные... Всем было интересно, как поведет себя выросший, в сущности, у них на глазах парень в новой своей высокой должности. И Маматай широко улыбнулся им, пожал руки, с удовольствием отметил, что пришли в приемную и Кукарев, и Насипа Каримовна. Только не было старшего Жапары, улетевшего вместе с женой в Москву к Бабушай, и снова тревожная боль сжала сердце Маматая: «как там у них?».

Маматай принимал поздравления и наказания.

И тут раздался какой-то прыгающий, тревожно дребезжащий телефонный звонок. Кукарев, чтобы не отвлекать Маматая, поднял трубку.

Занятые разговором с главным инженером, никто не обратил внимания на разговор по телефону Ивана Васильевича. Взглянули на него только тогда, когда он повесил трубку дрожащей рукой, почему-то сильно побледневший и расстроенный.

— Что с вами, Иван Васильевич, — бросился к нему Маматай, — вам плохо? Насипа Каримовна, воды, пожалуйста!

Кукарев отстранил руку Маматая и медленно, с болью произнес:

— Сегодня ночью не стало нашего Темира Беделбаевича...

Все молча опустили головы, по приемной пронесся скорбный вздох. Эта тяжелая весть казалась особенно странной и неуместной сегодня, в этот солнечный весенний день, когда за окном все цело и щебетало, радуясь первому теплу и обновлению природы. И людям тоже не верилось, что в такое время можно умереть... «Жить-жить-жить», — слышалось в стремительном свисте крыльев только что появившихся над крышами стрижей, в неумолчном уличном гаме и журчании арыков, и каждая веточка, каждая былинка с готовностью тянулась вверх, к солнцу, к жизни, к обещанному счастью.

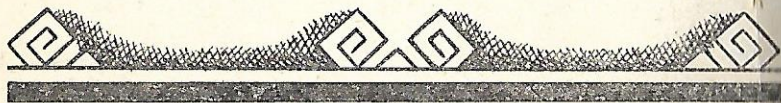
— Немножко не дотянул наш Темир Беделбаевич... Но умер как боец... Такая честь суждена не каждому... — тихо сказала Насипа Каримовна.

...Маматай остался один в своем светлом и просторном кабинете. Как странно, ничего здесь с алтынбековских времен не изменилось: тот же огромный полированный стол; массивный, солидный, под стать столу многостворчатый шкаф и полки на стенах... Даже гардины те же... Но ничего

здесь уже не напоминало бывшего хозяина, даже выветрился запах его любимых сигарет...

Каипов, как скакуна по теплому податливому боку, потрепал ладонью сукодную обивку важного начальственного кресла и отставил его в сторону, а себе пододвинул стул с твердым сиденьем и приготовился принимать посетителей. С сегодняшнего дня он принадлежал не только себе, не только Бабюшай, но и всем людям, всему огромному ткацкому комбинату. От него, Маматая, особенно теперь, когда не стало Темира Беделбаевича, зависело, будет ли этот могучий, доверенный ему гигант работать ритмично и точно, как работал до него, как будет работать, наверное, и после него...

БЕЛЫЙ СВЕТ





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Слепой я, но вижу душою...» — эту строку из песни Барны¹, единственную на белом листе бумаги, Шакир Рахманов написал еще вечером. А теперь ночь, и он все ходит и ходит от письменного стола до двери, и коврик у кровати, чернея рогатыми таинственными узорами, услужливо глушит его шаги. Гостиница давно спит. И город спит. И в прижавшейся к окну густой августовской тьме маслянистыми пятнами расплываются вдали огни.

«Слепой я, но вижу душою...» Чего ж он, опытный, на пятом десятке лет, журналист, не может оторваться от этой давно знакомой строки. Или зря говорят, что у него хватка настоящего газетчика. Нет, он умеет работать, и заказанная ему статья о конференции в республиканском Обществе слепых завтра будет на столе редактора.

Эта ночь особенная... И словно он в номере не один; словно ходит рядом, постукивая палочкой, тот, с кем встретился вчера в залитом солнцем зале Общества слепых, вернее, не с ним — с судьбою его встретился, и с той девочкой в кумачовой косынке, с алеющей тюльпанами весенней землей, с глухими ущельями и своенравными в каменных перекатах горными речками... И в новой, по типовому проекту построенной гостинице с еще не выветрившимся запахом краски и лака почудился Шакиру и утробный вой старого пса Коктая. О, сколько в нем неприкаянности, боли! Из глубины лет прорвался к нему этот вой.

* * *

До кыштака, раскинувшегося километрах в двадцати от Джалал-Абада, Шакир со своими родителями добрался глубокой ночью — перекочевали с гор. Идти ночью по вертля-

¹ Барны — киргизский поэт-импровизатор, слепой.

вым узким горным дорогам — мученье. А что делать! Отец Шакира уже не мог, как бывало, пасти скот: то и дело болел. Работу бы ему полегче, да в горах работа известно какая — чабанская, она здоровых любит... Уже давно надо было перебираться к родственникам в долину, а председатель колхоза и слушать об этом не хотел: третий год война идет, людей в колхозе не хватает. Вот и пришлось перекочевывать с ишаками, навьюченными домашним скарбом, тайком, ночью. Холодно, ветрено, луна в прятки играет. Ишаки спотыкаются, падают, приходится заново навьючивать груз.

Но вот потянулись глухие, черные в ночи дувалы. И сразу со всех сторон кыштака — яростный лай собак. Из дома, возле которого они остановились, вышел рослый мужчина, помог снять поклажу. Потом он повел путников в темную юрту. Улеглись, не зажигая света, Шакир сразу заснул.

В ту ночь на новом месте, в чужой юрте Шакиру приснился страшный сон: всадники на всем скаку рубили головы друг другу, и он, Шакир, был с ними. Едва проснувшись, Шакир выбежал на улицу. Яркие лучи по-весеннему торопливого солнца уже озаряли заснеженные вершины гор и все ниже спускались по сбегавшим к селенью пологим холмам. А внизу, насколько хватало взгляда, простиралась широкая долина в клубящейся, сизой поверху розовеющей мгле. Небо над кыштаком уже наливалось синью, и в звонкой прозрачности утра чуть не над головой Шакира с криком проносились ласточки.

Шакир застыл как замороженный, забыв ночные страхи. Вдруг со скрипом приоткрылись ворота, напротив которых стоял Шакир, и вышел мальчик, ведя на веревке черную корову с белым пятном на лбу. Мальчику, как и Шакиру, было лет тринадцать. Худой, скуластый, в рваной расстегнутой на груди бязевой рубашке и латаных штанах, он осторожными, неуверенными шагами подошел к арыку, протекавшему невдалеке от ворот, нашарил босой ногой край арыка, при этом его лицо оставалось чуть запрокинутым. Когда корова начала пить воду, он склонил голову, замер, напряженно вслушиваясь. И как только корова оторвала морду от воды, он повернулся, чтобы вести ее во двор, и тут Шакир увидел две белые точки вместо зрачков.

Через несколько минут слепой мальчик снова появился на улице. Следом за ним, как будто ждала этого момента, из ворот выбежала лохматая старая собака, бросилась к мальчику, виляя хвостом и чуть слышно скуля.

— Чего тебе, Коктай? — спросил мальчик и протянул вперед руку. Собака лизнула ее, потерлась о ноги хозяина.

Подтянув выше штаны и потуже затянув гашник, он громко закричал:

— Жокен! Эй, Жокен!

Из соседнего двора раздался грубоватый голос:

— Чего орешь?

— Выходи быстрее!

Слепой мальчик, оборачивая лицо то вправо, то влево, прислушиваясь к чему-то, осторожно обошел яму, где готовили глину, и остановился возле высокого дувала у сломанной арбы, нащупал оглобли, ногу поставил на ось и легко поднялся вверх. Уселся на край арбы. Собака улеглась в ее тени. Мальчик стал размахивать руками, словно правил лошадь.

— Но! Чу! — весело кричал он. Потом запрокинул лицо к небу и протяжно запел:

Тюльпаны красные колышет ветерок,
Просторен мир весенний и широк.

И вдруг, замолчав, достал из-за пазухи старый мешочек, засунул в него руку, поднес мешочек к уху и зашевелил губами, будто перебирал и пересчитывал что-то... Шакир позднее узнал, что в мешочке были алычики.

Кончив считать их, слепой, белозубо улыбаясь, слез с арбы и шагнул прямо к дувалу. Шакир испугался: сейчас ударится о него головой. Но этого не случилось: дойдя до дувала, слепой повернул направо и зашагал вновь вдоль него к холму, а потом бегом поднялся на склон. И еще раз крикнул:

— Жокен!

И тут на улицу откуда-то выскочил толстый мальчик в рваной одежде и побежал за слепым и его собакой.

Шакира он, кажется, не заметил.

* * *

Шакир в первые дни не выходил из дому: он был застенчив, и все здесь ему казалось чуждым. Как быстро, как весело пробегали в горах дни, как не хотелось вечерами расставаться с товарищами, идти на зов матери в юрту. А здесь время словно остановилось.

Бескрайная долина, по которой разбросаны маленькие

кыштаки. И этот, такой же как ~~они~~, незнакомый ему кыштак с коричневатыми, еще не расцветшими садами, с путаницей тесных улочек и примыкающими друг к другу глинобитными дувалами, с домами под однообразными серыми крышами... Нет, он вовсе не похож на его родной аил, широко раскинувшийся в горах. Казалось, там не только люди, там и небо и солнце знали Шакира! А здесь... здесь и солнце чужое: оно не всходит над гребнем гор, как у них, и сразу не озаряет все вокруг — оно лениво поднимается где-то в конце долины, и лучи его такие слабые, что даже и не согревают людей. «Да и с кем здесь дружить, — думал Шакир, — с этим несчастным слепым... Как с ним играть? Он же ничего не видит. Или с тем толстяком, который проходит мимо, словно и не замечая меня». И он вспоминал своих друзей, оставшихся далеко в горах, и дни, проведенные с ними.

«Зачем мы сюда переехали?.. Почему отец оторвал меня от друзей?» Ему хотелось бежать куда глаза глядят, кричать, плакать — он знает: станет легче, если дать волю слезам. Он помнит, как покойная бабушка говорила его матери: «А ты поплачь, легче будет». Но он боится плакать, боится огорчить своих родителей: и без того больны, еле двигаются... Двое его братьев на войне — от них нет вестей. Трудные времена, голод. Не просто так перекочевали сюда: здесь родственники отца Шакира, с помощью одного из них отец стал колхозным сторожем. Нет, не виноват отец, что забросил свою чабанскую палку. Не на той свадьбу спустились по горным тропам сюда. И Шакир не маленький, понимает это.

У дальних родственников, в доме которых они поселились, была девочка Жамал, ровесница Шакира, худенькая, порывистая, с горящими, как угольки, глазами. Жила она с родителями в юрте, рядом с домом. В первое время Жамал и Шакир сторонились друг друга. Но, видимо, поняв, как скучно и одиноко Шакиру, девочка посочувствовала ему:

— Пошли, Шакир, я познакомлю тебя с мальчиками, будем играть. Не бойся, я не позволю им бить тебя.

Весь вид Жамал говорил, что она готова защитить его. В ответ Шакир лишь покачал головой.

В конце концов Жамал уговорила его.

Они поднялись по косогору к двум тополям. Тополя были как близнецы: высокие, с мощными прямыми стволами. Никто не знал, сколько им лет, и не помнил молодыми.

В тени их, играя маленькими камушками, бился прозрачный родник. Вода его из каменной колоды текла по арыку в кыштак, тихо и светло звуча, будто замирающие струны комуза. Небольшой кыштак, в который судьба забросила Шакира, видно, был обязан своим существованием этому роднику, и теперь дети, как некогда их родители, шумя играли возле него в альчики.

— Это Шакир. Он приехал к нам навсегда. Шакир будет играть с нами, — разом выпалила Жамал и засмеялась.

Первым с ним за руку поздоровался толстый мальчик, в маленьких, косо вырезанных глазах которого вспыхнула презрительная усмешка.

— Жокен! — голос его звучал нарочито громко.

Шакир спокойно назвал свое имя.

— Меня зовут Калыс, — добродушно сказал мальчик с маленьким, в ладошку, лицом и торчащими вперед зубами.

А потом, насунив брови, встал с места тот слепой мальчик. Шакир подал ему руку, как и другим, но она застыла в воздухе. Некоторое время он стоял с протянутой рукой, не зная, что делать. Выручила Жамал: подняла руку слепого и притянула к руке Шакира.

Лицо Шакира вспыхнуло, он понял, что поступил неправильно: надо было взять слепого за руку.

Тот своей костлявой рукой крепко сжал руку Шакира:

— Тебя зовут Шакир?

— Да.

— А меня Саяк.

Черные, с мутными точками зрачков глаза зашевелились, дрогнули ресницы — казалось, слепой «смотрел» на Шакира. Лево́й рукой он быстро оцупал его кисть, плечо, грудь, как бы обмеривая, а потом отпустил его руку и отступил на шаг.

— Альчиков много у тебя?

— Нет, — ответил Шакир.

— Как? Вы в своем айле в альчики не играли?

— Нет...

— А во что играли? — вмешался в разговор Жокен.

— Играли в топ, — сказал Шакир тихо, — и в чижик.

— Во что, во что? В топ? Ха-ха-ха! В чижик? — заливался смехом Жокен, будто его пощекотал сам черт.

«Чего тут смешного? — недоумевал Шакир. — Играть в топ одно удовольствие». Вспомнилось, как вместе с ребятами вычесывал, растопырив пальцы, коров, как из этой шерсти скатывали топ — кругленький мягкий мяч, и потом,

отмерив широкую площадку, прочерчивали посреди ее мету, и, разделившись на две группы, состязались в быстроте и ловкости. Тот, кому по жребью доставалось первому бить мячик палкой, старался послать его как можно дальше... Вот и он, Шакир, ударив мячик, стремглав, так что ветер свистит в ушах, устремился к мете — надо успеть опередить соперника, добежать до меты и вернуться к своим. Но мальчик из другой группы уже мчится за ним, норовя догнать его и ударить пойманным мячиком. Крик, шум. Обе команды всю горланят, подбадривая своих игроков.

Игра разгорается. Ребята гоняют друг за другом, взмыленные как кони, задыхаясь от быстрого бега, от свободы и счастья... Все это стремительно пронеслось перед глазами Шакира.

— Понятно, Жамал. Поздравляю тебя,— загадочно сказал Жокен и еще сильнее захохотал.

И мальчик с торчащими зубами, и слепой вопросительно заулыбались, чего-то ожидая от Жокена. Глаза Жамал сверкнули, она взглянула на Жокена с ненавистью и вдруг, подняв камень, замахнулась на него.

— Ты что? Только попробуй... Разве не правда? Твой жених — вот он,— Жокен пальцем указал на Шакира.

Шакир шагнул к Жокену — в своем айле кинулся бы на него с кулаками. Но кто знает этих чужих ребят? Может, у них принято так шутить? Пришел с ними знакомиться, а они... Шакир зло глянул в щелки глаз Жокена, стыдясь своей нерешительности и вместе с тем переживая горькое чувство унижения.

Жамал отвернулась от ребят, заплакала.

Слепой мальчик перестал улыбаться.

— Жамал! Жамал! — сказал он тихо и, подойдя к девочке, положил ей на плечи руки.

— Не плачь, Жамал! Жокен злится от того, что мы выиграли у него все альчики. Не плачь, Жамал, не плачь...

— Эй ты, несчастный слепой,— возмутился Жокен,— не подхалимничай! Думаешь, Жамал всегда будет твоими «глазами»?

Саяк оторвался от девочки. Брови его сошлись на переносице.

— Сам ты несчастный, лжец, урод! Аллах наказал твою мать!

— Не тронь мою мать! Она что, глаза твои выколола? Твою мать аллах наказал! Слепой!

Саяк кинулся на Жокена. А тот, перепрыгнув через арык, чувствовал себя в полной безопасности:

— Если бы у тебя были глаза, ты не дал бы нам жизни. Поэтому-то аллах и лишил тебя зрения.

Сделай Саяк еще один шаг, он угодил бы в арык, но лежавший под деревом, казалось, ко всему безучастный Коктай вовремя предостерегающе гавкнул.

Браня Жокена, Саяк вернулся к роднику. Успокоившись, начал играть с Калысом в альчики. И в самом деле, Жамал была «глазами» Саяка. Каждый раз, когда бросали альчики, она говорила Саяку, как они упали, и радовалась, когда его альчик вставал на алчы¹. Выигранные альчики Саяк прятал в мешочек, а если проигрывал, давал альчик Жамал. Когда бросали альчики, он весь замирал, вслушиваясь.

Теперь Шакир невольно приглядывался к Саяку — вначале он не то стеснялся, не то боялся смотреть на него. Саяк был самым рослым среди этих мальчиков, толстогубым, с почти сросшимися на переносице бровями, и оттого казалось, что он все время хмурится. Лицо напряженное. В незрячих глазах какое-то движение, и только пятнышки зрачков неподвижны. И словно какая-то тень на лице, от которой крупные, белые, как молоко, зубы кажутся еще белее.

Играет Саяк азартно, сжимая в руке альчики, называя их ласковыми именами, а добродушный, спокойный Калыс кидает их легко, беспечно, вроде не очень-то огорчаясь неудачей, весь вид его говорит: игра — она и есть игра.

С тихим звоном льется в арык вода, шумит листва тополей, и в стороне от ребят, положив голову на вытянутые лапы, наблюдает за игрой Коктай, словно разбирается в ней.

Прошло немного времени, и к ним подошел, дожидывая что-то, Жокен.

— Эй, Саяк, сыграем, что ли? — предложил он, словно между ними ничего не произошло.

— Будешь играть по-честному?

— А то как же!

Они кинули альчики. Повезло Саяку. И потом, чуть не каждый раз, альчики падали так, что он выигрывал. Жокен стал хитрить, опережая Жамал, говорил Саяку: «Твой альчик встал на таа, на пок, на чик»², хотя альчик вставал на алчы и выигрывал. Не стерпев этого, Жамал схватила за

¹ Алчы — выигрышная сторона альчика.

² Проигрышные стороны альчика.

руку Жокена, но тот дернул ее за волосы и, вытаращив глаза, поднес кулак к ее носу. Девочка испуганно заморгалась.

— Бери, мой альчик! Бери, мой рыжий альчик! Принеси мне удачу, — приговаривал Саяк, кидая альчик. Он на ощупь узнавал свои альчики и точно называл их имена.

Жокен иной раз давал ему выиграть. Но все меньше и меньше в мешочке Саяка оставалось альчиков. И вот у него остался лишь один большой красный альчик, в который был влит свинец.

— Еще будешь играть или хватит? — лениво спросил Жокен и встал. — Может, отдашь мне большой альчик за пять альчиков?

— Большой красный не променяю даже на сто альчиков, — сказал Саяк и тоже встал. Руки его дрожали, белки глаз покрылись красными прожилками.

Свой мешочек, полный альчиков, Жокен поднес к уху Саяка и потряс ими.

— Слышишь, твои альчики звенят!

— Бессовестный! — крикнула Жамал. — Обманул, а теперь дразнишь его.

— Обманул? — Саяк повернулся к Жамал.

— Да, грозил мне кулаком.

— Жокен, отдай мои альчики. Если не отдашь...

— А что ты со мной сделаешь, слепой? Я выиграл! Выиграл, и все.

— Ты не выиграл! Ты обманул меня, нечестный!

— Калыс, — не обращая на Саяка внимания, сказал Жокен, — я тебе должен десять альчиков. На, бери!

И тут Саяк кинулся на Жокена, повалил на землю, и они покатались вниз, дубася и кусая друг друга. Саяку помогал Коктай, вцепившийся в чапан Жокена. Шакир и Калыс бросились их разнимать. Саяк ударился головой об абрикосовое дерево, лоб его залила кровь. Вырвавшись из цепких рук слепого, Жокен отскочил в сторону, в пасти Коктая остался клочок его чапана. Схватив с земли камень, Жокен кинул его в Коктая. Тот отскочил и, яростно ощерясь, снова подступил к Жокену.

Протянув вперед руки, Саяк рванулся туда, где ему почудилось частое дыхание Жокена. Поняв, что не сможет его поймать, слепой упал на землю и, царапая ее руками, заголосил навзрыд.

Заметив, что к ним, опираясь на костыль, поднимается

учитель Бекмат, дядя Саяка, Жокен побежал вниз по ко-
согору. Бекмат погрозил ему костью:

— Я тебе!.. Смотри, попадешь мне в руки! — Потом, по-
дойди к Саяку, ласково сказал: — Вставай, мой азиз¹! До-
станется когда-нибудь этому дураку от меня. Ты добрый,
хороший... Вставай!

На крик Саяка прибежала к роднику и Каныш, его мать,
чернявая, высокая, худущая, в длинном мешковатом бязе-
вом платье.

— Свет моих очей, униженный судьбой сынок, зачем ты
унижен и людьми?! — причитала она, увидев окровавленное
лицо сына. И вдруг яростно накинулась на него: — Не-
счастный! Почему Жокен не убил тебя совсем! Это тебе кара
аллаха за то, что ты бросил учить священную книгу Коран.
Оттого и на мне грех...

Она хотела ударить сына по лицу, но Бекмат оттолкнул
ее. Тогда Каныш стала бранить Бекмата:

— Капыр²! Ты испортил моего сына. Сделал его капы-
ром. Бог накажет тебя. Уже наказал: проклял тебя, оставил
бездетным, одиноким, как засохшая арча. Мало тебе!

Шакир ничего не понимал: «Почему она то причитает
над своим слепым сыном, то ругает его? В чем виноват
Бекмат?»

Ночью Шакир долго не мог заснуть. В голову приходили
неведомые прежде мысли: «Почему люди не могут понять
друг друга? Почему один сотворен добрым, а другой —
злым? Бога нет — говорят в школе, бог справедливый, все
видит — говорят отец и мать. Но если он есть и если он спра-
ведливый, почему он дал глаза Жокену и не дал их Саяку?..»

С того дня у Шакира появилось отвращение к игре
в альчики. И хотя Саяк и Жокен вроде бы помирились,
и Жокен уже не смел глядеть на Шакира презрительно —
это после того, как, вступившись за Саяка, Шакир, не дав
Жокену опомниться, сбил его с ног и прижал носом к зем-
ле. «Бродяга, припелец, жалкий прихлебатель», — поднима-
ясь, закричал Жокен и тут же снова упал — теперь уже с
разбитым носом. И хотя ребята по привычке к Шакиру,
признали своим, и хотя не раз ходил он с Жамал, Калысом
и тем же Жокенем собирать на дальних лесистых холмах
сушняк, и, случалось, делили там одну на всех ячменную

¹ А з и з — святой, в данном случае уважительное обращение к сле-
пому.

² К а п ы р — неврный, безбожник.

лешку, и хотя у всех у них старшие братья были на фронте, и была этим ребятам дана одна на всех тревога военных лет — Шакира не очень тянуло к сверстникам. Ему интереснее было там, где Бекмат.

...Шакир лежит, затаившись в траве, на невысоком пологом холме за домом Бекмата. Бекмат каждый день поднимается сюда. Рукава его серой, накинута на плечи шинели болтаются. По пути останавливается несколько раз.

На холме долго стоит сгорбившись, опираясь на костыль, глядя на долину. Потом расстелет на земле шинель и, улегшись на нее, прикроет полою шинели раненую ногу. Таких людей, как Бекмат, обреченных на смерть, Шакир еще не встречал. «В его легких осколок бомбы, доктор ему сказал: помрешь...» — так шепотом говорят мальчишки, когда увидят Бекмата, повторяя эти слова, словно для того, чтобы не забыть их.

Осенью, когда Бекмат приехал из госпиталя, его не встретила жена, умерла от родов. «У него много горя. Хотя бы сына ему аллах оставил. Да, да, он человек, переживший большое горе... Когда аллах горем ожег животных, замычали коровы, заблеяли овцы, заржали лошади, заорали верблюды и задрожали деревья, прижались к земле травы от поднявшегося на ней гвалта. И тогда аллах ожег горем людей. И видит: один умирает, другой плачет, третий смеется, а четвертый злорадствует. И тогда аллах повелел: пусть горе останется с людьми. Только они могут перенести его. С тех пор неизбежно людское горе. Вот, и бедный Бекмат познал его, терпит...» — так говорили о Бекмате женщины.

Иной раз Бекмат поднимается на холм со своим маленьким комузом, который он сделал из арчи и выкрасил урючной краской. Лежа на боку, тихо играет на нем.

В своем аиле Шакир несколько месяцев ходил в дом одного старого комузиста. Тот научил его играть некоторые несложные мелодии. Но обучавший Шакира играл совсем не так: громко, сильно ударяя по струнам ногтями, а Бекмат тихо перебирал их пальцами. Его маленький комуз говорит печально, будто прощается с жизнью, прощается, воспевая ее благоуханье, радости и мечты. Мальчишки к Бекмату и близко не подходят, им скучно слушать его мелодии. Один лишь Шакир сидит здесь. Мелодии Бекмата он воспринимает всем сердцем и словно уносится в родные горы, устремляется к вершинам, к небу и вновь возвращается к своим друзьям, которые далеко отсюда.

Чистые звуки мелодии сменяются неясным бормотаньем

струн. Бекмат ставит свой комуз возле себя, ложится на шинель лицом к земле.

Иногда Бекмат сидит на холме долго, даже после заката солнца. Возле него собираются аксакалы, разговаривают о том о сем, не обращают внимания на комуз. «Эх, послушали бы лучше мелодии Бекмата», — вздыхает Шакир. Нет, видно, Бекмат не стал бы играть им, хотя бы и просили. Он не считает себя комузистом и потому играет только для себя. А может быть, не хочет рассказывать другим про свою печаль, не хочет вызывать у них жалость к себе... Случается и так: дотронется до струн, старики рядом приумолкнут, но, едва зародившись, мелодия обрывается. А потом кто-то из сидящих закашляет, или Бекмат сам, отвлекая их внимание от комуза, начинает говорить о чем-нибудь.

...Шакир, как обычно, сидя в стороне, внимательно слушает их разговоры. Вдруг от старых тополей у родника в вечерней тишине донеслась протяжная песня, не киргизская — русская.

— Сыновья кузнеца Антона, и Саяк наш с ними, — сказал кто-то.

— Быстро он научился русскому языку. Вот так память! Один раз услышит — и хватит, никогда уже не забудет.

— И путь запоминает, стоит лишь с ним однажды пройтись.

— Смотри-ка, — удивленно воскликнул отец Шакира, — слепой, а не собьется с дороги!

— Аллах не дал ему глаз, но не оставил в беде. Когда до войны его отец пахал далеко отсюда, за двумя перевалами, Саяк ему носил еду. И ни разу не заблудился.

— У него есть опорный дух, — прошамкал дед Калыса, усаживаясь поудобнее.

«У него есть опорный дух» — эти слова поразили Шакира. Мальчику привиделся белобородый, со светящимся лицом старик в белых штанах и рубашке. Он вел Саяка, протянув ему конец своего посоха. Шакир даже немного испугался этого странного старика и подвинулся поближе к мужчинам.

— Трудно ему без отца, — тихо сказал Бекмат, уронив голову.

И словно эхо отозвались сочувственные, дрожащие, слившиеся в неподвижном воздухе голоса:

— Да, трудно. Ох как трудно!

— Будь проклята эта война!

— Видно, не останется на земле людей с перанеными сердцами.

А от родника доносилась будоражащая кровь, широкая русская песня, и вместе со звонкими голосами сыновей кузнеца звучал глуховатый, сильный, протяжный голос Саяка. Лишь одно слово в этой песне было знакомо Шакиру — война.

— Завтра Антон перевозит семью в город к родственникам — самого-то в аскеры забирают, дай аллах вернуться ему с войны.

— Добрый человек, и брат его Иван такой же был... Э, Бекмат, в один день похоронки пришли на Ивана и на твоего брата Акмата.

Шакир впервые слышал, что отец Саяка Акмат погиб на войне. А он, оказывается, родной брат Бекмата.

— Зрячим-то ничего, а как сложится судьба этого слепого? И мать у него больная... последнее время совсем разумом помутилась.

— Зачем ты, Бекмат, обидел божьего человека, помешал ему учить детей, — произнес осуждающе дед Калыса.

— Какая там учеба... — махнул рукой Бекмат.

— Как же? — удивился один из стариков. — Если учить Коран — не учеба, то что такое учеба? Саяк-то уже чуть не все суры¹ слово в слово знал.

— Мог бы добывать себе хлеб...

— Еще немного и стал бы кары², — поддержал чей-то голос.

— И без того слепой... — не вступая в спор со стариками, тихо промолвил Бекмат.

О молодом мулле Шакир уже слышал от ребят.

Он появился в кыштаке в первый год войны. Сначала читал молитвы в домах стариков и старух, а потом по вечерам стал учить детей Корану. Родители щедро платили мулле деньгами и зерном, и каждый принимал его в своем доме как посланного самим аллахом святого. Но «святой» оказался дезертиром, его увезли милиционеры. Говорили, что он сын какого-то почитаемого старого мурлы. Говорили еще, что сообщил милиционерам о мулле вернувшийся из госпиталя Бекмат. К этому поступку Бекмата люди относились по-разному: одни поддерживали Бекмата, другие руга-

¹ Суры — главы Корана.

² Кары — человек, знающий Коран наизусть, обычно слепой. Такие чтецы Корана пользуются большим уважением среди мусульман.

ли его. Вот и сейчас, болея за судьбу Саяка, вспомнили о мулле...

— Хорошо, что ты вернулся,— сказал отец Шакира Бекмату,— все же есть у слепого теперь опора.

— Э, аксакал! — Бекмат тяжело вздохнул.— Я, правду сказать, получеловек. Нить моей жизни истончилась... Скоро, наверно, покину этот свет.

— Не говори так, сынок! Велика щедрость аллаха. Ты уже стал ходить, теперь выздоровеешь.

Бекмат чуть заметно покачал головой и тихо продолжил:

— Сколько ни скрывай болезнь, все равно смерть не обманешь.

Аксакалы замолчали.

Долго молчали. Потом все встали и, отряхнув полы, пошли по домам.

...Той ночью Шакир долго не мог уснуть. Все мерещилась ему белобородый старик, босой, в белых штанах и рубахе, и Саяк, держащийся за его посох.

* * *

Возвратившись после тяжелого ранения в родной кыптак, Бекмат заметил, что немало его земляков, и не только старики и старухи, но и его сверстницы, то и дело возносят хвалу аллаху. Такого до войны не было. «Наверно это от черных вестей-похоронок... Родители, жены, невесты будучи не в силах оберечь дорогих им людей, обращают мольбы к аллаху. Люди в страхе. Вот и мать Саяка совсем обезумела, узнав о гибели любимого мужа Акмата. Пройдут эти страшные годы, и снова развеется религиозный дурман» — так думал Бекмат. Сам он чудом выжил после тяжелого ранения — об этом сказали ему врачи. Но он знал и то, что времени ему отмерено немного. Нет, его, Бекмата, не завлекут сказки о загробном мире. И однако же он верил, что смерть — это еще не конец всего. Разве было бы на земле столько замечательных песен, разве звучал бы так простой самодельный комуз, если бы на погребальных носилках вместе с окаменевшим телом человека уносили его любовь, надежду, весь свет его жизни? Нет, это все остается на земле, с людьми, как остаются в нем, Бекмате, пока жив, его мать, отец, скончавшаяся во время родов Самар, фронтовые друзья, погибшие в боях.

Но «набожность» земляков, как вскоре узнал Бек-

мат, была связана и с тем, что в кыштаке появился мулла Осмон. Ходит по домам, совершает обряды, вот уже третий год приобщает детей к религии. Среди них и Саяк — он сам рассказал Бекмату о «школе муллы», не преминув сообщить при этом, что лучше его, Саяка, никто из ребят Корана не знает.

Ну что ж, раз есть верующие, пусть будет и мулла... Но то, что мулла калечит души детей, — этого учитель Бекмат стерпеть не мог.

— Хороший человек мулла Осмон? — осторожно спросил он у Саяка.

Тот уверенно кивнул головой.

— Милый мой, — сказал Бекмат, ласково потрепав жесткие, как смоль, черные волосы Саяка, — не ходи больше к мулле Осмону.

Саяк вздрогнул, поднял на Бекмата свои невидящие глаза:

— Почему?

— Потому что этот путь к хорошему тебя не приведет...

— Бекмат-аке, как же не приведет к хорошему! — Саяк отшатнулся. — Мне не учиться?! Я ведь скоро стану кары — угодным аллаху, уважаемым людьми... Опомнитесь, Бекмат-аке!

— Что ты кричишь, как маленький ребенок, — старался успокоить его Бекмат, — ты ведь уже большой, можно сказать, джигит. Слушай меня спокойно.

— Чего мне слушать, когда я наизусть знаю весь святой Коран! Три года днем и ночью, не щадя сил, учил его. Уже могу служить людям, быть мостом между ними и аллахом милосердным. Как же иначе мне жить? С голоду умереть, что ли? Зачем вы лишаете меня хлеба, который только так и могу заработать?

— Кто это тебе сказал?

— Мой мулла — мулла Осмон.

— Знаешь что, Саяк, — тихо промолвил Бекмат, — религия — ложь, а всякая ложь — зло.

— Что вы? Молчите! Слушать нас — грех! — Саяк пальцами заткнул уши.

В тот же день, зайдя в дом тракториста Кадыра, вместе с которым ушел на фронт, целый год был в одном взводе, Бекмат застал там за дастарханом на почетном месте муллу Осмона — здорового, красивого тридцатилетнего мужчину с пышной каштановой бородой.

«Так вот какой этот Осмон, в которого влюбляются молодухи! О нем даже песни поют». Одну такую песню Бекмат слышал:

Ах как сердце томится и ноет,
По ночам не берет меня сон.
И куда ни пойду — предо мною
Черноглазый мулла Осмон.

И по тому, как переглянулись хозяйка и мулла, Бекмат догадался, что пришел в этот дом не вовремя. Хотелось, не сказав ни слова, круто повернувшись, уйти. Но так, зайдя в чужой дом, не поступают, и он, вымыв руки, уселся за дастархан, справился о здоровье хозяйки, и домочадцев, и их родственников, отпил глоток зеленого чая и, хотя был голоден, едва прикоснулся к плову. Хозяйка отвечала односложно, и Бекмат слушал ее невнимательно — присматривался к мулле. Все в нем его раздражало: и холеные белые руки, и длинные жирные от плова пальцы со старательно подстриженными ногтями, и яркие, непривычно теплые глаза, таившие испуг... А больше всего раздражало, что этот самодовольный, сытый, избалованный женской лаской человек здесь как свой. А он, Бекмат, с перекошенным ртом бежавший вместе с Кадыром в атаку по усеянному трупами полю, здесь, в доме Кадыра, словно чужой. И в какой-то миг Бекмат понял: перед ним не мулла, а ловкач и трус. Он ненавистнее врага. Его нельзя спугнуть. И Бекмат заговорил с Осмоном дружелюбно, прикинувшись безразличным ко всему человеком.

А на следующий день, когда забрали муллу, обнаружилось, что он — дезертир. Удивлялись этому в кыштаке все, кроме Бекмата.

После того как Саяк узнал, что милиционеры увезли муллу Осмона, связав ему руки, он долго не мог прийти в себя. Сомнения мучили его, разрывали на части. В ушах звенели слова Бекмата: «Твой отец, защищая Родину, пал смертью храбрых, а этот трус восседал здесь на почетном месте, дезертир проклятый!» Но Саяку не верилось, что мулла — дезертир. Дезертиры в его представлении были не такие: они от страха прятались высоко в горах, в пещерах, месяцами не мылись, от них, должно быть, еще издали смрадом разит (а слепой Саяк особенно болезненно и остро ощущал состояние окружающих — их настороженность и страх). Нет, мулла Осмон не такой... А хоть бы и был он не мулла? Ну и что из того? Пусть не мулла — просто Осмон;

пусть, как говорит Бекмат-аке, это не настоящее его имя — учил-то он нас словами из Корана. Святая книга... Но Бекмат-аке говорит: «Религия — ложь, а ложь — зло». А он правдив. Но и он — человек, и может ошибаться, тут же успокаивал себя Саяк, потом, разве может какой-то дезертир, жалкий, озвере , знать так много? Разве может быть у него такой спокойный, ровный, чуть хрипловатый голос, как у того, кто читал нам Коран? Он, Саяк, запомнил не просто суры из Корана, но суры, произнесенные этим голосом, запомнил все проповеди муллы Осмона.

— ...Милые дети, родители привели вас ко мне, чтобы вы стали настоящими мусульманами, познали учение аллаха. Верьте каждому моему слову. Кто усомнится в этом учении, того накарает аллах. Он может отнять ногу, руку... Но самое страшное — такой человек на том свете попадает в ад.

— Как может аллах знать все о каждом из людей? — удивленно спросил кто-то из мальчиков.

— На этот вопрос я пока не отвечаю и за него не назначаю, потому что вы еще не ведаете основ нашей религии, — строго сказал мулла. — Но с завтрашнего дня тех, кто станет задавать такие глупые вопросы, буду бить этими прутьями, — мулла поднял связку прутьев, лежавшую рядом с ним. — Сидите тихо и слушайте. — Потом, помолчав, заговорил совсем по-другому, мягко, напевно: — Все, что вы видите, и все, что не видите, но что есть, сотворил аллах. Аллах сотворил мир... И увидел аллах, что люди бродят по свету как скоты. И решил установить порядок, и ниспослал с неба нашему пророку Мухаммеду священную книгу Коран. В ней записаны веления аллаха, которые мы, мусульмане, должны выполнять. Мусульмане должны ни на минуту не забывать аллаха, всемогущего, милосердного. Им запрещается воровать, лгать, грубить и вредить другим людям. И велит аллах подчиняться на земле тем, у кого власть, и всем их представителям. Все, что они потребуют, мусульманин должен отдать, и, если они бьют тебя, ты не должен сопротивляться, потому что ты их тысячу раз будешь бить на том свете. Чем больше ты страдаешь на этом свете, тем счастливее будешь на том... На твоём правом плече сидит божий ангел и записывает твои богоугодные дела, а на левом плече тоже сидит божий ангел и записывает твои грешные дела. И настанет Судный день, и сам бог будет судьей и взвесит твои богоугодные и грешные дела. И если перевесят богоугодные, пошлет тебя в рай, где будешь жить в

блаженстве вечном. А кто многогрешен — тому дорога в ад, и он будет гореть в огне, будет вариться в кипящем котле, и будут бросать его в пасть дракона. Земной мир — бранный мир. Вы должны помнить об этом, чтобы не попасть в ад.

Мулла Осмон замолчал.

— Что мы должны делать для этого? — раздался испуганный голос Жамал.

— Послушным надо быть, следовать всем велениям аллаха и пять раз на день молиться.

— А как быть мне? Я ведь слепой, — спросил Саяк.

— Таким, как ты, религия помогает. Хорошо выучи святой Коран, весь наизусть, и проповедай его людям: читай им суры. И исцелятся больные, и очистятся заблудшие, и за твои богоугодные дела будет тебе блаженство рая на том свете и хлеб насущный на этом. Ты будешь в самом красивом месте рая, и прозреешь там, и будешь видеть вечно.

Как воспрянул Саяк духом! Сколько было надежд! И вот все рухнуло.

Бекмат понимал, как не просто освободиться его слепому племяннику от религиозных представлений. Опытный учитель, он разговаривал с ним как с равным.

— Слушай, Саяк, религия говорит: подчиняйся представителям власти, ибо такова воля аллаха. А разве этот Осмон, или как его там настоящее имя, подчинился? Нет. Его призвали в армию, а он сбежал, стал дезертиром. Значит, учил он тебя тому, во что сам не верил. Что ты на это скажешь?

Саяк молчал.

— Нет, дорогой мой, надо не богу молиться, которого нет, а быть всегда честным и смелым, быть выше обид и горя, добиваться своей цели. Не зря говорят русские: человек — кузнец своего счастья. И у нас, киргизов, издревле превыше всего ценится в человеке смелость, непокорность судьбе. Вот в эпосе «Эртоштук» люди восстают против злых таинственных духов и в конце концов побеждают их. А в нашем великом «Манасе» люди сражаются с захватчиками и ценой многих жертв обретают свободу.

— А как быть мне? Без Корана как я себе добуду кусок хлеба? — спросил Саяк со слезами.

— Ты будешь учиться, — уверенно сказал Бекмат. — Будешь постигать науку, открывающую истинный смысл жизни, суть человеческого бытия.

— Но я слепой...

— Есть особые школы, в которых учат таких, как ты.

Саяк стал часто приходиться домой к Шакиру. Может, потому, что считал теперь его своим близким товарищем, а может, из-за родственницы Шакира Жамал, зайти к которой Саяк стеснялся: девочка ведь... Поначалу Шакир не знал, как вести себя, как разговаривать со слепым — недоверчивым, все время прислушивающимся к каждому шороху, порой резким, грубым. Конечно, у Саяка была причина не доверять своим ровесникам. Взять хотя бы Жокена. Вроде помирился с Саяком... а вдруг взял и поставил поперек дороги волокушу. Наткнувшись на нее, Саяк упал и сильно оцарапал колено.

— Ты что, слепой, что ли? — насмешливо крикнул Жокен.

Шакир поднял Саяка, повел его домой и, опалив на очаге кусок кошмы, наложил на рану и перевязал лоскутом.

«За что Жокен так ненавидит Саяка?» — недоумевал Шакир. Но как-то вечером, стоя за дувалом, он невольно подслушал разговор Жокена и Жамал:

— Жокен, зачем ты так! Он же ногу поранил, а могло быть еще хуже.

— Если будешь дружить с этим слепым, я ему все ноги переломлю! — угрожающе прошипел Жокен.

— Вот скажу Бекмату-ага, как над слепым издеваешься, из школы тебя выгонит.

— Думаешь, Бекмат-хромой учить нас будет? Жди! Ну и дурочка! Он же еле ползает, помрет скоро.

Девочка всхлипнула и ничего не ответила.

— Жамал, — нерешительно заговорил Жокен, — зачем тебе этот слепой урод? Почему не дружишь со мной?

— Потому что ты злой, Жокен. Аллах накажет тебя!

...Постепенно Шакир привык к Саяку. Временами он даже забывал, что Саяк ничего не видит. Обостренное чутье и слух в немалой мере заменяли слепому от рождения мальчику зрение. Он почти всегда знал, что происходит вокруг.

Они бродили по пологим холмам, валялись в густой мягкой траве, вскакивали и, схватившись за руки, падали навзничь, подставляли свои скуластые лица солнцу и ветру. Шакир глядел в праздничную синюю даль и не мог представить, как это жить без нее. Он закрывал глаза, пытаясь ощутить мир, каким знает его Саяк, но солнце проникало сквозь сомкнутые веки, и еще нежнее обнимала теплынь

лета, наполненная легким полдненным звоном и стрекотанием кузнечиков.

В такой вот полдень и рассказал ему Саяк легенду про Тоштука

— Тоштук¹ в подземном мире спасает птенца огромной сказочной птицы Алпкаракуш, вырывает его из пасти дракона. И говорит тогда Алпкаракуш: «За добро я плачу добром, я готова служить тебе». И отвечает Тоштук: «Преследуя семиглавого дива, очутился я в подземном мире. Помоги мне подняться на поверхность земли». И молвит Алпкаракуш: «Ладно, подниму тебя на своих крыльях. Возьми только с собой сорок кусочков мяса и сорок кашиков² воды. Когда буду лететь над бездной, поднимаясь все выше и выше, и скажу тебе: «пить» — подашь мне припасенной водицы кашик, а когда скажу: «есть» — подашь мне мяса кусочек.

Так и сделал Тоштук. И сел на широкую спину птицы. Из подземного мира к свету, к свету белому, птица взлетает, поднимаясь меж стен отвесных, среди скал, словно пики, острых. Скажет «пить» — и Тоштук вливает в клюв раскрытый водицы кашик, скажет «есть» — и Тоштук подает ей припасенного мяса кусочек. И совсем уж, совсем немного до родной стороны поднебесной. И Тоштук, замирая, слышит посвист ветра и конский топот. Но уже в бурдючке ни капли не осталось воды, и мяса не осталось в платке у Тоштука. Просит пить усталая птица — ничего он ей дать не может, просит есть, красный клюв раскрывая, — ничего он ей дать не может. И он чувствует, как, обессилев, начала опускаться птица. И тогда... — голос слепого рассказчика дрогнул, — тогда Тоштук вырывает свой глаз и дает его птице в кашике вместо воды, и от икр своих отрезает кусочек мяса и кладет его в клюв птице. Взмахнув широкими крыльями, Алпкаракуш в один миг доставляет Тоштука на поверхность земли.

И, не жалея, что ослеп на один глаз, Тоштук благодарит Алпкаракуш. А та спрашивает: «Тоштук, почему последние кашик воды и кусочек мяса были особенно сладки». Тогда Тоштук возьми и скажи ей всю правду. «Я не улечу, оставив тебя слепым», — говорит Алпкаракуш, и она проглатывает Тоштука и через минуту срыгивает его. У Тоштука появляется глаз, острее, чем тот, что был прежде. А потом

¹ Тоштук — легендарный герой из эпоса «Манас».

² К а ш и к — деревянная палочка.

Тоштук прощается с Алккаракуш и, радостный, отправляется к своему народу, к своей любимой жене, о которой так тосковал.

Радость Тоштука Саяк переживал, как свою. Его всегда сосредоточенное лицо прояснилось, он широко улыбался, обнажая крупные, до блеска белые зубы.

Затем он вдруг спросил у Шакира:

— Как думаешь, Алккаракуш и теперь живет?

Шакира этот вопрос застал врасплох, и он сказал неуверенным голосом:

— Наверно...

— Конечно, жива, — разволновался Саяк. — Такая птица не может умереть. Вот ведь как хорошо!

* * *

Осенью сорок четвертого года почти до самого ноября ребята работали в поле, помогали колхозу. Потом начались занятия в школе. Шакира зачислили в седьмой класс. Перед ним на первой парте сидели Жамал и ее подружка Самар. А за спиной у него — Жокен и Калыс. Маленькая школа в родном горном аиле теперь казалась ему воплощением тишины и порядка. Здесь же, на переменах, да и на уроках, случалось, поднимался невообразимый шум и гам, и некому было навести порядок, приструнить шалунов: все учителя женщины...

Из учителей-мужчин с войны вернулся лишь Бекмат. Но работать в школе ему не под силу. Он только смотрит со своего холма глубоко запавшими глазами на одноэтажную, длинную, неряшливо побеленную школу.

В седьмом классе тридцать с лишним учеников, но ни с кем Шакир не дружит по-настоящему. И не потому, что нет среди них хороших ребят: боится завести новых приятелей, считает, что этим оскорбит своего слепого друга. А Жокена и Калыса Шакир и вовсе сторонится. Чуть что, Жокен начинает сквернословить. Он и Калыс все время вместе. Но Жокен на каждом шагу насмехается над Калысом: то толкнет его, то бранит при ребятах. А безвольный, робкий Калыс угодливо улыбается. «Станный этот Жокен: нет Саяка — издевается над Калысом, — думает, глядя на них, Шакир. — Почему он такой злой и жестокий? Может, оттого, что дома ему достается, вечно ходит в синяках».

Отец Жокена, Капар, — коренастый хмурый человек. Он чуть не каждый день подираивляет свой дувал — самый вы-

сокий в кыштаке. Что делается в этом дворе, с улицы не видно. Люди редко заходят туда. По вечерам он не поднимается на холм, куда приходят мужчины обменяться новостями. Жокена бьет нещадно камчой и кулаками. И все как-то даже привыкли к истошному крику мальчика, доносящемуся с этого двора. Говорят, что отец Жокена неседешний: перекочевал откуда-то во время коллективизации...

«А может, Жокен злой вовсе и не потому, что и отец у него такой. Вот ведь у Калыса отец двумя орденами и медалью «За отвагу» награжден. Все видели его фотографию в газете. А Калыс — трус». Правда, поначалу-то Шакир иначе о нем думал...

Из всего класса по душе Шакиру одна Жамал. Все в ней ему нравится. А то, что она — «глаза» Саяка, а он — друг Саяка, невольно сближает их. Но Жокен и Калыс дразнят: «влюбленные». Это Шакира задевает, и ему не остается ничего иного, как быть подальше от Жамал.

Возвращаясь с уроков, Шакир еще издали замечает Саяка. Даже когда вдруг захолодало и небо заволокли тучи и дул пронизывающий ветер, Саяк встречал Шакира: стоял посреди улицы, пряча замерзшие пальцы в рукава своей не по росту короткой ветхой телогрейки.

— Эй, Шакир, идешь, да? — улыбался он, обнажая свои крупные зубы.

Шакир удивляется: «Неужели мои шаги звучат не так, как шаги других? Наверно, не так, иначе как он их различает? А может, ему помогает тот белобородый старик со светящимся лицом?» Иной раз Шакиру кажется, что вот-вот старик выглянет из-за плеча Саяка.

— Замерз? — сочувственно спрашивает Шакир, пожимая холодную руку Саяка.

— Ничего, — небрежно отвечает тот, — скоро потеплеет.

И в самом деле, наступили теплые, солнечные дни. Шакир и Саяк снова выбирались из кыштака, бродили по побуревшим шуршащим травам. Но не было той летней беспечности, легкости, когда вдруг ни с того ни с сего мчались они, как джейраны, по ровным склонам, летели, почти невесомые, как пух одуванчиков. Теперь настороженные шорохи, опережавшие их шаги, и сам воздух, по-иному теплый и вовсе не ласковый, налитанный полынной горечью — не той густой, летней, а перестоявшейся, прелой, — все будило тревожные мысли, тянуло сквозь суету к вечному.

И они думали о мире, о непостижимых людским умом бесконечности и вечности. И не от дум возникали слова, а от слов — думы, ибо в родном им языке, граненном тысячами, билась пытливая мысль.

То, что бога нет, — им более-менее было ясно. В самом деле, если б миром правил милосердный всемогущий аллах, то, конечно, сразу бы расправился с Гитлером и вернул их близких да и тысячи других людей домой здоровыми и невредимыми. Но если бога нет, то что есть? И вообще, ради чего живет человек? Вот о чем говорили они. И каждый из них ведал то, что не ведал другой: один жил на свету, другой — во тьме.

* * *

Однажды после школы Шакир не нашел Саяка на улице. Подойдя к его дому, покричал, вызывая друга, но тот не вышел. Шакир встревожился: что же случилось? Но зайти в дом не решился: у Саяка он никогда прежде не был, к тому же побаивался матери его, Каныш, — вдруг возьмет и прогонит. Да и Саяк не приглашал никогда... из-за нее, конечно. Говорит, раньше была совсем не такая. Теперь не только дети, все в кыштаке ее побаиваются, обходят стороной. Шакир стоял в нерешительности, не зная, что делать. И тут из дома Саяка вышел Бекмат. Заметив Шакира, позвал его к себе:

— Приятель твой напоролся где-то на гвоздь, я перевязал ему ногу. Пусть посидит нынче дома. Не стесняйся, иди побудь с ним... Ты что, со школы идешь? — спросил Бекмат, глядя на сумку в руке мальчика.

— Да.

— Эджеке Кыйбат видел там?

Шакир кивнул. Эджеке Кыйбат — директор школы.

— Вот эту справку от доктора завтра передай ей. Скажи, если деньги будут, Бекмат просил принести. — Он вынул из нагрудного кармана полинялой солдатской гимнастерки маленькую, вдвое свернутую бумажку с жирной черной печатью.

— Не потеряй. Положи в сумку. Вот так, хорошо. А теперь иди к нему.

...В темном коридоре Шакир напарил дверь, и она сама открылась. В нос ударил сырой заплесневелый запах. В комнате был полумрак. Из мутного, почти под потолком, окошечка лениво сочился свет. Сначала Шакир заметил несколь-

но старых тушаков¹, сложенных горкой у стены. Потом разглядел, какой здесь беспорядок: посуда разбросана, наван и деревянные чашки немыты, всюду какие-то грязные тряпки, стены от копоти черные.

Каныш стояла у тусклого зеркала, висевшего на стене, расчесывала длинные черные волосы и пела.

Шакир поздоровался с ней, Каныш не ответила, скользнула по нему невидящим взглядом.

Саяк лежал с перевязанной ногой на конише. Услышав шаги Шакира, он приподнял голову и весь просиял. Шакир сел рядом с Саяком и молча крепко пожал ему руку. Так же молча Саяк нащупал сумку Шакира, вытащил из нее учебники, полистал их, прислушиваясь к шелесту страниц, и горячо зашептал:

— Мой Бекмат-аке обещал: «Немного поправлюсь и отведу тебя в школу для слепых, будешь учиться». Да, так и сказал..

— Твой дядя слов на ветер не бросает, такая школа есть — я еще у себя в айле слышал о ней, — солгал Шакир, стараясь поддержать друга.

— Надеешься на Бекмата?! — пронзительно закричала Каныш. — Он ничего тебе не сделает. Он убийца твоего отца!

Шакир готов был ко всему, он знал, что мать Саяка сошла с ума, и все же от этих слов ему стало не по себе.

Каныш бросила на пол расческу, одним прыжком подскочила к Саяку, схватила его за ворот и, подтанцив к двери, вытолкнула в коридор. Подобрвав учебники и телогрейку Саяка, Шакир бросился следом.

— Убирайся и ты, ученик шайтана, — крикнула ему вдогонку Каныш.

Шакир привел сильно хромавшего Саяка к себе домой и обо всем рассказал отцу.

Отец Шакира, Рахман, старался успокоить Саяка:

— Ничего, сынок. Каныш, бог даст, вскоре придет в себя. Все будет хорошо. А сегодня оставайся у нас. Шакир — твой друг. Вместе будете спать.

Мать Шакира покормила ребят, а когда свечерело, уложила на одном тушаке, укрыв теплым ватным одеялом.

Саяк вскоре заснул. А Шакир долго не мог сомкнуть глаз, все думал о Саяке. Неужели его судьба будет такой,

¹ Туша к — матрац.

как у слепого старика Такетая? Шакир с детства знал Такетая, жившего в доме на холме.

Маленький Шакир каждый день пробуждался от крика Такетая: «Ку-у-у, а-айт!» Слепой старик до вечера неустанно кричал и, пугая воробьев, грохотал дырявым ведром. Родня Такетая сеяла просо на склоне ниже их дома. Пока это просо не убирали, стеречь его от воробьев было делом Такетая.

Наверное, у Такетая не было «опорного духа», такого, как у Саяка. Потому он не мог ходить так свободно по айлу и по холмам. Он знал только тропинку, протоптанную им самим вокруг поля, и, намаившись за день, еле находил свой дом.

Когда его семья перекочевывала на джайлоо, Такетай оставался в доме один. Вечерами ел свою затвердевшую лепешку, пил перекишенный айран — прямо из деревянного ведра, а потом ложился спать, укутавшись войлоком, в котором было полно блох. Огонь в очаге зажигать ему не разрешали, боялись, сожжет дом. Привозили с джайлоо целый чанач¹ айрана и выливали в деревянное ведро. Стоило только близко подойти к дому, и в нос ударял запах перекишенного айрана.

Один год не сеяли просо. По этой причине или из жалости к слепому старику — пусть на джайлоо попьет немного кумыса — Такетая увезли на сером быке на пастбище.

Его семья и семья Шакира и на джайлоо были соседями. И там, когда перекочевывали на новые места, на серого быка навьючивали вещи, а на них усаживали Такетая, наказав держаться покрепче. Там, на джайлоо, Такетай караулil масло и курут² от сбак.

Однажды при перекочевке серого быка ужалил овод. Бык, взбрыкнув, пустился вскачь, слепой Такетай ударился о накренившееся ореховое дерево, упал на землю и сломал позвоночник. Думали, вот-вот помрет. Но Такетай не умер. Несколько дней пролежал под навесом, а потом его на быке привезли в кыштак.

Прошли месяцы, прошел год. Такетай так и не встал на ноги. В углу коровника настелили соломы и туда положили Такетая, укутав войлоком. Так он все время и лежал. И голос его слабел, уже еле слышался. Но он дышал, сердце его билось.

¹ Чанач — бурдюк для айрана.

² Курут — сушеное кислое молоко.

Кто бы ни приносил ему еду, он просил об одном:

— Люди, убейте меня! Не пожалейте одну пулю, а если покажете — убейте камнем. Доброе мне сделаете, доброе.

У кого рука поднимется убить его? Так и лежал он между жизнью и смертью. Наверно, и теперь еще мучается...

«Неужто и Саяку уготовлена такая участь?! Нет, нет, — успокаивал себя Шакир, — у Саяка есть «опорный дух». И, засыпая, он снова увидел белобородого старика и Саяка, идущего за ним в своей короткой ветхой телогрейке.

...Нару дней спустя родители послали Шакира на базар в Джикалал-Абад с одним их родственником купить соль, спички и другие нужные вещи.

Они отправились в полночь и на базар пришли, как только вошло солнце.

Широко раскинулся базар. Народу полно. Разноязыкий гомон. Здесь и киргизы, и русские, и узбеки. Многие покупают не за деньги, меняют вещи на муку, рис... Возле чайханы на мангале жарятся шашлыки. Рядом продаются манты. Снуют по базару с детьми на руках в широких ярких юбках цыганки. Вдруг Шакир увидел слепого в солдатской шинели. Он играл на гармонии и что-то пел по-русски. Вокруг стояли женщины. Слова песни были непонятны Шакиру, но, глядя на женщин, утиравших слезы, догадался, что слепой поет о своей несчастной судьбе. Потом в его шапку, лежавшую на земле, со звоном полетели монеты.

Шакир бы еще задержался здесь, но родственник торопил его, и они двинулись дальше.

А в другом конце базара старики слушали другого слепого, киргиза, сидевшего у стены. Качая головой, он нараспев читал суры из Корана.

«Если бы не Бекмат, вот так бы где-нибудь на базаре пел Саяк», — подумал Шакир.

Возвращаясь в полдень домой, Шакир и его родственник заметили этих двух слепых. Держась за руки, они шли с базара, о чем-то бодро разговаривая. «Чему они так радуются? Или у них сегодня много подаваний?»

* * *

Раннее весеннее утро. Шакир выбежал на улицу, заглянул во двор Саяка. Тот сидел на чарпае и что-то мастерил. Худые длинные пальцы его ловко двигались.

— Иди сюда! Иди! — позвал Саяк, повернувшись в его

сторону.— Ночью я слышал пение кекликов¹. Их голоса — как звонкие капли брызнувшего дождя. Они подбадривали, звали друг друга.

Шакир слушал молча.

— У тебя есть желе?² — спросил Саяк, продолжая сучить нить из конского волоса.

— Нет,— сказал Шакир, толком еще ничего не понимая.

— У меня есть три желе: каждое длиною десять маховых сажений,— Саяк раскинул руки, показывая длину маховой сажени.— Мне этого хватит. Аллах даст, кеклики не пройдут мимо моих силков,— Саяк радостно заулыбался.— Скажи своей маме, пусть она найдет шнур подлинней. Я тебе быстро сделаю желе.

— А что такое желе? — спросил Шакир растерянно. Саяк покачал головой, мол, ничего-то ты не знаешь.

— Осенью кеклики уходят на юг по нашему Длинному гребню. Говорят, они уходят туда, где зимы не бывает. А весной, когда растает снег, они возвращаются на север. Вот мы на гребне и растянем желе — шнур, на котором много силков, и, поймав кекликов, сварим шурпу, приготовим вкусный кебаб!

— А они что, летать не умеют?

— В том-то и дело, что долго лететь они не могут. Они поднимаются в воздух, когда на пути их ложбины, ущелья. Все остальное время они бегут по гребням.

До вечера сучили в четыре-пять рядов длинный из конского хвоста волос, готовили силки, привязывали их к шнурам. Саяк обновил все свои старые желе и сделал одно для Шакира.

Пришли Жокен и Калыс. И они уже подготовили свои желе. Оказывается, много ребят идут за кекликами, отпросились в школе. «Торопиться надо, а то займут наши места», — волновался Жокен. В этом деле Шакир ничего не понимал и потому помалкивал.

...Вчетвером они быстро шли по тропинке, тянувшейся вверх по ложбине. Только под вечер поднялись на Длинный гребень. В закатный час он казался огромным живым существом, лежащим меж двух широких долин, упиравшимся в них своими ребристыми склонами.

Мальчики замерли, глядя на пылающее, все в золотом огне, небо, на громады горных хребтов, сверкающих засне-

¹ Кеклик — горная куропатка.

² Желе — шнурок с силками; его натягивают невысоко над землей.

женными вершинами, и словно текущие среди пологих холмов долины с пашнями и кыштаками. Замер и Саяк, наверно, их состояние передалось и ему.

— Черный мыс — мой! — вдруг крикнул Жокен и побежал по гребню занять место за глубокой ложбиной.

Черный мыс кеклики миновать не могут: перелетая через ложбину, приземляются обязательно на нем. Не миновать им и силков Жокена.

За следующей ложбиной занял место Калыс.

— Ладно, — успокаивал себя Саяк. — Аллах поможет — повезет и нам.

Саяк спешил, то и дело поторапливал Шакира, но тот не поддавался, сдерживая его, вел на подъем осторожно, обходя впадины и бугры.

Длинный гребень сужался на глазах. Саяк вдруг остановился.

— Видишь два больших, плоских, как доска, камня? — сказал он, как бы проверяя то, что ему уже известно, и тут же спросил у Шакира, как выглядит это место. — «Первое желе растянем здесь», — решил Саяк, осторожно раскручивая привязанное к поясу желе.

Они вбили в землю два колышка, крепко натянули на них желе, наломали стеблистого, толщиной в палец, курая, сделали из него подпорки. Потом Саяк наладил желе: скользя пальцами по шнуру, раскрыл каждый силок. Руки его работали чутко и быстро.

Второе желе растянули метрах в двухстах от первого. Третьим было желе Шакира. А для последнего своего желе Саяк облюбывал следующий мыс.

Как только растянули последнее желе, Саяк присел на корточки и прочитал суру из Корана, молитвенно проведя ладонями по лицу. Потом что-то пробормотал под нос и дунул в сторону желе: суф, суф! Шакиру стало смешно, потому что друг дул на желе, как мулла на больного человека, изгоняя из него нечистый дух.

— Чего смеешься? — рассердился Саяк.

— Да не над тобой, просто так, — успокоил его Шакир.

— Пошли теперь к первому желе. Но, смотри, не перешагивай через них, обходи, — предупредил Саяк.

— А что будет?

— Засядет злой дух.

Когда они вернулись к первому желе, Саяк сказал:

— Шакир, выбери место, где есть караганник, чтобы

оттуда было видно желе. Сделай там шалаш. Когда кеклики будут идти, спрячемся.

Шакир выбрал такое место, связал верхушки растущих рядом кустов караганника и вместе с Саяком покрыл их сверху прошлогодней травой. Работой своей он остался доволен. Шалаш получился на славу. Теперь было место, где спрятаться.

Они уселись возле шалаша плечом к плечу. Солнце только что зашло. Воздух еще прозрачен. В небе ни облачка.

Чуть вытянув шею, Саяк вслушивался в тишину. Лицо его было спокойным и чутким.

— Вон там, кажется, ходят лошади, — сказал он, протягивая вправо руку.

Шакир встал, взгляделся в ту сторону: на дальних холмах, еле различимые отсюда, паслись лошади.

— Сошел ли снег с гор? — спросил Саяк.

— Не весь, — ответил Шакир и посмотрел в сторону родного аила.

Там, над горами, уже туманилось вечернее марево. Он знал, что с этих гор снег не сходит даже в самый разгар лета. На солнечных склонах его уже не было, а в тени он лежал нетронутый, белый.

Обо всем этом Шакир рассказал Саяку. Саяк внимательно слушал, кивая головой.

— А шахта Кек-Жангак видна?

— Да. Даже видны белые дома. Вон... вон... вон... Смог-ри, как они красивы!

«Смотри» — как могло вырваться у Шакира такое слово! Слава богу, Саяк, кажется, не обратил на него внимания.

Шакир откинулся на землю, лег на спину. Саяк поднял руку и положил на его плечо, потом осторожно погладил его шею. Кончики пальцев чуть прикоснулись к его лицу и тут же оторвались от него, казалось, Саяк хочет что-то сказать, но не осмеливается. Шакир молчал. Вдруг кончики пальцев слепого коснулись его глаз, всего на мгновение и осторожно-осторожно. Шакир искоса взглянул на лицо Саяка: оно совсем переменялось. Недавно бывшее таким спокойным и умиротворенным, помрачнело, зубы стиснуты.

Шакир решил отвлечь его от тяжелых дум:

— Дай аллах, прибежала бы сейчас стая кекликов. Да, Саяк?

— Не нужен мне аллах! — сказал Саяк гневно. — Без него проживу.

Шакир даже рот раскрыл от удивления. «Ну и Саяк! Недавно молил аллаха ниспослать ему удачу... а сейчас, попадись ему аллах, он бы бросился на него, как тогда у родника на Жокена».

Какое-то неведомое Шакиру грозное чувство переполнило Саяка, казалось, вот-вот вырвется из его груди.

Саяк упал ничком на землю, вцепился в нее, сотрясаясь от беззвучных рыданий.

Прошло немало времени, Саяк поднялся, втянул в себя воздух, ноздри его заходили.

— Жокен развел огонь, — сказал он злобно.

Шакир повернул голову и увидел поблескивающий костер, примерно в километре от них.

— И в самом деле, развел огонь, — подтвердил он.

— Я его руку, которой развел огонь, размозжу, выколю ему глаза. — И тут Саяк закричал что было сил: — Э-э-эй, Жокен! Туши огонь, несчастная твоя мать!

Никто не отозвался, но вскоре огонь потух.

Сгущался вечер. Саяк напряженно вслушивался, не идут ли кеклики.

— Не слышно их, — сказал он уныло. — Пойдем в шалаш спать.

* * *

Их разбудил гул, нарушивший утреннюю тишину. Шакир высунул голову из шалаша и увидел в рассветном сумраке чуть заметный самолет, летящий прямо над ними.

— Какой он из себя? — спросил Саяк.

— Ну, как тебе сказать... — Шакир спросонья не сразу отыскал нужные слова. — Железный... мотор тянет его вперед, как машину. А чтобы не упал — два крыла... и хвост.

Саяк прислушивался к гулу самолета, пока он не стих.

— Летит на войну, наверно, — сказал он задумчиво, — бомбы бросать... Раньше я ходил в клуб, когда привозили кино. Слушал его, а Жамал рассказывала, что видит. Три раза кино о войне привозили. Слушаю, и жуть берет — стреляют, убивают.

— А этой зимой почему не ходил?

— Да так... — он махнул рукой, — Жокен снова станет дразнить, оскорблять Жамал, а я этого не хочу.

— Теперь, когда привезут, садись со мной. Я тебе не хуже Жамал все объясню.

— Когда теперь привезут... — Саяк вздохнул. — Мой

отец погиб на войне. Он всегда говорил: «Твои глаза можно вылечить». Говорил: «Повезу тебя к доктору, он откроет твои глаза». Говорил: «Поедем на поезде».

— Теперь Бекмат-аке тебя отвезет.

— Нет, он не знает о таком докторе... Знает только о школе для слепых. Я учиться люблю. У муллы очень хорошо учился. Суры Корана быстро выучил наизусть. А Жокен и другие мучились, — произнес он не без гордости. И вдруг замер, будто испугался чего-то.

— Кеклик идет! — сказал он чуть погодя.

Шакир весь обратился в слух, но никаких звуков не различил.

Был ранний час, только что развиднелось, и вдали проступали контуры синих гор с булано-пегими, словно вищащими в воздухе, вершинами.

— Слышишь? — спросил Саяк, учащенно дыша.

— Нет.

— Идут же, но далеко еще.

Через некоторое время издали донеслись беспорядочные голоса наперебой окликающих друг друга кекликов.

— Мы им не видны? — спросил Саяк.

— Нет, не видны.

— Смотри хорошо!

— Ладно, ладно, — шепнул Шакир, стараясь не дышать и напряженно глядя в просвет меж кустов.

Там, возле первого желе, — редкий прошлогодний ковыль и низенькая, только что пробившаяся из земли полынь — пустое чистое место; и все оно перед ним словно на ладони.

Так вот какие они, кеклики! Спешат, будто овцы на водопой. Они то останавливаются, вытягивая головки вперед, то обгоняют друг друга, перекликаются, поддерживая строй, возвращая выбежавших вперед и зовя отстающих.

Заметив желе, кеклики скучились и остановились. А потом их вожак, поведя шейкой, кинулся вперед и благополучно миновал желе. Другие бросились за ним, и двое, подпрыгнув, застряли в силках и упали. Тут же стая с шумом оторвалась от земли.

— Есть! — выдохнул Шакир и, дернув за руку Саяка, побежал с ним к желе.

Кеклики лежали лапками вверх. Мальчики быстро привели в порядок первое желе, поправили силки и, прихватив с собой кекликов, пошли проверять остальные. Средних два желе были пусты, из последнего вынули еще двух кекликов.

— Да, сегодня нам повезло: до восхода солнца — четыре кеклика, — радовался Саяк. — А средних два желе... — он задумался, — в них, кажется, засели черные духи. Завтра надо принести арчу и окурить их.

Такой обычай Шакир хорошо знал. Старые бакши¹ окуривали дома, чтобы изгнать злых духов.

* * *

Вечерами они возвращались в кыштак, а перед рассветом Саяк будил Шакира, и, прихватив пару бутылок айрана и лепешку, они шли на Длинный гребень. Случалось, ночевали там в шалаше. Охотником Шакир оказался не менее азартным, чем Саяк. К тому же он впервые ощутил себя кормильцем семьи: видел, как благодарно улыбается мать, принимая из его рук добычу. В эти дни он потерял всякий интерес к занятиям в школе, да и учителя делали вид, что не замечают прогулов, и не ругали учеников за то, что они ставят силки и ловят кекликов в неположенное для охоты время: этой ранней весной в кыштаке было особенно голодно. За две недели Шакир был в школе всего несколько раз, но и тогда в его голову ничего не лезло. Только и ждал, когда уроки кончатся. «Что там с Саяком? — тревожился он. — Слепой ведь, может свалиться в яму, сломать ногу и, того хуже, стать калеккой. Хоть бы Коктай был с ним...» Но, как назло, мать Саяка Каныш не выпускает пса, держит его во дворе на привязи. Жалостно ему на свою судьбу, как человеку. И то плачет, то смеется... Лишь раз вырвался Коктай, нашел Саяка по следу.

Забежав домой и бросив сумку с учебниками, Шакир торопливо взбирался на гребень.

Саяк издали слышал его шаги.

— Шакир! — радостно кричал он.

Как это ни странно, но в то время когда Шакира на гребне не было, кеклики так и лезли в его силки, благополучно минуя силки Саяка. Шакир, конечно, догадывался, что слепой друг отдает ему свои трофеи, но точных доказательств этого не было.

— Ну и везет тебе: в моих желе — два, а в твоём четыре кеклика.

— Врешь! — вспыхивал Шакир.

¹ Б а к ш и — шаман.

— Что ты кричишь, как маленький? Я тебе правду говорю, пойдем посмотрим...

Кеклики стаями бегут по гребню на север недели две-три. Этой весной, как только появились кеклики, погода установилась лучше некуда, а потом испортилась, пошли дожди.

Серые тучи плывут низко — так низко, что, кажется, ползут по горам. Мальчики, дрожа от холода, сидят в шалаше. Хорошо, что они покрыли его толстым слоем сена. Издали их шалаш — как одинокая копна. Правда, и в нем уютно, сыро, но все же не то, что под струями холодного дождя. Уже немало кекликов добыли, можно бы и по домам, но охотничий азарт не дает им уйти.

— Эй, пустите погреться!

Это Жокен. Дрожит от холода. Проливной дождь допек его, аж губы посинели.

Втроем они еле уместились в шалаше.

— Я свое желе натянул на новом месте, — сказал Жокен хвастливо. В его голосе была уверенность в том, что теперь-то он поймает много кекликов.

— Дело не только в месте, — усмехнулся Саяк.

— Тебе повезло в этом году, несчастный. Каждый день ловил по пять-шесть кекликов. А мы...

— Ну и что, — как бы между прочим сказал Саяк. — У меня каждый год так.

— Не ври! В прошлом году поймал не больше нас.

— Каждый год вы с Калысом распускали грязные руки, — сказал Саяк с укором, — а нынче у меня есть друг Шакир. Он честный.

— Хорошие «глаза» ты напел, слепой! — сказал Жокен со смешком и повернулся к Шакиру: — Сколько он платит тебе за это?

— За что он должен платить? — удивился Шакир.

— За то, что ты — его глаза.

— Дурак ты, смутьян, — сказал Саяк грубо. — Пришел, чтобы нас поссорить! Вставай, иди отсюда!

— Чего ты горячишься? Шакир шуток не понимает, что ли? Шакир — человек умный, разберется, что в шутку, а что всерьез. Правильно, Шакир, друг?

Шакир решил показать себя самостоятельным человеком.

— Я и понял это как шутку.

Они помолчали. Потом Саяк потянул за руку Жокена:

— Уходи! Не мешай нам!

— Что ты торопишь! Где это видано, чтобы гостя гнать.

— Если есть дело — скажи, а нет — уходи.

— Есть дело...

— Какое?

— Да так, небольшое. Завтра в школу пойду. Уже три дня пропустил, — сказал Жокен. — Хочу нашей учительнице принести кеклика. А сегодня, как назло, в мои желе ни один не попался. Саяк, дай мне в долг одного. За этим и пришел.

— Не дам.

— Завтра же верну.

— Не надо, — отрезал Саяк и, повернувшись к Шакиру, объяснил, как бы оправдываясь: — Он кеклика у меня просит, чтобы в мои желе вселился черный дух.

Шакир знал поверье охотников: когда везет, то никому не должен уступать свое место, свою добычу.

— Если хочешь подарить кеклика нашей учительнице, — продолжал Саяк, — отнеси ей одного из тех, которые есть у тебя дома. Вчера же хвастался нам, что двадцать кекликов засолил.

Жокен запнулся и ничего не смог возразить.

— Ох и жадный ты, слепой!

— Ты жадный, толстощекий! Ненавидишь меня за то, что аллах посылает мне больше кекликов. Теперь вот решил пакликать на меня беду. У меня нет с тобой дел. Хоть каждый день меняй место! Поймай хоть всех! Я не жадный.

В это время издали донеслось пение кекликов.

— Идут, — шепнул Саяк.

Они смотрели сквозь щели шалаша, затаив дыхание. Вот вся стая метнулась в желе Саяка и с шумом улетела.

Жокен пулей выскочил из шалаша. За ним бросился Шакир, держа за руку Саяка. Когда они добежали до желе, Жокен уже вынул одного кеклика и доставал другого.

— Сколько там? Сколько? — спросил Саяк, тяжело дыша. Он вел себя необычно, нервничал.

Жокен посмотрел на Шакира и приложил палец к губам:

— Всего лишь один... один.

— А я слышал, что два. Посмотри-ка еще!

— Один... это он такой беспокойный, не понравилось ему в силке и шумел за двоих, видимо, петушок, — болтал Жокен, довольный своей шуткой. И снова подал знак Шакиру, дескать, молчи.

Шакир думал, что тот разыгрывает Саяка и сейчас отдаст ему кеклика, вспомнились недавно сказанные слова: «Шакир шуток не понимает, что ли?», ставящие его, Шакира, в ряд понимающих людей. Он и опомниться не успел, как Жокен, крикнув «Я пошел», побежал вниз по склону. Шакир так и остался стоять, разинув рот. А что делать? Сказать «Жокен унес», Саяк возмутится: «Почему о втором кеклике умолчал? Выходит, ты с ним заодно». И тогда он навсегда отвернется от него, Шакира. Он и так не очень-то доверяет людям...

* * *

Дожди прекратились, и с каждым днем солнце пригревало все жарче и жарче. Дружно зазеленели холмы. Наступила пора, когда у аткулаков¹ уже торчат уши. А стаи кекликов все пробегали по гребню на север. Казалось, им не будет конца. Но Саяк и Шакир уже не ходили на гребень: мать Саяка, Каныш, совсем обезумела. Однажды, когда он вернулся домой с кекликами, она вырвала у него из рук одного и стала бить им Саяка по голове. «Душегуб, убивец! — яростно кричала она. — Зачем ты лишил этих птиц жизни! Зрячие, они знают прелесть мира. Зачем я не задушила тебя в колыбели! Будь проклят, слепой!»

Насмерть перепуганный Саяк с трудом вырвался из ее рук. Спрятался у Бекмата. Но Каныш не успокоилась. Ворвалась во двор Бекмата, стала колотить в запертую изнутри дверь его дома.

— Пропади ты пропадом, — кричала Каныш на весь кыштак. — Или быстрее умирай, или женись на мне!

Бекмат распахнул дверь.

— Что ты сказала, проклятая албарсты?² Давай уходи отсюда, пока я тебя не убил.

— А ну-ка, убей меня! — кричала Каныш, еще сильнее возбуждаясь. — Ты на войне убил своего брата Акмата, а сам приехал. Я знаю, мне ангелы сказали об этом, мне мулла сказал. Почему ты убил его? Ты убил потому, что хотел на мне жениться. Ты убил его потому, что считал своим долгом жениться на жене его. По нашему обычаю так. По шарияту так... Женись на мне, женись сейчас же!

¹ А т к у л а к — род лопуха, его узковатые, торчащие из земли листья похожи на длинные уши ишака.

² А л б а р с т ы — демоническое существо в образе женщины.

Весь кыштак сбежался к дому Бекмата. Люди старались увести Каныш домой, успокоить. Но она вырвалась, забежала в дом деверя, схватила нож и кинулась на Бекмата. Кто-то успел оттащить Бекмата в сторону. Нож вонзился в стену. Каныш схватили. И тут все поняли, что ее нельзя оставлять на воле.

Каныш вытащили во двор, крепко привязали к столбу. — О, аллах! — причитала Каныш. — Накажи безбожника Бекмата! Он убил своего брата, убил муллу! Опозорил меня! Он спал со мной. Ха-ха-ха!..

«Это у нее от горя. Ее разум помутила смерть Акмата», — шептали некоторые женщины, а другие говорили: «Разве она одна получила похоронку? Разве на войне погиб один Акмат!»

На следующий день Каныш, привязав к арбе, увезли в город в психиатрическую больницу. Дом ее закрыли на замок. Саяка забрал к себе Бекмат.

Несколько дней Саяк не появлялся на улице. Он сидел на чарпае в саду Бекмата, плечи его тряслись. К нему подходили люди, утешали. Но он не отвечал им.

* * *

— Победа! Победа!

Учительницы, громко и радостно смеясь, пришли в дом Бекмата.

Они расположились на чарпае в саду. Кто-то принес ведро бузы¹. Но и без того они, наверное, уже успели выпить и вскоре начали петь во весь голос. Они обнимали и целовали Бекмата. Целовали его медали.

Женщины в кыштаке ходили радостные, утирая рукавами слезы. И, как никогда прежде, ослепительно лучилось солнце, затопившее кыштак ярким закатным огнем.

На чарпае рядом с Бекматом — Кыйбат, директор школы. С ее круглого, как луна, лица не сходит улыбка, черная коса перекинута на плечо, пуговицы жакета расстегнуты. Облокотившись на колено Бекмата, она восторженно смотрит на него. И Бекмат сегодня не такой, как всегда: чисто выбритый, статный, как молодой тополь. На груди сияют медали. Весел и разговорчив. Все обращаются к нему, и он всем успевает отвечать с открытой улыбкой, совершенно преобразившей его сумрачное лицо.

¹ Буза — хмельной напиток.

Зашло солнце, и руки Бекмата сами потянулись к комузу. Вот, наклонив голову, ударил по струнам — и комузу его зазвенел совсем не так, как прежде: казалось, струны звучат на пределе, громче и нельзя, а Бекмат вкладывает в мелодию не одну свою, но все ликующие души. И люди, толпившиеся на улице, сами того не замечая, тянулись к саду, где он играл.

Шакир и Саяк сидели под яблоней невдалеке от Бекмата. Вначале, когда царило шумное веселье, Шакир, как всегда, рассказывал ему о происходящем. Саяку не надо было объяснять длинно — все понимал с полуслова. Услышав, что Кыйбат облокотилась на колено Бекмата, он вздрогнул и больше не интересовался ею.

Увлеченный мелодией, Шакир забыл о том, что рядом с ним сидит слепой, и даже не слышал, о чем тот спрашивал. Перед его глазами был родной аил. И видел он своих старших братьев. Они были близнецами, и взяли их на войну вместе, в один день. И видел он, как идут они вниз по тропе, и слышал шаги их в рассветной тишине гор... И вот уже не слышно шагов, и вот уже не видно братьев. И он бежит вслед за ними во мглу ущелья... И вдруг отрывается от земли, подхваченный звучанием комуза, глуховатым, как шум ветра, и звонким, как поток на перекатах. Летит навстречу необъятному миру.

Не дав умолкнуть струнам комуза, Бекмат запел старинную песню о том, как возвращаются с победой батыры. И тут Шакир повернулся к Саяку и увидел его страдальческое лицо и яркие, как чистый белый фарфор, белки его глаз. Невидящие, они поразили Шакира своим отчужденным блеском.

— Хорошо поет Бекмат-аке? — через силу спросил Шакир и вдруг вспомнил, что отец Саяка погиб.

— Может, аллах воскресит погибших на войне, — как бы сам с собой разговаривая, прошептал Саяк. — Скажет: «Скучно без них. Пусть еще поживут...»

И, сдерживая рвущийся из груди крик «Ты — не одинок! Я с тобой!», Шакир крепко сжал его руку.

Свечерело. В саду повесили на дерево над чарпаем большую керосиновую лампу. Саяк и Шакир тихо перебрались на айван — открытую веранду, что была еще ближе к чарпаю, где учителя праздновали победу. Они улеглись у самого края айвана, укрылись одеялом, делая вид, будто спят. А сами с жадным вниманием слушали разговоры взрослых, их песни и игру Бекмата. Звуки комуза становились все мягче

и ласковее и словно сливались с тишиною ночи, со звездным сиянием.

Бекмут, видно, устал. Он отложил в сторону комуз. И теперь слышалось только прерывистое дыхание Бекмата. Женщины, недавно шумевшие, говорившие наперебой, умолкли. Веселье их угасло, словно потушенный огонь.

Бекмат встал, закурил и медленно пошел в глубь сада. Поднялась и Кыйбат. Во тьме Шакир с трудом различал ее белое платье и крохотный огонек самокрутки Бекмата. Потом их поглотила тьма.

Одни учителя разошлись по домам, другие улеглись на чарпае, подложив под головы подушки. Кто-то снял с дерева лампу, закурил фитили и задул свет.

Шакир лежал с открытыми глазами. Спать не хотелось. Ночь не могла погасить этот необыкновенный день — он для него все не кончался. Не спал и Саяк. Вот он приподнял голову, вслушивается в тишину. «Что его так заинтересовало?» — думает Шакир и вдруг замечает на холме два силуэта.

— Кто они? — подтолкнул он Саяка.

И в ответ шепот:

— Бекмат-аке... Кыйбат-эдже...

Тихо веет ночной ветерок. Таинственно шелестят листья.

* * *

Письмо из города о смерти матери привело Саяка в отчаяние. Как затравленный зверек в норе, сжался он в своем черном мире. Слыша приближающиеся шаги Шакира, он не бросался, как прежде, ему навстречу, угрюмо молчал, давая знать, чтобы оставил его одного. А когда доносились торопливые шаги Кыйбат, сворачивающей на их улицу, Саяк поспешно уходил на холм, прятался там в траве. Как-то он услышал разговор, что его дядя скоро женится на Кыйбат. И в самом деле, она зачастила в их дом и, жалея слепого мальчика, приносила ему кусочки сахара, сохраненные ею, наверно, еще с довоенного времени. Но Саяк невзлюбил эту женщину и отвергал ее заботу о нем.

Да и ни с кем он не хотел общаться. Один только Коктай ему по душе. Плачет он — и Коктай тихо скулит, лижет ему руки, лицо.

— Ну, ну, — говорит Саяк, — зачем плачешь? Перестань,

как-нибудь проживем.— И, обхватив руками мягкую теплую голову Коктая, чуть слышно поет:

Вершины снежные перелечу, как птица,—
Мне ль крутизны и высоты страшиться?

Коль есть на свете то, о чем мечтаю,
Готов я в бездну мрачную спуститься.

Коль где-то ждет меня душа родная,
Готов сквозь скалы тяжкие пробиться.

Коль суждена любовь мне за разлукой,
В разлуке целый век готов томиться.

Пошли, создатель, только луч надежды,
Чтобы с пути несчастному не сбиться.

«Пусть побродит один, не надо ему мешать,— сказал отец Шакиру.— Пусть ветер развеет его горе». Помня эти слова, Шакир не решался лишний раз подойти к Саяку. Но как-то, проходя мимо дома Бекмата, услышал неуверенное треньканье комуза. Став на дыпочки, заглянул за дувал: Саяк играет.

Бекмат (он уже начал работать в школе, преподавал математику), вернувшись домой, усаживался на чарпае и слушал игру Саяка.

— Мой азиз, наверное, ты один из нашего рода будешь настоящим комузистом. Твои пальцы уже привыкают к струнам. Садись ближе ко мне. Кое-чему я смогу тебя научить.

* * *

Как только дикий ячмень, желтея, стал наливаться зерном, люди с рассветом потянулись на холмы: отыскивали там еще мягкие колосья ячменя, собирали их, сушили на солнце, молотили и провеивали на ветру. За день такого труда получали одну-две горстки муки. Для голодных и это немало! Можно сварить целый казан атала¹ или испечь несколько тонких лепешек. Хотя много хлопот, но люди довольны и такой щедростью аллаха.

...Душный, знойный полдень. Шакир и Жамал с серпами на холме, а Саяк, сидя внизу под одинокой арчей, обмолачивает высохшие колоски, ссыпанные в брезентовый ме-

¹ Атала — похлебка из ячменя.

шочек, бьет по нему палкой, не давая себе ни минуты отдыха. И Шакир на холме старается, не хочет отставать от девочки. А Жамал так проворна в работе! Трудно в такую жару работать. В лицо пышет горячий; как из тандыра¹, воздух. Отирая ладонью пот со лба, Шакир огляделся по сторонам: «Где Жамал? Только что ведь была рядом... А, вот она в траве спряталась».

— Эй, Жамал!

Не отвечает, лежит себе раскинув руки.

— Эх, хорошо бы посидеть сейчас у родника! Да, Жамал? Чего молчишь? — Шакир подошел к ней. — Чего притворяешься? Открой глаза. Вставай! Нельзя валяться на солнцепеке, — он потянул девочку за руку и тут же отпустил.

Рука Жамал безжизненно упала. Шакир вздрогнул, склонился над Жамал, поднял ее и, обмирая от страха, понес с холма в тень одинокой арчи, где Саяк выбивал из колосьев зерна.

Хватая воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег, Шакир осторожно положил Жамал у ног Саяка. Тот сразу почувствовал неладное, всполошился:

— Жамал! Жамал!.. Что с тобой? — закричал он не своим голосом. Одной рукой обхватив плечи Жамал, Саяк прижал ее к своей груди, ладонью другой придерживал ее голову, взволнованно повторяя: — Жамал! Жамал!.. Шакир, подай воды! Бутылка... там, у ствола.

Шакир стал лить на лицо ей воду. Глаза Жамал открылись.

— Где мы? — спросила чуть слышно.

— Здесь ты, в этом мире... Шакир принес тебя, — Саяк положил голову Жамал себе на колени и ласково гладил ее лицо, волосы. — Жаке, что с тобой?

— Со вчерашнего дня ничего не ела, — призналась Жамал.

— Как же? А утром отдала нам половину лепешки, сказала, что сыта. Почему сама не ела?

— Решила, обойдусь как-нибудь до вечера. Но вот... не выдержала, — Жамал слабо улыбнулась.

— Зачем ты так сделала? — произнес Шакир.

— Просто хотела, чтобы Саяк подкрепился... и ты тоже... Ведь вы мужчины.

...Через месяц в дом Шакира пришел, опираясь на пал

¹ Т а н д ы р — глиняная печь, в которой пекут лепешки.

ку, Бекмат. Поздоровавшись, он закурил, потом обратился к отцу Шакира:

— Аксакал, поспел мой ячмень, посеянный ранней весной трактористами. Его надо скосить и обмолотить. Мне это не под силу. Потому и прошу вас, почтенный Рахман, взяться за это дело и разделить зерно среди односельчан.

Обрадованный отец Шакира согласился сразу. Наточил свой серп, позвал двух стариков и двух жепцин, и они пошли на дальний адыр¹ убирать ячмень Бекмата.

Несколько дней спустя, собрав в кыштаке ишаков и быков, Рахман вместе с Шакиром и Саяком отправился на только что подготовленный хирман². По хирману были разбросаны снопы ячменя, а посреди его вбит в землю столб.

Отец Шакира укрепил на столбе аркан так, чтобы он мог свободно вращаться. К аркану, ближе к столбу, привязал быков, потом ишаков, а последней привязал к нему свою лошадь и велел мальчикам гнать скот по кругу.

Сначала работа никак не налаживалась: ишаки взбрыкивали, то упирались, то рвались вперед. Но постепенно привыкли шагать по кругу.

День выдался жаркий. Саяк и Шакир быстро утомились. Хотелось пить, но вода, которую они принесли в бурдюке, стала теплой и не утоляла жажду.

Видя, что животные втянулись в работу, старик Рахман посадил на быка Саяка, а Шакиру отдал вилы и велел подбрасывать в круг ячмень, оставшийся по краям хирмана.

Весь в пыли и мякине Саяк беспрестанно подгонял животных и протяжно пел:

Только раз повстречался с тобой по весне.
У реки я живу, за рекой ты, в другой стороне.
Если б в сердце мое заглянуть могли люди,
В сундуке на верблюде
Тебя привезли бы ко мне.

Настроение у Саяка было приподнятое: то ли от того, что отец Шакира все время хватил его, то ли от сознания, что занимается таким серьезным делом.

Ближе к вечеру Рахман погнал животных на выпас.

— Заройтесь в солому и спите, — сказал он ребятам. — Приеду поздно.

Так они и сделали. Что им ночь! Они — не одни: рядом верный Коктай.

¹ Адыр — пологий холм с ровной вершиной.

² Хирман — ток.

Возвращались фронтовики. Пришла весточка и от братьев Шакира — из самого Берлина! «К осени, — пишут, — ждите. Все вместе перекочуем в родной аил».

Шакир сразу побежал к Саяку сообщить эту новость. Но вдруг остановился, обожгла мысль: «Об отце своем вспомнит. Нет, ничего ему не скажу».

Неслышно ступая босыми ногами по мягкой пыльной дорожке, подкрался к воротам Бекмата: ему захотелось появиться неожиданно и, со смехом накинувшись на Саяка, положить его на лопатки. Они теперь часто боролись на траве, и худой, но широкий в плечах Саяк, почти всегда брал верх. «Ну и хватка у него, — удивлялся Шакир, — железная».

— Эй, Шакир, — раздался тихий, чуть насмешливый голос Саяка, — абрикосы кандек¹ уже созрели, сладкие, срывай и ешь. Да не шуми: Бекмат-аке спит на чарпае.

Саяк сидел под деревом, вокруг валялись абрикосовые косточки.

Собрав горсть абрикосов, Шакир расположился возле Саяка.

— Скоро уеду, — сказал Саяк радостно и в то же время растерянно. — Бекмат-аке повезет меня далеко в поезде на железных колесах в большой город Фрунзе. Может, и тебя твой отец отвезет туда, — в голосе Саяка отразились неуверенность и надежда. — Дальний путь... — проговорил Саяк задумчиво. — Хочешь, расскажу тебе, что от одного джарчи² слышал?

«Давным-давно жили двое сирот. Отцы их умерли, завещав сыновьям перед смертью: «Отправляйтесь в город и научитесь там ремеслу, без него станете нищими, пропадете».

Матери напекли сыновьям в дорогу лепешек, приготовили кульязык³ и, уложив эту снедь в тылуны — мешки из шкуры телянка, благословили своих сыновей и проводили их в дальний путь. Со слезами просили у аллаха удачи им.

Имя одного Тукур, а другого — Садда.

¹ К а н д е к — сорт крупных абрикосов.

² Д ж а р ч и — поэт-импровизатор.

³ К у л ь а з ы к — сушеное, истолченное в муку конское мясо, смешанное с жареной пшеницей, топленным маслом и солью.

Шли они по безлюдным пустыням, по диким степям шли. И говорит однажды Тукур так:

— Друг мой, Садда, если суждено нам умереть, будем в одной могиле, а останемся в живых — ничто не разлучит нас. Один из нас крылья, другой — хвост. Если ждет нас хорошее — увидим его вместе. Дорога еще длинная, а снеси у нас в тылупах остается все меньше. Зачем доставать ее из двух тылупов? Давай сначала съедим твою, а потом мою.

— Ладно, друг мой Тукур, — согласился Садда.

Проходит несколько дней. Опустел тылуп Садды.

И вот садятся есть, друг против друга. Тукур свой тылуп ставит в середину. Садде дает горсточку, будто нищему.

— Ты свои припасы нерасчетливо тратил, и они быстро кончились, — укоряет его Тукур.

Проходит день, другой. Садда обессилевает от голода.

— Мою снесь ты ел вместе со мной, будь же человеком, поделись со мной своей, — говорит Садда.

— Если не дам тебе поесть, ты, конечно, помрешь с голоду, — говорит Тукур, оживляясь, — ладно, сейчас дам. Но, случается, люди забывают хорошее, сделанное для них другими. И ты тоже человек, и ты, может быть, забудешь. Чтобы это не забылось, давай я выжгу тебе на ляжке клеймо, — говорит Тукур.

— Нет, — решительно говорит Садда, — лучше помру с голоду, чем дам поставить на теле своем позорное клеймо. Считаю, что теперь у каждого из нас — своя дорога. Я не могу идти одной дорогой с таким вероломным, как ты.

И доходят они до перепутья, где на камне начертано: «Влево свернешь — в сад попадешь», «Вправо свернешь — пустыней пойдешь». Сытый сильный Тукур занимает дорогу, ведущую в сад. Садда, чтобы не идти вместе с Тукуром, невольно свернул на дорогу, ведущую в пустыню.

— Прощай! — говорит Садда, повернувшись к Тукуру, — ты был моим другом, наши матери проводили нас, как братьев. Дадим же ради них клятву не думать друг о друге плохо и не таить в своем сердце зла. И кто бы из нас ни вернулся первым в аил, не будет говорить плохого о другом.

И поклялись в этом Садда и Тукур и разошлись в разные стороны.

...Вот сытый Тукур идет по саду. Вдруг навстречу ему выезжают охотники-чужеземцы и спускают на него собак и сокола. И ловят Тукура, и вяжут. И тогда Тукур, нарушив клятву, указывает им дорогу, по которой пошел Садда.

И они подбирают голодного бредущего по пустыне Садду. И привозят пленников к себе домой, и велят им быть псарями. И живут Тукур и Садда на псарне, и кормят собак.

К такой судьбе они относятся по-разному. Тукур говорит радуясь:

— Хотя и на псарне живем, есть у нас крыша над головой. Хотя и для собак приготовлена — есть у нас пища, сваренная в котле. Хотя и не свободны, да сохранили головы на плечах. Уже научились кормить собак — разве это не ремесло?

А Садда говорит, горюя:

— Псарня — не дом. Пища, приготовленная для собак, — не пища для человека. Голова, не думающая о свободе, — чурбан. Не всякое умение — ремесло.

Чужеземцы садятся на аргамаков, выезжают на охоту. Тукур и Садда, навьючив на худого коня пищу для собак и держа в поводу борзых, сопровождают их.

И глядит Садда на необъятную степь, на пустыню и мечтает вырваться на волю, как птица из клетки.

Проходят годы. Как-то раз, когда чужеземцы гнались по степи за волком, Садда говорит Тукуру:

— Если будем так жить, зря пройдет наша жизнь. Давай убежим.

Тукур, желая выслужиться, передает своему хозяину слова Садды. И хозяин выкалывает глаза Садде, говоря: «Твои глаза смотрели вдаль», и оставляет его в степи. А потом, подзвав к себе Тукура, отрезает ему язык, говоря: «Ты слова одного будешь передавать другому, и между нами возникнет вражда. Для псаря необязателен язык».

Идет Садда по дикой степи, идет по пустыне. Нащупывая ногами бугры и кочки, находит дорогу. Идет по дороге — натывается на родник. Чуть выше родника шумит чинара. «Теперь не уйду от этого родника. Если придет сюда караван, заберут меня люди, а если суждено мне умереть, умру здесь» — так сказал он себе и лег в тени чинары.

Проходит знойный день. Проходит холодная ночь. Сколько ни прижимает к земле ухо Садда — не дрожит она от тяжелой поступи верблюдов, не звенят вдали их колокольчики.

Только слышит он вдруг: шумят над ним крылья — то прилетели на рассвете голуби. Уселись на ветке чинары. Замер Садда, слушает. А два голубя разговаривают между собой.

— Знали бы люди,— говорит один,— что листья этой чинары — лекарство от тысячи болезней.

— Да,— говорит второй,— если окунуть их в родниковую воду и приложить к глазам или губам, прозреет слепой и заговорит немой.

И улетели голуби.

И срывает Садда лист чинары. И, окунув его в родниковую воду, привязывает к слепым глазам. И лежит, сторожа день и ночь. И, дождавшись утра, снимает повязку — и видит свет.

И падает Садда на колени, благодарит чинару. И шумит приветливо чинара, и осыпает Садду своими листьями.

Собирает их Садда, прячет на груди под рубашку. И держит путь домой.

...У порога отчего дома перед ним две слепые старухи: ослепли матери от слез, годами глядя на дорогу, по которой ушли их сыновья.

Возвращает им зрение Садда. Мать Тукура спрашивает о своем сыне.

— Придет,— отвечает Садда.— Он придет, владея ремеслом.

И молва разнеслась повсюду о чудесном лекаре Садде. Приходили к нему слепыми, возвращались зрячими люди.

Садда знал: его чудо-листья исцелить могут сто болезней. Но хранил это в тайне: берег он для слепых эти листья чинары. Потому что и сам он когда-то света белого, солнца не видел».

Саяк умолк, откинулся на траву, тяжело дыша, щеки его порозовели. И Шакира сказка так увлекла, что он не сразу пришел в себя. Оба долго сидели молча.

— Не написано ли в ваших книгах, где находится та чинара? — неожиданно спросил Саяк.

Шакир замялся.

— Написано,— сказал лежащий на чарпае Бекмат. Оказывается, и он слушал сказку Саяка.— Написано, дорогой мой азиз,— повторил он ласково.— Ты сам найдешь эту чинару. Скоро повезу тебя во Фрунзе в школу-интернат. Там научишься читать быстро-быстро...

— Я?!

— Руками будешь читать. Есть такие книги... В них на каждом слове свои бугорки. У тебя будет много таких книг. Ты станешь ученым человеком, мой азиз. И ты будешь нужен людям, как Садда.

Два старых тополя у родника — два близнеца, высокие, с мощными прямыми стволами. «Им уже лет сто, а может, больше», — с почтением говорят аксакалы.

Днем и ночью шелестят их листья, словно льется с неба невидимый людям дождь. Давно уже эти старые тополя облюбовали птицы. Едва повеет весной, суетливо снуют они: кто — с веточкой, кто — с комочком глины, кто — с травинкой в клюве, вьют гнезда, и сливается со звоном родника их радостный щебет и свист.

Саяк часто приходит сюда. Он любит слушать разговоры птиц. Он, кажется, понимает их язык. Каждую птицу узнает по шуму крыльев, а не только по голосу.

Случалось, в сильный ветер птенец выпадал из гнезда, верещал, пищал, зовя на помощь. Саяк находил его, прятал за пазуху, лез на тополь и безошибочно укладывал в гнездо, откуда тот выпал.

Один только Саяк взбирался на эти большущие тополя. Другие и подумать не смели: стволы такие толстые — не обхватишь. Попробуй на них вскарабкаться! Да и растут тополя над крутым склоном, с них и посмотреть вниз страшно — закружится голова. Но Саяк легко взбирается на тополя, играючи перебирается с ветки на ветку.

Когда бы не было у Саяка такой страсти к лазанию по деревьям, может, судьба его сложилась по-иному. А дело в том, что вскоре после окончания войны Бекмат стал разыскивать своего фронтового друга Чингиза, работавшего до мобилизации во Фрунзе в школе-интернате для слепых. Из республиканского Министерства просвещения пришел ответ: сообщили фрунзенский адрес Чингиза и даже номер его телефона. Бекмат написал Чингизу письмо, но, не удовлетворившись этим, отправился в Джалал-Абад и позвонил ему по телефону. Оказалось, Кадыр снова работает в той школе-интернате.

Через пару дней Бекмат получил от него телеграмму: «Привози племянника».

Накануне отъезда во Фрунзе Саяк пошел к роднику — видно, хотел проститься с родными его сердцу местами. Кто знает, что заставило Саяка забраться там на тополь. Может, просто потянуло его ввысь...

У родника играла детвора. Увидев Саяка на дереве, дети, выткнув шеи, стали кричать, перебивая друг друга:

— Саяк-аке, мне, мне достань птенца...

Саяк опустил руку в гнездо. «Что это такое — толстое, тяжелое?!..» — удивился он и вдруг понял, что вытащил змею. Испугавшись, сразу бросил ее, но и сам не удержался на ветви, камнем полетел вниз.

В это время Шакир вместе с другими старшеклассниками занимался ремонтом школы. Штукатурили стены, белили их. Вдруг до него донесся крик какого-то мальчугана: «Слепой Саяк упал с тополя!» Бросив кисть, весь в мелу, Шакир помчался к дому Бекмата. «Еще немного подышит, и все», — услышал он чей-то шепот, пробираясь в толпе людей, запрудивших двор.

...Посреди комнаты на ватном одеяле лежит Саяк. Лицо его землисто-серое, глаза закрыты. Бекмат то и дело подносит к губам Саяка мокрое полотенце и притрагивается к его руке, проверяя пульс.

Через некоторое время подъехала арба. Бекмат сел в нее, скрестив и поджав под себя ноги, и осторожно, как грудного ребенка, принял на руки завернутого в одеяло Саяка.

Арба двигалась медленно-медленно. Шакир как тень шел за ней до самого Джалал-Абада, до больницы.

* * *

После этого случая Шакир жил как в тумане. Ночами не мог заснуть. Все мерещилось ему землисто-серое лицо Саяка и слышались кем-то сказанные слова: «Еще немного подышит, и все».

«Наверно, уже нет его в живых», — замирая, думал Шакир. Он боялся справиться у Бекмата о своем слепом товарище. Но на третий день не выдержал, попросил у соседей ишака и поехал в Джалал-Абад.

В больнице был карантин, и к Саяку в палату не пускали. Только взяли для него кумыс и фрукты и тут же закрыли дверь. Но Шакир, заглядывая в окна, отыскал палату, в которой находился его друг. Глаза Саяка были закрыты, и Шакир не посмел его окликнуть.

Прошла неделя-другая, и Саяк стал приходить в себя.

— Шакир! А, Шакир! Выйди на улицу, — раздался однажды чуть свет голос Жокена.

Шакир вышел к воротам и, протирая заспанные глаза, недовольно буркнул:

— Ну, чего тебе?

— Долго спишь, — усмехнулся Жокен. — Мы вот с отцом

поработаться уже успели...— И, помявшись, произнес тихо: — Слепой-то наш жив, оказывается.

— Ты что, с утра пораньше решил о здоровье его справиться? — разозлился Шакир и с вызовом глянул в узкие, всегда настороженные глаза Жюкена.

— Зачем пришел — мое дело... Вот, возьми для слепого.

И тут Шакир заметил лежащую у края ворот бледно-желтую, круглую, как мяч, дыню-скороспелку.

Еще помнит Шакир, как ездил с Бекматом в больницу проведать Саяка.

Летний полдень. Окно в палате Саяка настезь распахнуто. Они встали у окна, поздоровались с больными.

— Саяк, как ты себя чувствуешь? — спросил Бекмат.

Саяк, повернув к ним лицо, заулыбался. Оно было измученным, бледным, но уже не таким землисто-серым, как в те дни, когда он находился между жизнью и смертью.

— Лучше стало, — сказал Саяк, все еще улыбаясь. Его ноги были в гипсе и приподняты к спинке кровати. А рука была перевязана и покоилась на груди.

— Ты не горюй, — ласково продолжал Бекмат. — Все будет хорошо. Поправишься, и поедем во Фрунзе. Признаться, я боялся за тебя... Теперь все худшее позади. Ты мне верь, я ведь тоже так лежал... Видимо, родились мы с тобой под счастливой звездой. И с друзьями нам повезло: вот опять пришел к тебе Шакир.

В палате было четыре кровати. У окна лежал человек лет сорока, до пояса в гипсе, круглолицый, с маленькими усиками. Звали его Сапаркул. На другой — джигит лет двадцати с перевязанной головой. А возле Саяка — Мукаш, мальчик лет тринадцати, как кузнечик прыгающий на костылях.

— Неплохая компания у нас собралась, — засмеялся Сапаркул, взглянув на Бекмата. — Я рассказываю им о войне, как громили немцев в лесах Польши; Сагындык, — он указал на молодого джигита, — рассказывает о фильмах, которые он видел. Мукаш каждый день нам читает газеты. А наш Саяк рассказывает сказки, поет песни. Когда Саяк поет, больные в палатах усидеть не могут. Но доктора не разрешают петь. А если бы разрешили, — пошутил Сапаркул, — его пение было бы слышно всему роду.

До начала учебного года оставались считанные дни, и Шакир отправился в больницу навестить Саяка. Когда начнутся занятия, времени на это не будет. До города путь не близкий: засветло уходишь, а возвращаешься на закате.

...Он и возвращался из города в кыштак, когда багряное солнце опускалось над далекими холмами. Кончался день тяжелый, душный. Дорога утомила Шакира, ему уже давно хотелось пить, и он свернул к роднику. Оттуда, с холма, вдруг увидел людей, снующих возле дома Бекмата. Сразу вспомнились разговоры женщин: «Бекмат скоро женится на директоре школы Кыйбат. Не упади этот несчастный слепой с тополя, уже давно сыграли бы свадьбу. Дай бог им счастья, не век же Бекмату ходить бобылем. Кыйбат тоже еще молодая, потеряла мужа — не вернулся с войны. Оба мечены горем, оба одинокие. Пусть соединятся. Пока человек жив, как не думать ему о счастье».

«Наверное, готовится свадьба», — подумал Шакир, и сердце его глухо забилося. Припав к роднику, он торопливо напился, потом умыл лицо и быстро зашагал в кыштак, опасаясь, что свадьба Бекмата может начаться без него. Из всех взрослых в кыштаке самым близким для Шакира был Бекмат. «Пусть будут счастливы», — невольно повторил он слова женщин, но тут же и осудил Бекмата: почему устраивает свадьбу, не дождавшись Саяка.

К дому Бекмата Шакир подходил на спеша, исполненный чувства собственного достоинства и обиды за Саяка.

— Бекмат-аке женится? — спросил он как бы между прочим у своего отца, выходящего со двора Бекмата.

— Что ты говоришь глупости, — растерянно ответил отец. — Рана у Бекмата открылась, видно, шевельнулся стальной осколок. Несчастный Бекмат целую ночь в беспмятстве. Не знаем, как доставить его в больницу, боимся, не доведем...

На рассвете из дома Бекмата донесся крик и плач.

— Миленкий мой, свет очей моих! Как жить без тебя?! Что будет с нашим слепым?! — задыхаясь, причитала тетушка Бекмата, Кумуш, маленькая, со сморщенным лицом старушка, жившая на другом конце кыштака. Дрожащий голос ее тонул в людском плаче.

Блиzkих родственников, кроме одинокой старушки Кумуш и Саяка, у Бекмата не было. И потому не было на по-

хоропах в голос рыдающих мужчин, отдающих скорбным криком последнюю почесть умершему.

Скорбное молчание было последней почестью Бекмату. Проводить его пришли люди и из соседних кыштак.

После полудня старики и вернувшиеся с войны мужчины, подняв погребальные носилки на плечи, поочередно сменяясь, понесли на кладбище тело Бекмата.

...Вечерело. Отец Шакира, уронив голову, сидел на чарпае, тяжело вздыхая:

— Бедный джигит... О, бренный мир! Утром был человек, а вот вечер, и его уже нет... Ты, Бекмат, — праведник, погибший от руки врага. Но что ждет твоего племянника?

За домами вздымались едва заметные кизячные дымки. Небо все больше темнело. В некоторых окнах зажегся тусклый, неясный свет.

Все по-старому. Ничего не изменилось в кыштак.

* * *

Саяк явился через месяц после смерти Бекмата. Из больницы его привезли на машине в контору сельсовета. А домой Саяка доставил верхом на лошади краснощекий, с бородкой клинышком председатель сельсовета.

Сидя за спиной председателя, Саяк улыбался, обнажая свои крупные зубы. Поворачивал голову, прислушиваясь к знакомым звукам и шорохам, с наслаждением впитывая запахи родного кыштак, по которому так соскучился. И прежде худой, Саяк еще больше осунулся.

Соседи собрались у двора Бекмата, помогли Саяку спешиться. Немного прихрамывая он зашагал к дому, но вдруг остановился.

— Бекмат-аке! Где мой Бекмат-аке?

Никто не ответил.

— Почему меня не привез Бекмат-аке?

— Пошли в дом, — отец Шакира взял его за руку. — Саяк, — сказал он, — у Бекмата открылась рана в легких, и он погиб, будто сраженный мечом. Крепись, мой дорогой! Мы все проливали по нему слезы... Теперь нет среди нас Бекмата — такова воля судьбы.

Саяк замер.

Услыхав голоса во дворе, старушка Кумуш, совсем обесилевшая после смерти Бекмата и оставшаяся в его доме, начала плакать.

Саяк вздрогнул, лицо его исказилось, он шагнул к двери, толкнул ее со всей силой и с криком бросился к бабушке,

лежазшей у стены. Старушка ослабевшими руками обняла голову своего слепого внучатого племянника, поцеловала его в лоб. Саяк поднялся, руками ощущал стену и нашел серую шинель Бекмата, висевшую на своем прежнем месте. Он сорвал ее с гвоздя и, прижав к груди, упал на пол, содрогаясь в безудержных рыданиях.

Люди хотели поднять Саяка, но председатель сельсовета остановил их:

— Не надо. Пусть вырвется из него горе... — и, утерев слезу, тяжело сел на курсу¹.

Рыдания Саяка становились все глуше, и, обессилив, он умолк.

— Отведите меня на могилу Бекмата-аке, — попросил он чуть слышно.

Люди привели его на кладбище. Наверно, Саяк узнал могилу Бекмата по запаху свежей земли. Рванулся вперед, когда до могилы оставалось еще с десяток шагов. Его не смогли удержать, и он упал, обнимая рыхлую землю. Его потихоньку успокаивали, старались поднять.

Сжимая в кулаке могильную землю, Саяк распрямился и закричал, размахивая ею над головой:

— Бекмат-аке, опора моя... Слышишь меня?..

— Саяк, ты что, ума лишился? — сказал кто-то. — Нельзя так громко плакать. Грех это.

Отец Шакира начал читать суру из Корана. Все опустились на одно колено, замерли среди редкого седого ковыля.

В эти дни Саяк из дому не выходил. Все время был возле своей бабушки.

Однажды перед рассветом Шакира разбудил разговор родителей. Отец, поставив на маленький коврик свой наполненный родниковой водой кумган, для омовения перед утренней молитвой, с горечью произнес:

— Несчастный слепой, наверно, опять лежит там...

— Бедный мальчик, — вздохнула мать Шакира, — иди и приведи его к нам.

Как только отец вышел из дому, Шакир скользнул за ним в полумглу.

...Жутко в этот час на кладбище — кыштак мертвых. Словно пробившиеся из земли головы, темнеют надгробья-мазары. Сердце Шакира замерло, когда он увидел человека, прижавшегося к могиле Бекмата. Шакир подошел ближе, взгляделся — Саяк! Вот отец склонился над ним.

¹ Курсу — чурбан, до половины обтянутый овчиной.

— Я же вчера говорил тебе: больше так не делай. Грех это, грех. Пойдем домой, — отец потянул Саяка за руку.

Они прошли мимо Шакира, не заметив его.

Через неделю суждено было умереть и бабушке Саяка.

И снова у дома Бекмата собрались односельчане. Похоронить с честью одинокую старушку было священным долгом всех. Одни встречали людей, пришедших и приехавших на похороны; другие готовили покойную в последний путь, они надели на нее саван, завернули в кошму и уложили на погребальные носилки; третьи выкопали могилу возле могилы Бекмата.

— Добрая моя бабушка, на кого ты меня оставила! — громко причитал Саяк. Он не был на похоронах Бекмата и оплакивал сейчас обоих. — О, мой дядя! О, моя бабушка! Вы ушли, оставив меня. Что будет теперь со мною?

— В самом деле, сельсовет¹, — заговорил один из аксакалов, скорбно склонив голову, — что будет теперь с этим несчастным?

— Наверно, надо отвести его в город, сдать в Дом для слепых, — ответил председатель сельсовета. — Как вы думаете?

Старики подняли головы, ждали, что он еще скажет.

— А там кормят и одевают? — спросил кто-то.

— Да, — сказал председатель, сняв с головы калпак² и почесывая короткие, начинающие седеть волосы.

— Бекмат, будь земля ему пухом, говорил, что слепых учат читать, — вспомнил отец Шакира.

— Ой, тобо!³ — воскликнул сухонький старичок, ухватив себя за ворот. — Как же их учат, слепых?

— Чего только люди не придумают... — неопределенно сказал председатель сельсовета и, уходя от этого разговора, снова напомнил о Саяке: — Так что же делать с ним будем?

— Коль нет ничего лучшего, надо отвезти в Дом для слепых, — решили старики.

* * *

И настал день, когда должны были увезти Саяка. В тот день Шакир не пошел в школу. Осталась дома, найдя какую-то причину, и Жамал.

¹ Сельсовет — так в кыштаке называли председателя сельсовета.

² Калпак — киргизский головной убор.

³ Ой, тобо! — возглас удивления.

Когда утром, угнав корову на пастбище, Шакир возвращался домой, он заметил стоящего у дувала Саяка.

— Шакир, иди сюда.

Шакир молчком подошел к нему. Саяк его давно так не подзывал.

— Я сегодня уеду, — сказал Саяк.

Шакир не промолвил ни слова, боясь, что Саяк заплачет.

— Говорят, там учат. Бекмат-аке во Фрунзе хотел меня везти, оказывается, и здесь учат.

— Как хорошо учиться в городе... — подхватил Шакир, чтобы поднять его настроение.

— Ты книги в сумке носишь, теперь и я буду носить, — Саяк чуть улыбнулся.

За все это время Шакир впервые увидел его улыбку, и еще он заметил, что на худом, остроскулом лице Саяка появились морщинки.

— Я буду тосковать по своему кыштаку... по тебе буду тосковать.

— Что ты, Саяк! Джалал-Абад не за горами высокими. Увидимся еще не раз.

— Нет, — грустно покачал головой Саяк, — я слышал, твой отец говорил: «Вернутся мои сыновья-аскеры, тогда и перекочую в свой аил».

Шакир прикусил губу: «Оказывается, он все знает...»

— Многие учатся в городе и приезжают на каникулы в кыштак, и ты приедешь...

— К кому приеду? В чей дом?

...Джигит в лоснящейся от мазута одежде, обычно возивший для тракторов горючее, круто развернул свою арбу и остановил ее у дома Бекмата. Стали собираться люди. Появился и тучный председатель сельсовета на своем вороном коне. Привязал его к коновязи и медленно подошел к Саяку, похлопал слепого рукой по плечу и ласково заговорил:

— Сынок мой, учись, мужай, а вырастешь, возвращайся обратно.

Саяк как-то весь сразу поник. Веки его вздрагивали. Председатель сельсовета, почувствовав тревогу и растерянность мальчика, не жалел добрых слов:

— Сам лично буду навещать тебя каждый раз, как приеду в город. Ты уже стал джигитом, что тебе сидеть одному в доме...

Связанную постель, кое-какую одежду и деревянный ящик с продуктами погрузили на арбу.

— Ну-ка, Саяк, залезай!

Саяк на мгновение напрягся, замер, потом шагнул к двери.

— Покараулим твой дом, не волнуйся, езжай. Счастливого пути тебе, сынок!

Саяк нащупал дверную ручку, дернул ее, дверь заскрипела, но не открылась: заперта на всякий замок.

— Коктай! Коктай! — позвал он.

Лохматый старый пес, все это время следивший за ним, тотчас бросился к его ногам, виляя хвостом. Саяк обнял его за шею.

— Я уезжаю, Коктай!.. Я уезжаю...

— Саяк! Саяк! — крикнул краснощекий председатель сельсовета. — Хватит. Залазь на арбу.

Саяк повернулся к людям, по щекам его катились слезы. Он зашагал к арбе, но прошел мимо нее.

— Саяк! Саяк! Арба вот здесь, — кричали ему.

— Я иду проститься с моим Бекматом-аке.

Джигит-арбакеш и кто-то из стариков догнали Саяка и взяли за руки.

— Перестань, сынок. Пора ехать.

— Как я уеду, не простившись... Я попрощаюсь быстро.

— До вечера, что ли, буду с тобой возиться. Мне еще надо горячее получить и вернуться засветло... — Арбакеш дернул Саяка в сторону арбы.

Сжав зубы, Саяк рванулся в противоположную сторону, старик чуть не упал и выпустил его руку, но арбакеш вцепился в него еще крепче. Дико крича, Саяк потянул его к себе, арбакеш покачнулся и, потеряв равновесие, угодил ногой в арык.

— Оставьте его, оставьте! Пусть идет! — торопливо сказал председатель.

Саяк плача зашагал на кладбище. Люди шли следом, а за ними двигалась арба.

Саяк не ошибся, прямо подошел к могиле Бекмата. Присел на корточки, погладил могильный холм. Потом руками оцупал могилу своей бабушки. И, поднявшись, стал топтать землю ногами, отчаянно всхлипывая.

— Бекмат-аке! Бекмат-аке! — пронзительно закричал он. — Я поехал! Я поехал!

Саяк резко повернулся и направился к арбе. Ему хотели помочь забраться на нее, но он отвел руки людей. Взявшись за край арбы, нащупал ногой ось колеса, закинул ногу и уселся на вещах.

Арбакеш сильно дернул вожжи, и лошадь с ходу взяла крупную рысью...

— Саяк! — вскрикнула Жамал.

— Жама-ал!.. — донесся из облака пыли, окутавшего арбу, голос Саяка.

И дрогнуло сердце Шакира.

* * *

Коктай, который ни на кого никогда не рычал, после отъезда Саяка превратился в свирепого пса. Никто не мог подойти к дому Бекмата: ощерив пасть, он кидался на людей, не боясь ни палки, ни камней. «Смотри, что случилось с этой собакой?» — удивлялись в кыштаке. Иные говорили: «Он может искушать детей, надо его пристрелить».

Коктай до вечера сторожил дом Бекмата, никуда не отходя. А когда кыштак засыпал, поднимался на холм, где некогда сидел Бекмат, и, подняв узкую острую морду к небу, выл до рассвета.

Жизнь в кыштаке в ту пору рано замирала. Нароботавшихся за день людей сон валил с ног. К тому же туго тогда было с керосином.

Засыпая вечером, Шакир слышал вой Коктая, и, просыпаясь по ночам, слышал его, и, кажется, во сне тоже слышал этот полный отчаяния, глухой, тягучий вой. И под этот вой Шакир думал о Саяке, заново переживал расставание с ним, смутно догадываясь, что не пространство между Джалал-Абадом и кыштакком разделяет их, а страдания, выпавшие на долю Саяка. И горькая участь слепого друга не только отзывалась в нем болью, не только вызывала жалость, но и возвеличивала Саяка, делала его недоступным и — Шакир боялся признаться себе в этом — немного чужим.

Как-то ночью Коктай исчез неизвестно куда, будто его унес ветер.

«Поеду к Саяку через неделю», «Поеду через месяц», — говорил себе Шакир. Но планам этим не суждено было осуществиться. Вернулись его демобилизованные братья-фронтовики, и семья Шакира перебралась на свою родину, в далекий горный аил. А потом старший брат Шотман уехал во Фрунзе, стал работать шофером. Забрал к себе Шакира. Во Фрунзе Шакир и окончил десятилетку, затем — университет. Тогда-то он и побывал наконец в том кыштаке, почти не-

отличимом от других небольших, тонущих в садах кыштакон в окрестностях Джалал-Абада. Поднялся на холм, под которым прежде стоял дом Бекмата. Ни этого дома, ни дома Саяка уже не было. В кыштаке он нашел людей, которые помнили Саяка, но о судьбе его никто не знал. А краснощекий председатель сельсовета превратился в седобородого старика. Он честно признался, что, после того как отвез слепого подростка в город, больше его не видел. Он даже удивился, когда Шакир напомнил ему, что он обещал навещать Саяка. «Может быть, может быть... — развел руками. — Но сам понимаю, дела, заботы разные... вся жизнь в спешке прошла. Съездил бы, конечно, — сказал он, прощаясь с Шакиром, — если б сообщил этот слепой о себе, хотя бы на бумажке величиной в два пальца».

Во Фрунзе Шакир попытался найти Саяка через справочный стол. Среди здравствующих жителей Киргизии Саяк Акматов не значился.

С того времени прошло много лет. В волосах Шакира появилась седина. Да, его жизнь не была легкой, как у того, кто просидел весь век у своего очага. Всего он в ней испробовал, побывал в дальних краях, жил среди разных людей, прикинул к их судьбам... Такова работа журналиста. Встречался с десятками, сотнями людей, — многие из них позабылись. Но не забылся Саяк. Потому, наверно, он всегда вглядывался во встречавшихся ему слепых людей, в каждом из них ища знакомые черты. Но тут же говорил себе: «Опомнись, его уже нет в живых». И по странной прихоти памяти не раз вспоминался Шакиру «опорный дух» Саяка — белобородый старик со светящимся лицом, протягивающий конец своего посоха слепому. И он печально улыбался этому видению детских лет.

И вот сегодня все вдруг перевернулось вверх дном.

...Когда он вошел в большой, залитый солнцем зал республиканского Общества слепых, там уже началась конференция.

На сцене за столом, покрытым кумачовым полотнищем, человек двадцать в президиуме; оратор на трибуне; над сценой большой плакат с приветствием участникам конференции — все, как везде на конференциях, съездах, торжественных собраниях... Но многие из присутствующих в зале в черных очках, в очках с выпуклыми линзами, с повязкой на глазах. Одеты они официально и строго: почти все мужчины в черных костюмах и галстуках. И это в разгар лета, когда июльского зноя с лихвой хватает и на ночь, плавится асфальт

на тротуарах. В своем светлом чесучовом костюме Шакир выглядел здесь довольно странно.

...Шакир сидел с раскрытым блокнотом, время от времени заносил в него нужные для своей будущей статьи факты и цифры. Он и раньше знал, как много делается в республике для людей, лишенных зрения, слуха, речи. Теперь он понял и то, сколь сложна и многогранна деятельность Общества слепых и глухонемых, сколько стараний и душевных сил тратится для того, чтобы сделать творческой, содержательной жизнь обреченных на слепоту, глухоту, немоту.

Мысленно он уже продумал свою статью, и теперь необходимый материал сам шел в его руки. Недоставало только десятка имен слепых и глухонемых, особенно проявивших себя на производстве, в культурной жизни республики, в науке. И тут докладчик, словно почувствовав, чего он ждет от него, стал перечислять имена таких людей. Перо Шакира торопливо забегало по бумаге. И вдруг он вскочил на ноги: нет, он не ошибся! Это имя действительно прозвучало, Саяк Акматов!

Задыхаясь от волнения, Шакир спросил сидящего с ним рядом молодого человека:

— Вы знаете его? Знаете?

— Кого?

— Саяка... Акматова Саяка?

— Нет.

Не помня себя, Шакир наклонился вперед и взял за плечо пожилого человека. Тот обернулся, уставился на Шакира.

— Вы знаете Саяка Акматова?

Пожилой человек молчал, с удивлением глядя на Шакира, всем своим видом как бы спрашивая: «Чего ты хочешь?»

— Не знаете ли вы Акматова Саяка, которого назвал докладчик?

Пожилой человек что-то замычал и высунул язык.

Шакир не мог успокоиться и тихо подтолкнул сидящую справа девушку.

— Напрасно вы, она тоже немая, — вмешался кто-то.

Повернув лицо, Шакир увидел женщину в очках с выпуклыми линзами.

— Я знаю Акматова. Зачем он вам?

— Он мой друг! Саяк мой друг! Мы давно не виделись. Я его друг! Я — журналист.

По привычке Шакир достал свое удостоверение и протянул ей. Она махнула рукой — мол, зачем оно мне.

— Саяк здесь?

— Нет, — произнесла женщина нервно.

— А где? Где?!

От волнения Шакир говорил громко, хотя ему казалось, что объясняются они шепотом. В зале на них стали обращать внимание, люди поворачивались в их сторону, кто-то упрёкнул: «Мешаете слушать». Почувствовав себя неловко, женщина тихо сказала:

— Встретимся после заседания...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В просторной комнате нового многоквартирного дома сидят двое. Они уже о многом успели поговорить. И теперь понимают друг друга с полуслова, словно близкие друзья, знакомые долгие годы. А всего-то встретились вчера!

На столе в стеклянной вазе букет белых роз. Шакир еще утром купил его на базаре. Он не любит покупать цветы в цветочных магазинах и киосках: и не только потому, что на базаре больший выбор, — нет, в пестроте цветочного ряда он ищет человека, из чьих рук их приятно взять, кто продает их не как вещь... Зная такую его привычку, приятели шутят: «Ты выбираешь не цветы, а лица».

— Спасибо. Какие прекрасные розы, — на минуту Аджалия Петровна сняла очки с толстыми выпуклыми линзами и поднесла розы к глазам. — Значит, вы друг Саяка, друг детских лет.

— Да, детских, — подтвердил Шакир. — Но дети быстро тогда выросли. Война и их не щадила.

— Думаю, вы настоящий друг Саяка, раз не забыли его и через столько лет, — задумчиво сказала хозяйка квартиры, сделав упор на слове «настоящий».

Так начинался их разговор... А теперь перед Шакиром на столе стопка общих тетрадей, исписанных крупным неровным почерком.

— Здесь все о Саяке. То, что помнила, то, что он сам рассказывал о себе и что рассказывали о нем другие. Дарю вам эти тетради.

— Что вы!.. — запротестовал Шакир. — Я верну их вам через пару месяцев.

— Нет, я писала не для себя. Я почему-то верила, что

кто-то придет за ними. Вот вы и пришли... А я и так все помню.

Аджалия Петровна отставила в сторону рюмку с красным вином, которое она за весь вечер лишь чуть пригубила. Поднялась, не по годам легкая, стройная. В ее черных, гладко зачесанных волосах искрилась седина. Подошла к радиоле. Полилась музыка.

— Бетховен, — сказала она, — странно, почему он назвал эти фортепианные пьесы «Багатели», по-французски — безделушки. Разве в них только беспечность, легкость. В них — все, чем обделила меня судьба и что возвращает сейчас руками Рихтера.

...Как спокойны, как переливчаты звуки, чистые, как весенний свет, как звон родника на холме под сенью старых тополей; чистые и неповторимые, как само утро жизни. И два мальчика, зрячий и слепой, взявшись за руки, бегут в простроченный звоном кузнечиков полдень и падают в пряные травы...

* * *

Монотонный, убаюкивающий стук колес поезда. «Ну что ж, будь что будет. Такую судьбу я сам выбрал. Аллах здесь ни при чем: зачем бы ему посылать слепого, знающего Коран, в Россию... Куда приведет меня эта дорога? — в тревоге думал Саяк. — Вернусь ли обратно?»

Из широкого окна вагона на лицо его падает свет, и, утомляя Саяка, клубится тьма, мелькают в ней какие-то силуэты. Саяк прячется в них, прижимается на своей нижней полке лицом к стене и натягивает на голову одеяло. И Саяк сам не знает, спит он или бодрствует под мерный убаюкивающий стук колес. И железный вагон раскачивается в неведомом Саяку пространстве, полным запахами незнакомых ему людей, и все пропитавшим чесночным, луковым, табачным духом, и густым запахом сохнувших пеленок, паровозным дымком, забивающимся в вагонные щели вместе со степным горьковатым ветром.

Словно беши-колыбель, раскачивается железный вагон, и наплывают между явью и сном воспоминания. И слышится ему грудной теплый голос Аджар. С ней Саяк познакомился, когда впервые попал в мастерские, называвшиеся «Производственное предприятие слепых». Она работала там до приезда Саяка. Аджар не была совсем слепой. Ее глаза чуть-чуть видели, поэтому в первый же день к ней прикрепили Саяка.

Она водила его на работу, в общежитие, на базар. Он быстро привязался к ней и привык словно к своей старшей сестре. Впрочем, Аджар и была на два года старше Саяка — ей уже исполнилось восемнадцать. Работа у них была одна: вили веревки. В этом Доме для слепых, куда привез его щедрый на посулы председатель сельсовета, слепых не учили. «Нет преподавателей, с войны не вернулись. Скоро пришлют новых, тогда и начнем». Целый год длилось это «скоро»...

Весна в сорок шестом году была ранняя, дождливая. Перед праздником 8 Марта несколько дней дождь шумел беспрестанно. Еще накануне праздника все слепые разошлись и разъехались по домам. На первом этаже общежития остался только Саяк, а на втором — слепые, которых эвакуировали в годы войны из Ленинграда.

Голодный Саяк сидел в сырой маленькой комнатке, бывшей кладовке, где с трудом, чуть не впритык уместались две кровати. Его как новичка поместили в ней — другого места не нашли. Общежитие было переполнено. И вот в канун праздника сидел он под вечер здесь, не желая еще спать и не зная, чем заняться. Вдруг раздался стук в дверь.

— Кто? — спросил Саяк.

— Я, Аджар.

Саяк открыл дверь, вошла Аджар, продрогшая, зуб на зуб не попадает, сказала, что хотела поехать к тетушке, да только напрасно мокла под дождем: не было ни одной попутной арбы. А пешком идти невозможно, лужи по колено.

Рассказывая это, она выжимала подол платья. Вода струйками стекала на пол.

Саяк знал, что у Аджар нет родителей, правда, где-то в кыпшаке живет старая тетушка, к которой она иногда ездит. Привозит оттуда полные сумки испеченных с луком кукурузных лепешек, жестких, как камень. Всегда голодному Саяку они кажутся очень вкусными. Из-за проклятого дождя не суждено завтра полакомиться ими.

— Саяк, — сказала Аджар робко, — мне надо выжать всю одежду, а то простужусь.

— Валяй!

— А что мне надеть?

— Возьми мой плащ, в углу висит.

В полумгле Аджар нашарила плащ.

— Дырявый какой.

— Больше ничего нет.

После некоторого молчания Аджар повторила смущенно:

— Саяк, все же мне надо выжать одежду. Выжму и по-

вешу на кровать. Пока подсохнет, полежу немного в твоей постели, не обидишься?

— Чего ж обижаться!

Девушка юркнула под одеяло. Саяк пересел на кровать у противоположной стены. Ни матраца там, ни подушки — одни голые доски. Матрац, одеяло и подушка выдавались в общежитии под расписку, а он в этой каморке пока один. Каждый раз, возвращаясь с работы, надеется: «Сегодня посялят ко мне повичка, будет с кем словом перемолвиться».

Пригревшись в постели, Аджар оживилась, стала рассказывать какие-то смешные истории.

Было уже поздно. Вдруг в коридоре послышались шаги, кто-то шел в тяжелых сапогах.

Аджар умолкла на полуслове.

— Ты что! — удивился Саяк.

— Те! — Аджар дернула его за руку.

Кто-то протопал мимо их двери, остановился в конце коридора. Донесся осторожный стук.

— Стучит в мою дверь, — шепнула Аджар.

Пришедший стучал все сильнее, потом заколотил в дверь. И снова его тяжелые сапоги протопали мимо их комнаты, аж пол застонал! Видимо, человек этот злился, что ему не открыли.

Саяк и Аджар затаились, боясь шелохнуться.

Когда шаги смолкли и хлопнула наружная дверь, Аджар сказала все еще шепотом:

— Это наш комендант.

— Комендант? — спросил Саяк, ничего не понимая.

— Он видел меня, когда я вернулась в общежитие.

— Ну и что? Пусть видел.

— Да он, дурак, преследует меня...

— Как преследует? — с детским любопытством спросил Саяк.

— Будь он проклят! — Аджар с головой укрылась одеялом.

Молчал и Саяк, чувствуя недоброе. Спустя некоторое время старая железная кровать закричала — Аджар приподнялась, потрогала свою одежду.

— Еще немного полежу. Можно?

И тут на улице завязалась драка. Крики. Ругань. Вдруг с оглушительным звоном, разбив стекло вдребезги, угодил в окно камень. Саяк повалился на кровать, инстинктивно защищая руками голову. В комнату ворвался холодный сырой воздух.

С улицы донесся топот ног, и все стихло.

— Саяк, тебя не поранило?

— Нет.

— Ты слышал, Саяк? Среди них и наш комендант. Я его голос узнала. Видишь, дурак он... Я вечером заметила, когда вернулась, что он пьяный.

— Да, и я узнал его голос.

— Он еще придет, — испуганно сказала Аджар.

Она осторожно потрясла одеяло. Звякнули осколки. Саяк напарил у двери веник, замел битое стекло к окну.

— Саяк, я боюсь идти в свою комнату... Боюсь... Здесь останусь сегодня, а?

— Ну, как хочешь, — ответил Саяк перешительно.

— А ты? Где будешь спать? Холодно ведь. Чувствуешь, как несет из разбитого окна?

— Накину на плечи плащ и посижу.

Аджар умолкла надолго. Потом тихо сказала:

— Саяк, а может, ляжешь со мной рядом? Поместимся. — Она подвинулась к стене. — Давай ложись, вот сколько места.

Саяк давно уже озяб. Ни слова не говоря, он разделся, лег рядом с Аджар. В его постели было тепло, как никогда. Всю зиму промучился Саяк на ней, скрючившись, никогда не согреваясь по-настоящему: лоснящаяся от грязи постель всегда была холодной.

Он лег на спину, вытянув ноги и прижав к бокам руки, стараясь не прикасаться к Аджар. Но она поступила иначе.

— Ой, бедненький, смотри, ноги и руки совсем как ледышки. — Она обогривала его своими руками.

Ее тело было пышным и мягким, а грудь нежной, крепкой, выпуклой, как у голубки, и вся она казалась Саяку необычайно гладкой. Играя и возясь со своими сверстниками мальчишками и девчонками, он с детства привык к их обветренной шершавой коже и выпиравшим костям. И мать у него была худой, как жердь. Он даже не предполагал, что у кого-то может быть такое тело.

— Сколько тебе лет, Саяк? — спросила Аджар, когда они согрелись.

— Этой весной будет шестнадцать.

— О-о, джигит... — затем тихо прибавила. — Раньше даже в тринадцать лет женили у нас, киргизов.

Саяк ничего не ответил. Они лежали, слушая дыхание друг друга.

— Знаешь, Саяк, меня замуж выдавали...

— Когда?

— Два года назад.

— Кто он?

— Да ну, думаешь, кто-нибудь стоящий? Дряхлый старик, не имевший детей.

— А для чего?

— Чтобы я родила ему детей.

— Зачем согласилась?

— Ах, Саяк, разве меня, полуслепую сироту, спрашивали? Да и жить падо было где-то. Все же у него своя кровля, свой очаг.

— Ушла, значит?

— Ушла... ушла, слава богу. Вырвалась из этого ада...

— Тебя что, били?

— Еще спрашиваешь! Попробовал бы ты спать под одним одеялом с семидесятилетним дряхлым вонючим стариком. Кому нужна такая жизнь... — Она глубоко вздохнула. — Ты и представить не можешь, какая ведьма была его старуха. Она злилась на меня, будто я насильно отняла ее счастье, будто я ее сделала бесплодной. Била меня так, что все тело было в синяках и ссадинах... оскорбляла, унижала, обзывала «несчастной слепой». Что хотела, то и делала. Заступиться за меня ведь некому.

— А старик?

— Что ты, Саяк! Если бы он был самостоятельным человеком, желавшим иметь детей, ему было бы несложно отвязаться от такой ведьмы. А он не смог. Она его всю жизнь вела, как ишака, привязанного веревкой за шею. Вела, вела... и когда окончательно иссякли его силы, дала ему свободу, — Аджар усмехнулась. — Вообще-то не стоит обо всем этом вспоминать. Мне это тяжело.

— Как хочешь...

— Хочешь не хочешь, а об этом знает комендант, знает, что я не девушка, что была замужем, и не дает мне покоя, пристаёт, лезет к нам в комнату.

— Зачем же ты сказала ему?

— А что было делать? Тот старый хрыч несколько раз приходил сюда, требовал, чтобы я вернулась: мол, не вернешься сама, родственники мои тебя поймают и привезут. Вот и вынуждена была сказать коменданту. Тот напугал его, пригрозил отдать под суд за то, что он женился на несовершеннолетней. Старик слово дал больше не приходите. И в самом деле, не приходит. Но теперь привязался ко мне комендант, проклятый пьяница. Теперь у меня новая беда... — Аджар всхлипнула и уткнулась головой в грудь Саяка. И он

жалел ее от души, и был так приятен теплый запах ее волос.

— Ты бы пожаловалась кому-нибудь...

— Кому?

— Да вот директору.

— Я и сама думала... Но стыдно пойти к аксакалу, ровеснику моего отца, и сказать об этом... И коменданта боюсь. Я его знаю, он все может... Да и кто станет искать, где затерялся мой след.

— Я... я задушу этого коменданта,— Саяк весь напрягся, сжал кулаки.

— Что ты, миленький! Не говори так! — Она стала гладить его волосы.— Разве ты можешь убить человека? Нет! Нет! А он — может.

Последние слова она произнесла с таким отчаянием и болью, что Саяк вдруг почувствовал себя маленьким, жалким и беспомощным. Правду сказать, он и сам боялся этого вечно пьяного коменданта. Саяку вспомнился урок, который получил от него.

Это было после первой ночи, проведенной Саяком в общепитии. Саяк вынес из комнаты свой матрац и остановился у порога каптерки. Комендант с кем-то разговаривал и громко хохотал. Дверь в каптерку была открыта. Заметив Саяка, комендант спросил покровительственно и как-то небрежно:

— Ну, слепой новичок, что тебе надо?

— Матрац у меня рваный, дайте другой.

— Ладно, заходи. Вот возьми этот.

Он швырнул на пол под ноги Саяку матрац. Саяк потрогал его и сразу заметил, что вата в нем сбилась комками, должно быть, очень старей. Сказал об этом, попросил другой.

— Ишь претензии свои предъявляет. Нет другого,— отрезал комендант.— Этот как раз и подойдет тебе.

— Нет, не подойдет,— стоял на своем Саяк.

Тогда комендант подошел к нему и, свернув матрац трубкой, заставил Саяка обхватить его. Потом взял Саяка за плечи, повернул в сторону, оттолкнул от себя и пнул тяжелым кирзовым сапогом под зад... Саяк как с горы пробежал метров десять и еле удержался на ногах.

Униженный, в бессильной ярости слышал он хохот коменданта. Дверь в каптерку с шумом закрылась. Саяк побрел в свою комнатку и там заплакал навзрыд.

И сейчас, лежа в одной постели с Аджар, Саяк вспомнил тот день и вновь ощутил свою беспомощность перед грубой силой бездушного, жестокого человека и понял, почему

так горько плачет Аджар. И сам он не сдержал слез. Услышав всхлипывания Саяка, Аджар умолкла, обняла его, прижала к груди.

— Саяк, что ты? Перестань, ты же мужчина. Я тебя всегда считала настоящим джигитом. Видишь, открыла тебе все, что у меня на сердце. Перестань плакать. Лучше обними меня.— Саяк робко обнял Аджар.— Посильнее, ты же мужчина.

Саяк крепче прижал ее к себе. Но от этого он не почувствовал себя мужчиной. Он прильнул к ее пылающему телу с чувством ребенка, обнимающего свою родную сестру.

После долгого молчания Аджар сказала:

— Мы могли бы, Саяк, найти поблизости маленькую комнатку, снять ее и жить вместе. Как было бы хорошо, а? Как ты думаешь?

Саяк лежал молча.

— Днем бы работали, а вечером свой очаг, своя постель. Какое счастье! Я обняла бы тебя горячо-горячо и ласкала бы каждый день.— Аджар целовала щеки и шею Саяка.— Мы были бы свободны. Свободны, как птицы! Ой аллах, позволь хоть раз сбыться моей мечте, не скупись! — Потом она глубоко вздохнула: — Размечталась напрасно, разве ноги этого дурака не могут дойти до нашей квартиры... Давай, Саяк, уйдем отсюда, взявшись за руки. Будем навеки вместе. Может быть, станем счастливыми. Давай рискнем раз в жизни.

— Я же совсем слепой. Куда мы пойдем, Аджар?

— Не все ли равно... Мои глаза чуть-чуть видят. Я могу различать дорогу и вести тебя.

Саяк не ответил. Он вспоминал свой кыштак и однообразную свою жизнь здесь. Никакая иная жизнь ему даже не мерещилась. Ему казалось, если он уйдет отсюда, где хоть впроголодь, но кормят и есть крыша над головой, то непременно пропадет, погибнет. А умирать ему не хотелось.

Саяк не помнил, как уснул. Когда проснулся, Аджар уже не было.

Больше Саяк не встречал ее. Через несколько дней в общежитии спохватились, стали искать Аджар, а через неделю пожилая женщина, жившая в одной комнате с Аджар, поехала в кыштак к ее тетушке, узнать, в чем дело, не заболела ли соседка. Оказывается, в кыштак Аджар уже месяц не появлялась.

Вначале, когда исчезла Аджар, Саяк тоже думал, что она у своей тетушки. «Может, все же нашла ранним утром попутную арбу, добралась до кыштак, а там заболела... Ко-

печно, заболела: промокла вся, прозябла под холодным дождем», но когда он узнал, что у тетушки Аджар нет, Саяка охватил страх. То ему казалось, что она попала в городе под машину, то, что сбилась ночью с дороги и ее растерзали волки.

...Весенний ветер ласково обвевал его лицо. Но чем нежней и прекрасней была вдруг налетевшая весна, тем больнее переживал Саяк гибель Аджар. В том, что ее нет на свете, он был уверен. Казня себя, что не убежал вместе с Аджар, он лежал на кровати, уткнувшись лицом в подушку, еще хранившую свежий, дурмящий запах ее волос. Всегда напряженный, ловящий каждый шорох, чувствующий легчайшее движение воздуха, вибрацию предметов, он как-то расслабился. Все, заменявшее ему зрение, работало как бы вхолостую. Прижавшись лицом к подушке, он отключался от происходящего вокруг и даже не среагировал на то, что открылась дверь в его комнату. И, только когда кто-то, больно схватив за волосы, поднял его и усадил на кровать, понял, что перед ним комендант.

— А ну, скажи-ка, где прячется твоя подружка? Знаешь ведь, все время вместе ходили...

— Нет ее, — выдохнул Саяк.

— Как нет?!

— Задушил! Ты задушил ее! — во весь голос закричал слепой и вцепился в его лицо ногтями и зубами. Комендант завопил благим матом, и оба они свалились в проход между кроватями.

Всполошилось все общежитие. Слепые, как муравьи, цепочкой потянулись в комнатку Саяка. Задние напирали на передних, валили их с ног. Тут же в коридоре толпились прохожие, привлеченные отчаянными криками. Кто-то решил, что загорелся Дом для слепых. Явились пожарники. Вместе с подоспевшим милиционером они с трудом растащили сбившихся в кучу слепых.

Коменданта и Саяка увели в милицию. Саяка через часа два отпустили. Комендант с того дня словно в воду канул.

* * *

Новый комендант общежития — пожилая учительница, еще недавно работавшая в школе, поселила Саяка в комнате на втором этаже. «Ну что ж, Саяк, давай знакомиться. Меня зовут Владимир Алексеевич. О подвигах твоих я уже

знаю», — приветливо сказал его новый сосед, осторожно касаясь плеча Саяка. Тот тоже осторожно протянул к нему руку. Так они обменялись приветствиями.

Взяв Саяка за руку, Владимир Алексеевич медленно обошел с ним комнату, терпеливо ожидая, пока тот на ощупь изучал все находившиеся в ней предметы. Комната тоже на двоих, но куда просторней. Помимо двух коек, тумбочек и табуреток в ней были еще вешалки, маленький стол, умывальник. После тесноты кладовки, приспособленной под жилье, Саяку она показалась сказочным дворцом.

— Вот так, приятель. Будем жить вдвоем, как слепые птенцы в одном гнезде, — промолвил Владимир Алексеевич насмешливо и грустно.

Саяк удивился: «Как этот русский хорошо говорит по-киргизски. Правда, киргизских слов ему порой не хватает и он пользуется понятными любому киргизу казахскими словами».

В тот вечер Владимир Алексеевич рассказал Саяку о себе.

— До шестнадцати лет я был зрячим. Потом вдруг быстро стал терять зрение. Но все же окончил 10 классов и поступил учиться в университет. — Он задумался, не сразу догадавшись, как объяснить это слово Саяку. — Ну, такая школа, где всему учат. Окончившие ее могут учить других людей. Так вот, зрение мое и там все ухудшалось. Врачи посоветовали временно прекратить учебу. В сороковом году совсем ослеп. Я и слепой окончил бы университет, да началась война. Вместе с другими слепыми меня вывезли из Ленинграда в Казахстан, потом сюда в Джалал-Абад. Никого из близких у меня не осталось. Отец, мать и сестренка умерли в Ленинграде от голода. Всех близких пережил...

— У меня тоже никого не осталось, — печально молвил Саяк.

Разговор оборвался.

«Вроде бы хороший человек, — думал Саяк, — слова хорошие у него. Да слова словами, а жизнь жизнью. У председателя сельсовета тоже слова были неплохие: «Лично сам навещать буду»... А где он, председатель? Вот и этот сосед мой... Встретил-го приветливо, а что дальше будет? Человек ученый, о чем ему со мной говорить? Я ведь ничего, кроме Корана и сказок, не знаю. Может, завтра и «здравствуй» не скажет. К тому же он русский — капыр. Не лучше ли, пока не поздно, попросить женщину-коменданта, чтобы перевела в другую комнату, где соседом моим будет кир-

гиз или узбек. Все же рядом со мной будет мусульманин».

С этими мыслями Саяк заснул.

— Саяк, Саяк, — осторожно разбудил его кто-то.

Саяк рывком поднял голову.

— Не пугайся, это я, Владимир Алексеевич. Что с тобой, не заболел ли? Может, пойти попросить у дежурного для тебя чаю?

— Здоров я.

— Слава богу. А то всю ночь метался, вскрикивал, кого-то звал.

— Была тут девушка Аджар, которой тот комендант жить не давал... Сбежала она. Боюсь, погибла где-то.

— Зря думаешь так. Свет не без добрых людей. Не пропадет Аджар. Ты еще с ней встретишься.

— Владимир-аке, неужели встречу?

— Конечно. И Аджар молодая, и у тебя еще вся жизнь впереди. Спи, милый.

По вечерам ленинградцы собирались у Владимира Алексеевича. Саяк замечал, как они его уважают, считаются с его мнением, и был горд за него и за себя, ибо с каждым днем у Саяка становилось все больше общего с Владимиром Алексеевичем. И о чем бы ни говорили ленинградцы, о чем бы ни спорили — а Саяк немного знал русский язык: дружил когда-то с сыновьями кузнеца Антона, — разговор всегда кончался одним — скорей бы вернуться домой. Не так давно им сообщили, что возвратят их в родной город самое позднее осенью сорок шестого года. И вот они ждут не дождутся дня, когда вновь пройдут, стуча своими палочками, по набережной Невы. «Конечно, в родном кыштаке всегда лучше», — сочувствовал им Саяк. И часто они вполголоса пели, и, сидя у окна, на краешке своей кровати, Саяк подпевал им.

Этот первый послевоенный год был тяжелым для всех. Питались скудно, но Владимир Алексеевич не съел ни куска хлеба, не поделившись с Саяком. И делал он это как-то незаметно.

Со временем Саяк во всем стал подражать Владимиру Алексеевичу. Как и тот, обтирался по утрам мокрым полотенцем, аккуратно заправлял постель. И на работу они вместе ходили и, словно школьники, готовящие домашнее задание, повторяли новые для них слова, Владимир Алексеевич — киргизские, а Саяк — русские. Память у обоих была отменной. Вскоре Саяк научился правильно строить русские фразы.

К великому удивлению Саяка, его русский друг знал

Коран не хуже муллы: в свое время готовился стать востоковедом, и его курсовую работу похвалил сам знаменитый ученый-арабист академик Игнатий Юлианович Крачковский. Владимир Алексеевич объяснил Саяку, где и кем в начале VII века создан Коран, что позаимствовал его автор из более древних религий. Разбирая суру за сурой, которые вспоминал сам или просил прочесть на память Саяка, объяснял, что названное в Коране словами бога на самом деле отражает представление о мире той среды, из которой автор Корана Мухаммед вышел. Владимир Алексеевич рисовал Саяку жизнь древней Аравии, торговой Мекки и земледельческой Медины, где Мухаммедом был создан Коран, сравнивал язык Корана с языком поэзии арабов-бедуинов, кочевавших в Северной Аравии, показывал, что больших отличий между ними нет. Попутно он поведал Саяку о древнем мире, о христианстве, буддизме и других религиях. Четко и просто объяснил суть материалистического взгляда на жизнь.

Свет солнца и звезд, синь неба и изумрудные волны теплого моря, разливы рек, таинственные шорохи леса — для всего находил Владимир Алексеевич слова и сравнения. И щедрою рукою дарил их Саяку — дарил так, как может сделать только слепой, видевший свет. Свои знания, свое упорство и любовь к миру прививал он день за днем Саяку, поражаясь его восприимчивости и оригинальному складу ума. «Друг мой, — говорил он Саяку, — не слепота глаз, а слепота души, лень ума — вот печальный удел, равный смерти. У Садриддина Айни в его книге «Бухара» слепой ученый так говорит зрячему мулле: «...Если вы с неделю проведете в комнате, где стены, двери и окна завешаны плотным черным занавесом, затем выйдете на свет, вы ничего не разглядите. Даже смотреть на свет не сможете; так зажмурите глаза, что хуже меня слепыми станете. И огорчитесь, и обеспокоитесь, ибо вы, потеряв свет, потеряете весь свой мир. А я слеп, но не убит этим».

Во тьме и интеллектуальном одиночестве Владимир Алексеевич самозабвенно лепил характер юноши, пуще всего боясь превратить его в своего двойника. Вскоре он убедился: намного проще разжечь в душе Саяка жажду знаний, чем разрушить в ней предрассудки и недоверие к людям. Это был тяжелый изнурительный труд, не раз доводивший Владимира Алексеевича до отчаяния. Но через полгода он уже мог о многом беседовать с Саяком как с равным.

Настала зима. В общежитии почти не топили. Ну и намер-

влились они под тонкими старыми одеялами! И все же не прекращали своих бесед и занятий.

— А ну, Саяк, скажи, какая разница между словами «блестеть» и «блистать»?

— Можно блестеть как медный грош, но нельзя блестеть в обществе.

— Молодец, не зря, значит, в прежних медресе считали: на холоде знания лучше усваиваются.

Иной раз, проснувшись ночью, Саяк слышал, как Владимир Алексеевич ходит по комнате. Он сразу догадывался, почему тот не спит.

— Зачем накрыли меня своим одеялом, да еще и матрасом? — сердился Саяк. — Уберите, пожалуйста, и ложитесь спать.

— Я же северянин, а ты южанин, — отшучивался слепой арабист. — Меня холод не берет. К тому же ходьба согревает.

— Нет, так дело не пойдет, — Саяк вылезал из-под одеяла и матраца.

И оба они, накинув на плечи поверх телогреек одеяла, ходили по маленькой комнате, не сталкиваясь и даже не задевая друг друга. Поочередно читали стихи. Саяк уже знал наизусть немало стихов Пушкина, Лермонтова, Некрасова...

Особенно нравилось ему стихотворение Лермонтова «Нищий».

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку...

— Лермонтов написал это стихотворение, — рассказывал Владимир Алексеевич, — когда ему было столько же лет, как и тебе. И в нем нет ничего выдуманного. У входа в церковь стоял слепой нищий. По шагам определил он, что идут молодые люди, а это был Лермонтов со своими друзьями. Слепой протянул деревянную чашку, в которую собирав подаяние. Услышав, что в чашку бросают монеты, он вспомнил: «Вчера тоже приходили молодые люди, да шалуны, посмеялись надо мною: наложили полную чашечку камушков. Бог с ними».

— Напрасно он их простил, — возмущался Саяк. — Ника-

кие они не шалуны, а бессердечные. Лермонтов это знал, потому и написал не «камушек», а «камень». Он знал: вырастут бессердечные, и вырастут их камушки, превратятся в камни.

— Это ты, пожалуй, верно подметил, — задумчиво сказал Владимир Алексеевич. — И все же, Саяк, жизнь сложнее, чем ты ее себе представляешь. Как часто и добро и зло вместе уживаются. Как часто бывают люди жестоки и несправедливы, ибо не ведают, что творят. И все же хороших людей в мире больше. Мир и в самом деле на трех китах держится: на доброте, справедливости и жертвенности.

* * *

Зима уходила, отбиваясь холодными ветрами. Но в полдень солнце припекало и словно смеялось ей в глаза.

Правда, зимой ли, весной — работа у Владимира Алексеевича и Саяка была одна: вили в мастерской веревки. И все же, когда воздух дразняще-свеж, когда в раскрытые окна льется хотя и невидимый, но теплый и ласковый свет, настроение совсем иное, хочется думать о хорошем, смеяться, петь.

В один из таких дней Саяка разыскал совсем незнакомый ему человек, Иван Матвеевич, представившийся фронтовиком другом Бекмата.

«Посидит полчаса и уйдет», — подумал Саяк. Но получилось иначе.

Сначала он отправился с Саяком в магазин, купил ему там фуфайку и ботинки на толстой, твердой, как железо, подошве, потом — на базар. В общегитие вернулись с лепешками, копченым мясом, урюком, изюмом, с тоненькими пучками только что вылезшего из земли зеленого лука.

На груди Ивана Матвеевича, когда он наклонялся, позванивали медали — Саяк замирал: так звенели медали Бекмата.

— ...Живу я под Москвой, в Звенигороде, — рассказывал Иван Матвеевич. — Перед войной сын мой Саша уехал на каникулы к дедушке в Ленинград. Там его война и застала. Дедушка в сорок втором умер, а Сашу вместе с другими детьми эвакуировали в Киргизию. Я, как демобилизовался два месяца назад, прямехонько из Германии в Ленинград. Там-то и узнал, где сыночка искать надо... Я — во Фрунзе. Все списки эвакуированных детей просмотрели. Эх, какие там списки! Многие дети и фамилии своей не ведали. Выяснил все же,

многие ребята-ленинградцы на Иссык-Куле: в Пржевальске, Рыбачьем, да в разных киргизских селах. Вместе с другими отцами, такими же, как я, фронтовиками, и их женами поехали на Иссык-Куль. Где только ни побывали... Одним счастьем — отыскали детисек, кто — в детдомах, кто — в семьях киргизских. Всякого насмотрелся... Те, которых совсем маленькими привезли, ни слова по-русски не понимают, отцов и матерей своих пугаются. Киргизы — их тоже понимать надо — спорят, плачут, будто родных детей у них отнимают. Познакомился там с одним стариком учителем — шестерых детей в дом свой взял. Он-то и помог мне найти взрослых мальчиков, с которыми Сашеньку моего везли. Спрашиваю: «Помните, рыженький такой, все лицо в веснушках, Сашка?» А они: «По имени не помним, а такой рыженький был с нами, в теплушке умер...» А самый старший из них говорит: «Я его из вагона тащил, мизинчика у него на руке не было». Ну, точно — мой Саша!

Побрел берегом озера. Огромное оно, на солнце все переливается, душу красотой растравляет, а мне жить не хочется. Свернул в горы. Шел, шел по тропе, устал, промерз. Ну думаю, замерзну, и ладно... Не помню, как у чабана в юрте очутился. Провалился там два дня, потом взял себя в руки. Вспомнил, в кармане гимнастерки адрес у меня друга фронтового — он меня раненого на плечах своих вынес. Куда же теперь податься, как не к нему. Вот и приехал. Сняв шапку, постоял у могилы Бекмата... Люди сказали: «Ни вдовы у него не осталось, ни детей. Один только племянник в Джалал-Абаде...»

Так говорил Иван Матвеевич двум слепым, с которыми неожиданно свела его судьба. «Зачем делишься с ними своим горем, когда у них и собственного через край, оставь их в покое, уходи», — сказал он себе. Но ему не хотелось, ох как не хотелось подняться и уйти от этого долговязого слепого парня с жесткой мозолистой от веревок рукой, так похожего чертами лица на Бекмата. «Подарить свои часы ему, что ли? — он сунул руку в карман гимнастерки. — О господи, зачем незрячему часы?»

Владимир Алексеевич принес чайник, поставил на стол жестяные кружки. Видя такое, друг Бекмата, не долго думая, достал из вещмешка бутылку водки.

— Помянем моего фронтового друга Бекмата, — тихо сказал он.

...В первый раз в жизни Саяк пил водку. Все, что налил ему в жестяную кружку Иван Матвеевич, он выпил до дна.

Нутро словно огнем обожгло, и пошла голова кругом. Он даже не помнит, о чем говорил, кого звал, протягивая вперед свои худые длинные руки, не помнит, как Иван Матвеевич снял с его ног новые скрипучие ботинки, как уложил его на кровать и укрыл своей шинелью. Помнит только, что, когда проснулся, тишина ночная стояла в общезжитии и на улице, а двое русских все еще разговаривали за столом, но теперь уже обращались друг к другу на «ты».

И говорили они о нем, Саяке.

— Их здесь не учат...

— А я, слесарь, чему его научу?

— В России много школ для слепых. Он парень очень способный. Увези его с собой, а то пропадет.

— А он, думаешь, поедет со мной?

— Да он мечтает об учебе. К тому же никого из родных у него нет. Один как перст. Боюсь я за него, очень боюсь... За год привыкли мы здесь друг к другу. А нас, ленинградцев, со дня на день на родину возвратят. Все не решаюсь сказать Саяку об этом.

— Эх, где наша не пропадала! Беру парня! — ударил кулаком по столу Иван Матвеевич. — Очень он на Бекмата похож...

Разве мог Саяк, слышавший такое, сказать этим людям «нет».

...Мерно стучат колеса, и раскачивается железный вагон в неведомом Саяку пространстве. Днем ли, ночью с грохотом проносятся встречные поезда.

В тот день, когда провожали отца в армию, Саяк впервые в жизни стоял на железнодорожной станции возле поезда, вдыхая резкий запах огромного непонятого существа. Он никак не мог представить себе его и сначала сравнивал с огромной арбой, а когда поезд загудел и покатился — с огромным быком, тянувшим за собой длинную, как дорога между двумя кыштакми, железную арбу. Прежде он думал, что на земле есть только один этот поезд, и все мечты его о прозрении были связаны с ним.

Раскачивается вагон. И в теплом, как дыхание, мраке вспоминается Саяку родной кыштак, звон родника, и таинственный шорох листьев, и окружают его дорогие ему люди — словно едут они сейчас вместе с ним. И Саяк обнимает во сне мохнатую голову своего Коктая.

Благодатный летний день на джайлоо. Горы, небо и одинокая юрта. Шакир гостит здесь у своего старшего, теперь уже седобородого брата, чабана Мады.

Легкий ветер колышет свежие густые травы. Синь неба — не вдали, а у самой земли. Как давно не был Шакир в этом царстве тишины и покоя. Вон, за юртой, на широком склоне, не зная усталости, гоняются друг за дружкой босоногие мальчишки. И Шакиру вспоминается, как, взявшись за руки, бегал он с Саяком. О, как летела под ногами земля! Как падали они в теплынь лета, в густые душистые травы, и он закрывал глаза, пытаясь представить мир, каким знает его Саяк. Но солнце проникало сквозь сомкнутые веки.

...Девять лет провел Саяк в Москве. Вот и он, Шакир побывал там, прошел по следам Саяка, беседовал с людьми, которые знали его. Теперь к тетрадам Аджар — так в юности звали Аджалию Петровну — прибавилась еще одна с записями этих бесед.

Шакир лежит на траве, и словно не он сам, а летящий издалека ветер листает страницы его раскрытой тетради.

Звенигород. Иван Матвеевич:

«— Саяк? Да он как сын мне. Трудно с ним, конечно, в первые дни здесь было. Парень хороший, но упрямый, настойчивый, не знаешь, чего от него ждать. То вдруг на сосну залез — от страха все обмирали, то чужую собаку вздумал погладить, она ему руку прокусила. Дочке моей единственной, Тоне, тогда тринадцать еще не исполнилось, а за хозяйку была. Жена-то умерла в войну, а мачеху в дом привести не захотел. Саяк у нас в Звенигороде неделю, не больше жил. Скучал, видно, очень, даже кричал по почам. Чувствую, чем-то отвлечь его надо, а как — не знаю. Съездил в Москву, разыскал интернат для слепых, как раз там и школа для них. Захожу к директору. Выкладываю ему все как есть начистоту: дескать, привез слепого парня из Киргизии, русский язык знает, племянник моего фронтowego друга, сирота... Взял он Саяка. Мы с Тоней в этот интернат не раз ездили. Время он там зря не терял: школу окончил с отличием. Деньгами хотел ему помочь — отказывался. Правда, и сам зарабатывал неплохо: матрацы в мастерской слепые стегали. Саяк быстро приновился к этой работе. Потом,

сами знаете, в университет поступил, на юриста решил учиться. Тоня моя тоже туда экзамены держала, из-за Саяка, конечно, оно и понятно, привыкла к нему... а может, и полюбила. Боялся, поженятся. Не дай бог слепой ребенок родится. Вроде не ссорились, а уехал... На родину потянуло... Не думайте, что обижен я на него. Нет, чего там, полгода в больнице провалился — Саяк каждое воскресенье ко мне ходил».

Интернат для слепых

Василий Никанорович, бывший военный летчик, слепой:

«— Акматов Саяк? Помню, в одной палате жили. Мне в ту пору особенно тошно было, думал: «Лучше вечный покой, чем слепота». Он, Саяк, меня поддержал... Понимаете, слепой слепому рознь, народ собрался здесь разный, были и такие, что пьянствовали, истерики закатывали, и обозленные на весь свет были. С соседями мне поначалу, прямо скажу, не везло, а тут вдруг Саяк объявился, любознательный такой, прямой, чистый парень. По ночам учился, читал, недосыпая. Чувствую, цель у него есть, зрячим уступать не хочет. Стал по математике ему помогать. Физзарядкой вместе по утрам занимались, на брусьях подтягивались. Да он обо мне помнит: из Киргизии несколько посылок и писем прислал — вот они (показывает большие конверты с листами картона, испещренными точками)».

Лысый человек лет пятидесяти. Все в интернате зовут его Робертом:

— Простите, как ваше отчество?

— Не старьте меня, называйте Робертом. Я люблю свое имя. Акматовым, слышал, интересуетесь. Был такой. Молодой, а коварный... Я ему, можно сказать, дорогу к счастью указал — ну, к бабам повел... А он, знаете, такое учудил, чуть под суд меня не подвел.

— В чем же дело-то было?

— Да из-за чепухи какой-то. Нечего об этом вспоминать. Вы вроде журналист, а каким-то придурковатым интересуетесь. Зачем вам этот Акматов сдался? Значок университетский на грудь нацепил. Экая невидаль! А может, он его на базаре купил?

Слепой старик-библиотекарь

поворачивается к стеллажам, уставленным толстыми книгами:

— Акматов? Он все это прочитал.

Николай Львович Савчук, юрист, сокурсник Саяка:

«— Знаю, хорошо знаю Саяка, пять лет вместе учились. На все лекции и семинары первым в аудиторию приходил. Достанет свой прибор для письма, заложит в него лист картонный. Записывал точечным шрифтом¹ коротко, самую суть. Поначалу не верилось, что слепой наравне с нами учиться сможет. Думали, без помощи ему не обойтись. Надо, чтобы кто-нибудь взял над ним шефство. Комсорг группы спрашивает ребят: «Кому поручим?» Был у нас такой Туташкин. Опередил всех, вызвался опекать Саяка... Ничем хорошим его шефство кончиться не могло. Мы это потом поняли. Трудно было найти на нашем курсе двух людей, более разных, чем они. Туташкин — парень средних способностей, даже ниже средних. Карьерист, живущий по принципу «ты — мне, я — тебе». А Саяк по-настоящему талантливый, болезненно самолюбивый, вспыльчивый, превыше всего ценящий бескорыстие. Я говорю так уверенно, потому что было время узнать характер Саяка: два года в одной комнате жили. Туташкин приходил к Саяку не так чтобы очень часто, раз в неделю или два. От помощи его в занятиях Саяк, конечно, отказался, читал тот ему изредка газеты — этим его миссия и ограничивалась. Заметив из окна Туташкина, направлявшегося в общежитие, я шутя говорил Саяку: «Духовный отец твой идет».

Была у нас студентка Тоня, она еще девочкой Саяка знала. Вот эта Тоня, или, как ее теперь величают, Антонина Ивановна, и заботилась о нем: придет, бывало, все ему перегладит, залатает, почистит. То на каникулы Саяка к себе в Звенигород увезет, то в консерваторию пригласит, то — заходишь — сидит, читает ему. Старалась, как могла, скрасить ему жизнь. Впрочем, и Саяк был к ней привязан по-настоящему, какой-то шутник или отозвался о Тоне непочтительно, или понял его слепой наш неверно, только этого

¹ Точечный шрифт для слепых, принятый во всем мире, основан на различных комбинациях шести выпуклых точек.

парня еле из рук Саяка вырвали. Тут-то впервые увидели, каким бывает Саяк в гневе.

Так вот, стал приударять Туташкин за Тоней, а она на него ноль внимания. Конечно, обидно парню. Как-то в коридоре говорит ей: «Оба мы опекаем Саяка: я — по комсомольской линии, а ты по какой?» Говорит и не замечает, что за спиной у него стоит Саяк. Тоня палец к губам приложила, показывает — молчи, а он смеясь свое: «Давай найдем ему какую-нибудь слепую девушку, как говорится, по Сеньке и шапка».

Спустя пару дней появляется у Саяка Туташкин, неожиданно хлопает его по плечу (а, надо сказать, слепые такого терпеть не могут). «Решил вступить в партию, — говорит Саяку. — Рекомендацию от авторитетного человека получил. А тебя прошу, подпиши-ка одну бумагу».

«Что за бумага?»

«Письмо от твоего имени в партком, что я тебе третий год учиться помогаю».

«Вроде бы сам учусь, да и не хуже тебя».

«А я твоим политическим просвещением занимаюсь, газеты читаю».

«Ладно, если спросят, напишу».

«Зачем ждатель, когда спросят. Под лежачий камень вода не течет. Я к тебе приходил? Приходил. Значит, если ты сознательный человек, отплати мне за помощь тем же».

Саяк у него спрашивает:

«Сколько я тебе должен? Скажи — заплачу за твою помощь, а именем моим никому спекулировать не позволю».

«Сколько ты мне копейек собираешься дать?»

«Почему копейек — бери рубли».

«Богато живешь...»

«А как же, инвалид первой группы, да еще повышенную стипендию получаю, если сложить вместе — зарплата молодого специалиста».

Во время этого разговора я и зашел в комнату.

«Вася, — сказал я Туташкину, — ты мне напоминаешь монаха, собиравшего в кувшин свои слезы, чтобы все видели, как он переживает за людей. Чего ты пристал к Саяку?»

«Да не пристаю я к нему... Кому он нужен, дрянь неблагоприятная».

Разговор этот кончился дракой. Когда разнимал их, и мне перепало. Потом Туташкин принес в деканат медицинскую справку о нанесенных ему побоях — и в самом деле, Саяк его основательно потрепал. Так вот, требовал Туташкин,

чтобы исключили Саяка из университета, ибо слепой злоупотребляет своей безнаказанностью, позорит звание советского студента. Теперь, когда вспоминаешь, конфликт этот кажется незначительным, а тогда сколько было переживаний, споров... Вся эта затея Туташкина пустой была. Обоим объявили выговор за учиненную в общежитии драку. Казалось бы, и делу конец. Но Саяк несколько дней на запытия не ходил, не желал сидеть в одной аудитории с Туташкиным. Говорил: «Перейду на заочное». Стоило больших трудов убедить его не делать этого.

— Николай Львович, как вы думаете, почему Саяк избрал профессию юриста?

— Я и сам не раз задавал себе этот вопрос. Профессия наша в общем-то мало подходит для слепого. При своей способности к языкам, чувстве слова, аналитическом складе ума Саяк мог бы стать прекрасным филологом. Я как-то в разговоре с ним высказал такую мысль. «Меня больше интересуют взаимоотношения между людьми, — ответил он, не задумываясь. — Я хочу знать законы, чтобы уметь защищать тех, кто сам себя защитить не может. Я хочу понять взаимосвязь между глубинами человеческого духа и повседневной жизнью. Ты, наверно, думаешь: как слепой может верно судить о поступках зрячих? Но вырос я и жил среди зрячих! Я знаю, то, как человек относится к детям, к старикам, к слепым, к глухим, к убогим всяким, говорит о нем больше, чем все, что он может сказать о себе сам».

«Выходит, — спросил я, — ты обо мне знаешь больше, чем и сам».

«Этого не утверждаю. Однако, думаю, в людях разбираюсь».

И тут, Шакир Рахманович, рассказал мне Саяк об одном эпизоде из своего детства. Вообще-то, он о себе ничего не рассказывал. Он не из тех, кто много говорит о своих чувствах и переживаниях. По натуре наш слепой друг горячий, искренний, отзывчивый, но вместе с тем настороженный, замкнутый, недоверчивый. Оттого и трудно ему. Слепота тому причиной или детство тяжелое... Так вот что он вспомнил.

...Война шла, голодно было в ауле у них. Он хоть и слепой, а приноровился в ту пору горных курошатов силками ловить. Вообще-то, говорил он мне, охотиться на курошатов весной — преступление. Да кто из нас, мальчишек, об этом знал, а взрослые все на войну списывали, не обращали внимания на такое занятие. Ходил на промысел этот Саяк с ре-

бятami соседскими. Они — каждый сам для себя ловит, а ему, Саяку, «глаза» нужны — напарник. И вот, значит, заимел он такого напарника. Во всем Саяк на него полагался, потому что дружили они хотя и недолго, но по-настоящему. А до той весны у Саяка другой напарник был, алчный, завидуший, куропаток, понавших в силки Саяка, присваивал. Думал, слепой, ничего не замечает. Но обиднее всего Саяку было, что и новые его «глаза» лукавыми оказались: тот честный мальчик тоже его обманул.

— Он что, куропатку украл? — нарочито спокойно спросил Шакир.

— Нет, хуже: помог тому, кто украл, провести слепого. Саяк мне рассказывал: «По тому, сколько куропаток в силках билось, и по тому, как тот подросток-вор прощался, я понял, что с моей добычей уходит, обманув моего зрячего друга. А тот меня жалеет, себя жалеет, не говорит об этом. Стыдно мне за него стало. Понял, что не умеет говорить всю правду. Так и получилось: скрыл от меня, что родители его увозят, что должны мы расстаться навсегда».

Вспоминается мне, Шакир Рахманович, и еще один разговор с Саяком, как раз в День открытых дверей в университете, когда школьники знакомились с нашим факультетом.

Увидев слепого студента юрфака, ребята очень удивились, но виду не подали. Саяк спрашивает: «Почему решили стать юристами?» Один говорит: «Работа интересная, все время с людьми разными», другой: «Хочу законность и порядок укреплять, у меня и отец судья», а третий улыбается: «Инженер из меня хороший не выйдет, писателем, актером тоже не стать, так что буду судьей или прокурором».

Саяк мне потом говорит:

«Неправильно».

«Что неправильно?» — спрашиваю.

«Неправильно в вузы принимают».

«Это почему ты так решил?»

«Получается, что и врачами, и учителями, юристами становятся те, кто отвечает на приемных комиссиях побойчей».

«Что же в этом плохого?»

«А то, что главное не учитывается: личность».

«Как не учитывается? А комсомольские характеристики, похвальные грамоты, участие в олимпиадах...»

«Но смотрят в основном на то, как вступительные экзамены сдал. У кого баллов больше, тот и поступил».

«На все смотрят, Саяк,— говорю ему.— Когда несколько человек на одно место претендуют — это конкурс, и главное — чтобы он был честный, открытый».

«Да я не о том,— морщится он.— Так, как ты говоришь, надо на математический факультет, физический принимать, и технические вузы. А для будущих врачей, учителей и юристов путевка в вуз должна быть иная. А то ведь что может получиться, возвращаюсь я, к примеру, в Киргизию и узнаю: тот, кто у меня куропаток крал, судьей стал; тот, кто мнения своего не имел, был ни рыба ни мясо, детей учит; а тот, который тайком от ребят лепешку ел в голодные дни, врач. А надо, чтоб самый совестливый судьей стал, помогавший ребятам в занятиях — учителем, самый сердобольный — врачом».

«Значит,— говорю ему,— сами школьники должны решать, кто из них будет учить, лечить и судить. Так, что ли?»

А он мне:

«А как же иначе? Кто лучше их отберет душевно одаренных людей?»

Скульптор Зубов:

«— Да, да. Был он у меня, слепой киргиз в черных очках. Лицо подвижное, очень выразительное. С племянницей моей Тоней приходил. Попросил разрешения осмотреть руками мои работы. «Пожалуйста,— говорю,— бога ради» А сам думаю: «Любопытно, что он руками увидит?» Одна скульптура особенно привлекла его: обнаженная девочка, запрокинув голову, смеется. Ничего этого он, конечно, не знает, впервые в мастерской у меня. И вдруг, представьте себе, слышу точь-в-точь то, что я сам об этой скульптуре сказать бы мог: «Летний день. Девочка только что испуналась. Теперь вот стоит под солнцем. Ей хорошо, очень хорошо. И она от полноты жизни смеется».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В университете училось немало киргизов, они не оставляли слепого земляка без внимания. Саяк был рад встречам с ними и возможности поговорить по-киргизски. Но когда они начинали с увлечением рассказывать о том, что пишут их близкие из Киргизии, считать дни, оставшиеся до каникул, он весь замирал. Разумеется, земляки-студенты вели бы

себя с ним по-другому, если б Саяк непонятно почему не скрыл, что он сирота, что ему некуда ехать и некому писать. Не осталось в Киргизии людей, которые бы ждали его. Одна только Жамал... Она не может забыть! Нет, не может! Почему же не писал он ей все эти годы? А что писать-то? Пригласить ее сюда — нелепо и подумать: слепой зовет приехать к нему в Россию девушку из глухого кыпшака. Или просто дать о себе знать: я еще жив. Зачем?.. Конечно, она замужем и у нее уже дети. Конечно, время изменяет людей, оставляя им от поры детства мало или вовсе ничего. Все это Саяк понимал умом, но сердцем отвергал: ему казалось, что он и Жамал связаны какой-то одной высшей судьбой, что время и обстоятельства не властны оторгнуть их друг от друга. Только бы очутиться рядом с ней, слышать ее голос, чувствовать ее дыхание.

Приближалось время окончания учебы в университете. И тут он решился наконец написать Жамал. Это письмо, которое он продиктовал Чолпонбаю, своему приятелю-киргизу, студенту мехмата, состояло почти из одних вопросов. Он спрашивал о том, как сложилась судьба Жамал, спрашивал о земляках, но ни словом не обмолвился о себе. И не потому, что боялся, Жамал подумает: «Десять лет молчал, теперь хвастается, мол, кончаю университет». Нет, не в этом дело: просто упоминание о своей теперешней жизни как-то отдаляло и принижало их прошлое, делало его зыбким. А ведь только оно и связывало Саяка с Жамал.

Письмо это кончалось словами: «Живы ли наши тополя над родником? До сих пор слышится мне их призывный шелест».

Через три месяца ему принесли письмо из Киргизии. Саяк сразу позвонил Чолпонбаю и попросил зайти. Тот сказал, что будет через час. Все это время Саяк ощупывал свои часы с выпуклым циферблатом. Это был самый длинный час в его жизни, казавшийся ему вечностью. Но вот наконец письмо в руках у Чолпонбая. Саяк слышит, как он вскрывает конверт. Молчит — читает про себя. Саяк сразу почувствовал что-то неладное.

— Читай все подряд, — сказал он нетерпеливо и строго.

«Товарищ Акматов Саяк! Я работаю здесь секретарем сельсовета. Ваше письмо лежало у нас несколько месяцев. И в конце концов я распечатал его. От других узнал о том человеке, которому вы адресовали это письмо, и заодно о вас. Все удивляются, что вы живы. А она, кому вы пишете, Жамал Караева, говорят, живет далеко отсюда, у подножья

Арслан-Боба¹, в лесхозе. Отправить ваше письмо ей или передать через кого-нибудь было невозможно. Дело в том, что я не знаю ее точного адреса, а также не знаю ее лично. Не все ли равно, она вам ответит или за нее я отвечу. Я уже два года работаю секретарем сельсовета. Я из другого кыштака, меня сюда на работу прислал райисполком. Бывший председатель сельсовета и его секретарь растратили десять тысяч рублей, отпущенных на ремонт школ, да еще вымогали деньги у пенсионеров. Одним словом, нам предстоит исправлять все эти неполадки. Дело уже, можно сказать, улучшается.

Только отдельные люди помнят вас и сожалеют, что вы слепой. Как вы могли уехать так далеко, в Россию? Мне стало жалко вас от души. Как же вы доберетесь оттуда к нам? Люди говорят, что никого из ваших близких не осталось.

Если вы мечтаете вернуться, напишите заявление на имя председателя сельского совета. Мы его обсудим на заседании и решим вопрос: отправить за вами кого-нибудь, если кто согласится, или что-нибудь еще надумаем.

С приветом

Секретарь сельского совета

Акимбаев».

— Тоже мне, гуманист нашелся, — вспыхнул Саяк, — дурак, невежда! — Взяв письмо, он разорвал его на клочки. Но хоть письмо больно задело его своей черствостью, через минуту он уже испытывал облегчение и даже радость: Жамал жива, она где-то в Арслан-Бобе, это не так уж далеко от их родного кыштака. А хоть бы и далеко было, пусть на другом конце Киргизии, пусть хоть на другом конце света — она жива, и он ее непременно найдет.

Через месяц Саяк получил диплом с отличием. Ему предложили остаться в аспирантуре. Он поблагодарил за такую честь, но попросил отправить его на работу в Киргизию. Просьба эта была удовлетворена.

¹ Арслан-Боба — высокие горные хребты, часть Тяньшаньского горного массива.

Прилетев во Фрунзе, Саяк сразу же отправился в министерство юстиции.

И вот он на приеме у заместителя министра.

— Саяк Акматович, о вашем приезде мы были извещены заранее: звонили из Москвы и, не скрою, аттестовали вас как весьма перспективного молодого специалиста. Мы здесь уже посоветовались и решили оставить вас у себя в министерстве одним из референтов,— заместитель министра сделал паузу, давая почувствовать Саяку, какая высокая честь ему оказана.— К вам будет прикреплен секретарь-опекун.

Саяк прижал руку к груди в знак искренней благодарности, но тут же заметил, что принять это предложение ему мешают соображения не столько даже личного, сколько психологического характера. Дело в том, что он десять лет не был в Киргизии и, учитывая некоторую необычность своего положения (Саяк весьма прозрачно намекал на свою слепоту), хотел бы очутиться в Южной Киргизии, желательно поближе к Арслан-Бобу, где живут его сородичи и близкие люди, с помощью которых он сможет обосноваться на родной земле и приступить к работе.

— Советую подумать, молодой человек, крепко подумать, прежде чем отказываться,— отечески произнес заместитель министра.

— Я уже подумал,— твердо ответил Саяк.

— Да, честно признаться, я этого не ожидал.. Вот что, есть, кажется, одно вакантное место, которое вас, по всей видимости, устроило бы. Подождите минуту,— он набрал номер телефона.— Сеит, можешь подъехать ко мне? Дело есть! Хорошее... Видишь, не забываю о своем сородиче. Вот ведь как получается,— с лукавинкой в голосе обратился он к Саяку.— Тут как раз в командировке родственник мой, директор крупнейшего лесхоза в Арслан-Бобе. Который раз просит сосватать ему хорошего юриста. Не знали, как ему и помочь: не очень-то наши коллеги из столицы в провинцию рвутся... Так что вы для него находка.

Когда в кабинете появился директор лесхоза, Саяк сразу почувствовал, что тот не слишком уж рад такой находке.

— Значит, вместе работать будем,— бодро, но несколько растерянно сказал Сеит Муратович Рахимов, пожимая руку Саяка, тщетно стараясь скрыть, насколько обескураживает его перспектива работать бок о бок со слепым юристом.— Простите, откуда вы родом, Саяк Акматович? А... Из

того кыштака наш лесничий Жокен Капаров, помните такого?

Саяк кивнул.

— И жена его, Жамал, оттуда. Ее вы тоже, должно быть, знаете...

* * *

Они сидели на чарнае рядом с домом Жокена под большим старым ореховым деревом, широко распростершим свои мощные корявые ветви. Тихий и теплый вечер окутывал землю. Чуть слышно шелестели листья.

— ...Так и живем мы с Жамал, — помолчав, продолжал Жокен.

Голос его за эти годы сильно изменился, но Саяк ощутил в нем что-то от мальчишеского голоса Жокена: обкатанную годами жестокость, напористость.

— Вот так и живем, Саяк. Не обделила нас судьба счастьем! Вот дом из четырех комнат — во всем кыштাকে второго такого нет, и на таком месте стоит — лучше не найдешь. Ну прямо как в раю. Не знаю, право, есть ли там такой ореховый лес! Осенью, когда ветер раскачивает ветви и срывает орехи, они нередко залетают к нам в дом, прямо в трубу. Одним словом, благодатная земля. Прямо за нашим домом горная прозрачная речка, от нее и в зной тянет прохладный ветерок. Душа радуется. О чем и мечтать!

— Да... — задумчиво согласился Саяк.

— Здесь меня уважают, все у меня есть... Одно барашика велел сейчас зарезать, чтобы по-киргизски отметить твой приезд, чтобы люди тебя увидели.

— Спасибо, только зачем все это? Мы бы и так втроем посидели.

— Как зачем? — удивился Жокен. — Ты сегодня мой самый уважаемый гость. Ты мой сородич. Ты словно воскрес вновь. Мы тебя давно считали погибшим.

— Правда... — подтвердила Жамал. Голос ее был какой-то отрешенный, как у человека, только что очнувшегося от сна. — Думали, что ты...

— В том-то и дело. Потому жертвоприношение обязательно, иначе аллах нас не простит, — стоял на своем Жокен.

— Не стоит ради меня на всю округу шум поднимать? Неудобно как-то.

— Перед кем?

— Перед людьми, конечно.

— Почему же неудобно? Люди еще и спасибо скажут. Будут есть шурпу и свежее мясо, читать молитвы в честь пророков, спасших тебя и в конце концов приведших на родную землю.

— Брось, пожалуйста, я не хочу этого.

— Ты что, Саяк, безбожником стал?

— При чем тут бог?

— Может, среди своих слепых был вожаком комсомольским? Ну, если стесняешься, — Жокен расхохотался, — то объявим, что барашка зарезали в честь твоего приезда. Шутка шуткой, а выкладывай, Саяк, что делал там, в России, и чем здесь заняться собираешься?

Саяк помедлил с ответом.

«Хитер, слепой, — подумал Жокен, скользя по нему оценивающим взглядом. — Одет чисто. С чемоданом кожаным пожаловал. Научился как-то деньги добывать. Может, немало скопил. Вот приехал в гости себя показать, да и не с плохими подарками. Наверно, где-нибудь в артели матрацы шил, а в свободное время подрабатывал, читая Коран. Москва большая, мусульмане и там, конечно, есть... Впрочем, стоит ли об этом расспрашивать? Нет, все же интересно, что он о себе скажет».

— Ну, о чем задумался, кары?

— Прежде всего хочу сказать тебе, Жокен, больше не называй меня так. Я не кары, а юрист.

— Юрист? — изумился Жокен.

— Да... адвокатов, судей, прокуроров знаешь?

— Знаю, конечно, — нахмурился хозяин дома. — Бог с ними. Ты не шути, а рассказывай о себе. Небось научился какому-нибудь ремеслу?

— Ну, это скорее не ремесло, а профессия. Юрист я, понимаешь.

— Судья, значит, — расхохотался Жокен. — Эх, Саяк, жить ты, может, и научился, а вот шутками позабавить людей не умеешь. Ну, сам подумай, судья, он видеть должен подсудимого, свидетелей, должен написать приговор, читать толстые тома законов, разных там кодексов. Я не юрист, но не хуже других законы знаю. Жизнь заставила...

— Во-первых, я читаю и пишу.

— Ну да! Какими глазами?

— Что ты, Жокен, не обижай его так, — смутилась Жамал.

— Не вмешивайся, женщина, — буркнул Жокен.

Жамал тут же умолкла.

— Во-вторых,— продолжал Саяк спокойно,— судья взвешивает, анализирует, решает, а писать может и секретарь. Впрочем, оставим этот разговор.

— Ладно, не хочешь рассказывать о себе, не надо. В душу лезть тоже нехорошо. Ну что ж, ты и в детстве скрытным был. Может, это тебе в жизни и помогло. Каждый за свое место под солнцем борется. А я ведь тебе все, не таясь, выкладываю,— с упреком произнес Жокен.— Вот, послушай, конь у меня есть гнедой. Он,— голос Жокена зазвенел,— настоящий тулпар¹, гордость нашего кыштака, всего нашего рода. Сколько мы с ним завоевали всяких призов в козлодраниях. Слава богу, в последние годы опять в чести этот наш национальный конный спорт. Потому и купил гнедого за шесть тысяч. А это ведь стоимость легковой машины.

— А почему ты не купил за эти деньги машину?

— Можно было бы приобрести и машину, да зачем она мне, на ней только ездить по асфальту. А наш край горный, лесной. На машине я мог бы разве что прокатиться в город и обратно, а так стояла бы у меня в гараже. А вот гнедой — другое дело. Сколько мы с ним выиграли баранов, ковров — скажи, жена!

— Да, да,— с гордостью подтвердила Жамал.— В последние годы Жокен всегда побеждает. Много ценных вещей...

— Не только ценных вещей, но и славы добился мой гнедой,— властно перебил ее Жокен.

— А что, у других кони слабые? — спросил Саяк.

— Нет, кони у них крепкие,— усмехнулся Жокен.— Собираются джигиты на прославленных скакунах на большой той. Сначала состязаются наши борцы, а потом мы, всадники, знающие секреты козлодрания, начинаем свою игру... Тушу теленка выносят на поле. Туша такая, что весит килограммов сто. Все всадники мчатся к ней, сбиваются в кучу, мешают друг другу, ни один из них не может, склонившись к земле, поднять тушу на гриву своего коня и, вырвавшись из толпы, пуститься вскачь. Представляешь, пятьдесят, а то и сто коней крутятся, теснят, отталкивают друг друга — со стороны это напоминает растревоженный улей. Всадники подбадривают своих коней, бранят тех, кто действует не по правилам. Крики, вопли, звон стремян. Как из котла пар валит от вспотевших лошадей и людей.

Тогда, выбравшись из этой давки, огрев камчой гнедого — да так, чтобы ему было больно, чтобы он разгневался и раз-

¹ Тулпар — сказочный конь.

горячился, даю большой круг по полю и вихрем влетаю в толпу, пробиваюсь к туше. Теперь уж гнедой мой не знает удержу. Он у меня особенный, я его сам выучил: одного скакуна отталкивает грудью, другому — вцепится зубами в спину, ударит подковой, стремясь в середину. Когда мой конь окажется возле туши, несколько раз дергаю уздечку. Привыкший к этому гнедой начинает крутиться, как жернов мельницы, отстраняя других коней. И тут, словно беркут, бросаюсь к туше, поднимаю ее легко одной рукой — и вот она на гриве гнедого. Сразу перебрасываю ноги над тушей, потом всей тяжестью встаю на стремяна, как бы приторачивая тушу к седлу, вцепившись рукой в гриву гнедого. Теперь никто не сможет вырвать тушу у меня. Кричу во весь голос, ударяя камчой по шее гнедого, и он пускается во весь опор, мгновенно пробивает себе путь, расшвыривая коней. Он вырывается из этого ревущего роя, словно снаряд из пушки, и мчится на край поля, где вдалеке верховой помахивает белым платком, давая знать, что финиш здесь. Меня преследуют десятки всадников, разгневанных и озлобленных, потому что каждый надеялся быть победителем, но мой гнедой не дает себя догнать. Я бросаю тушу в положенное место и возвращаюсь вскачь победителем. Премия — моя! Это жеребенок или баран, а может быть, ковер, в крайнем случае телевизор. Сейчас вошло в традицию награждать победителя телевизором или радиоприемником. Да не это главное. О тебе начинают говорить по-другому, даже легенды сочиняют, как о сказочном батыре.

— А как ты поднимаешь с седла чуть ли не стокилограммовую тушу?

— Тут дело в сноровке и силе, — не без гордости ответил Жоке. — Поэтому и легенды сочиняют. Ты думаешь, мы живем здесь, как вы в городе, нет, мы все время закаляемся.

Жокен потянулся к Саяку, взял его за плечи тяжелыми и сильными руками, потряс.

— Смотри, какой стал наш кары, — Жокен и Жамал переглянулись.

И в самом деле, их слепой земляк, некогда худой, долговязый парень, раздался в плечах и вообще выглядел внушительно.

— Да, с виду ты ничего, — заметил Жокен. — К такому, как у тебя, телу да силу настоящего джигита.

— А может, я как раз и есть тот джигит?

— Брось ты, это не те мускулы, закаленные в козлодрапиях.

— Все же давай померяемся силой, а?

— Ох и задира ты, ну совсем как в детстве! — развеселился Жокен. — Ну, садись-ка поближе.

Взявшись за руки, они облокотились на круглый низкий столик, стоявший посреди чарная. Саяк сразу ощутил хватку и крепость руки Жокена.

— Ну вот и все, зайчишка-хвастунишка, — засмеялся Жокен, прижав руку Саяка к столу.

— Подожди, — сказал Саяк, — я сидел на чарнае неудобно. Давай еще раз, по-настоящему.

Теперь победил Саяк. Не ожидавший этого, Жокен оторопел. Минуту спустя он снова сжал руку Саяка — и снова безуспешно.

— Сегодня я очень устал, — оправдывался он.

— Ты тоже победил, зачем оправдываться? — успокаивал его Саяк.

— Ты тоже не такой, каким я тебя сначала посчитал, — признался Жокен.

Жамал сидела, не сводя глаз с Саяка, такого непривычно нового, спокойного, уверенного в себе джигита, в черных очках, с ослепительно белыми крупными зубами, обнажившимися в улыбке.

— Конечно, сила у тебя есть, — не унимался Жокен, — но это сырая сила, она не годится в козлодраниях. Надо быть еще и всадником.

— Зачем мне ваши козлодрания? — нехотя отозвался Саяк. — Я и не хочу этим заниматься, пусть даже просить будут.

— Кто станет тебя просить? Не беспокойся, мой кары, этого не случится... Пей лучше чай, а я тебе расскажу, каким я стал. Видно, сам аллах сулил мне такое. В моем владении тысяча гектаров орехово-плодового леса, трелевочные тракторы, техника разная, быки, кони... Сорок человек под моим началом, и они танцуют так, как мне хочется.

— Как это понимать?

— А так, что они беспрекословно мне подчиняются, знают мой характер, что шутки со мной плохи, могу, как говорится, выжать кровь из ресниц¹.

— Ты что, никогда с ними не советуешься?

— Вот еще придумал. Я — хозяин, они должны мне подчиняться.

¹ Выражение, аналогичное русскому, «согнуть в бараний рог».

— А если они видят, что ты поступаешь неправильно, тогда как?

— Мои распоряжения всегда правильны, потому что я поставлен властью лесничим, а аллах не велит противиться представителям власти.

— А, вот что, — улыбнулся Саяк и невольно добавил: — Интересная философия.

— Никакая это не философия. Философию люди придумали. А это веление аллаха, его слова, сказанные из уст в уста пророку Мухаммеду. Об этом в Коране написано. Ты, надеюсь, не забыл его, мой почтенный кары?

— Я тебя просил не называть меня так.

— Не дури, Саяк. Ты весь святой Коран еще мальчишкой выучил. Не испытывай терпение аллаха, не играй так словами — это неизмеримый грех.

Саяк с тяжелым сердцем слушал своего ровесника и земляка. От слов Жокена несло чем-то дремучим и затхлым. И Саяк чувствовал, с ним бесполезно спорить. Доводы, которые приводил Жокен, были известны Саяку с детства. Они хранились в его памяти как негодные инструменты, которые ржавеют в ящиках, так и не дождавшись своей очереди.

— Нам трудно понять друг друга, мы словно говорим на разных языках, — промолвил Саяк. — Но все же, Жокен, допустим, не твой подчиненный, а равный тебе по положению пытается вразумить тебе, доказать, что поступаешь неправильно? Скажи, было такое?

— Было... Года два назад приехал к нам совсем молодой парень, лесотехнический техникум окончил. Ничего не скажешь, дело он знал. Но вот беда, мешать мне начал: то, говорит, неверно, это, говорит, у тебя неправильно, здесь надо было сделать не так... Пригласил я его к себе домой, поставил перед ним поллитровку и все ему выложил: «Брат ты мой, — говорю ему. — Ты ведь совсем молодой и неопытный, слушай меня, я старше тебя на четыре года, и притом богобоязненный человек, Коран читаю. Зачем ты рыщешь по моим следам? Неужели не понимаешь: все, что я делаю, повелел мне делать аллах. Без его воли ничего не случается. Предназначил он тебе жить где-то далеко, и ты обязательно поедешь туда и будешь пить воду тех мест. И будешь думать, что поехал туда по своей воле. А на самом деле все это заранее предопределено, написано на лбу у тебя». Говорю ему это прямо от души, не как на собрании, а он смеется, считая меня отсталым человеком. Я пошел и

рассказал об этом ребятам, и они стали относиться к нему с подозрением.

— Почему?

— Потому что он не такой, как они.

— А они какие?

— Они меня слушаются, бога боятся. Да и вообще, многим мне обязаны.

— Давно работаешь здесь?

— Давно, — махнул Жокен рукой.

— И что потом было с тем парнем?

— Было что было. Не прошло и двух лет... — Жокен провел ладонями по лицу, как делают мусульмане в конце молитвы, а иногда и в знак окончания начатого дела.

— Ну-ка, объясни, что произошло?

— Зачем тебе это?

— Ты вот сказал, что с мнением подчиненных не считаешь, а тут ведь такой же представитель власти, да еще и образованный, толковый парень, что-то захотел сделать полезное, а ты его, кажется, выжил.

— Нет, ты не так меня понял, — торопливо заговорил Жокен. — Он сам от нас ушел.

— Тогда другое дело. — Саяк закурил сигарету, потом сказал: — Ты считаешь, что твоя нетерпимость и жестокость — выражение воли аллаха. Но, может быть, ты неверно понимаешь его волю.

— Ну и ребенок ты, Саяк! Неужели до сих пор не понял, что мир земной сотворен противоречивым, сотворен для борьбы, а это значит, что мир жестокий. Вот, например, дана жизнь воробьям. Чирикают, пока не попадут в когти ястреба. А люди... Один умный, красивый, сильный, а другой слабый, болезненный, бывает, горбатый, слепой, — усмехнулся Жокен. — Оттесняют, кусают друг друга, как лошади. Жестоко это? Да, жестоко. Но раз таким угодно было богу создать мир, то и надо быть жестоким, как сама природа.

— Послушай, Жокен, в свое время я тоже учил Коран, но он, как мне помнится, призывает и к другому: доброте и милосердию.

— Ты тогда был ребенком, Саяк, и не мог отличить жестокости от несправедливости. Если милосердным справедливым аллахом мир сотворен жестоким, значит, и жестокость человека бывает оправданной. Все дело в том, ради чего и от имени кого она творится. Одни и те же поступки могут оказаться в одном случае гунаа — грехом, злом, а в другом они сауи — благородное дело, добро. Потому и го-

ворят, что правила шариата можно толковать по-разному.

— Дотолкуемся, может, — улыбнулся Саяк.

— Вряд ли, дорогой мой кары, у тебя нет опыта жизни, и потому ум твой не гибкий, и твои замечания наивны. — Жокен взглянул на часы. — Ох и засиделся я. Ребята меня заждались, надо им наряд на завтра дать. — Он поднялся, зашагал к воротам и вдруг, обернувшись, грубовато крикнул жене: — Чего ты сидишь, Жамал! Иди принеси Саяку горячего чая.

Жамал послушно поднялась.

— Спасибо, Жамал, чая мне не нужно, сиди! Мы же с тобой еще и не поговорили. Расскажи о себе, пожалуйста.

— О чем рассказывать-то... — растерянно произнесла Жамал. — Обо всем уже рассказал тебе Жокен.

— Значит, со всем, что говорил Жокен, ты согласна? Этот вопрос Жамал восприняла по-своему.

— Слава богу, живем хорошо, не хуже других. Известно, богатство киргиза узнают по тому, сколько у него скота. С этим у нас тоже неплохо: четыре коровы, десятка два баранов. Говорят, что мир жестокий, а я чувствую себя счастливой. В кыштаке у нас у первых телевизор появился, и мне завидовали все женщины. И гарнитур мебельный мы тоже купили одними из первых в кыштаке... Кто бы мог поверить, Саяк, в те далекие годы, когда мы были голодными, что сейчас у нас будут такие вещи. В те годы мы не могли даже мечтать об этом.

— Да, трудные были годы, — согласился Саяк, прислушиваясь к дыханию Жамал. — Очень трудные... И вот теперь все, кто были тогда голодными, оборванными, живут хорошо.

— Нет, не все, — возразила Жамал. — Я вот видела недавно в городе моих школьных подруг Айшу и Сабиру. Айша, видно, живет неплохо, учительствует вместе с мужем, а Сабир несчастна и теперь. Шла по улице у всех на виду в старом рабочем комбинезоне.

— Откуда ты знаешь, что она несчастна? Она жаловалась тебе?

— Разве скажет об этом, наоборот, сделала вид, что довольна своей жизнью. Работает где-то на фабрике, в гости приглашала.

— Разве счастье человека в его платье, Жамал?

— А как же, Саяк! Какое это счастье, если ты голодный и оборванный.

— О счастье женщины так просто нельзя судить. Бог ее знает, может, она и в самом деле счастлива.

— Тебе трудно об этом судить. — Жамал помолчала. — Ты меня вспоминал иногда?

— Не иногда, а часто, — признался Саяк.

— Вот как! — засмеялась Жамал.

Саяк почувствовал, что его слова показались ей забавными. Ее смех звучал, как в детстве, беспечно и звонко. Этот смех словно вырвался из памяти Саяка, где столько лет он хранил его с отчаянием и надеждой.

Он сидел подавленный, оскорбленный, а тем временем Жамал, смеясь, рассказывала о какой-то стиральной машине, пользоваться которой она не умеет, даже включать боится, а Жокен к этой машине и вовсе не прикасается, — дескать, не мужское дело. Саяк слушал, и ему казалось, что перед ним не та Жамал, а какая-то другая женщина, украшенная ее имя. «Зачем я сюда приехал? Зачем?» — корил он себя.

В конце концов Саяк взял себя в руки.

— Жамал, — заговорил он как можно спокойнее, — я убедился, что ты счастлива, у тебя все есть: и телевизор, и радиоприемник, и стиральная машина. А вот скажи, как вы живете с Жокеном? В семье у вас мир и согласие?

Она засмеялась так, будто услышала веселую соленую шутку:

— Как живем? Спим в одной постели. У нас есть дочь. Саяк отвернул лицо в сторону.

— А ты почему не женился?

— Некогда было думать об этом.

— Как ты мог терпеть до сих пор? — шаловливо спросила Жамал.

— Учился; жил, как другие, в общежитии.

— Чувствуешь ли ты себя мужчиной?

Лицо Саяка вспыхнуло.

— Ну-ну, чего молчишь! — дразнила его она, беспечно смеясь.

С улицы донеслись мужские голоса. Жамал вздрогнула, будто ей плеснули холодной водой в лицо. Настроение ее разом изменилось. Робким голосом начала бормотать суру из Корана, которую должны знать и неустанно повторять все мусульмане.

— Аллахи илляхи и аллох Мухаммедура сухралла, прости милосердный аллах покорной рабе пригрешения, прости.

Саяк улыбнулся:

— Чего ты испугалась, Жамал?

— Стыдно стало... Перед мужчиной так развязала язык, пусть простит всемогущий.

— Чего ж стыдиться? Разве мы не дружили, не росли вместе, как брат и сестра?

— В том-то и дело, что забыла обо всем, посчитав тебя таким же близким, как когда-то... Да, ты спрашивал, как мы с Жокеном живем. Слава богу, не жалуясь. Живем хорошо, сыты и одеты.

— Опять ты, Жамал, говоришь о еде и одежде. Разве жизнь только в этом?

— Не пойму я тебя что-то...

— Я спрашиваю, уважаете ли вы друг друга, сходитесь ли во взглядах?

— У нас не бывает споров, живем, душа в душу.

— Это хорошо.

— А зачем нам ссориться, у нас все есть.

Саяк сидел опешеленный, не веря своим ушам.

— Извини, Жамал, я, кажется, замучил тебя своими вопросами.

— Ничего, ничего. У меня нет от тебя секретов.

Саяк глубоко вздохнул и чуть слышно вымолвил:

— Не о чем больше спрашивать.

Скрипнула дверь. Во двор торопливо зашел Жокен:

— Саяк, идут наши односельчане познакомиться с тобой. Я тут не только хозяин, но и, можно сказать, их духовный руководитель, а ты — мой сородич. Пойду встречу аксакалов.

Саяк встал с места в ожидании гостей. Жамал тоже поднялась. Ее вдруг как ветром сдуло.

По звучанью приближающихся шагов Саяк определил, что явились человек пятнадцать, среди них и молодые.

— Ассалам алейкум!

— Алейкум ассалам!

Люди поочередно здоровались с Саяком, пытливо глядя на него.

Когда все уселись, скрестив ноги поудобнее, старейший из аксакалов поднял руки ладонями вверх и, произнеся несколько слов из Корана, мелитвенно провел ладонями по лицу:

— Аллау акпар!

Все последовали его примеру.

Один из аксакалов неторопливо стал расспрашивать Саяка, словно старого знакомого, о его здоровье, о том, благополучно ли добрался до Арслан-Боба, пожелал ему успеха и добра в жизни.

Саяк отвечал на его вопросы так же неторопливо, с достоинством, перемежая речь словами благодарности. И хотя он понимал, что этот разговор с аксакалом всего лишь дань традиции, теплое чувство к этому старику и ко всем собравшимся захлестывало его. Как давно не слышал он такого шарканья ног, покашливания, глухих, как порох осенних листьев, голосов аксакалов. От этих проживших долгую жизнь людей исходил издавна знакомый, щекочущий ноздри, чуть горьковатый запах, как от коры старых деревьев, как от пожухлой, пригретой мартовским солнцем полыни. Вспомнились такие же вот старики родного кыштака, собиравшиеся на холме возле Бекмата. Душа Саяка смягчилась, он сидел в кругу своих земляков доверчивый, как ребенок, готовый отдать им, ничего не прося взамен, свою душу, которую отвергла Жамал. Лишь бы только вот так покашливали старики и звучала приглушенная спокойная киргизская речь.

Вдруг раздался сдержанный, негромкий, но властный голос Жокена:

— Вот это и есть Саяк-кары.

То ли Жокен произнес слово «кары» не так, как прежде, то ли воспринял это слово Саяк иначе, посчитал почтительным обращением к слепому, но на лице его появилась улыбка. А все другие восприняли «кары» в его настоящем значении. Многие, разинув рот, смотрели на Саяка — шутка ли, слепой человек наизусть знает весь Коран.

Жокен чуть помолчал, как бы давая гостям время на размышления, и тихо продолжил:

— Он мой близкий сородич, мы ровесники, выросли вместе в трудные военные годы. Когда Саяк остался круглым сиротой, его отправили в город в Дом для слепых, а потом он потерялся бесследно. Ничего не сообщал о себе. Честно говоря, мы считали, что его уже нет на свете... А он.— вот! Вернулся, кровь моя, мой сородич. Видите, здоров и невредим.

— Сам бог спас его, — промолвил один из сидящих.

Саяк чувствовал, что человек этот очень стар, голос его словно рассыпался от мелкой дрожи.

— Не только слепому — зрячему трудно вернуться из такой дали и через столько лет.

— Да, да, — откликнулся другой старик, — бог рассеял его хлеб по всей земле — и там и здесь, вот он за ним и вернулся.

— Все же, как вы выжили без родных и близких? —

спросил, судя по голосу, кто-то из молодых, сидевших в стороне от аксакалов.

— Был я среди людей, — улыбнулся Саяк. — Они заботились обо мне, помогали в трудные минуты.

— Кто они были?

— Настоящие люди, с чистой совестью.

— Кто они были по национальности? — раздался все тот же настойчивый молодой голос.

— Русские, украинцы, грузины, латыши... всех не перечислишь.

Тут раздался чей-то глухой старческий голос:

— А Юран, надеюсь, ты не забыл?

— Нет, аксакал, кое-что осталось в памяти.

— О! — воскликнул Жокен. — У Саяка крепкая память. Он никогда не забывает то, что слышал на своем веку.

— Мой почтенный кары, — сказал старик, сидевший рядом с Саяком, — читаешь ли ты иногда в память своего отца суры?

— Нет, — признался Саяк.

— Ну, как же это...

Послышались неодобрительные возгласы. «Сижу среди старых верующих людей, надо бы вести себя более тактично», — подумал Саяк. Он постарался исправить свою ошибку.

— Конечно, я никогда не забываю своего отца, но дело в том, что я жил среди людей, у которых и другая религия, и другие обычаи.

— Да, да, — поддержал его Жокен, подхватывая поводок разговора. — Вы поймите, Саяк не может сразу раскрыться, он же не знает всех, кто сидит здесь. Поэтому вы, аксакалы, так сразу не старайтесь все разузнать, как говорится, не надо ломать палку в том месте, где за нее держишься. Впереди еще много времени.

— Ты прав, Жокен, — прозвучал уже знакомый Саяку голос, словно рассыпавшийся от мелкой дрожи. — Саяк, я знал отца твоего, покойного Акмата, был он хорошим человеком. Увидев тебя, я вспомнил о нем. Теперь просто нельзя не прочитать в память Акмата молитву, иначе его духу будет обидно. Если все согласны, пусть это сделает его сын. Но и я могу...

— Нет, нет, пусть Саяк, — зашумели вокруг.

Саяк понял, чтобы уважить стариков, он должен исполнить их желание, к тому же об этом просит человек, знавший его отца!

Саяк, как принято, сначала откашлялся. И вдруг гортанно зазвучала древняя сура из Корана.

Все умолкли. И только голос Саяка царил в просторной комнате.

Саяк и сам удивился, как легко вспоминается вроде бы давно позабытое. Напев, на который читалась сура, звучал как мотив старой, забытой, но приятной душе песни.

— Спасибо, мой почтенный кары, — сказал кто-то из стариков растроганно. — Оказывается, ты человек непростой, столько лет прожил неизвестно где и вернулся цел и невредим. Это потому, что ты весь Коран знаешь, аллах тебя защитил.

— Аллах спас, — подтвердили собравшиеся.

— А кого же на земле спасти аллаху, как ни его, — вмешался Жокен, похваляясь перед односельчанами своим сородичем. — Саяк, как истинный мусульманин, никогда не забывал вознести молитвы в память своего отца. Но и матери наши такие же люди, как и отцы, они дали нам жизнь, вскормили своим святым молоком. Конечно, Саяк не забывал о своей матери Каныш. В память о ней пусть он прочитает еще одну суру из Корана.

Когда Жокен говорил о его бедной матери, которая умерла в трудные годы, в нищете, не получая никакого лечения, к горлу Саяка подступил горький комок. Саяк ощутил жгучий стыд. Он казнил себя за то, что даже не пытался найти ее след, узнать, как и где она умерла. Он вспоминал о ней лишь в самые трудные минуты жизни, в порыве отчаяния и душевной боли призывал ее на помощь. И каждый раз в душе его звучал ее ответный зов, словно вечная разлука с ней была ложной, словно она, как и в далекие, теперь уже неразличимые детские годы, рядом с ним, все понимающая, ласковая, теплая, пахнущая парным молоком. Она всегда помнила о своем слепом сыне, а он... и тут словно раздался в ушах Саяка пронзительный крик его истерзанной горем безумной матери: «Душегуб! Зачем ты лишил этих птиц жизни! Зрячие, они знали прелесть мира». Может, в словах этих правда. Может, душа слепого не такая, как души зрячих. Иначе как могло случиться, что имя его несчастной матери произнес зрячий Жокен, а не он, слепой ее сын.

— Спасибо, Жокен, — сказал Саяк тихо и покорно. — Я прочитаю суру в память своей многострадальной матери.

— Тогда прочти, сынок, как молитву суру «Юсуф», — глухо прошелестел в настороженной тишине голос старика, некогда знавшего отца Саяка. Старик этот, видимо, был зна-

током Корана и назвал одну из самых сложных и трудных даже для опытного чтеца сур, чтобы проверить, насколько глубоко владеет своим искусством сидящий рядом с ним кары.

Саяк, не раздумывая, согласился, его даже обрадовала просьба старика. Это была сура, запечатлевшая древнюю легенду о судьбе чистого и благородного юноши Юсуфа¹, брошенного своими братьями в колодезь. Она всегда захватывала Саяка своим драматизмом и поэтичностью, радовала торжеством добра и справедливости. А теперь, начав читать ее нараспев, Саяк испугался своего голоса, какого-то невнятного и словно чужого. Но минуту спустя он уже не читал, а пел суру, волнуясь и замирая, будто его самого бросили в темный глубокий колодезь.

«...И пришли путники и послали своего ходока; тот спустил ведро свое и сказал: «О радость, это — юноша». И спрятали они его как товар, а аллах знал, что они делают».

«И продали они его за малую цену отсчитанных дирхемов. И были они умеренны в этом».

«И прошли годы, и пришли братья Юсуфа к нему просителями, и не знали они, кто перед ними. И настал день, когда тайное стало явным, и пали братья перед Юсуфом ниц и признались: «Поистине мы были грешниками». И сказал он: «Нет упреков сегодня над вами. Уйдите с этой моей рубахой и набросьте ее на лицо моего отца — он окажется зрячим, и приведите ко мне со всей вашей семьей».

Собравшиеся слушали Саяка в глубоком молчании. И он чувствовал, что старые люди плачут.

* * *

Когда все уселись за дастархан, в руки Саяку вложили целиком сваренную баранью голову. Саяк знал, что такой чести у киргизов удостоивается самый уважаемый из аксакалов или самый почетный гость, пусть даже молодой. Сидящие за этим дастарханом, видимо, решили, что она, бесспорно, принадлежит Саяку.

Саяк сразу почувствовал особый запах свежесваренной бараньей головы, запах, сохранившийся в памяти с детских лет. Баранью голову готовят так: сначала опаливают шерсть

¹ Библейский Иосиф.

на костре, потом моют добела, после этого кладут в большой казан и варят вместе с остальным мясом.

Саяк оцупал баранью голову, отрезал одно ухо под самый корень, откусил небольшой кусочек, медленно прожевал его. Потом отрезал другое ухо и протянул старику, сидевшему рядом с ним.

Жокен, наблюдавший за каждым движением Саяка, сказал:

— Смотрите, наш Саяк не забыл дедовский обычай.

— Напрасно хвалишь меня, Жокен, — улынулся Саяк и протянул ему поднос с головой: — Возьми эти заботы на себя, у тебя лучше получится.

— Что ты, Саяк, попробуй разделить её сам.

— Нет, не смогу, — с горечью признался Саяк.

И в самом деле, куда там ему разделить голову — для этого требуется особое искусство, а ему сегодня первый раз в жизни как почетному гостю поднесли баранью голову.

— Очень жаль, — сказал Жокен, принимая голову. — На сколько частей разделить её? — спросил он Саяка, подчеркивая свое превосходство в этом деле. — Я могу разделить на шесть, на восемь частей, а если требуется, и на большее количество.

— Эх-ха, Жокен наш мастер этого дела!

— Он сможет... — раздались похвалы в адрес хозяина дома.

Саяк чувствовал, что некоторые просто стараются угодить Жокену.

— Раздели так, чтобы каждому из сидящих здесь досталась его доля, — сказал он под одобрительные возгласы.

Когда было подано душистое, исходящее нежным сладковатым паром мясо, Саяку как почетному гостю, следуя устоявшейся традиции, протянули берцовую кость. У киргизов, испокон веков занимавшихся скотоводством, каждый человек за дастарханом четко знал, какой кусок мяса ему полагается взять в соответствии с его возрастом и положением. На того, кто хватал неположенный ему кусок, смотрели как на человека, у которого, видимо, не все благополучно с умом.

Гости разошлись по домам поздно, досыта наевшись свежей баранины.

— Ты, оказывается, настоящий сокол со стальными когтями, храбрый тигр, дай бог тебе удачи, — говорили они, прощаясь с Саяком.

Саяк слушал все это, как-то странно улыбаясь. «Ну, товарищ юрист, испытание славой началось», — иронизировал он над собой. Радостное возбуждение от встречи с земляками быстро сменилось опустошенностью и усталостью.

Ему постелили в саду на тахте под яблоней. Белье было новое, хрустящее. Он лег, но долго не мог уснуть. Он вдруг со всей ясностью ощутил двойственность и нелепость своего положения. Он был не тем, за кого выдавал его Жокен. «Да и сам ты, Саяк, хорош! — говорил он себе. — С какими мечтами ехал сюда! Буду защищать тех, кто сам не может себя защитить, делиться с людьми теплом своей души и знаниями... И вот, едва очутившись среди земляков, ты, даже и не сопротивляясь, превратился в памятливого мальчишку, вызубрившего Коран... Зачем, Саяк, ты сюда приехал? Вот ты сегодня вспомнил судьбу Юсуфа. Но не Юсуф возвратился к ближним своим, а они явились к нему. Потому так и чудесна жизнь Юсуфа, а в твоей жизни чудес не будет. Ты думал, Жамал не может обойтись без тебя?..»

Саяку вдруг вспомнились строки из Экклезиаста, которые слепой арабист Владимир Алексеевич когда-то читал ему на память в холодном нетопленном джалалабадском общезитии.

«Чего искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел».

Ночь была прохладная. От горной реки тянул свежий ветерок. Где-то недалеко пела ночная птица. Ее голос звучал жалобно и печально.

* * *

Еще не совсем проснувшись, Саяк услышал протяжное звучание темиркомуза¹, знакомое с малых лет и близкое сердцу, как голос матери. Мелодия была простенькая, но удивительно красивая. И было так приятно слушать ее в полудреме и вместе с тем хотелось узнать, кто это так играет. Он поднял голову, и тотчас мелодия оборвалась.

Он напряг свой острый, как у горного архара, слух и сразу уловил, что недалеко от него, видимо опираясь на ствол дерева, стоит кто-то.

— Кто здесь? — вполголоса спросил Саяк.

Ему никто не ответил.

¹ Темиркомуз — маленький железный комуз с одной струной.

— Скажи, кто ты?

И тут он услышал, как сухо и мягко закрипел на дорожке песок. По частому и легкому топотку Саяк догадался, что это ребенок.

Саяк позвал Жамал.

— Мамы нет. Она пошла в магазин, — раздался голос девочки.

— Ну и хорошо. А тебя как зовут?

— Алима.

— Почему ты убежала? А ну, иди сюда, поговорим.

Послышались тихие шаги. Девочка подошла и остановилась недалеко от Саяка.

— Сколько тебе лет?

— Девять.

— Учишься в школе?

— Да, перешла в третий класс.

— Это ты играла на комузе?

Девочка не ответила.

— Отчего ты перестала играть? Я хотел послушать, очень красивая мелодия.

— Я думала, отец пришел...

— Ну и что?

— Он не разрешает мне играть на темиркомузе, а мне очень хочется. Я играю, когда отца нет дома.

— Запрещает тебе играть? — удивился Саяк.

— Да... бьет меня за это.

— Как бьет?

— Камчой бьет. — Девочка умолкла надолго, а потом продолжала тихо: — Не только меня, однажды маму чуть до смерти не избил за то, что я выступала в клубе лесхоза с ребятами нашей школы. Я не знала, что в зале сидел папа, и играла на комузе, пела песни.

— А почему он не разрешает?

— Не знаю. Говорит, что это грех. Сломал мой деревянный комуз. А этот железный, на котором сейчас играла, прячу под одеялом.

— Вот оно что! — Саяк медленно начал одеваться.

— А я умею играть и на аккордеоне.

— И аккордеон у тебя был?

— Нет. Есть у Касима, мальчика из нашего класса, красивый, красный. Ах, был бы у меня такой!

— Ну что ж, куплю тебе аккордеон.

— Купите? — с надеждой спросила девочка и тут же

вскрикнула: — Все равно папа не разрешит мне на нем играть.

— Он должен радоваться, что его дочка играет на аккордеоне. Не бойся, я поговорю с ним.

Алима подошла ближе к Саяку и стала зашнуровывать его ботинки. Саяк поблагодарил девочку и попросил отвести его на речку.

— Хорошо, — сказала Алима, — только сначала позавтракайте. Я уже два раза разогревала чайник.

...Он сидел на веранде за дастарханом в обществе заботливой маленькой хозяйки.

С востока от ложбины тянул прохладный ветерок и чуть слышался шум горной реки. Саяк как бы физически ощущал ее напористость и бодрящий холод.

Когда позавтракали, девочка взяла Саяка за руку, и они пошли на речку, довольные друг другом. Саяк шутил, стараясь развеселить Алиму, и та звонко смеялась, как когда-то смеялась Жамал.

* * *

Почти целый день провел Саяк на реке. Метр за метром расширял он здесь свое жизненное пространство: запомнил все впадины и бугорки, находил себе удобную дорожку среди беспорядочно разбросанных камней, нащупывал кромку воды тросточкой. Облюбовав себе камень у самой воды, долго сидел, жадно вдыхая чистый и свежий воздух гор. Еще не прошло и суток, как он очутился в этих местах, а как далека теперь вчерашняя жизнь! Он здесь совсем один... Один? А маленькая Алима со своим темиркомюзом? Как не хотела эта девочка уходить домой, боялась оставить его одного у реки. Сколько в этом маленьком создании затаенной обиды, недоумения, отчаянной смелости, как предана она своим бесхитростным мелодиям — ни угрозы не отвращают ее от них, ни побои!.. Не знаю, как только рука поднимается у Жокена на нее. Или, может быть, в глубине своей он все тот же ненавистник и вор? Нет, зачем думать о человеке плохо. Разве не встретил он тебя как дорогого и близкого сородича. Конечно, есть у него недостатки, а у тебя их нет? Может, оттого, что не знаешь многоцветья жизни, ты так нетерпим к чужим недостаткам. Нельзя судить о людях сгоряча. Будь с ними ровней, терпимей, не ищи в них зла. Ты ведь чувствуешь, как благодатна, прекрасна земля. А люди плоть от плоти ее... Вот ты приехал вчера, и Жамал твоя

оказалась совсем не такой, какой ты мечтал ее встретить. И сразу решил, что ничего не осталось от прежней Жамал. Как бы не так! Тебе чужды люди самодовольные, благополучные. Долго не задумываясь, ты причислил к ним и Жамал. А не могло ли случиться так, что, как изголодавшийся на еду, набросилась она на вещи, радуется им, похвывается своим достатком. Почему ты решил, что душа Жамал наглухо закрыта? Почему ты судишь о дорогой тебе женщине так поверхностно? Нет, Жамал добрее тебя... Вспомни, что было. Ах, тебе неприятно, горько вспоминать, ты хотел бы вычеркнуть этот случай из памяти! Ты не рассказывал о нем никому, даже Шакиру. Тебе не нравится сегодняшняя Жамал. Но вспомни, каким был ты...

* * *

Когда привозили кино, а это случалось нечасто, два-три раза в год, Жамал брала с собой в клуб Саяка. Клуб этот был на центральной усадьбе колхоза, километрах в двух от их кыштака. Летом кино показывали прямо под открытым небом на стене клуба.

Жамал и Саяк садились рядом. Он слушал разговоры героев картины, музыку, выстрелы, шум леса, плеск волн, а Жамал торопливо, в двух-трех словах объясняла, что происходит на экране. Саяк порой терял нить действия, начинал волноваться, забывал, где находится и что кругом него люди, которым он мешает, тянул Жамал за руку: «Что случилось? Как он оказался здесь?» Но лишь только кто-нибудь шикнет на него, переходил на шепот, но все равно не давал покоя Жамал, пока она не объяснит ему ход событий.

Чаще всех утихомиривал его Жокен.

— Хватит тебе, Саяк, — грубо кричал всегда устраивающийся впереди Жокен. — Ты мешаешь нам. Кино не для слепых, все равно не видишь. Что ты притащился сюда и шумишь, как в гостях у бабушки.

Тут же слышались голоса: «Правильно, пусть не мешает!», «Что вы пристали к слепому!», «Тише!» «Тише!».

Слышать такое Саяку было тяжело, но он терпел: сам был виноват, нарушил порядок.

После кино, когда они возвращались домой, Жамал подробно пересказывала ему содержание картины, и Саяк заново переживал все события.

...В тот вечер показывали кинокартину о подвигах на-

шего разведчика, оказавшегося в самом логове фашистов. Вначале Саяка больше всего волновало то, как наш разведчик может остаться не замеченным фашистами. Но Жамал быстро помогла ему проникнуть в суть происходящего. На сей раз, чтобы никто не ругал Саяку, она уселась с ним позади всех.

Когда картина приближалась к концу, оборвалась лента, и механик стал возиться с аппаратом. И тут раздался голос Жокена:

— Жамал, поменьше говори. Хотя вы и далеко сидите, но все равно мешаете.

Та не осталась в долгу:

— Сиди и молчи, слов моих жалко тебе, что ли?

— Мне не слов твоих жалко, а тебя.

— Обо мне не беспокойся!

Саяк чувствовал, что люди смотрят на них. Жокен не упустил случая поиздеваться:

— Я-то не беспокоюсь. А вот тебе, думаю, трудно будет возиться со своим слепым мужем.

Мальчишки, сидевшие рядом с Жокеном, засмеялись, но Саяку показалось, что все здесь до единого смеются над его слепотой.

— Эй ты, нахал, — прикрикнул кто-то на Жокена.

В этот момент снова застрекотал киноаппарат. Но Саяк теперь уже не внимал ни голосам, ни музыке. И Жамал тоже ничего не объясняла ему. Все звуки кинокартины слились в ушах Саяка в сплошной хохот. Ему казалось, все смотрят не на экран, а на него и Жамал, следят только за ними, чтобы оскорбить и унижить его.

Окончилась картина, и Жамал молча повела его домой.

Когда они задержались возле узенького мостика, перекинутого через арык, их догнали мальчишки.

— Ой, бедняжка Жамал, и здесь ты, оказывается, мучаешься со своим слепым мужем, — загоготал Жокен.

Вокруг снова послышался смех.

— Замолчи, дурак несчастный, — отвечала Жамал.

— Не волнуйся, Жамал. Если будешь так волноваться, скоро состаришься.

Жамал кошкой кинулась на Жокена.

— Дура, — закричал Жокен, защищаясь. — Лицо опаралась.

— До крови, — сказал кто-то из мальчишек.

Жокен начал дубасить Жамал кулаками по голове. Тут

Жамал с силой дернула его за воротник. Рубашка Жокена разорвалась. Озлобленный, он повалил Жамал, стал бить ее ногами.

Саяк стоял как вкопанный, отчетливо слыша каждый удар Жокена. Он не только не заступился за Жамал, а наоборот, как ни странно, чувствовал в душе облегчение.

Заюкали копыта, какой-то верховой, ругаясь, хотел схватить Жокена, но тот вырвался, перепрыгнул через арык и бросился наутек.

Утром, когда Саяк проснулся, в его ушах еще стоял тот вчерашний хохот. Почти целый день он просидел дома. С улицы доносился шум и крик мальчишек. Саяку очень хотелось выбежать к ним. Но он сидел, затаившись в уголке, как зверек.

— Пойди, милый, погуляй, — уговаривала его бабушка, пришедшая в тот день помочь по хозяйству его большой матери.

Но своим детским умом он решил, что не нужно показываться никому из ребят, пока они не забудут вчерашнее. Особенно он не хотел встретиться с Жамал. Униженный и ослепленный на весь свет, он почему-то считал ее, свою заступницу, причиной всех своих бед.

Вдруг с улицы послышался голос Жамал. Она спрашивала о Саяке у его бабушки, занимавшейся в саду стиркой. Старушка, ничего не знавшая о переживаниях своего внука, приветливо встретила девочку, благодарная ей за дружбу со своим слепым внуком, пригласила зайти в дом: «Играйте, милые, вместе».

Саяк торопливо поднялся, чтобы закрыть дверь на крючок, но в этот момент вошла Жамал.

— Кто тебя звал? Я не хочу с тобой играть, — зло сказал он.

— Что случилось, Саяк?

— Уходи!

— Ты что, сдурел?

— Ты сдурела, ты!

— В чем дело, объясни толком.

— Не хочу быть с тобой, не хочу, чтобы все смеялись, но хочу! Катись отсюда!

— Дурак, заступилась за тебя, а ты?..

— Не заступайся за меня больше.

— Вот сумасшедший! Я и не думала, что ты такой.

— Уходи!

— Ты мной не команду! Уйду, когда захочу.

— Уйдешь или нет?

— Попробуй заставь меня.

— Заставлю!.. — истерически закричал Саяк и, пойман ее за руки, потащил к двери.

Жамал упиралась. В этой возне кто-то из них ногой задел ведро, стоявшее у стены, оно опрокинулось, залив весь пол водой. Саяк действовал безжалостно. В конце концов ему удалось подтащить Жамал к двери. Рывком вытолкнув ее в коридор, он захлопнул дверь. И тут раздался отчаянный крик Жамал — дверью девочке прижало пальцы. Саяк инстинктивно отшатнулся, отпустил ручку двери, но потом снова потянул ее на себя и закрыл на крючок.

Саяк слышал, как прибежала бабушка и начала успокаивать Жамал, кляня его на чем свет стоит, называя жестоким дикарем. Она толкнула дверь в комнату, та оказалась закрытой. Несколько раз бабушка стукнула в дверь худой костлявой рукой. Потом она увела плачущую Жамал домой.

...И Жамал простила Саяка. И когда его, осиротевшего, увозили в город, когда уже покатила арба, из толпы провожавших раздался полный горечи и соучастия крик Жамал: «Саяк!»

Вести себя так на глазах у людей считалось позорным для киргизской девушки, воспитанной в патриархальной семье, в духе мусульманских традиций. Она перешагнула границу дозволенного ради него, Саяка. Что ни говори, в пятнадцать лет это уже не девочка — невеста.

...И вот теперь выпускник Московского университета Саяк сидел на плоском, пригретом солнцем камне и в шуме реки слышал тот доносящийся из дальних лет крик Жамал.

* * *

Саяк услышал шаги Жокена, когда тот оказался совсем рядом.

— Ты что, целый день здесь?

— А мне здесь хорошо.

— Проголодался?

— Да не так чтобы очень.

— Вот дура моя жена, не могла позвать тебя обедать.

— Ее, наверно, не было дома.

— Да, целый день проторчала у магазина, говорят, привезли какие-то платки шерстяные. Пришлось поучить ее немного...

— Неужели бить женщину так просто, Жокен?

— А как же, такое предопределено им судьбой. Не зря ведь мусульмане говорят: те места на теле женщины, куда попала плетка мужа, не будут гореть в адском огне.

— Выходит, чем больше их бьешь, тем им полезней?

— В том-то и дело.

— А как смотрит на это Жамал?

— Она знает, что родилась женщиной.

— Значит, своей плеткой ты хочешь сделать ее счастливой на том свете, — усмехнулся Саяк.

— Не только это, — деловито продолжал Жокен. — Если по-настоящему не бьешь женщину в неделю раз, то в ее душу вселяется черный дух и толкает ее на нечистые дела. Забыл, что ли?

— Я не знал, что в наше время кто-то верит в это.

— А ты думаешь, теперешние женщины другие? Как бы не так! Вот, например, моя жена. Как сегодня она поступила: ты гость, мой сородич, приехал издалека, с подарками и целый день бродишь голодный. Можно ли простить это?

— Меня накормила твоя дочь. Но а если я, допустим, поем на два часа позже, стоит ли из-за этого бить человека?

— Стоит, Саяк. Вспомни мудрый завет «Катын камчыдан...» Это значит вылепить женщину такую, какую муж хочет, может только его плетка. Все мы, мусульмане, должны следовать этому правилу. Оно в Коране записано.

— Никаких таких заповедей в Коране нет. Это заповеди феодалов, которые относились к женщине не как к человеку, а как к вещи: ее можно было и продать и убить.

— Кончай читать лекцию, пошли домой. Теперь я понял: ты голоден и потому такой злой.

— Дело не в желудке.

— И однако же голод действует, — ехидно заметил Жокен.

— Да я не голодный, пообедал в столовой лесхоза.

— Как ты ее нашел?

— Не я нашел, а ваш секретарь парткома Примбердиев подвез меня на своей машине.

— Ахматбек, что ли?

— Он самый. Потом снова на речку доставил.

— Понравился он тебе?

— Кажется, хороший человек.

— О чем он говорил? — полюбопытствовал Жокен.

— О здешних единственных в мире орехово-плодовых лесах, о том, как важно сберечь их для потомков. Он очень рад, что выбрал профессию лесного инженера.

- Хвастался, значит.
- Не хвастался, говорил о деле, об успехах и недостатках в работе лесхоза.
- Почему этот щенок так быстро раскрылся перед тобой? Интересно, что у него на уме?
- Как же не раскрыться, когда нам предстоит вместе работать.
- Где?
- Здесь, в лесхозе.
- Тебе?
- Да, мне, юрисконсультom.
- Кто тебя направил сюда?
- Министерство юстиции.
- Жокен сразу навострил уши.
- Почему ты мне, своему родичу, не сказал об этом?
- Говорил, да ты не поверил, советовал мне придумать что-нибудь поинтересней.
- Значит, ты обиделся на меня?
- Да нет, зачем обижаться.
- Все же извини, дорогой, — Жокен схватил Саяка за руку. — Пошли домой.
- Слушай, Жокен, — сказал Саяк как бы между прочим, — я хочу научить твою Алиму играть на комузе. Разреши мне позаниматься с ней.
- Ладно, — буркнул Жокен, на минуту выпустив из своей руки руку Саяка.

* * *

Директор лесхоза Рахимов задержался во Фрунзе дольше, чем предполагал; ему пришлось лечь в больницу — фронтные тяжелые ранения напомнили о себе. Но и больной он позаботился о Саяке: позвонил своему заместителю, чтобы тот подписал приказ о зачислении нового юрисконсульта на работу и поручил бухгалтеру Аскару Джумакадырову по совместительству выполнять обязанности секретаря Саяка, «и вообще, — добавил он, — пусть позаботится об этом слепом товарище».

Потом Рахимов попросил телефонистку соединить его с квартирой лесничего Капарова и позвать Саяка.

— Саяк Акматович, — сказал он, — я хотел сам познакомиться с нашим коллективом, ввести в курс дела, но не получилось: человек предполагает, а люди в белых халатах решают, — пошутил он. — Насколько мне известно, вам пола-

гается отпуск. К работе можете приступить через месяц... Что? Хотите начать сразу... Я почему-то так и предполагал. Уже распорядился выделить в помощь вам нашего работника. Это бухгалтер Аскар — джигит такой, что можете полностью ему довериться. Желаю успеха.

— Оказывается, ты большой начальник, — осторожно пошутил Жокен, встревоженный звонком директора. — Сеит Муратович обо мне тебя не спрашивал?

— Не спрашивал, — чистосердечно признался Саяк. — А что, Жокен, ты скажешь о бухгалтере Аскаре? Он теперь будет здесь «моими глазами».

Жокен усмехнулся:

— Если на цыпочки встанет, может, мне до подбородка дотянется. Родом откуда-то из Кочкорки, окончил десятилетку, бухгалтерские курсы, в лесотехническом институте заочно занимается, на третьем курсе. Достаточно тебе?

— Ну, а человек какой?

— Бог его знает, Саяк... Вообще-то доверять этому чужаку не надо. Высоко взлетает, да неизвестно, где сядет. Между прочим, говорят, директор собирается со временем уступить ему свое кресло... Есть, конечно, более достойные люди...

— Кого ты имеешь в виду?

— Ну, тех, кто не чужие деньги считает, а свои, — засмеялся Жокен.

...Приступив к работе, Саяк прежде всего ознакомился с помощью Аскара с перепиской лесхоза с разными организациями, отверг целый ряд претензий к лесхозу, доказав их несостоятельность. Привыкший к сухому канцелярскому стилю деловой переписки, Аскар как-то робко заметил слепому юриконсульту, что продиктованные им письма и обращения к должностным людям, юмора, сарказма и вообще эмоциональной насыщенности. Саяк улыбнулся: «Тот, кто будет читать написанное нами, должен чувствовать, что имеет дело с людьми, а не с машиной».

В контору лесхоза Саяк приходил первым, как некогда на семинары и лекции в университете. Приветливо здороваясь с пожилой уборщицей тетужкой Самар, подметающей двор. С удовольствием вдыхая тянущийся из раскрытой двери конторы запах свежeweымытого пола, однажды он шутя сказал ей: «Спасибо вам, тетужка Самар, за то, что вы наводите здесь чистоту. В раю вам будет уготовано самое чистое место».

Вскоре он уже различал по голосу и шагам всех работающих в конторе. Заслышав в ранний утренний час в коридоре шаги Ахматбека Примбердиева, Саяк торопливо выбирался из своего маленького кабинета. Ахматбек брал его за руку, и они обменивались крепким рукопожатием. Из своего опыта общения с людьми Саяк хорошо знал, что далеко не все они способны поделиться со слепым своим знанием жизни. Когда Саяк чувствовал, что человек пугается его слепоты, теряется, не находит нужных слов, он замыкался в себе. Ахматбек Примбердиев, парторг лесхоза, был не таким. С первой же встречи Саяк отчетливо понял это. И потому он часто встречался с Ахматбеком, с жадностью слушал его, уроженца Арслан-Боба, душой болеющего за свой край, умеющего четко выражать свои мысли и впечатления. «Главная из стоящих перед нами проблем,— объяснял он Саяку,— связана с тем, что значительная часть территории, занятой орехово-плодовыми лесами, принадлежит колхозам и совхозам, созданным здесь в 30-х годах. Они не только по-настоящему не заботятся об этих лесах, но зачастую разоряют и сводят их. Они знают одно: выполнять план по заготовке мяса, шерсти, зерна. Все это, конечно, нужно, но не в ущерб же уникальному природному комплексу Арслан-Боба, влияющему, кстати сказать, и на климат близлежащих областей. Об этом мы писали в вышестоящие инстанции, но, видимо, недостаточно убедительны наши докладные записки. Надеюсь, Саяк Акматович, вы поможете нам в этом деле. Как вы знаете, лесхоз наш сразу после войны объявлен заказником. Мы здесь строго регулируем заготовку древесины, ведем лесовосстановительные работы. Но суть дела в том, что всем орехово-плодовым лесам Арслан-Боба нужен один хозяин — лесовод.

Однажды в разговоре с ним Ахматбек сказал:

— Юрист вы дипломированный, но и мулла вы образованный, об этой вашей работе я тоже знаю.

— Кто вам об этом сказал? — засмеялся Саяк.

— Мой отец считает вас глубоким знатоком Корана.

— В детстве выучил. Если бы не вернулся в ту пору с фронта мой дядя, может быть, и стал бы кары... У вас здесь, судя по всему, немало верующих.

— Гораздо больше, чем в других районах Киргизии. Мы вместе с учителями нашей школы ведем антирелигиозную пропаганду. Арслан-Боба известен в Средней Азии не только своими ореховыми лесами, но и бесчисленными гробницами мусульманских святых. Сюда приезжают верующие со

всей Средней Азии, в основном это люди преклонных лет, а порой и неизлечимо больные, надеющиеся, что духи святых вернут им здоровье.

— Несколько раз я сидел в чайхане на базаре, — скавал Саяк. — Меня удивило, что многие из находившихся там только и разговаривали о пророках, Коране, чудесном исцелении...

— Ничего удивительного, Саяк Акматович, в этом нет. Летом в нашей чайхане, как правило, сидят старики паломники, им и положено во время паломничества говорить об аллахе, пророках и святых местах. Иначе — грех. — Ахматбек помолчал. — Такой человек, как вы, может, и уверен, больше помочь нам в антирелигиозной пропаганде, чем некоторые лекторы, которых направляют к нам из города. Как же они могут переубедить верующих, если сами они знают о религии лишь из тоненьких, наспех прочитанных брошюр. Что вы на сей счет думаете?

— В этом деле не лекция главное.

— Как это понимать?

— Что ни говорите, а религия — это не только стародавнее, наивное представление о мире: рай там, ад и все прочее, но и мораль. Одной только пропагандой научных знаний ее не изгонишь — она может отступить только перед более высокой моралью. Люди, особенно молодые, не говоря уже о детях, берут за образец того, кто им больше по душе... Помню, у нас в кыштак в последний год войны особенно голодно было, и так получилось, что у дяди моего Бекмата, вернувшегося в кыштак после ранения, раньше, чем у других, поспел ячмень, посеянный для него трактористами.

Бекмат, до войны он учителем был, попросил односельчан убрать его ячмень и разделить между всеми. Когда такой человек, как Бекмат, говорит, что добро и справедливость не от аллаха, а в самих людях, к его словам прислушиваются. А когда тот, кто двумя руками хапает, говорит «бога нет», верующие думают: «У тебя и в самом деле его нет». Я говорю это потому, что сам был верующим. Бекмат сказал мне: «Религия — ложь, а всякая ложь — зло». Его слова оказались сильнее проповедей муллы, потому что я хотел быть таким, как Бекмат. Не поймите это так, что я недооцениваю пропаганду научных знаний, — нет. Но главное — показать верующим на конкретных примерах, как живучая собственническая мораль, эгоизм, равнодушие прикрываются в нашей сегодняшней жизни национальными и мусульманскими традициями.

— Было бы хорошо, Саяк Акматович, чтобы именно об этом вы и побеседовали с работниками нашего лесхоза. Кроме того, очень важно, чтобы каждый четко знал свои права и обязанности, знал законы. Тогда можно требовать их четкого исполнения.

— Согласен с вами. Но я хотел бы провести такие беседы и с рабочими совхоза, и с колхозниками. В этом мне нужна ваша помощь.

Так начались встречи слепого юриста с жителями Арслан-Боба, затягивавшиеся порой до позднего вечера. И в какой бы кыштак ни приезжал Саяк, послушать его приходили не только взрослые, школьники, но и седобородые аксакалы. Они степенно усаживались в первых рядах и не пропускали ни одного слова «кары», оказавшегося, к их удивлению, большим начальником.

Саяк знал: на исходе своих лет люди отчаянно, не считаясь с доводами рассудка, держатся за свою веру. Отнимать ее у них — все равно что отнимать у детей сказку. Но он знал и то, насколько велик в этом отдаленном горном краю авторитет стариков, и потому обращался в первую очередь к ним.

Он рассказывал о себе, о том, как нашел его в Доме для слепых русский рабочий, фронтовой друг его покойного дяди, рассказывал о людях, которые помогли ему, слепому сироте, вернуться на родину образованным человеком. Говорил о совести и законах, объясняя их суть и необходимость. Вспоминал ставшие ему известными случаи браконьерства. Например, завезли в Арслан-Боба оленей в надежде, что они приживутся в здешних лесах, но нашлись люди, которые убили их, чтобы запасть на зиму даровым мясом.

«На суде их не спрашивали, — говорил Саяк, — верующие они или атеисты, потому что перед законом все равны. Но если бы такой вопрос прозвучал и кто-то из них ответил: «Я — атеист», это была бы неправда: никакой он не атеист, а дикарь; а если бы другой сказал: «Я — верующий» — и это была бы неправда: никакой он не мусульманин, а тоже дикарь. Такие люди не только нарушили законы, за что их наказали, но и оскорбили память своих предков, считавших эти леса священными. А разве не достойно осуждения то, что некоторые люди, чтобы покрыть свой коровник или сарай для ишаков, десятками вырубают молодые ореховые деревья. Какой здравомыслящий человек станет уродовать топором свой дом? А этот лес — наш общий дом. Разве можно назвать хорошим, праведным человеком того, кто

наживает себе богатство за счет своих внуков и правнуков, разоряя их общее достояние».

...Месяца через полтора вернулся из больницы директор лесхоза Сеит Муратович.

— Я доволен вашей работой, — пожал он руку Саяку, — и особенно вашими беседами с людьми. Говорите, это идея парторга? Не скромничайте, Ахматбек мне сам сказал: вы — инициатор таких бесед. Они приносят большую пользу. Одним только наказанием гражданскую сознательность не воспитаешь. Вот уже поспевают орехи, единственным крупным поставщиком которых в Союзе являемся мы... Медицинская, кондитерская промышленность все в большем количестве требует их от нас. И мы стараемся, чтобы весь урожай их пошел в государственные закрома, а люди с собственническим сознанием, а таких еще много, к сожалению, среди нас, стараются утаить орехи, чтобы потом втридорога продать на рынке. У нас не раскрыты еще многие такие злоупотребления. Правда, во всем этом разобраться не так-то просто: у работников лесхоза есть и свои ореховые деревья на приусадебных участках.

— Ну да, — вспомнил Саяк, — у некоторых осенью орехи прямо в дом через трубу залетают.

— Кто это вам сказал?

— Мой земляк Жокен Капаров.

— Да, в его дом, конечно, и в трубу залетают, — усмехнулся директор.

...Когда Саяк возвращается из конторы домой, стуча палочкой по асфальту, его присущая всем слепым напряженная, скованная походка сразу бросается в глаза людям. Все провожают Саяка тревожными взглядами, боятся, как бы он где-то не оступился и не упал на крутой извилистой дороге и, того хуже, не свалился с обрыва. Но в памяти Саяка запечатлены все извилины дорог, все мосты и арыки, через которые приходилось ему перепрыгивать; и, как всегда, на помощь памяти приходит чуткий слух; кожей и всем существом осязает он окружающее и верно находит путь.

Люди с облегчением вздыхают, когда Саяк, свернув с асфальта, поднимается к дому Жокена, стоящему у поворота дороги на широком уступе под сенью большого орехового дерева.

Настороженные взгляды людей Саяк чувствует, как говорит, спиной. Такое еще больше усиливает его самоконтроль. В выходные дни, и, пользуясь каждым свободным часом в будни, он старался полнее освоить окружающую

местность. В этом незаменимым его помощником была маленькая Алима.

Вскоре после того, как Жамал отправилась к своей тяжело заболевшей матери, Жокен взял отпуск и, погрузив ночью на нанятую где-то грузовую машину свои орехи, отбыл в неизвестном направлении. Всем этим Саяк не интересовался, потому что он в первый же день, когда решил остаться в доме Жокена, дал себе слово не вмешиваться в его семейные и хозяйственные дела.

Саяк с Алимой остались одни в доме. Еду им готовила и присматривала за хозяйством племянница Жокена, жившая со своим мужем-объездчиком недалеко от их дома.

Как-то вечером Алима спросила:

— Дядя Саяк, когда вы купите мне аккордеон?

Саяку стало неудобно, что он не выполнил своего обещания:

— Извини, Алима. Я забыл. Завтра с самого утра пойдем в магазин.

Он не сказал девочке, что уже был в магазине. Оказывается, всех его сбережений не хватит, чтобы заплатить за аккордеон. Но если прибавить к этим сбережениям полученную сегодня зарплату...

Утром Саяк купил тот самый красный, который так нравился Алиме, аккордеон. Радости ее не было предела. Она прыгала, кричала и смеялась.

* * *

Два дня лил дождь. Воздух стал влажным и прохладным, но перебираться в дом Саяку не хотелось. Куда приятней на свежем воздухе под камышовым навесом. Видимо, боясь остаться одна во всем доме, Алима постелила себе рядом с тахтой Саяка.

Был поздний вечер. Саяк сидел, скрестив ноги, на тахте и улыбался. На душе было, как никогда прежде, хорошо и спокойно. Его радовало сейчас все: и этот барабнящий по листьям дождь, и мирно посапывающая во сне девочка, и весь не отгороженный от него стенами мир. Да и была у него другая причина радоваться. Работа ладилась, секретарь у него оказался прямым и честным парнем. Такой, Саяк это сразу почувствовал, не подведет. К тому же сегодня впервые Саяк был в гостях у Ахматбека Примбердиева. Вообще-то, Саяк небольшой любитель ходить в гости. Но Ахматбек очень звал, неудобно было отказываться. И правильно сделал,

что не отказался. Хорошая семья. Айша, жена Ахматбека, учительница, преподает киргизский язык и литературу. Было там еще несколько учителей здешней школы. Почти все они — ровесники Саяка, впечатлительные, горячие. Дериваются просто, непринужденно... Оказывается, Айша уже почти пять лет записывает старинные киргизские песни, среди них нашлись и такие, которые Саяк не знал. Она спела их по его просьбе. И что было отраднo — говорили за дастарханом не о себе, не о своем достатке, говорили о своих школьниках, об окружающей жизни, говорили прямо, ничего не приукрашивая...

Сквозь шум дождя донесся короткий шаркающий звук. Саяк напряг слух — похоже, возле дома остановилась легковая машина. Ну да, захлопнулась дверца.

— Жокен! — тихо позвал Саяк.

— А, Саяк, ты еще не спишь? Как вы тут?

— Все в порядке.

— Слава богу. А Жамал вернулась?

— Нет.

— Значит, ее мать еще болеет.

— По пути ты бы мог заехать в наш кыштак, проведать ее.

— Нет, нельзя было никуда сворачивать. Взял такси — прямо с аэродрома домой.

Жокен вилотную подошел к Саяку, опустил на пол два тяжелых чемодана и, как ребенок, обхватил его за шею, поцеловал в щеки. На Саяка пахнуло крепким запахом коньяка, и сразу стала понятна причина таких нежностей.

— Мой сородич, мой друг, вот я и вернулся, — бормотал Жокен. — Все благополучно, слава богу, душа теперь спокойна и чемоданы при мне.

— Что ты привез?

— Что, что... — передразнил его Жокен, смеясь, и тихо шепнул Саяку прямо в ухо: — Деньги, деньги.

Саяк промолчал.

— Что, не веришь? А я хочу, чтобы ты убедился. Я это очень хочу.

Жокен запустил руку в карман, достал ключи и открыл чемодан. Вытащил из него какой-то сверток и бросил на пол перед Саяком. Но Саяк не проявил никакого интереса, даже не нагнулся.

Тогда Жокен сам развернул сверток и насильно всунул в руки Саяка несколько банковских пачек хрустящих новых денег. Саяк оттолкнул их от себя, отпрянул в сторону.

Жокен сразу вроде протрезвел. Изменившимся голосом спросил:

— Мой дорогой сородич, испугался, что ли? Ты такой осторожный, просто смешно. Я пошутил, а ты сразу... — Он быстро собрал свои деньги и бросил их в чемодан, потом оттолкнул чемодан от себя, сел на тахту, прикурил сигарету. — Ты не бойся, дорогой мой кары, это мои трудовые деньги, имею я право накопить на всякий случай... О, чуть не забыл! — Жокен вскочил с места, будто его ужалила оса. — Я же тебе костюм купил в подарок, чешский.

Жокен вынул из чемодана костюм, накинул пиджак на плечи Саяка. Саяк сбросил его.

— Что ты, Саяк! Я же не враг твой. Дарю от души. Если родич вернулся из дальних странствий, надо, встретив его, одеть с ног до головы во все новое. Таков обычай. Ты только что поступил на работу, где уж тебе купить костюм. Пока носи вот этот. Придет время, и ты мне поможешь.

Саяк стоял в нерешительности, потом тихо промолвил:

— Спасибо, Жокен.

— Вот и молодец, — Жокен хлопнул его по плечу. — Нельзя пренебрегать хорошими обычаями предков. Думаешь, они были дураки?

— Нет, конечно.

— Ясное дело. Ну, теперь пойдем, сородич, я прихватил бутылку коньяка, выпьем по сто граммов за мой благополучный приезд.

Жокен потащил Саяка на кухню, усадил за стол.

После ста граммов Жокен сразу заговорил торопливо, сбивчиво о каких-то инспекторах ГАИ, завмагах, администраторе гостиницы, об Иркутске и Караганде, о базарах, где хорошо покупают орехи, и о таких, куда нет толку ездить. Из всей этой мешанины было ясно одно: Жокен и его друзья где-то в Казахстане и Сибири торговали орехами.

Поняв, что Жокен совсем пьян, Саяк начал уговаривать его лечь и отдохнуть, но тот не хотел об этом и слышать. Выпив еще полстакана, Жокен громко икнул и через минуту начал похрапывать прямо за столом. Саяк взял его под руку, чтобы увести в комнату и уложить. Жокен сразу начал сопротивляться, вырвался из его рук и подхватил свой чемоданы и быстро зашагал в дом.

Привыкший ходить медленно и осторожно, Саяк поотстал от него. «Но и человек, — удивлялся он, — только что, кажется, ничего не соображал, на ногах не держался и тут же прекрасно управился со всем своим барахлом».

Жокен долго возился в спальне, а когда вышел из нее, закрыл дверь на ключ. Потом схватил трубку телефона и стал куда-то названивать.

Саяк сидел молча. Жокен тоже молчал, словно совсем забыл о нем.

Вдруг он начал кричать в трубку:

— Куда ты пропал, дурак! — Жокен разразился злобой бранью. — Устал, говоришь, дрыхнешь... Может, ты вообще умер. Сейчас же отправляйся к Джусупу... Что, что?.. Разбуди, пусть заводит свои «Жигули», едет ко мне. Что говоришь? Нет, он приедет, непременно приедет. — Жокен бросил трубку на рычаг и тяжело повалился на диван. — Я уеду сейчас, Саяк.

— Куда?

— В Верхний кыштак, на свой участок.

— Что тебе там делать в полночь, не буди людей и сам ложись спать.

— Интересный ты человек, Саяк. Я вернулся издалека, мне надо умыться, переодеться и поспать с женщиной.

— Сдурел, что ли? Ехать двести километров в дождь. Думаю, Жамал не одобрит такой поступок.

— Я не к Жамал.

— А к кому?

— К своей жене...

— Ты пьян, Жокен, сам не знаешь, что мелешь.

— Ну и ребенок ты! Ой уморил! — Жокен захохотал так, что стекла задребезжали. — Ничего, вырастешь, все узнаешь. А я давно отвык от холостяцкой жизни.

Подъехала легковая машина. Выйдя из дома, Жокен о чем-то заговорил с Джусупом, они засмеялись. Потом все смолкло.

...Когда Саяк проснулся, дождь все так же барабанил по листьям ореховых деревьев.

— С добрым утром, дядя Саяк! — радостно приветствовала его Алима.

— Здравствуй, здравствуй, маленькая моя, ну как, хорошо выспалась?

— Хорошо.

— А ты знаешь, папа твой приехал.

— Что? Папа... — она вскочила с места. — Где он?

— Куда-то отправился по делам, наверно, скоро вернется.

— Уехал к Кадиче-Эдже? Да?

— Не знаю. Ночью уехал в Верхний кыштак.

— Значит, к ней.

— А кто она такая?

— Была женой дяди Туратбека. После того как он упал с высокого орехового дерева и умер, говорят, стала женой папы...

— Что ты придумываешь, Алима!

— Так говорят... сын есть у нее — Камчибек, уже три годика ему.

...Жокен вернулся под вечер.

— Жокен, — спросил Саяк, когда они остались вдвоем, — говорят, ты многоженец. Правда ли это?

— Кто тебе сказал?

— Не имеет значения.

— Но все же...

— Какая разница, кто мне сказал.

— Не Примбердиев ли?

— При чем тут Ахматбек? Он о тебе вообще ничего не говорил. Ты ответь прямо.

Жокен помолчал.

— Допустим... — произнес он как-то неопределенно.

Руки Саяка дрогнули.

— Что с тобой, сородич? — с деланным беспокойством осведомился Жокен.

— Хватит! Не притворяйся! Как ты мог так низко пасть! Ты... ты... — задыхался от волнения Саяк.

— Ну ладно, ладно, — заговорил Жокен спокойно. — Втемяшится тебе в голову какая-нибудь чепуха — сразу начинаешь тревожиться, переживать... Неужели не знаешь, у тех, кто крепко стоит на своих ногах, живет независимо, всегда находятся враги и завистники. Вот я живу лучше других, поэтому обо мне и сочиняют всякие небылицы. Да я не обращаю на это внимания.

— Но ты же сам сказал, что едешь не к Жамал, а к другой жене.

— Мало ли что можно наговорить спьяну... Если хочешь знать, мы с Джусупом еще в самолете условились посидеть вдвоем за его дастарханом. День-то сегодня выходной, на работу не идти. Вот он и приехал за мной.

* * *

Наступила осень. Днем на солнце ярко горели багряные листья, но снег уже все ниже спускался с каменистых вершин Арслан-Боба. Прохладный ветер гор уносился в долины,

напитанный густым ароматом огромного единственного в мире орехово-плодового леса.

Есть такая старая песня:

Открывая зеленый полог,
Приглашала земля киргиза
И джайыл-дастархан¹ расстелила,
Подарив нам свое богатство.

Этот джайыл-дастархан, расстеленный самой природой, не должен был остаться неубранным под снегом, и потому все в лесхозе — от мала до велика — торопились быстрее собрать орехи, яблоки, алычу.

Утром и вечером, проходя мимо приемного пункта, Саяк слышал знакомый грохот сухих орехов. Сушильщики разгребали их, собирали в мешки, готовя к отправке на далекую железнодорожную станцию. Настроение у всех было приподнятое.

Среди собиравших орехи были Жокен и Жамал. В обычные дни хлопотавшая дома по хозяйству, Жамал пропадала теперь с утра до позднего вечера в лесу. За сданные на приемный пункт орехи платили хорошо, но эти деньги она пренебрежительно называла копейками. Собрав за день сто двадцать или сто пятьдесят килограммов, Жамал и Жокен на приемный пункт увозили пятьдесят-шестьдесят килограммов, остальные орехи прятали под кустами, укрывали сухими опавшими листьями. Дня за три орехи там хорошо высыхали, и Жокен грузил их ночью на ишаков, доставлял домой и прятал под сеном на чердаке. Они лежали там до весны, пока не станут, как говорится, на вес золота. А потом он вез их в далекие края на машине и даже самолетом.

Всего этого Саяк не знал, но догадывался, что Жамал и Жокен неспроста в эти дни работают лихорадочно, словно барсуки, роющие норы, чтобы залечь в них на зиму.

Пора сбора урожая быстро миновала.

Однажды вечером Жокен позволил Жамал сесть вместе с ним и Саяком ужинать, чего он ей никогда не разрешал, чтобы не вмешивалась в мужской разговор. Он гордился тем, что строго придерживается правил шариата, и считал, что именно поэтому бог к нему благоволит и дает ему возможность жить лучше многих своих сверстников.

А вот сегодня она была вместе с мужчинами. И так же, как ее муж, была веселой и словоохотливой. Первый тост был поднят за счастье присутствующих. Второй был персо-

¹ Д ж а й ы л - д а с т а р х а н — скатерть-самобранка.

нальный — за счастье Саяка. Тот поблагодарил, пожал плечами и выпил.

— Саяк, — сказал Жокен, — ты не пожимай плечами и не удивляйся, мы действительно желаем тебе добра и желаем счастья.

— Интересно, — сказал Саяк, поправляя свои черные очки и поворачивая лицо к Жокену, — почему именно сегодня вы заговорили о моем счастье?

— Знаешь, Саяк, — начал Жокен деловым тоном, — с тех пор как ты приехал сюда и стал жить с нами, я, твой близкий сородич, много раз думал о твоём будущем. Мы видим, что немало ты в жизни достиг. И мы рады этому. Тебя здесь уважают аксакалы, уважает директор. Ты держишь в своих руках законы: вот оштрафовал соседние колхозы за самовольную порубку леса и выпас скота на территории нашего лесхоза-заказника, да еще добился, что их председатели схлопотали выговор по партийной линии. За это я тебя хвалю. Все видят, какой у меня сородич! Понимаю, аллаху угодно, чтобы мы с тобой, как две скалы, подпирали друг друга. — Жокен помолчал, затем заговорил вкрадчиво: — С. работой у тебя ладится, деньгами, — Жокен усмехнулся, — ты, надо думать, где-то запасаешься. Не с зарплаты же подарил нашей дочке аккордеон... А вот устроиться в этом грешном мире все как-то не можешь. О себе не заботишься, да и не то, что надо, делаешь.

— Что же я не так делаю?

— Принес мне триста рублей, говоришь: «Сколько можно жить гостем?» Ты меня, своего родича, этим обидел, но я не стал спорить, положил твои деньги в ящик. Когда захочешь, можешь их забрать.

— Они теперь твои.

— Ну ладно, не о том разговор. Понимаю, ты хочешь чувствовать себя человеком самостоятельным. Но самостоятельность, Саяк, не только в этом.

— Выходит, ты считаешь, я не самостоятельный человек.

— Да, — сказал Жокен уверенно, — у человека должен быть свой очаг, своя семья, чтобы он мог подать своим гостям пиалушку чая, оставить их на ночлег, постелить им кошму, укрыть их одеялом. У человека должен быть свой дом, должна быть женщина, которая смотрит на него как на своего хана. Когда не слышно в твоём доме веселых голосов сыновей и дочерей, которые продолжают твой род, разве можно считать себя самостоятельным, счастливым человеком.

— Достаточно, Жокен, хватит общих рассуждений! Что хочешь сказать мне, скажи прямо,

— Женить хочу тебя.

— Что?!

— А чего ты удивляешься, Саяк? Мы, твои родичи, решили женить тебя, нашли женщину...

— Почему вы разговаривали с ней без моего ведома?

— Не забывай, дорогой,— с некоторым затруднением продолжал Жокен,— мы не виноваты, что ты инвалид. Поэтому мы хотели сперва узнать, согласна ли женщина, на которой мы думали тебя женить, и потом уж сообщить об этом тебе. Если бы вдруг она не согласилась, мы об этом разговоре с ней вообще бы не упомянули, чтобы тебе не было тяжело. Вот теперь сообщаем тебе об ее согласии, что очень приятно, по этому случаю и решили выпить по сто граммов.

— А мое согласие?

— Твое согласие, думаем, в наших руках.

— А кто она такая, эта моя голубка?

Супруги не почувствовали в его словах иронии.

— Хорошая женщина,— заговорила Жамал. В ее голосе Саяк уловил еле заметное волнение.

— И ты знаешь ее, да?

Как можно сватать женщину, не зная ее? — засмеялась Жамал.— Она такая добродушная,— и, запнувшись, продолжала: — Чуть старше тебя, но выглядит хорошо.

— Если на двадцать лет старше, то ничего,— сдерживая негодование, сказал Саяк. Он нашарил лежавшие на крак дастархана сигареты и зажигалку, закурил.

— С чего это взял, что на двадцать лет... она старше тебя только на десять.

— Ты, наверно, очень старалась, Жамал!

— А как же,— и снова зазвенел ее с детства знакомый Саяку смех,— думаешь, так сразу уговорила! Теперь Жокену нужно получить твое согласие.

— Да,— сказал Саяк,— ты взяла на себя самый ответственный участок, Жамал. Очевидно, тебе пришлось преодолеть немало препятствий. Спасибо, Жамал, всю жизнь я ожидал от тебя этого.

Саяк встал, низко поклонился Жамал, потом отыскал подаренную ему Аскарком легкую, с изогнутой ручкой палку и ушел в свою комнату.

От такого жестокого унижения ему хотелось кричать во весь голос, биться головой о стену. Но он, стиснув зубы, молчал.

...Жокен и Жамал надеялись, что, подумав, Саяк, конечно, согласится. Но он все не появлялся. Удивленный этим, Жокен подошел к комнате Саяка и постучал в дверь. Он стучал долго, но Саяк не откликнулся.

— Ну, как он там? — спросила Жамал.

— Слепые, сама знаешь, долго думают, — сказал Жокен и зло выругался.

Он попал в комнату Саяка только поздно вечером, когда тот встал и распахнул дверь, чтобы получше проветрить комнату.

— Ну, дорогой, все взвесил?

— Да...

Жокен хлопнул его по плечу.

— Она полненькая, аппетитная, курносенькая. Нравятся тебе такие? Чего молчишь?

— Слушаю и радуюсь.

— Вот и хорошо. — Жокен вытащил из кармана сигареты, чиркнул спичкой, прикурил сам и дал прикурить Саяку. Потом, понизив голос, сказал: — Давай серьезно подойдем к делу.

— Давай.

— Главное — у нее свой дом, две коровы, полтора десятка овец... Сразу все станет твоим. Почувствуешь себя человеком, хозяином... А может быть, — Жокен запнулся, — появятся и дети. Она ведь не очень старая. Тут все зависит от тебя. Обладаешь ли ты таким природным даром?

— А тебя это очень волнует?

Жокен чуть не поперхнулся от смеха.

Жамал, услышав веселый смех мужа, выбежала из кухни и, стораю от любопытства, осторожно подкралась к распахнутому окну комнаты Саяка и замерла, прижавшись к стене.

— Есть же ослы, которые сомневаются, — продолжал Жокен, стараясь подсыпать соли в разговор, — мол, лет ему уже под тридцать, а не женат, ни с одной женщиной его не встречали, притом с таким он недостатком, что не видит женской красоты, наверное, не испытал женской ласки.

— Откуда вы все это знаете?

— А что, неправда? Есть у тебя кто-то?

— Да, есть.

— Ты спал с ней?

— Нет.

— Как ты можешь сказать, что она твоя? Эх ты, роман-

тик, мечтатель! Где же она, скажи мне, если не секрет.

— Она далеко и совсем рядом.

— В мечтах, значит.

— В мечтах и в жизни...

— Я человек практичный, Саяк. Оставь свои пустые мечты, и будем говорить о деле. Тебе в жизни нужен человек, который был бы с тобой рядом, кормил тебя, обувал, одевал, был опорой в жизни. Такой человек — Калича. Она на своем веку испытала многое: вдовью горечь, потом несколько раз выходила замуж, но счастливой не стала. Одним словом, прекрасно знает жизнь. Будет слушаться тебя, ухаживать за тобой, как за родным сыном. Женщина она тихая, хозяйство у нее, я тебе говорил, неплохое. Единственный недостаток — немного хрома.

— Пусть хрома, я же на ней ездить не буду.

— В том-то и дело.

— Грамотна она или нет?

— Конечно нет, — признался Жокен.

— Тем лучше... А я-то думал, что жена будет моим жизненным другом, советчиком...

— Романтик ты мой! Но жизнь есть жизнь.

— Между прочим, в Коране сказано, что можно иметь четырех жен, если сумеешь их прокормить, одеть, обути. Как бы ты, Жокен, посмотрел на это сегодня?

— Не каждый может содержать теперь четырех жен...

— А двоих? Правда, что ты состоишь в браке с женщиной, у которой муж упал с дерева?

— Поговорим об этом потом. Сейчас речь идет о твоей женитьбе, решай — да или нет?

— Тебе еще не понятно, Жокен?

— Ты толком не ответил.

— Как не ответил, я же сказал, что буду жить мечтами... Согласна ли ты, Жамал, что лучше жить мечтами?

— Кому это ты говоришь, ее здесь нет.

— А мне кажется — она за окном, посмотри.

Облокотившись на подоконник, Жокен высунул голову из окна и увидел жену.

— Жамал?! Давно ты здесь?

Не ожидавшая этого, Жамал совсем растерялась и не нашлась, что ответить. С дрожью в голосе пробормотала:

— Я... я только что...

— Ничего, Жамал, успокойся, — сказал Саяк участли-

во. — Никаких секретов у нас нет. Просто поделились своими взглядами на жизнь. Ты тоже могла бы посидеть с нами и высказать свое мнение. В другой раз, может, так и сделаем.

* * *

— Саяк Акматович, скоро к нам заявится из Фрунзе бухгалтер-ревизор, и я бы очень просил вас проверить вместе с Аскарком наши финансовые отчеты за прошлый год, правильны ли они с точки зрения юридической и по существу, — обратился к Саяку главный бухгалтер лесхоза Батыр-аке, пожилой человек, которому давно уже можно было выйти на пенсию.

— Откуда вам известно, что он скоро заявится? — улыбнулся Саяк.

— У стариков, говорят, кости к дождю ноют, а у меня и сердце болит перед приездом ревизора. Я, конечно, против проверяющих ничего лично не имею — служба у них такая, но вот беда: кажется, все у тебя в полном порядке, а они обязательно откопают что-нибудь такое, что и самому стыдно становится, ишь ведь, зубы на этом съел, а такую глупость допустил... Так что уважьте, пожалуйста, мою просьбу. Как говорится... — Батыр-аке хотел сказать «один глаз хорошо, а два лучше», но вовремя спохватился, сдержал готовые вырваться слова.

Саяк с помощью Аскара проверил все договора, доверенности, акты и другие деловые бумаги и вместе с рядом неточно оформленных документов, но по существу верно отражающих реальные расходы, обнаружил и несколько явно сомнительных, один из них имел непосредственное отношение к Жокену. Получилось так, что на участке Жокена за одну и ту же работу, связанную с ремонтом хозяйственного инвентаря, дважды были уплачены деньги: по договору — людям со стороны, а потом и по нарядам — ремонтникам, работающим в лесхозе.

...Той весной Жокен, как обычно, подал заявление о предоставлении ему очередного отпуска. Мысленно он уже находился на рынке в Караганде, куда отправил на нанятом за большие деньги грузовике орехи. Но тут получилась осечка: главный бухгалтер Батыр-аке, временно исполнявший обязанности директора лесхоза, уперся и не желал его отпустить.

— Дорогой Жокен, ты своевременно провел очистку леса, посадку саженцев, даже перевыполнил план. Все это хорошо,

по впереди сенокос и сбор нового урожая. К этим кампаниям подготовка должна быть завершена в ближайшие недели. Уже приезжали из района уполномоченные проверить, как идут дела, а позавчера первый секретарь райкома нагрнулся и сразу заинтересовался, скоро ли мы закончим ремонт необходимого инвентаря. Я заверил его: все сделаем в срок. Иначе, сам знаешь, вызовут на бюро райкома и получим там предупреждение или выговор. А я этого не хочу. Одним словом, Жокен, сначала проведи ремонт всех сенокосилок, волокуш, тракторных прицепов, а потом получишь отпуск и отдыхай себе на здоровье.

— Что вы говорите, Батыр-аке? Мне необходимо срочно уехать, а за ремонтом проследят лесники.

— Нет,— покачал головой главный бухгалтер,— не могу отпустить. Я не хочу, дорогой мой, из-за тебя нарываться на неприятности.

— Батыр-аке,— умоляющее заговорил Жокен,— поймите мое положение, у меня сейчас свои неотложные дела, поэтому я тороплюсь уйти в отпуск.

— Не на пожар ведь торопишься? — бухгалтер глянул на него поверх очков.

Жокен начал врать.

— Мать у меня лежит тяжелобольная. Я договорился с врачом, который будет лечить ее, и теперь должен отвезти мать на самолете в Ташкент. Видите, решается судьба человека.

Бухгалтер медленным движением снял очки:

— Что ты говоришь, Жокен! Я ведь был на ее похоронах...

И тут, как утопающий за соломинку, Жокен уцепился за подол тещи:

— Нет... я привык называть матерью мою тещу.

— Месяца полтора назад ты говорил, что теща приболела и жена поехала к ней на несколько дней. Твоя Жамал вернулась и сказала, что мать ее выздоровела.

— Батыр-аке, верьте мне, она не выздоровела, она ведь старый человек: сегодня здорова, а завтра... что поделаешь, надо лечиться.

— Давай, Жокен, закончим этот разговор. Теща твоя пождет. Как только проведешь ремонт, подпишу твое заявление.

Жокен, потерявший надежду найти общий язык с упрямым стариком, прихватив поллитровку в магазине, отправился к длинному, худущему, как жердь, завхозу Хасану.

Увидев Жокена, Хасан угодливо улыбнулся.

После того как выпили по граненому стакану водки, Жокен сказал:

— Друг, я пришел к тебе, чтобы ты мне помог.

— Что? Что случилось? — насторожился Хасан.

— Не беспокойся, ничего такого не произошло, просто надо, чтобы ты помог мне скорее закончить ремонт инвентаря.

— Ну, это само собой, — Хасан провел по волосам длинными, костлявыми пальцами. — Только сейчас некого к тебе послать: вся бригада ремонтников работает по распоряжению директора на новом участке. Как управятся там, сразу к тебе направлю. Сам знаешь, ремонтировать своими силами не успеваем, приходится даже нанимать людей со стороны.

— Нет, дорогой, ждать я не могу. Ты мне найди — не двоих-троих, а целую артель шабашников.

Сразу после этого разговора подвыпивший Хасан отправился к цыганам, раскинувшим свои шатры у реки. Тут он убедился, что это не те цыгане, которые были здесь в прошлом году и неплохо поработали в лесхозе. Но он договорился и с этими. Нашел старшего из них, черноусого, рослого, как и сам Хасан, цыгана и тут же повел его в контору, где условился встретиться с Жокеном. Там они быстро оформили договор.

Но цыгане не спешили приступать к работе, а между тем Жокену необходимо было срочно вылететь в Караганду, куда на нанятом им грузовике был доставлен его груз — почти две тонны орехов. Водитель грузовика уже дважды звонил ему по телефону, грозился бросить весь товар посреди города и уехать. И Жокен знал, что он не шутит. Этот грузовик в сводках автобазы, где Жокен его нанял, числился находящимся в ремонте. И конечно же нет такого дурака, чтобы ради выгоды Жокена подставил под удар свою шею... Словно затравленный, метался между табором и своим участком Жокен и вдруг догадался, как ему следует поступить.

На другое утро вместе с хозяином табора он пришел в контору лесхоза, тот предъявил подписанный Жокеном и Хасаном акт, согласно которому артели за выполненный ею ремонт инвентаря следовало по существующим расценкам заплатить почти три тысячи рублей. Полученные цыганом деньги Жокен тут же в коридоре у него отобрал, оставив ему всего 500 рублей, а остальная сумма должна была по уговору с цыганами храниться у Хасана: как только артельщики закончат ремонт, Хасан им эти деньги отдаст.

В тот же день Жокен вылетел в Караганду. А когда дней через двадцать вернулся домой, выяснилось, что весь инвентарь так и остался неотремонтированным. И тут Жокен узнал, что после его отъезда цыгане так напоили Хасана, что он и поныне не помнит, где и когда отдал им за невыполненную работу деньги. Проспавшись, он побежал к реке, но на месте, где располагался табор, увидел лишь вытопанную траву. Обо всем этом, кроме Жокена и Хасана, никто не знал, и им удалось без особого труда замять это неприятное дело. Инвентарь отремонтировали силами самого лесхоза.

И вот теперь Саяк и его секретарь, сопоставив подписанный Жокеном и Хасаном акт с другими документами, выяснили, что он фальшивый. И сейчас ответ за это должен был держать один Жокен, поскольку пару месяцев назад Хасана за пьянство уволили с работы и он уехал куда-то в Узбекистан. Жокен не хотел брать на себя и доли вины, в разговоре с главным бухгалтером пытался целиком свалить все на Хасана.

Батыр-аке, удивленный таким нечестным и наглым поступком Жокена, смотрел на него с нескрываемым любопытством, будто видел Жокена впервые. Потом покачал головой и сказал:

— Теперь я хорошо знаю, кто ты такой. Не думай выпутаться из этой паутины, приписать все несчастному пьянице-завхозу. Ты никуда не денешься, вот и твоя подпись, — он сунул прямо под нос Жокену договор. — Лучше подумай о другом: пока не возбудили против тебя как расхитителя общественного добра уголовное дело и не квалифицировали твой поступок как умышленный, возмести все до последней копейки.

— Кто это придумал?

— Наш юрист. Он добра тебе желает, поэтому и предложил такой вариант.

— Пусть юрист найдет тех обманщиков, которые схватили деньги и уехали, пусть судят их. Я буду выступать как свидетель.

— Ты, я смотрю, много знаешь, но когда они нас обокрали среди бела дня, ты ничего не знал. Во-первых, искать этих цыган все равно что ветра в поле, а во-вторых, как ты докажешь, что они забрали деньги, даже не приступив к работе? Ты же сам засвидетельствовал, что они ее выполнили. Так что лучше помалкивай. Пойди домой, договорись с женой и побыстрее принеси деньги, чтобы остаться на своем месте, — с угрозой в голосе сказал бухгалтер.

Жокен вернулся домой, кипя от гнева. Из комнаты Саяка доносился голос Аскара, читавшего что-то по-русски. «Чтоб ты сторел, читака! Чтоб тебе остаться непогребенным!» — выругался про себя Жокен. И ему живо представилось, как этот плюгавый Аскар, довольный, словно охотник, в силки которого попала дичь, читал Саяку тот злополучный договор с цыганами.

Жокен зашел в гостиную, достал из серванта бутылку водки, откупорил ее зубами, налил себе полную пиалушку, залпом выпил. Подошел к двери, прислушался. Из комнаты Саяка доносился голос Аскара:

— «... в конторе губернской тюрьмы считалось священным и важным не то, что всем животным и людям даны умиленье и радость весны, а считалось священным и важным то, что накануне получена была за номером с печатью и заголовком бумага о том, чтобы к девяти часам утра были доставлены в нынешний день, 28-го апреля, три содержащиеся в тюрьме подследственные арестанта...»

«Люди в тюрьме сидят, а они читают об этом, радуются!» — Жокен с силой захлопнул дверь в гостиную, чтобы слышали: пришел хозяин.

Жокен прилег на диван, но тут же вскочил. Налил себе еще водки, выпил.

Он ходил из угла в угол, временами останавливаясь, прислушиваясь, и, как только убедился, что Аскар покинул его дом, тяжело дыша, ворвался в комнату Саяка.

— Что с тобой, Жокен?

— Еще спрашиваешь, коварный...

— Ты что? — насторожился Саяк.

— Заварил кашу, давай теперь расхлебывай.

— Что произошло, объясни толком.

— Это ты надоумил осла бухгалтера вынуть из моего кармана три тысячи рублей! Слышишь — три тысячи!

— А, ты говоришь насчет того договора. Так я ведь тебе объяснил дней десять назад, что вы действовали незаконно и должны вернуть лесхозу деньги. Ты, помню, не придали ни малейшего значения моим словам.

— Я не думал, что придется платить.

— Придется. Так требует закон.

— Закон спит, пока его не разбудят. Ты его разбудил. На этот договор год никто не обращал внимания, и он мог

пролежать так целый век. Зачем ты рыщешь по моим следам?

— Я юрист и должен пресекать все нарушения закона. К сожалению, Жожен, у тебя слабо развито чувство ответственности, сознание своего гражданского долга.

— Ах ты, слепой, учить меня вздумал!

— Не смей оскорблять меня? Мы далеко ушли от тех детских лет.

— Выходит, я в собственном доме говорить не имею права! Убирайся отсюда, законник! Убирайся к черту!

— Я заплатил тебе за квартиру и никуда не уйду. Когда директор предлагал мне комнату возле конторы, ты уговорил меня остаться: мол, неудобно, что скажут люди, мы ведь с тобой сородичи.

— Да, тогда я думал, что ты мой сородич. Оказывается, ты мой враг. Вот я тебя и выгоняю.

— Не выгонишь, не имеешь права.

— Дом мой, значит, имею право.

Жожен стащил с полки большой тяжелый чемодан Саяка, набитый книгами для слепых, поднял его на подоконник и выбросил в окно. Глухо ударившись о землю, чемодан с шумом покатился по склону.

— Вот тебе! — закричал Жожен. — Проваливай, говорю, а то вот так же покатишься отсюда кубарем.

— Никуда я сейчас не уйду.

— Уйдешь! Заставлю!

— Нет, не заставишь.

Жожен рванул Саяка за руку, тот подскочил, ударился головой о стену, аж из глаз искры посыпались, и пока он не пришел в себя, Жожен успел вытащить его на крыльцо. Но тут Саяк ухватился одной рукой за дверной косяк, а другой оттолкнул Жожена. Споткнувшись о порог, Жожен упал и растянулся на земле.

С криком выбежала из дома Жамал, подняла мужа.

— Саяк! Я все слышала... Дурную скотину одаряют кормом, а она поровит загадить кормушку навозом. Вот и мы помогаем тебе, несчастному, а ты что сделал?

Жамал возилась с мужем и честила, не жалея крепких слов, Саяка, а тот тем временем снова очутился в своей комнате и запер изнутри дверь.

Вырвавшись из рук жены, Жожен кинулся в дом, рванул на себя дверь комнаты Саяка, она не поддалась, и он стал колотить ее ногами, так, что чуть не вышиб. Потом выбежал во двор, схватил толстую палку, ударил по окну

стекло разлетелось вдребезги. Схватил камень, хотел кинуть в окно, Жамал помешала ему. Тут пьяный Жокен, забыв о Саяке, начал молотить кулаками жену. Сбежавшиеся на ее крик люди долго не могли его утихомирить.

* * *

Жокен лежал с открытым ртом и громко храпел. А Жамал не спалось. Она боялась, что он проснется непротрезвевший и снова начнет ее бить. Но вместе с тем она и жалела мужа, которому Саяк отплатил за его добро черной неблагодарностью. Ей хотелось сейчас же пойти к Саяку и выбросить во двор его оставшиеся вещи, но она не посмела это сделать. В этом с детства знакомом слепом было теперь что-то загадочное, мучительно непонятное ей. И, считая его во всем виновным, она тем не менее не решалась сейчас даже подойти к его комнате.

Когда на улице стало совсем темно, она вспомнила про чемодан Саяка, выброшенный мужем, и сразу ее осенила мысль, что это будет неплохим поводом зайти к Саяку. Она нашла чемодан и принесла домой. Но все равно долго не решалась зайти к Саяку. Хотя и знала, что пойдет к нему — нельзя ей бездействовать. Она смутно догадывалась, что надвигается какая-то еще не виданная ею беда, и что все, о чем она мечтала, начинает рушиться.

Все мечты Жамал были связаны с деньгами. Во-первых: она уговаривала мужа построить в родном их кыштаке, где и теперь жила ее мать, дом из жженого кирпича со всеми удобствами. И еще она мечтала приобрести легковую машину, и ни какой-то там «Запорожец» или «Москвич», а «Волгу». Ведь муж ее был не простым человеком, а лесничим. И в мечтах наяву и во сне Жамала ехала на своей черной блестящей «Волге» к своему восьмикомнатному дому и молодому саду. А там, в саду, под яблоней, на чарпае сидит мать Жамал, благодарит аллаха за то, что дал счастье ее дочери и ей самой на старости лет. «Мой мирза, — не раз обращалась Жамал к мужу, — мы все равно вернемся в свой родной кыштак, не за горами старость. Алима взрослеет. Бог даст, — со слезами продолжала она, — у нас еще будут дети. Пока есть возможность, надо построить настоящий дом, чтобы им все восхищались, пусть видят, на что мы с тобой способны». Жокен соглашался с нею. И сейчас, тяжело переживая за мужа и за себя, Жамал думала об одном: нельзя пустить три тысячи рублей на ветер. Одна беда по-

тинет за собой другую. Если не унять сумасшедшего Саяка, того и гляди, заставит их жить на одну зарплату. Все зависит теперь от Саяка. «Этот Батыр-аке и все они там в конторе боятся Саяка,— вдруг догадалась Жамал.— А бумажка, из-за которой приходится платить деньги, в его руках. Стоит ему прикрыть ее ладонью, и о ней никто и не вспомнит. Не зря говорят: если накрыть котел крышкой, что бы там ни варилось, никто не узнает».

Саяку тоже не спалось. Погруженный в мрачные мысли, он вдруг услышал, что кто-то осторожно, на цыпочках приближается к его комнате, и сразу узнал шаги Жамал. «Беспокойтесь, не случилось ли со мной что»,— подумал он с благодарностью и, нашарив ключ, открыл дверь.

— Это ты, Жамал? Пожалуйста, заходи.

Жамал неуверенно переступила порог комнаты и сказала первое, что пришло в голову:

— Чего не спишь?

— А почему ты не спишь?

— Я хотела поговорить с тобой, Саяк. У, какой холод у тебя!— Жамал зажгла свет и, занавесив покрывалом разбитое окно, снова потушила его.— За что ты так зол на нас? Рассердился на Жокена? По-моему, ты тоже не прав. Ведь что получилось: ты обидел его, он с горя напился и поругался с тобой. Пойми, он не виноват, ты сам все это устроил. Разве мы плохо тебя здесь встретили? Почему ты, наш сородич, не разорвал бумажку, за которую мы должны платить три тысячи? И вообще, зачем ты ее откопал?

— А ты думаешь, без меня ее никто бы не нашел?

— Никогда бы никто не нашел. Здесь в лесу мы живем спокойно и хорошо.

— По-твоему, Жокен и Хасан ни в чем не виноваты?

— Конечно нет. Деньги ведь достались не им.

— Но государство лишилось денег по их вине.

— Пусть так,— с заметным раздражением проговорила Жамал,— это деньги не из твоего кармана.

— Вот и я говорю: Жокен должен вернуть государству деньги, которые истратил незаконно.

— «Государство, государство»... Ты что, хочешь наполнить нашими деньгами его карман?

— Государство, Жамал, это все мы, вместе взятые. Кто грабит государство — грабит народ.

— Брось говорить такое! Жокен никого не грабил. Мы же эти деньги собирали по крупницам.

— А я-то думал, что Жокен собирал их как орехи,— усмехнулся Саяк.

— Ты правильно думал,— вдруг жестко сказала Жамал, явно гордясь своим мужем.— Жокен умеет жить. Как говорится, поднимет с земли простой камень и превратит его в золото. В твоём положении, Саяк, тебе не надо ссориться с нами. Оставь нам наши деньги, и все будет в порядке.

— Чтобы это сказать, ты и зашла ко мне?

— А как же, Саяк. От тебя не скрываю: деньги у нас есть. Есть, говорю, деньги. Но хочу, чтобы было их еще больше.

— Ты дочь простого человека, Жамал. А простым киргизам никогда не была свойственна алчность.

Жамал засмеялась:

— Я знаю, ты с малых лет умел сочинять интересные сказки.

— Это не сказка, Жамал,— Саяк вздохнул.

— Чего вздыхаешь?

— Тебя жалею, когда-то добрую и бескорыстную.

— Чего ты мелешь! — с раздражением сказала Жамал.

— Хватит, Жамал. Уже глубокая ночь. Мне надо отдохнуть, завтра на работу.

* * *

Когда Саяк вернулся с работы, комната его была чисто убрана. Промерзший минувшей ночью, он сразу по неподвижности воздуха определил, что окно застеклено и закрыто. Саяк освободил на столе место и достал с полки рюкзак.

В это время, постучав в дверь, зашел Жокен.

Извини, родич,— начал он как можно мягче,— вчера я, кажется, лишнее выпил, ничего не помню. А Жамал говорит, будто поссорились мы с тобой из-за какой-то там дурацкой бумажки. Я же тебе рассказывал, теща моя болела. Вот и подписал не глядя. Что было делать: могла ведь умереть без меня. Аскар твой — его мордой лисьи бы норы разрывать! — откопал тот договор, принес тебе. Ты, сородич, конечно, не виноват. Деньги я сегодня отнес и несколько их не жалко. Даст бог, еще заработаю. Ты как себя чувствуешь?

Саяк не ответил. Даже не повернул лица к Жокену. Не спеша собирал и складывал в рюкзак свои вещи.

— Куда это ты собираешься? — хмуро спросил Жокен, оскорбленный его молчанием.

«Откуда ты, слепой, взялся на мою голову,— подумал

он. — Зачем я дал блеснуть тебе перед стариками знанием Корана, расхваливал тебя, как святого. Они теперь думают, что ты и впрямь такой». Жокен наклонился в сторону так, чтобы получше разглядеть лицо Саяка — какое оно после вчерашнего. В глаза ему бросились ссадины, шишка на лбу. «Да, теперь аксакалы будут говорить обо мне: «Это тот самый Жокен, который избил и выгнал из дому своего слепого сородича».

Завязав рюкзак, слепой вынул из кармана деньги и положил их на стол.

— Жокен, сколько я тебе еще должен? Возьми.

— Убери свои деньги! Разве для того ты нашел меня, чтобы принести в мой дом несчастье. Подумай, что скажут о нас люди! Правда, мы с тобой не ладили в детстве, но разве я не встретил тебя как человека? Разве Жамал не была когда-то твоими «глазами»? Ее ты за что обижаешь?

— Нет, я не могу больше жить в вашем доме.

До слуха Саяка донесся скрип сворачивавшей к дому арбы. Взвалив на плечи рюкзак и прихватив чемодан, он вышел во двор. Жокен понуро побрел следом.

И тут к Саяку с плачем бросилась Алима.

— Не уходите, дядя Саяк! Не уходите! — обливаясь слезами, она целовала его руки.

Саяк опустил вещи на землю:

— Жокен, я остаюсь.

* * *

Снег выпал поздно, чуть не перед самым Новым годом. Проснувшись утром, Саяк услышал, как крупные хлопья мягко ударяются в окно, возле которого он лежал.

Саяк торопливо оделся и вышел во двор. Запрокинул лицо и блаженно заулыбался, чувствуя, как тают на лице снежинки, потом нагнулся, сжал в кулаке горсть снега. За ночь его навалило по щиколотку, а снег все шел и шел. И все вокруг было заглушено его тихим шепотом.

Раз десять подтянувшись на турнике, сделанном по его просьбе родственником Жокена, Саяк до пояса обтерся снегом. Потом отправился в чайхану, где с шести часов утра уже кипели самовары.

Чайхана встретила его приветственными возгласами, миром и уютом, ароматным запахом лепешек, только что вынутых из тандыра. Как хорошо в эти утренние часы слушать

людей, не спеша обменивающихся новостями, беседовать со стариками, лесниками, рабочими.

И, как всегда, кто-то поднимается, берет Саяка за руку, ведет к своему кругу, а если он говорит, что торопится, усаживает где-нибудь недалеко от входа на свободное место. И гостеприимный чайханщик тут же ставит перед ним чайник, пиалу и лепешки.

Обедает Саяк в столовой лесхоза. А когда возвращается с работы, Алима сразу приносит ему чай. После ссоры с Жокеном он живет в его доме просто как постоялец, и к этому Жокен и Жамал уже привыкли. А когда все же приходится сидеть за одним дастарханом, разговор не клеится, как это и бывает среди людей хорошо знакомых, но чуждых друг другу. И Саяк, и супруги Капаровы ждут только подходящего повода расстаться, но так, чтобы это выглядело в глазах людей вполне благопристойно. А пока всем им не остается ничего иного, как жить под одной крышей. И на совещаниях у директора Жокен старается сесть рядом с Саяком — пусть все видят их вместе. И это неслучайно: Жокен догадывается, что его репутация здесь пошатнулась, после того как он, напившись, учинил скандал и пытался выгнать из дома слепого сородича. И Жокен не желает давать повод для новых разговоров. Но есть и другая причина: насколько не хотелось Жокену возвращать деньги лесхозу, настолько же, когда их все же пришлось вернуть, когда вся эта история кончилась, было приятным и глубоким чувством облегчения. Он вдруг понял, что откопай договор с цыганами не Саяк, а ревизор, вскоре появившийся в лесхозе, пришлось бы объясняться не с бухгалтером, а со следователем, и одно дело могло потянуть за собой другие... Но такое открытие не только не примирило его с Саяком, но вызвало прилив злобы, ибо получалось так, что не он, Жокен, опекает слепого, а тот Жокена. Но одно он знал теперь твердо: пока Саяк работает в лесхозе юристом, ссориться с ним нельзя. «Пустил его, теперь терпи, — ругал себя Жокен. — Скоро достроят новый дом возле чайханы, наверно, дадут ему там квартиру...»

И он терпел. Терпел и то, что его Алима глядит на Саяка так, словно не Жокен ее отец, а этот одинокий, никому не нужный слепой. Правда, несколько раз, когда Саяка не было дома, он нещадно бил дочку, требуя, чтоб держалась от слепого подальше: «Можешь чай принести ему, и все». Но вместе с тем Жокен понимал, что это его требование невыполнимо, пока Саяк живет здесь, он нуждается в каком-то

уходе. И Жокену представлялось меньшим злом, что этим вынуждена заниматься дочь, а не Жамал, ставшая после его ссоры с Саяком какой-то неулыбчивой, молчаливой, будто в доме у них траур.

Ко всему прочему, Саяк купил радиолу и стал слушать такую музыку, от которой Жокен готов был выть. Особенно раздражала его Героическая симфония Бетховена. С первых же аккордов у Жокена возникало чувство, что его чуть не насильно тянут в какой-то иной, совершенно ненужный ему, чуждый мир. Когда Саяк был в своей комнате один и ставил эту пластинку, Жокен сразу же включал телевизор на полный звук и тем вынуждал слепого выключить радиолу. Но когда к Саяку заходили парторг лесхоза с женой или местные учителя, Жокен, чтоб его не посчитали человеком отсталым и темным, не решался заглушать Бетховена, приходилось, стиснув зубы, слушать.

* * *

Близилась полночь, а Жамал все не ложилась спать. Уходя на работу, Жокен сказал, что обязательно вернется. А раз так, она должна ждать мужа хоть до утра, должна встретить его. И хотя часто он возвращается пьяным, она за это его не осуждает: хорошая женщина не вмешивается в мужские дела.

Услышав шаги во дворе, Жамал повернулась к трюмо, пытливо взгляделась в свое отражение, легким движением поправила косынку. Тут раздался стук в дверь.

— Кто это? — вскрикнула Жамал. Она подбежала к двери и чуть не лицом к лицу столкнулась с Саяком.

— Это ты, Саяк?

— Как видишь, я.

«Странно, — подумала она. — За весь год, что он живет у нас, никогда даже не задерживался возле этой двери, проходил прямо в свою комнату. А вот сейчас, в полночь...»

— Что случилось, Саяк? — спросила Жамал удивленно.

— Ничего особенного, ты не беспокойся... Жокен дома? Не приходил? Позволь, Жамал, подождать его здесь: у меня нет ключа от своей комнаты.

— Пожалуйста, Саяк. Я сама беспокоюсь, не случилось ли что с Жокеном, обещал к вечеру приехать, а уже ночь скоро.

Саяк шагнул к дивану, нацупал его спинку и сел. Жамал повернулась к сверкающему хрусталем серванту,

стала протирать и переставлять вазы, рюмки, салатницы. Этим она занималась, для того чтобы убить время, и до появления Саяка, а теперь — для того чтобы успокоить себя. Она догадывалась, что пришел Саяк неспроста, и тревога медленно закрадывалась к ней в душу.

— Он обещал тебе сегодня прийти? — рассеянно спросила Жамал.

— Нет, — нехотя отозвался слепой, — но я немного подожду его здесь, а если не появится, пошлю к нему на участок кого-нибудь.

После того ночного разговора, когда она нагрубила Саяку, унизив себя из-за денег, Жамал стала стесняться и даже бояться его и потому не решилась спросить, зачем так срочно нужен ему Жокен.

...Сегодня утром, когда Саяк пришел на работу, Ахматбек сказал ему: «Звонили из обкома. Завтра тебе надо ехать в город. Захвати все свои документы. В одиннадцать часов утра тебя примет секретарь обкома».

Саяк вспомнил разговор, состоявшийся месяц тому назад в школьном отделе обкома. Тогда пожилой заведомом сказал, что областному Обществу слепых и глухонемых очень нужен специалист, владеющий точечным письмом.

— В нашем городе есть учебно-производственное предприятие, при нем школа, где обучаются слепые и глухонемые дети. К сожалению, учителей, знающих точечное письмо, не хватает. К нашему счастью, вы, товарищ Акматов, как мы узнали недавно, специалист в этом деле. Вот и решили предложить вам работу в областном Обществе слепых и глухонемых. Вы будете занимать там один из руководящих постов и учить детей. Мы вас обеспечим персональной машиной и шофером, одновременно он будет вашим опекуном. Думаю, вы понимаете значение этого дела. Мы ждем вашего согласия.

Саяк задумался на минуту и нерешительно пожал плечами:

— Я же не педагог.

— Подумайте, товарищ Акматов. Вы наверняка справитесь с такой работой. Подумайте о детях, которые ждут вас...

Несколько дней спустя Ахматбеку Примбердиеву на областном партийном активе сообщили во время заседания, чтобы он зашел к секретарю обкома. Поинтересовавшись положением дел в лесхозе, секретарь заговорил о Саяке.

Ахматбек отвечал на его вопросы подробно, характеризуя Саяка как делового, эрудированного работника. В заключение сказал:

— Раньше я и не представлял себе, что слепой человек может делать для людей так много.

— Товарищ Примбердиев, вы с ним, чувствую, стали друзьями. Не потому ли вы видите, как сквозь увеличительное стекло, его положительные качества?

Ахматбек смутился, но ответил твердо:

— Во всяком случае, я вижу его таким.

По лицу секретаря обкома скользнула улыбка:

— С вашим юристом Акматовым я тоже встречался. Меня заинтересовали его беседы с работниками лесхоза и колхозниками. Этот слепой человек произвел на меня глубокое впечатление. Могу сказать, что мое мнение об Акматове совпадает с вашим. Мы хотим его взять сюда и поручить ему самостоятельный участок.

— Да, я слышал, его приглашали в школьный отдел обкома, спрашивали, согласен ли он учить слепых детей.

— Не только это, думаем доверить ему крупное учебно-производственное предприятие, где трудятся в основном инвалиды.

...— Не хочется расставаться с тобой, Саяк, но и уговаривать тебя остаться у нас я не вправе, — сказал Ахматбек. — Тебе, судя по всему, предложат руководящую работу на большом предприятии, где работают здоровые люди и инвалиды. При твоей энергии, образованности, настойчивости ты для них, конечно, многое можешь сделать.

Разговор этот взволновал Саяка. Ему казалось, что если он уедет отсюда, то навсегда лишится самого дорогого — того, чего не сможет найти нигде. И предстоящая жизнь в городе, какую бы должность он там ни занимал, невольно представлялась безысходной, никчемной, холодной. Он не знал, что ему делать, что сказать завтра секретарю обкома.

Почти год он здесь, привык к этим людям, к своей работе, к чистому воздуху, к многозвучной таинственной жизни леса, к милой, так привязавшейся к нему Алиме, к Жамал, пусть она и проходит мимо него, не говоря ни одного теплого слова... Грустно подумать, что вместо этого с утра до вечера он будет слушать шарканье шин по асфальту и нескончаемые шаги неведомых ему людей.

Эти грустные и дорогие сердцу Саяка думы прервали дошедшие из коридора тяжелые шаги Жокена. До этого со-

родича еще вчера дошел слух, что Саяку предлагают ответственный пост в областном центре.

...Всю ночь Жокен не мог заснуть, его мучила зависть. Ему отчетливо представлялось, как в белоснежной рубашке, в отутюженном костюме, плечистый, спокойный Саяк сидит в большом кожаном кресле в просторном кабинете секретаря обкома. То вдруг ему начинало мерещиться, что никакой там не Саяк, а сам он, Жокен, сидит в этом кресле. Худощавый, с седыми усами секретарь обкома разговаривает с ним приветливо, широко улыбается.

— Товарищ Жокен Капарович, — говорит он, — вам доверяем большое лесное хозяйство и судьбы многих людей. Прежде чем пригласить вас, долго мы искали подходящую кандидатуру. В нашем списке были десятки фамилий, но выбор пал на вас. Мы вас знаем как прекрасного хозяйственника, энергичного, знающего человека, талантливого организатора, и мы желаем вам больших успехов на новом посту... — Секретарь обеими руками пожимает руку Жокена, и Жокен, чтобы подчеркнуть свою искреннюю преданность ему, крепко прижимает его к груди.

— Жокен! Что с тобой? Сломаешь мне ребра, — испуганно закричала Жамал, стараясь высвободиться из тяжелых объятий Жокена.

Попав в неловкое положение, Жокен оттолкнул Жамал от себя, повернулся спиной к ней и выругал ее за то, что не умеет ответить на ласку мужа.

Утром Жокен встал с головной болью, уехал на свой участок. Но там ему не сиделось. В полдень явился в контору повидаться с Саяком и узнать у него обо всем подробно.

Он ворвался в кабинет Саяка и заговорил так громко, будто перед ним сидел глухой:

— Ах, родич, родич, скрываешь, значит, от меня?

— Что я скрываю?

— Что берут тебя в город на большую работу. Не вчера ведь это решили... Да, слепые живут, никому не доверяя.

Так Жокен давно с ним не разговаривал. «Выходит, после той истории с тремя тысячами он стал побаиваться меня, потому и держал себя в рамках, а теперь считает: можно говорить все, что вздумается», — сразу догадался Саяк, неплохо знавший его.

— Ну, так когда провожать тебя будем? — нетерпеливо спросил Жокен.

В его голосе Саяк почувствовал и радость — дескать, наконец-то избавлюсь от тебя — и вместе с тем зависть.

— Куда?

— В город. Загордишься там и на порог нас непустишь.

— Никуда я переходить пока не собираюсь. Мне и здесь хорошо.

— Ну, не ври! От высокого поста не отказываются. Говорят, тебя пригласил на прием секретарь обкома.

— Завтра утром побеседую с ним, послушаю, о чем будет говорить, потом выскажу свои соображения, как в тот раз.

— Что? — с удивлением спросил Жокен. — И раньше ты был у него в кабинете?

— Да... — спокойно, как об обычном деле, сказал Саяк и, найдя на краю стола пепельницу, вдавил в нее окуроч.

Их разговор прервал телефонный звонок. Звонил председатель соседнего колхоза Сапарбек, советовался, как помочь своему односельчанину, шоферу. Тот подрался с кем-то на железнодорожной станции и теперь ожидает суда. «Ни в чем он не виноват, — кричал Сапарбек. — Помоги, дорогой Саяк Акматович!»

Пока Саяк подробно расспрашивал о всех обстоятельствах дела, Жокен обшаривал взглядом кабинет, сам еще не зная, что сделает через минуту, но желая найти что-то такое, что помогло бы ему разрушить эту оскорбительную для него уверенность Саяка в себе. Вдруг он заметил связку ключей, лежавшую на столе перед Саяком. Жокен протянул руку, осторожно, чтобы не зазвенели, поднял ключи и сунул их в карман.

Саяк положил трубку на рычаг, ощущал выпуклые цифры своих часов и повернулся к Жокену:

— Давай, Жокен, закончим наш разговор. Мне нужно зайти к директору.

Саяк до позднего вечера обшаривал стеллажи и ящики стола, ползал по кабинету, разыскивая свои ключи, среди которых был ключ от небольшого сейфа, где находились все его личные документы. Их необходимо — об этом предупредил Акматбек — взять с собой в город. Саяк нервничал, ругал себя за рассеянность. Тщетно пытался вспомнить, куда положил ключи. И только поздно вечером, в сотый раз припоминая во всех подробностях события минувшего дня, вдруг догадался, что ключи унес Жокен. Он вспомнил, как неестественно бодро, с откровенной усмешкой прощался тот с ним, — вот так же неестественно звучал голос Жокена давным-давно, когда он уходил, унося попавшего в силоч Саяка горную куропатку.

...Жамал рассеянно расставляла на полках серванта хрустальные рюмки. Вдруг рюмка выпала из ее рук, со звоном разбилась.

— Ай! — воскликнула Жамал.

— Что у тебя там разбилось? — холодно спросил Саяк.

— Рюмка.

— Русские говорят: рюмки разбиваются к счастью.

— Нет, это хрустальная, дорогая. — И, заметив презрительную улыбку Саяка, быстро добавила: — Мне ее не жалко, если в самом деле к счастью.

Саяк ничего не ответил.

В раскрытое окно дышала свежая весенняя ночь, и где-то совсем рядом среди вспученных рвущихся почек старого орехового дерева пел соловей.

Жамал села на диван в стороне от Саяка.

— Уже полночь. Все спят. Конечно, спит где-то и Жокен. — Саяк повернул лицо к Жамал: — Завтра, чуть свет мы с Аскарком едем в город, и до этого я обязательно должен найти Жокена. Если ты знаешь, где он, скажи, Жамал.

— Нет, не знаю.

— Какая ты несчастная женщина!

— Что ты говоришь, Саяк?

— Я говорю, что ты глубоко несчастная женщина.

— В чем же мое несчастье, Саяк? — голос Жамал дрогнул.

— Я чувствую его в каждом твоем слове... Ты вот сказала, что не знаешь, где Жокен. Ты прекрасно знаешь, что твой муж остался почевать у второй жены. И ты кривишь душой — вот твое несчастье. — Саяк поднялся, подошел к окну: — Жамал, мне надо позвонить по телефону.

— Звони.

Он нашарил на стене аппарат, снял трубку, набрал номер.

— Аскар, прости, что разбудил тебя. Нужные мне документы в сейфе, а ключи от сейфа у Жокена Капарова. Унес у меня со стола. Кроме него, ко мне никто не заходил. Нет, не бери... Пусть сам привезет. Сейчас едешь? На участок к нему не сворачивай, скачи прямо в Верхний кыштак. Найдешь его в доме у вдовы Кадичи.

Саяк положил трубку

— Какой ты жестокий, — прошептала Жамал, всхлипывая. — Ты меня никогда не любил.

— Это ты меня никогда не любила... Чего ты плачешь?

Твои слезы пустые. Ты льешь их даже из-за денег. Твой плач раздражает меня,— Саяк направился к двери.

— Не уходи! Ты ничего не знаешь! Я расскажу...

— Твои слова еще хуже слез.

— Пусть так. Но ты послушай. Моей Алиме уже десять лет, а я бесплодна. Беременна была, а он пьяный пришел, избил меня... Что делать? Сын нужен. Наследник. Я разрешила ему жениться на Кадиче... И другая причина была. В эти годы, когда мы жили, мечтая о сыне, упал с дерева и насмерть разбился близкий сородич Жокена. Осталась жена молодая с дочкой на руках. Много денег осталось и много скота. Кто-то должен был присмотреть за этим хозяйством, а то могла вдова забрать все это состояние и уйти к родителям. Этого Жокен не хотел. Правду сказать, и я тоже. По обычаю он мог жениться на ней. Закон, конечно, не разрешает, а тайком...

— Хватит, Жамал! Мне и так все понятно. Я знал тебя, когда ты была голодной, в единственном платьице, но свободной. Жокен украл твою свободу, как сегодня у меня ключи. Наша власть дает женщине равные права с мужчиной. Но для чего такой рабыне, как ты, права!

* * *

После отъезда Саяка какое-то тягучее безразличие овладело Жамал ко всему, что совсем еще недавно казалось ей важным и нужным... И не то чтобы вдруг развеялись ее мечты о кирпичном восьмикомнатном доме, который они с Жокеном построят в родном кыштаке, о черной «Волге», на которой она будет приезжать к матери, провожаемая завистливыми взглядами односельчан. Нет, видения эти порой возникали и теперь, но не приносили ей ни радости, ни душевного спокойствия. Ей даже казалось, что на «Волге» едет не она, а какая-то невеста откуда взявшаяся женщина, тщетно старавшаяся доказать слепому Саяку, что она и есть Жамал. Но он не желал слушать, как тогда, во время их последнего разговора, перед тем как разъяренный и сконфуженный Жокен привез ему ключи.

Внешне в ее жизни вроде ничего не изменилось, занималась привычными делами, управляясь со своим немалым хозяйством. Но все это уже нисколько не занимало ее. Она впервые углубилась в себя, задумалась о своей судьбе, о счастье и вообще о том, ради чего живет человек. И, вспоминая слова Саяка, она чувствовала в них правду, опровер-

гнуть которую, как ни старалась, не могла. И в душу ее закрадывалось незнакомое прежде мучительное чувство одиночества. Впервые за свои двадцать восемь лет она как бы со стороны увидела свою жизнь.

...Вот она в арбе вместе с двенадцатью другими девочками из кыштака, которых под причитания и слезы их матерей увозят на учебу в город, в ФЗУ. Как поначалу странно и непривычно было в этом городе, меж его высокими стенами, среди снующих по своим делам людей. Днем девочки учились, работали на ткацких станках, а все свободное время сидели в общежитии. Едва темнело, ложились спать, боялись выйти на улицу... Но постепенно они начали привыкать к этой новой для них жизни. И все же еще долго ходили по городу стайкой, словно боясь, что, если будут ходить поодиночке, их здесь заклюют или украдут. Но Жамал однажды набралась смелости и одна, купив сладостей и фруктов, отправилась искать Дом для слепых. Дом этот нашла без труда, но Саяка там уже не было. Сказали только, что какой-то русский увез его, а куда — никто не знал...

Но чаще всего вспоминала теперь Жамал покрытую мелким гравием, убегающую вдаль пустынную вечернюю дорогу и бешено мчащийся по ней грузовик, его ревущий, как голодный зверь, мотор, заглушающий ее крик.

...Однажды в воскресный день на базаре девочки увидели какого-то разряженного джигита и даже не сразу догадались, что это их односельчанин и ровесник Жокен. Был он в белом колпаке, в галифе, подпоясанном национальным узорчатым ремнем, с длинными, до колен, разноцветными шелковыми кистями с бусинками, в высоких, до блеска начищенных сапогах, в клетчатом жилете и пиджаке, и на шее широко повязан багрово-сизый, яркий, как гребень петуха, галстук.

Жокен весело поздоровался с девушками, сразу повел их в столовую и заказал всем по лагману, потом попросил открыть несколько бутылок фруктовой воды. Девушки с удивлением смотрели на него и слушали, что он говорит.

— Работаю в горах в лесхозе объездчиком. Зарплату получаю, — похвастался он...

— Как это тебе удалось стать объездчиком? — полюбопытствовала самая маленькая из них, Зубайда.

— Шурин мой там, муж моей старшей сестры, — признался Жокен.

А через неделю Жокен подъехал под вечер на грузовике

прямо к общежитию. Сказал, что по дороге в город заглянул в кыштак. Оказывается, мать Жамал больна, она просила его привезти в кыштак дочку. Перепуганная Жамал сама села в кабину.

...Мчится грузовик по пустынной дороге, ревет мотор, кричит связанная Жамал.

...Машина в полночь остановилась возле дома в лесной чаще. Жокен и его приятель Джапар на руках внесли отчаянно сопротивлявшуюся Жамал в комнату.

А там пожилая высокая женщина Айымкан, родная сестра Жокена, которую Жамал однажды видела в своем кыштаке, когда та приезжала навестить братьев, принесла новый платок и повязала голову похищенной девушки в знак того, что она стала ее золовкой. Жамал сорвала с головы платок и стала кричать во весь голос:

— Нет! Нет! Не хочу! Отвезите меня обратно, я не останусь в этом доме!

— Ничего, ничего, привыкнешь, любую строптивую можно укротить,— сквозь зубы сказала Айымкан.

— Хоть убейте меня, не останусь...

— Убивать мы тебя не будем, но ты здесь останешься. Хватит! Прикуси язык. Я здесь хозяйка. Это мой дом.

Женщины облачили Жамал в новую одежду, купленную Жокеном, когда он надумал жениться. Он, видно, предполагал, что невеста его будет покрупнее, и одежда мешковато сидела на Жамал. Потом женщины насильно заставили ее трижды поклониться сестре Жокена.

... — Жамал,— кричит старуха Айымкан,— уже рассвет. Поднимайся на утреннюю молитву.

Она заставляет Жамал молиться пять раз в день: «Иначе мы не можем есть пищу, приготовленную твоими руками».

— Почему твоя жена не выбегает из дома и не берет за уздечку твоего коня, когда ты возвращаешься с работы? — укоряет она Жокена.

— Ну, сестра, у нее домашние дела. Я и сам могу управиться со своим конем.

— Брось ты, прежде всего она должна угождать мужу, потом уж домашние дела. Просто нет у тебя настоящего мужского характера. Даже Фатима, дочь пророка, кровительница женского пола, когда вышла замуж, прихватила с собой в поле, где она работала, несколько прутьев, чтобы муж бил ее этими прутьями... Часто бьешь жену камчой,— продолжала Айымкан,— это к доброму... очищается она от всяких грехов, не вселяются в нее черные духи.

Наслушавшись такого, Жокен однажды избил Жамал так, что даже сломал ей ребро.

— Теперь ты будешь настоящей мусульманкой, — обратилась к золовке обрадованная старуха. — Все мы так жили, так продолжали род.

...Спустя год они переселились в свой дом. Родилась Алима, потом мальчики-близнецы... Она солгала Саяку, что не было у нее сыновей. Они умерли от заражения крови. Будь проклят тот чернобородый хаджа, взявшийся делать им ритуальное обрезание.

Молодой врач, явившийся среди ночи, сразу понял, что его вызвали слишком поздно. Он кричал:

— Где этот гад? Найдите его сейчас же! Я убью его своими руками.

Но люди молчали.

После того как врач увез трупы детей в больницу для вскрытия, собравшиеся стали успокаивать Жамал:

— Нельзя так плакать, грех это. Значит, нужны были аллаху ваши дети, он их и взял. Мы должны быть покорны его воле.

— А что будет с хаджой? — спросил кто-то.

— Завтра его заберут и посадят.

— Нельзя так, — сказал один из стариков, — он выполнил волю аллаха, зачем обречать его на страдания.

Ночью Жокен снабдил «святого» всем необходимым и верхом проводил его до перевала. И Жамал вышла, поцеловала подол чапана «святого».

— Доченька, — сказал он, — я буду молиться за твоих детей, чтобы они попали в рай. Не горюй!

...И она не плакала, не причитала, когда хоронили ее сыновей. А теперь вот, после стольких лет, не смогла стерпеть душевную муку, зарыдала в ночи.

Жокен вскочил на ноги, решив, что в дом пробрались воры, сорвал со стены ружья, чтобы защитить свое богатство и деньги. Задохнувшись от испуга, он крикнул:

— Жамал, где они?

— Их нет! Их убили! — кричала Жамал.

— Кого убили? Что ты кричишь?

— Беда, — рыдала она, — беда...

— Что случилось? Скажи толком! — Жокен грубо схватил жену за плечо.

— Какая я несчастная! Какая я несчастная женщина! — рыдала она.

— Чего тебе не хватает? Сыта, одета, обута. Добра у тебя столько, что прежде и не снилось.

— Мне не хватает главного. А все это твое я ненавижу...— Она бросилась к окну, сорвала шелковые шторы, стала их топтать ногами.

Жокен, решив, что в душу жены вселился шайтан, схватил со стены камчу и начал стегать Жамал, памятуя, что чем сильнее бьешь, тем быстрее уходит шайтан. Но Жамал, словно дразня мужа, кричала, что будет поступать так, как ей захочется. Раньше, когда Жокен бил ее, она покорно терпела, уверенная, что это и есть доля женщины, что рукой Жокена ее карает сам аллах.

А вот сейчас она не признавала ни бога, ни мужа. Она распахнула сервант и выбросила на пол сервиз, которым гордилась перед своими подругами, ударила фарфоровым чайником Жокена по лицу.

Окончательно убедившись, что в душу жены вселился шайтан, Жокен бил ее до потери сознания.

А на улице голосила Алима, зовя соседей на помощь.

...Жамал очнулась в больнице. Все ее тело ныло, больно было даже шевельнуться. Но на душе было ясно и легко. В окне она видела горы и видела, как высоко в небе медленно парил одинокий беркут. «Может улететь куда глаза глядят»,— думала Жамал. И она завидовала ему.

* * *

Прежде чем перейти на новую работу, Саяк побывал в санатории на Иссык-Куле. А когда возвратился в город, сразу на него, руководителя крупного предприятия, навалились тысячи дел и забот, и ему все не хватало времени съездить за своими вещами в лесхоз. Да и какое-то суеверное чувство владело им: ему казалось, что если он заберет свои книги и вещи, то ему больше не увидать Жамал, что Жамал даже не пожелает проститься с ним и что, глядя на мать, и Алима отвернется от него.

Прошло почти два месяца с тех пор, как Саяка в последний раз видели в лесхозе, и вот он приехал в полдень на грузовой машине учебно-производственного предприятия. Он сразу мог бы отправиться обратно, но в доме не оказалось Жамал. Как же не проститься с ней!

Увидев Саяка, Алима не бросилась к нему, как прежде, а тихо заплакала:

— Плохо, дядя Саяк, ой как плохо. Мама лежала в больнице, отец бил ее страшно. Кровь шла изо рта, из носа.

Саяк гладил девочку по голове, дрожащим голосом успокаивал:

— Не плачь, Алима. Говоришь, мать уже выздоровела. Слава богу.

— Думаете, папа бил ее только один раз? Теперь уже и мать дерется, хватает, что в руки попадет.

Саяку стало жутко. Он понял, что последний беспощадно-резкий разговор с Жамал разбередил ее душу. «Зачем я это сделал, зачем?! Чтобы она страдала здесь, униженная, избитая в кровь. Когда-то я придавил ей дверью пальцы, а теперь... Как я могу спокойно уехать, оставив ее в беде?» И это сознание своего бессилия помочь Жамал и жалость и любовь к ней, словно тяжелой волной, захлестнули его.

А молодые парни — шофер и экспедитор, никогда не бывавший в Арслан-Боба и напросившийся взять его с собой, — бродили у края леса, собирая яблоки, им хотелось подольше задержаться здесь среди этого леса-сада, где плоды валялись прямо на земле.

Саяк стал взбираться вверх по склону, постукивая палочкой. Вот и полукруглая вершина холма. Сколько раз он слушал здесь порохи леса, осязал окружающий его мир: и бескрайние лесные просторы, и сухое тепло нагретых скал, и свежее дыхание заснеженных вершин Арслан-Боба.

Неожиданно он услышал голос Жамал, спускавшейся по тропе:

— Саяк!

Жамал подбежала к нему, взяла его руку, прижала к своей щеке, потом обняла Саяка за шею и зарыдала:

— Как тяжело мне, Саяк!

— Жамал, Жамал! Перестань, пожалуйста, перестань! — твердил он. «Что мне делать? Как ей помочь?» — с отчаянием думал Саяк. А Жамал рыдала, все не могла прийти в себя.

Вдруг совсем близко раздался крик Алимы:

— Папа едет! Иди, мама, домой! Скорей! Скорей!

Алима схватила мать за руку и потащила вниз по крутому склону.

Жокен видел, что происходило на вершине холма. Смирив себя, боясь совершить непоправимое, он задержался на реке.

Саяк тем временем вернулся в комнату, где лежали его вещи. Он присел на стул у окна и глубоко задумался: «Жамал смотрит на меня как на свою опору, но в силах ли я защитить ее? Нельзя уехать, не поговорив с ней».

Вдруг в комнату ворвался Жокен.

— Ну, слепой, когда я от тебя избавлюсь? — задыхаясь, спросил он. — А теперь ты зачем пожаловал?

— Попрощаться...

— С моей женой?

— Да.

— Я видел, как вы обнимаетесь среди бела дня на глазах у людей, на глазах моей дочери. Бессовестный ты!

— Я этого не делал.

— Тогда почему ты не оттолкнул от себя мою бесстыжую жену?

— Как же я мог ее оттолкнуть, когда я ее люблю.

— Что?

— Давно люблю.

— С каких пор, несчастный?

— С детских лет.

— А она?

— Не знаю... Но любит меня или нет, я не дам тебе, Жокен, издеваться над ней.

— Уезжай, пока не поздно.

— Не беспокойся, уеду, когда придет срок. Я еще должен поговорить с Жамал.

— Она не будет с тобой разговаривать.

— Откуда ты это знаешь?

— Потому что она моя жена! Саяк, не выводите меня из себя. Еще немного, и я убью вас обоих. Хочешь жить — уезжай.

Жокен вышел из комнаты, хлопнув дверью так, что задребезжали стекла. Спустя несколько минут со двора, где была летняя кухня, донеслась ругань Жокена, тупые удары, звон разбитой посуды. Отчаянно закричала Алима.

Саяк, протянув вперед руки, торопливо выбрался во двор, стал кричать, зовя своих спутников:

— Спасите женщину!

Молодые люди подбежали к двери летней кухни, откуда неслись крики Алимы, стали стучать кулаком в дверь:

— Откройте!

Приземистый толстяк шофер поднажал плечом и вместе с дверью влетел в кухню.

* * *

Жокен нашел жену на кухне. Она готовила ужин.

— Этот слепой любит тебя!

— Да? — спросила она, глядя Жокену в глаза.

— Он мне сам сказал.

— А мне он пока ничего не говорил.

— А ты хотела бы услышать такое?

— Не знаю, мне еще не приходилось думать об этом, не было причины.

— А если она появится?

— Тогда я сама буду решать, без твоей помощи.

Жокен, привыкший к рукоприкладству, не мог простить ей такую дерзость. Он схватил Жамал за косы и сильно дернул, обругал, но бить не решался. После того случая, когда он до полусмерти избил жену и она оказалась в больнице, его допрашивали в районной милиции, и он спасся тем, что Жамал не подписала протокол.

Жамал, стоявшая у плиты, схватила шумовку и ударила Жокена по лбу. В это время и ворвались молодые люди, приехавшие с Саяком.

— Нельзя, нельзя! Уходите отсюда! — закричала Жамал. Она сама хотела постоять за себя...

До вечера Жокен бродил по двору и саду, выглядывал на улицу: не идет ли Саяк? Но тот словно в воду канул. И тех, кто приехал с ним, не видно. «Наверно, Саяк повел их к своим приятелям», — решил Жокен.

В полночь, когда Жокен наконец уснул, Жамал вышла из дома. Грузовик, на котором приехал Саяк, стоял недалеко от ворот. Она заглянула в кабину, в кузов — ни Саяка там, ни его спутников. Перед ней таинственно светился облитый лунным светом лес. «Где же ему быть теперь, как не там!»

...Она знала лесную тропу, по которой чуть не целый год ходил Саяк, и теперь шла по ней.

* * *

Саяк медленно шел по лесной тропинке. Ночь была прохладной, тихой, и листья не шелестели, а лишь чуть вздрагивали, словно со сна. И в глубокой живой тишине медленно растворялись и осторожные голоса ночных птиц, и доносящееся из далеких предгорий ржание дерущихся жеребцов. И растворялись в ней сомнения и тревоги Саяка.

Он знал, что теперь надо делать и о чем говорить с Жамал. Нельзя оставаться ей с Жокеном. «Заберу ее в город, найду жилье, помогу деньгами. Она молодая, прекрасная женщина. Еще не поздно ей начать все заново. Найдется, обязательно найдется человек, который полюбит ее».

Саяку вдруг захотелось сойти с тропы, спуститься по

крутому склону, и он шагнул в сторону, настороженный, внимательный, протягивая вперед свою палку, чтобы не натолкнуться на колючий кустарник. Склон становился все круче и круче, все труднее было на нем держаться. Но подстерегающая опасность и ничем не оправданный риск впервые в жизни радовали Саяка, и он тихо пел, обнимая деревья, прижимаясь щекою к шершавой и теплой, хранящей дневное солнце коре.

Внизу, вытекая из скалы, бился родничок, звуки его становились все отчетливей. Саяк знал этот родник. Еще немного, и он доберется до него, а там тропа... Вдруг оборвалась ветка, за которую слепой ухватился, и он упал почти у самого родника, больно ударившись ногой о камень. И тут же тишину разорвал тревожный женский крик:

— Саяк! Что с тобой, Саяк!

— Жамал! Откуда ты? — изумился Саяк.

— Я... — «искала тебя» хотела сказать Жамал, но не посмела. — Тебе не больно?

— Нет, — сказал Саяк, не придавая случившемуся значения. — Мне такие штуки привычны. Слепой ведь...

Голос Жамал дрогнул:

— Зато ты в жизни не спотыкаешься.

Жамал робким движением обняла его за шею, склонила голову ему на грудь, заплакала, но не так горько, как вчера. Саяк положил руки на хрупкие плечи Жамал:

— Почему ты плачешь? Скажи!

Жамал медленно, как бы заставляя себя говорить, спросила:

— Что ты вечером сказал Жокену?

— Сказал ему правду, сказал, что люблю тебя...

Эти слова вырвались у Саяка как вопль отчаяния. И в ответ горячий шепот:

— И я тоже люблю тебя, Саяк.

— Я слепой, Жамал!

— Не говори так! — Жамал зажала ладонью его рот. — Больше никогда так не говори.

* * *

Жамал вернулась домой на заре, надеясь, что Жокен еще спит и она успеет увести Алиму к соседям, а потом уж скажет Жокену все как есть. Правда, будь ее воля, она бы ночью разбудила шофера и, прихватив Алиму, сбежала бы в город с Саяком. Но тот об этом и слышать не хотел:

«Жить, Жамалка, надо достойно, не боясь никого. Иначе лучше не жить».

Но Жокен уже давно не спал. Он сидел, откинувшись на спинку дивана, курил. Жамал остановилась у окна.

— Где ты была ночью?

Жамал растерялась, не нашла, что ответить.

— Где ты была, спрашиваю?

Грубый голос Жокена, показавшийся Жамал каким-то уродливым, привел ее в себя и даже успокоил.

— В лесу была.

— В лесу?!

— Да, в лесу с Саяком. Я его люблю.

— Ха! Слепого, не нашла себе получше, с глазами.

— Люблю только его.

От этих слов и от того, как уверенно и даже надменно они были произнесены, Жокен чуть не задохнулся. В глазах его зажегся волчий блеск.

Жамал выдержала и этот взгляд, и Жокену стало ясно, что ее сейчас покорить невозможно. «Не надо спешить,— успокаивал он себя,— убить ее никогда не поздно». Стараясь не выдать нерешительности и волнения, он спросил:

— Давно его любишь?

— Всю жизнь.

— Чего же ты раньше об этом мне не сказала?

— А чего с тобой про любовь говорить! Ты похитил меня, насильно привез сюда в Арслан-Боба, в дом своей старшей сестры,— Жамал на минуту умолкла.— Похищают и по любви,— вдруг сказала она мечтательно,— а ты схватил и уволок меня, как волк овцу. До любви ли было...

— А теперь?

— Теперь мне хорошо, теперь люблю.

— Нет,— закричал Жокен.— Нет! Он тебя соблазнил, этот несчастный слепой. Застрелю его, как собаку.

Он сорвал со стены двустулку и выбежал из дома. Жамал вздрогнула: Саяк в лесу — в такой ранний час он посчитал неудобным идти к Аскару, у которого почуют шофер и экспедитор.

— Вернись, Жокен! Он не виноват! Я сама, сама...

Но разъяренный Жокен не слушал ее. Он отвязал гнедого, вскочил на него и, пришпорив, помчался к ближнему лесу.

Саяк сидел у огромного орехового дерева, росшего у самой тропы. Вдруг он услышал приближающийся конский тонот и сразу понял, кто его ищет. Саяк встал. Он слышал, как Жокен спрыгнул с коня и взвел курок двустволки.

— Я искал тебя, чтобы убить.

— За что, Жокен?

— За то, что соблазнил мою жену.

— Нет, я ее не соблазнял.

— Ты был с ней ночью в лесу?

— Был.

— Вот за это застрелю тебя и закопаю там, где стоишь.

Саяк невольно прижался спиной к стволу.

— Сейчас умрешь, как собака. Что хочешь сказать в последнюю минуту?

Саяк молчал.

— Жить тебе хочется?

— Очень! — признался Саяк. — Особенно теперь, когда то, о чем мечтал всю жизнь, сбылось.

— Значит, добился?

— Да, добился.

— За измену она заплатится головой. Застрелю тебя, потом пойду к ней и буду ее мучить: сначала выколю ей глаза, чтобы она была похожа на тебя и чтобы ходили вы на том свете, держа друг друга за руку. Аллах за это будет мне благодарен.

— Что ты говоришь, Жокен! Убей меня, но за что ее?

— За то, что она осквернила брачное ложе.

— Опомнись, Жокен. Этого не случилось.

— Правду говоришь?

— Истинную правду.

— Ты же сам сказал, что добился того, чего хотел.

— Да, я добился своего. Ее душа принадлежит мне.

— Душа?! — Жокен усмехнулся. — Душа ее принадлежит аллаху.

— Я забыл о вере, и потому она принадлежит мне.

— Аллах покарает тебя, отступника. — Саяк почувствовал, что ствол ружья уже не упирается ему в грудь. — За что ты так ненавидишь меня? — недоуменно спросил Жокен.

— Тебя есть за что ненавидеть, но я еще помню вкус той круглой дыни-скороспелки, которую ты прислал мне в больницу, когда я упал с тополя.

— Слушай, Саяк. Разве на свете мало женщин?

- Много...
- Ну и женись себе на счастье и живи.
- Но люблю-то я только Жамал!
- Несчастный слепой! Потому ты и крутился целый год здесь, чтобы заморочить ей голову.
- Я не морочил ей голову. Я только помог ей правильно увидеть мир.
- Брось болтать. Я хочу пощадить тебя, потому что ты слепой и чтобы не пролить кровь своего рода. Слышишь, оставлю тебе жизнь, но только с одним условием: ты сейчас же уберешься отсюда навсегда и не будешь вмешиваться в мою семейную жизнь.
- Нет, этого не будет, Жокен. Я уеду только с Жамал. Вот так мы и договоримся.
- Жокен снова подскочил к Саяку и почти вплотную приставил ружье к его груди.
- Убью тебя, твой труп не найдут,— крикнул Жокен,— и не узнают, кто тебя убил.
- Найдут,— закричал Саяк,— еще как найдут, никуда ты не денешься! — и ударил рукой по ружью.
- Ружье выпало из рук Жокена, и он сразу отскочил от Саяка, боясь, что тот нападет на него. Саяк нашарил ногой ружье и отбросил его в сторону Жокена:
- Возьми!

* * *

- Жокен выехал на гнедом из леса, и тут с криком кинулась к нему Жамал:
- Где Саяк? Где?
- Увидев Жамал, растрепанную, без платка, с перекошенным от страха лицом, Жокен почувствовал, что она может поднять весь кыштак на ноги.
- Чего ты волнуешься? На кого ты похожа! Смотреть страшно, как сумасшедшая.
- Где, спрашиваю, Саяк? Где?
- Не беспокойся, в лесу он. Я пожалел несчастного слепого, пусть живет, зачем мне пачкать руки его кровью.
- Я пойду к нему.
- Нет, Жамал,— резко бросил Жокен.— Пойдем домой. Нам надо поговорить.
- Она сразу согласилась и вернулась в дом.
- Образумься, Жамал, ты хозяйка семьи, у тебя муж и дочка, полное семейное счастье. Чего тебе не хватает? Вот дом, вот вещи дорогие, денег сколько хочешь...

— Все это я уже слышала.

— А я еще раз повторяю.— Жокен впился взглядом в Жамал: — Так что ты надумала?

— Останусь с ним навсегда. Я ведь тебе сказала, что люблю его.

— Убью тебя.

— Нет, не убьешь,— усмехнулась Жамал.— Не сможешь меня убить. Если убьешь, и тебя убьют.

— Ну и пусть.

— А я жить хочу свободно, как мне нравится.

— Пропадешь ты за этим слепым. У него пуст карман. Учти, я ничего не дам.

— Не беспокойся, я и копейки у тебя не возьму.— Жамал засмеялась ему в лицо.— Из этого дома возьму только дочь. Больше ничего.

— Я ее тебе не отдам.

— А я без нее не уеду.

— Ну и не уезжай, тебя никто не заставляет. Ты сама этого хочешь.— Жокен сразу воспрянул духом, нащупав у Жамал большое место.— Я не отдам тебе свою дочь.

— Отдашь. Я не та, что прежде, я не буду тебя щадить. Я сделаю так, чтобы ты мне не мешал уйти. Сделаю так, чтобы ты смотрел на небо сквозь железные прутья. Понятно?

Жокен замер как вкопанный.

...Жамал, стремительно спускаясь по косогору, вдруг увидела Саяка у края леса.

— Саяк! — закричала Жамал издалека.— Саяк! — Она бросилась к нему, что было сил, схватила слепого за руки.— Дорогой ты мой, я смогла... Я свободна!.. Я твоя... Навсегда твоя!

Она обняла за шею Саяка, смеясь от счастья, и, падая в густую мягкую траву, потащила его за собой.

Ей казалось, голубое небо над ними совсем близко: протяни руку — и дотронешься до него...

— Жамал, Жамал,— позвал Саяк тихо.

Она поднялась и села рядом, прижалась к нему.

— Уедем, Саяк, побыстрее,— голос Жамал дрогнул.

— Нам надо проститься с людьми.

— С людьми? — изумилась Жамал.— Нет! Я не переживу такого позора.

— Я и говорю об этом: ты не должна бежать, как вор ночью. Надо распить с людьми бутылку шампанского.

— Так не бывает, так не положено.

— Ты сама вправе решать, как должно быть и что положено. Сама ведь сказала «я свободна». — Саяк встал, протянул руку Жамал: — Пойдем, милая!

* * *

Когда Жокен приехал к своей старшей сестре, был уже час ночи. Услышав топот коня, она сразу догадалась, что это гнедой, и выбежала из дома. Так поздно Жокен никогда не являлся, и это встревожило старую женщину.

Гнедой был весь в поту и пене, тяжело дышал. Видно, брат гнал его все тридцать километров по извилистой и крутой, тянущейся на подъем лесной дороге.

— За тобой погоня? — спросила она вместо приветствия.

— Нет, что вы?.. Здравствуйте! Вот приехал навестить вас.

— Здравствуй, — ответила она. — Что случилось? Зачем ты загнал такого коня!

— Мне сказали, вы тяжело заболели, вот и приехал.

— Кто тебе это сказал?

— Сказали...

— Кому это понадобилось? — Старуха недоверчиво глянула на него.

Жокен спешился, пожал ее худую руку:

— Слава аллаху, что вы здоровы.

— Заходи в дом.

Он привязал гнедого к столбу, покрыл попоной и неторопливо зашел в просторную комнату. И вдруг вспомнил, что именно здесь много лет назад он советовался с сестрой, жениться ли ему на Жамал; что именно сюда он и привез похищенную им Жамал. А вот теперь предстоит сообщить сестре, что Жамал от него уходит.

Он никак не мог собраться с духом, чтобы начать этот разговор.

— Чует мое сердце, что-то случилось неладное. Не скрывай, Жокен. Я ведь вижу тебя насквозь...

Жокен отвел глаза:

— Да, сестра, неприятная весть.

— Ну, говори.

— Жамал уходит от меня...

— Жамал? Твоя жена?

— Да.

— Значит, ослабла твоя камча. Жену нужно бить. Вы-

ходит, ты плохой мужчина! — воскликнула сестра с негодованием. — Куда она уходит?

— В город.

— С кем?

— С этим Саяком.

— Со слепым! Она что, с ума сошла?

— Не знаю, сестра.

— И ты не смог ей помешать?

— Она ничего не боится...

— О аллах! — старуха подняла дрожащие руки. — Зачем ты создал его мужчиной! Он опозорил наш род!

— Сестра! — закричал Жокен. — Поймите, пожалуйста...

— А что понимать? Ты уронил свою честь! Как теперь будешь жить среди людей?! Какой ты мужчина, когда на твоих глазах кто-то лишает тебя всего, уводит твою жену!

— Она из дому ничего не берет...

— Тьфу! — плюнула старуха. — Кому барахло и золото пужны, когда потеряна честь! Какая цена твоему богатству, когда ты пал низко! Собака не имеет чести, потому ей не пужно золота. Понятно тебе? — Она схватила за ворот Жокена: — Я... я сама поеду сейчас и не позволю ей уйти, убью ее или себя, чтобы не видеть твоего позора! Где они?

— Прощаются со знакомыми.

— В твоём доме?

— Да.

— Хватит, — крикнула старуха и, оттолкнув Жокена, стала рвать на себе волосы. — Какой позор! Лучше бы ты умер, чем услышать такое. Честь нашей семьи, честь нашего рода осталась бы незапятнанной. Но если ты сейчас умрешь, все будут говорить: «Жокен потерял свою честь и умер от позора». Она не должна выйти из твоего дома. Убей ее! Другого выхода нет. Слышишь ты, низкий!

Жокен выскочил из дома, отвязал коня и умчался в ночь.

...На востоке занималась заря.

Жокен беспощадно стегал камчой коня. «Убью слепого. Убью обоих, — лихорадочно думал он. — Нет, сначала спрошу у нее: хочешь жить — живи со мной. Иначе смерть... смерть».

Когда он подъезжал к своему кыштаку, гнедой его совсем ослаб, он то и дело спотыкался, дышал хрипло и тяжело.

Спускаясь со склона на шоссе, Жокен вдруг увидел приближающийся грузовик. «Они! Не пропустить бы! Быстрее, быстрее!» Но гнедой уже не слушался ни шпор, ни камчи. Жокен яростно хлестал его, потом ударил рукояткой камчи по голове. Конь зашатался и упал. Жокен отлетел в сторону,

вскочил на ноги, бросился к шоссю, схватил камень, чтобы запустить в кабину. Но грузовик уже успел проскочить, камень попал в стену крытого кузова, где сидел Саяк. Услышав стук, Саяк не понял, что это.

Жокен бежал за машиной, пока не задохнулся и не упал на шоссе. Открыв глаза, он увидел ясное небо и трех беркутов, летящих к востоку: двое впереди, а третий, меньший, за ними следом. Они беспрерывно клекотали, подбадривали неопытного птенца.

Жокен встал, бросил взгляд на шоссе: «Упустил... Ничего, можно еще опередить их, переправиться через реку по старому мосту».

Он поспешил к гнедому. Но тот уже лежал, оскалив зубы, тускло светились его остекленевшие глаза. Жокен машинально потянул его за уздечку и, почувствовав его необыкновенную тяжесть, выпустил уздечку из рук — голова гнедого с тупым стуком ударилась о землю.

Жокен ссутулился, присел на камень и зарыдал.

Внизу, под скалой, бушевала быстрая пенистая горная река, ударяясь об отвесные, словно обрубленные, берега.

Вдруг порыв ветра донес до слуха Жокена далекий, прерывистый рев мотора. Жокен тяжело поднялся на ноги и увидел у перевала на серебристом серпантине, на самом верхнем его витке, грузовик.

Машина сверкнула в лучах солнца и скрылась.

ЭПИЛОГ

— Ну как прочитали, Аджалия Петровна, мой роман? Это повествование о жизни Саяка вам первой, прямо от машинистки, принес. Похож мой герой на Саяка?

— Похож. Но почему вы на его отъезде из Арслан-Боба рассказ прерываете? По-моему, развернулся Саяк настоящему в последующие годы.

— Я и пишу теперь об этом, но пока у меня только еще черновые наброски. Вообще-то я их никому не показываю — суеверен, боюсь, сглазят. Но вас я считаю своим соавтором... так что можете познакомиться с ними.

— Нет, не надо... Шакир Рахманович. Но я хочу задать вам несколько вопросов. Вы видели Жокена не только, когда его судили за разбойное нападение на семью Саяка, но и ездили к нему в тюрьму. В чем причина, что спус-

тия столько лет он вспомнил о Саяке и решил отомстить ему?

— А он о нем не забывал.— Шакир достал блокнот: — Вот послушайте, что говорил мне Жокен.

«Все эти годы я был в курсе его дел. Я знал о нем все. Знал, что его уважают большие люди, что занимает он все более высокие должности, что он не любит ездить в машине, часто ходит на работу пешком — и все в одних и тех же костюмах: зимой — в черном двубортном, а летом — в светло-сером, старательно заштопанном Жамал... Я мог бы уничтожить его в любой момент, толкнуть под мчащуюся машину. Но этого ему было бы мало... И Жамал оплакивала бы его... Нет, я решил расщитаться с ним по-иному. Ведь этот слепой разрушил все, что я строил. Все ему удалось! Отнял у меня жену, дочь, опозорил перед людьми...»

— А что он говорил о Жамал?

«Саяк тянул ее в свое царство бескорыстия и добра, но, как только чуть отпуская, она становилась той Жамал, которую сотворил я...»

— Нищий,— сказал я ему,— чего же ты достиг? В чем твоя сила? Любой чабан одевает свою жену лучше, чем ты Жамал. Взгляни — ах, да нечем тебе глядеть,— она в дешевых туфлях, из ее синтетической шубы сыплются искры.

— Я живу на зарплату, Жокен, и, бывает, помогаю людям, попавшим в затруднительное положение».

— А вот, Аджалия Петровна, последнее слово...

— Чье? Жокен же на суде от последнего слова отказался.

— Нет, это «последнее слово Саяка» — так называю эту запись в своем блокноте.

Помню, после оглашения приговора молча шли мы — Алима, Саяк и я — весенним утром по бульвару.

Вдруг Алиму прорвало:

— И этот зверь посмел назвать меня своей дочерью! Не знаю и знать не хочу его. Будь проклят он!

Саяк прижал Алиму к груди, погладил по голове.

— В котором часу улетаешь завтра на конкурс скрипачей? — спросил он.

— В три часа дня.

— У меня к тебе одна просьба...

— Хоть тысячу просьб, отец!

— Завтра утром,— сказал Саяк твердо,— ты отвезешь ему в тюрьму передачу.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВЧИ. <i>Перевод В. Цыбина</i>	5
БЕЛЫЙ СВЕТ. <i>Перевод С. Виленского</i>	293

Шабданбай Абдыраманов

БЕЛЫЙ СВЕТ

М., «Советский писатель», 1983, 448 стр.
КБ-27-24-82

Художник *Н. З. Левянт*
Редактор *Е. А. Метченко*
Худож. редактор *Д. С. Мушин*
Техн. редактор *Ф. Г. Шапиро*
Корректор *С. Б. Блауштейн*

ИБ № 3820

Сдано в набор 30.04.82. Подписано к печати 18.12.82.
А 08792. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1.
Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л.
23,52. Уч.-изд. л. 26,42. Тираж 30 000 экз. Заказ № 335.
Цена 1 р. 80 к. Издательство «Советский писатель»,
121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография
Союзполиграфпрома при Государственном комитете
СССР по делам издательства, полиграфии и книжной
торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109

1 р. 80 к.

5-41

